

*Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит...*

Булат Окуджава

**ОБРАЗЫ ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**LIFE IMAGES
LITERARY ALMANAC**

Ответственный редактор: **Алла Ходос**

Безответственный редактор: **Марина Золотаревская**

Технический редактор: **Любовь Шапиро**

Фотография на обложке: **Юрий Золотаревский**
Сон Антонио Гауди

Заставки: **Алла Ходос**

Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Мы оставляем за собой право в некоторых случаях редактировать документальные материалы, не уведомляя автора.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

**Редакция благодарит за сотрудничество
международный интернет-журнал «Интерлит».**

ISBN: 978-0-9832503-6-4

ISSN: 2167-0765

Сан-Франциско

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2015–2016



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Вадим Жук
Наша Отчизна – жизнь. *Стихи* 4

Генри Эпштейн
Оплакивание 7
Перевод Марины Золотаревской

Артур Соломонов
Театральная история 13
Главы из повести

Валерий Черешня
Есть промежутки в
жизненной основе... *Стихи* 19

Михаил Якобсон
Карзубый 22
Лагерная повесть

Мария Степанова
Младость и старость. *Стихи* 33

Екатерина Короткова-Гроссман
Вариант Смолькова 35
Плач горожанки 54

Мартин Мелодьев
Три стихотворения Соне. *Стихи* 59

Мария Перцова
Из жизни растений. *Стихи* 60

Алла Ходос
Вагончик 61
Как этот выюн
в забор вцепился! *Стихи* 64

Александр Зевелев
Сюрики. *Стихи* 66

Ирина Муфель
Вспоминай. *Стихи* 68

Инна Мельницкая
Как я осталась жива 69
Мишка-Машка и Дюк Ришелье 77

Саша Немировский
Воздух звенит колокольной. *Стихи* 87

Хелен Джонс
Песок, измученный волной. 89
Стихи

Слава Блуд
Слово о Михрюте 91

Владимир Гандельсман
Элегии. *Стихи* 94

Лев Бертин
Трамвай «Желание» скрипит на
поворотах... *Стихи* 95

Игорь Ильин
Несколько историй из жизни
нашего колдуна 97

Александр Милитарев
Сонеты 107

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Александр Милитарев
Переводы с английского 110

КОЛЮЧИЙ ОЖИК

Марина Золотаревская
Дуракаваляние на тему “Ворона” 113

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2015–2016



ФОТОГАЛЕРЕЯ

Юрий Золотаревский
Образы мира. 114

ЧЕМОДАН ЭМИГРАНТА

Галина Курляндчик
Работа «за спасибо»,
или «второй дом» 118

ПРО СТРАНСТВИЯ И ПРОСТРАНСТВА

Александр Трегуб
Путешествие в Страну
Громого Дракона 123

ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ

Александр Милитарев
Первый рассказ 137

Борис Бернштейн
О Фриде 145

Семен Абрамович
Письмо из 41-го 158

Ефим Сировский
Борьба с алкоголизмом 160

Иосиф Трегуб
Фронт и застава 161

Михаил Якобсон
Правда хорошо, а везенье лучше 170

Александр Кейлин
Этого не может быть
(кроме как в России) 173

ЧИК-ЧИРИК

Александр Милитарев
Детские стихи 176

ИСКУССТВО

Сергей Стратановский
Шум бытия
(О стихах Владимира
Гандельсмана) 177

Елена Макарова
Григорий Корин.
Поэт и его окружение 180

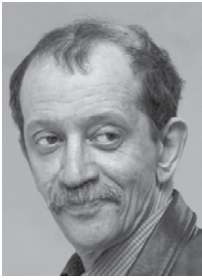
Дмитрий Янушкевич
Живопись 190

Татьяна Апраксина
Иерусалим (цикл) 192

Борис Бернштейн
Фрагменты из не слишком деловой
переписки редколлегии ОЖ с
любимым автором 195

Борис Бернштейн
Увидеть скульптуры Парфенона 198

Сведения об авторах 221



Вадим Жук

НАША ОТЧИЗНА – ЖИЗНЬ



* * *

Вы где – сугробы, звезды, хлопья,
 слепящий свет?
 Все вроде есть у нас в Европе,
 а снега нет.
 Зачем верзилам-лыжам смазка,
 коль гарь да хмарь?
 И слово дивное – салазки
 ушло в словарь.
 И не морозом, а ознобом
 крадется зло.
 Черным-черно, где быть должно бы
 белым-бело.
 Лишь вполнакала день светает,
 бледны огни.
 Не божий пух летит и тает,
 а тают дни.
 И стылым пальцам трудно трогать
 иглу виска.
 Какой больной и поздний Гоголь!
 Тоска. Тоска.

* * *

Это ветреный день настает,
 это, стронувшись с мест и обычаев,
 небывалая вечность зовет
 голосами ничими и птичьими.
 Невеселые катит валы
 небосвод кое-как отутюженный.
 Это бьется во мгле об углы
 пешеход пожилой и простуженный.
 Это от фонаря к фонарю
 нитка крови тропинкою тянется,
 словно от декабря к январю
 никого на земле не останется.

НАКАНУНЕ

Ты перед зеркалом, милая, ты несравненна,
 В празднике-платье, на звонких своих каблуках.
 ... А перед взором Господним – нового года полено,
 Он его держит в красивых рабочих руках.
 Что ему вырезать? Ложку? Фагот? Буратино?
 Или на крепкую водку его перегнуть?
 Просто ли сжечь, чтоб согрело и осветило
 Хладную землю? Ковчег? Кастаньеты? Кровать?
 Всё, что мы есть, от Господня мгновенья зависит,
 Всё он решит, хоть узлом завяжись-развяжись,
 Не угадаешь его непостижные мысли,
 Не переменишь тебе наречённую жизнь.
 Всё же спеши! Обнажи свои нежные плечи,
 Всё же вертись на безбожных своих каблуках
 И вылетай! Пусть тебе развернётся навстречу
 Шумная улица в шатких своих огоньках!

* * *

Декабрь хмур и насторожен,
 И не способен на игру.
 Но страшным голосом острожным
 Коты на улице орут!
 Со всею мартовскою силой.
 Дробя и оглушая двор,
 Ревёт и стонет драный вор,
 В тоске по желтоокой милой!
 И, кажется, рванёт со старта,
 Два месяца перелетит
 И вцепится в затылок марта,
 И март, как птичку, закогтит!

* * *

Парадняк, да дровяник, да свалка,
 Непонятные эти дела...

Всем давала ты, Алка-давалка,
Только мне одному не дала.
Не просил. И, на койку ли рушась,
Или сев, запершись, на толчок,
Это, рвавшееся наружу,
В безответный сбирал кулачок.
Знал слова вроде “кинул ей палку”,
Даже, может, их сам говорил,
Но, завидевши Алку-давалку,
Каждый раз за версту обходил.
Плод доступный считал недоступным,
Ждал червонную нежную масть...
Все равно с помелищем и в ступе
Прилетела нечистая страсть.

И чего, сам не знаю, мне жалко?
Догорел за окошком закат.
Сероглазая Алка-давалка,
Заржавевший давно самокат.

* * *

Утро нынче хмурое да квёлое,
Каши, что ль, овсяной приготовь...
Заводская, жаркая, весёлая,
Аж в ладонях искорки – любовь.
Не волнуют девочки-раздевички
Сливочных бессмысленных годов,
Чистые небитые тарелочки...
Кашу, говорю я, приготовь.
Посидим за кашею-малашею,
День взойдёт, как овощ на гряде,
Хорошо делиться жизнью нашею –
Кто-кому-когда-чего – и где.
За окном всё Родина да Родина
Метров на четыреста видна...
Что – стишки похожи на пародию?
Да и ладно. Жизнь сама смешна.

АЛФАВИТЫ ВСЕХ СТРАН – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вот вышли на зелёную траву
Арабица, кириллица, латиница...
Вдруг страшная – не буква и не звук,
Появится – и под ноги им кинется!
Оторваны, изломаны штрихи,
Нажимы, утолщения, закругления.
Погибли все. И чем писать стихи,

Как быть словам, как длиться предложениям?
Чем говорить о Боге и любви?
Мертвы. Век ни одна поднять не силится.
Смешались в чёрной буквенной крови
Латиница, арабица, кириллица.
Как пред бедой колени не согнуть?
Как выдержать, не струсить, не расслабиться?
Как вам друг другу руки протянуть –
Кириллица, латиница, арабица?
Верни слова, мир злобный и немой.
Не дай нам в пыль упасть и оскотиниться,
Спаси и сохрани нас, Боже мой.
Арабица. Кириллица. Латиница.

* * *

Мне в неге сочинять свои нозли
Живорождённым русским языком,
Тебе метлой карябать по панели,
Гоняясь за осенним сквозняком.
Обветрены и грубы твои руки,
Печаль в глазах, невнятица в уме.
Твои уста не посещают звуки
Божественных строений «Шахнаме»,
Побеги изумрудного Рудаки,
Напев мудролюбивого Джами...
Что обронили невзначай собаки,
Что брошено спешащими людьми –
Сбирай в совок. В своей Отчизне нищей
Ты, темноглазый, гол и обречён.
И здесь, под полицейским голенищем,
Бессмысленную чуркой наречён.
Там, в небесах, в сферической палате,
В музее человеческих побед –
Прапращур твой – великий математик,
И тот, другой – изысканный поэт.
Прости меня, таджикский тихий дворник,
Ни в чём не пересечься мне с тобой,
Своей души таинственной затворник,
Метельщик, листопадник, ледосбой...
Я чувствую тоску твою и беды,
Я от души сочувствую тебе...
Мне жаль, что никогда я не приеду
К поющим минаретам Душанбе.

ВСЮДУ ЛЮБОВЬ

Ещё крепки объятия стрекоз,
Ещё пылинка ластится к былинке,

И страсть, и ревность, и разлад всерьёз
Концов шнурка в одном полуботинке.
Ещё ледовый месяц впереди,
Но вдалеке. А нынче мёд тягучий.
И дивный голос: О, не уходи,
Не уходи, твои лобзанья жгучи.
Не сделалось приданым полотно
Со складов гончаровского завода.
Зато к стакану тянется вино,
Как к невским водам ладожские воды.
Не кроют глины тёмные комки
Затейливый узор дубовых крышек.
И рыжему мурлыке не с руки,
Не с лапы добывать учёных мышек.
Пока я всем собою начеку
И не страшусь стоять и петь под грузом –
Дай, Муза две строки... одну строку.
Дай, Муза!

* * *

Если плачет дитя, если локоть его – у бровей,
Если плачут и локти, и брови, и скулы и плечи,
Это ты виноват! То что, в воле и силе твоей,
Не свершил, не исполнил, да и отвернулся, беспечен.
И упал на него полный боли и зла небосвод,
Он один навсегда, он забыт, беззащитен и жалок.
И пошёл на него со страниц, из лесов, из болот
Хоровод безобразья, кикимор и страшных русалок.
Ведь тебе самому ведом этот придуманный ад,
Ты же сам погибал в этой сумрачной комнате детской.
Это ты виноват! Это ты, это ты виноват!
С правотою своей и с упрямством своим молодецким.
Ты смотри, ты не смей! Разори все свои тайники,
И слова отыщи, чтобы был он спасён и утешен...
О, как ты награждён! Как в горсти твоей сильной руки,
Он победно уснул. Беззаботен, бессмертен, безгрешен.

* * *

На диван, на диван, положили его на диван.
Ради вас, ради вас, говорят, стока время теряем.
Надевай, надевай полушубок дубовый, давай.
Мы не пульс, мы вообще, тут ли вы – вы ли тут? –
проверяем.
Выли тут, выли тут, ваша мама и ваша жена,
Будто вы уж совсем, а вы вовсе и не отвалили.
Вы, мы думаем тут, максимально минут на пятна...
Надо это скромней, под себя вон, глядите, налили.
Вот тогда-то он встал! Вот тогда оттолкнул их рукой,

И шагнул, и пошёл, и вся нечисть пред ним расступилась,
И плечом, и всем телом раздвинул приёмный покой,
Выметая всю смерть, что годами, как пыль, здесь копилась.
Он по городу шёл, жадно слушая свет этажей,
Перед ним что-то билось, звенело, взвивалось, летело.
И притихшее, простынью белой накрыто уже,
На диване лежало его бесполезное тело.

* * *

Лодочку отвяжи.
След сохранила глина,
Наша Отчизна – жизнь.
Смерть – это наша чужбина.
Странно будет, когда,
Руку за борт опуская,
Вдруг ощутишь – вода
Тёплая и живая.
Да, это так – жива!
Лепится к лодке улитка,
Снизу мелькнёт плотва
Быстрым серебряным слитком.
Этим ты стал чужим,
Те незнакомы вроде...
Родина наша – жизнь,
Новой не будет родины.
Значит прощай, прощай,
Лодка, плотва, улитка.
Не заходи на чай,
Не отворяй калитку.
Только храни, храни,
Возле причальных досок
Слепок моей ступни,
Голоса отголосок.





Генри Эпштейн

ОПЛАКИВАНИЕ

Перевод с английского
Марины Золотаревской



«На этот раз не говори: обещаю», – сказала мать. – «Приезжай. Ты нужен отцу».

Я бросил взгляд сквозь стеклянную перегородку чистого помещения, идущую от пола фабрики до самых стропил, с которых все еще свисали три липкие ленты-мухоловки, похожие на изогнутые косицы. Чистое помещение¹ было устроено в выгороженном углу старой фабрики, где работал когда-то мой отец. Мухи, до сих пор приклеенные к лентам, были мухами двадцатого столетия, мумиями эпохи моего отца; они умерли еще задолго до того, как фабрику переоборудовали в завод по производству компьютерных плат.

Сорок лет кряду, шесть дней в неделю, восемь часов в день отец проводил на этом этаже, сваривая детали огромных мостовых кранов, предназначенных для переправки контейнеров между берегом и бортом; кранов, которые лишили Питтсбург его рабочих, принося их в жертву божествам глобализации.

В молодости отец часто цитировал фразу Ленина: «Когда коммунизм придет хоронить капитализм, последний капиталист явится ко мне, чтобы продать гвозди для гроба». Но с годами он стал испытывать упрямую гордость за то, что остается последним гвоздем – стоит прямо, вколоченный в пол фабрики, молчаливый свидетель того, как его товарищи, изгнанные с рабочих мест, исчезают, будто они «зайцами» набились в изготовленные ими контейнеры и сгнули в открытом море.

Отец разрешил мне прийти к нему на фабрику один-единственный раз, когда мне было восемь лет. Он недвижно стоял на своем рабочем ме-

сте на другой стороне этажа – греческий полубог в шлеме, держащий факел. Стояла глухая зима, и на мне была темно-синяя куртка, припорошенная снегом. Отец поднял забрало шлема, будто салютуя, и лицо его озарилось бело-голубым светом несомого им огня. Я шел к нему через весь этаж и чувствовал, как из-под пола сквозь бетон просачивается стужа, извращенная стихия – она поднималась, хотя должна была опускаться. Работа еще ничего, всегда говаривал отец маме, но невозможно терпеть эту стынь, которой тянет с пола.

Пол, по которому хожу я, выстлан мягким синтетическим покрытием, пружинящим под ногами, как пробковое. Я ступаю по нему в хирургической обуви с мягкой подошвой и матерчатым верхом. Мой единственный коллега – робот. Мы следим за порядком в этих спокойных, стерильных владениях, тишину которых нарушает лишь негромкое мурлыканье автоматов, заточенных в стеклянный короб: там идет кукольный спектакль механических суставов, демонстрирующих себя.

Отец хотел стать летчиком, но Военно-Морские силы обучили его на радарного техника и высадили на палубу авианосца «Неустрасимый», где он всю войну управлял аэрофинишерами: своими тросами они цепляли истребители, садившиеся на скорости сто узлов в час, и тормозили их, не давая врезаться в стоящие на палубе самолеты или перелететь через корму и рухнуть в море.

Случить такому тросу сорваться, говорил отец, он рассек бы человека надвое.

Отец вернулся с войны нерассеченным, но мать заявляла, что голова его пребывает в двух пространствах, и как минимум одно из них находится где угодно, только не рядом с нею.

Их война продлилась куда больше времени, чем отец провел на той, другой войне. В своей розни, старинной, как Птолемея система, они отдалялись друг от друга, и снова сближались, и опять

¹ Чистое помещение – здесь: – помещение, где сведено к минимуму содержание в воздухе пыли, микроорганизмов, химических паров и т.д. Такие помещения используются в медицине, фармакологии, на предприятиях электронной промышленности, а также для научных исследований. (Здесь и далее примечания редакции.)

расходились по пересекавшимся орбитам, двигаясь то прямо, то попятно тем беспорядочней, чем сильней было их взаимное тяготение. Под конец расстояние между ними стало неизменным, и каждый застыл на своей позиции.

Телефон зазвонил снова. Я взглянул на экранчик и увидел лицо девочки-подростка, лицо моей матери – его не обрамляли, как сейчас, лиловые кудряшки, подпушенные химией. Маму засняли в тот миг, когда она, расслышав на бегу оклик «Роза!», резко обернулась к фотокамере моей тетки. Снимок был сделан в сентябре тысяча девятьсот сорок первого года. В стеклянном прямоугольнике личико ее горело румянцем, длинные, черные пряди волос разлетелись, спутанные и буйные.

Они обнаружили пятно, сказала мать.

Что за пятно?

У него на лёгком.

Разве не от этого он задыхается?

Тут что-то другое.

Я отвечал, что посмотрю, смогу ли приехать, если работа позволит. Услышав ее приглушенный театральный вздох, я проговорил “до свидания” и нажал на мобильнике кнопку отбоя кончиком пальца, точно стараясь не оставить отпечатка. Пройдя через весь этаж в свой маленький офис, я ввел на своем компьютере в систему поиска Google слова “дешевые авиарейсы”, но не мог заставить свои пальцы впечатать “Неаполь¹, Флорида» в графу «Пункт назначения».

Скоро мы нам достаточно будет одних мыслей. Микрочип, вживленный в наш мозг или укрепленный, будто крошечный бриллиантик, на мочке уха, приведет в действие гигантскую систему; раз, и готово, желание наше исполнено. Но нынешняя проблема была не из тех, что можно решить с помощью микрочипа, и пальцы мои отказывались двигаться.

На следующее утро она позвонила снова.

Доктор говорит, это что-то новое.

Новое что?

¹ Неаполь здесь: город, расположенный в округе Коллиер (штат Флорида, США).

Она говорит, это новое.

Она объяснила, что это такое?

Я в ее объяснениях ни слова не понимаю. Ты должен приехать и поговорить с ней.

Я посмотрю, смогу ли вырваться.

У него отказывают лёгкие, сказала мать. Он не может сделать выдох.

Я навел курсор на «закладки», и на экране снова вынырнула связка «Бронирование Дешевых Авиарейсов». Я выбрал рейс на самолет, отбывающий в восемь двадцать утра четырнадцатого февраля; ввел номер своей кредитной карточки, потом свой код – «Неаполь, Флорида, 2», – и нажал на кнопку ввода. Я отпечатал билеты в оба конца на двоих, а пять минут спустя вспомнил, что сделал еще не все – нужно было одновременно заказать и машину – и занялся этим, ругательски ругая себя за упущенную возможность получить при таком заказе скидку.

* * *

Для Вэлли это была первая поездка во Флориду.

Вокруг больницы росли финиковые пальмы и карликовый сабаль.

Ананасы, сказала она, точь-в-точь ананасы, зарытые в землю по самые листья.

Похоже, отвечал я. У нее был дар видеть вещи, которые я увидеть не мог.

Почему бы тебе не зайти сразу? Я припаркую машину, сказала она. Буду ждать в вестибюле, пока ты меня не позовешь.

Пойдем со мной.

За меня не беспокойся, я взяла с собой книгу.

В этот раз все будет нормально.

Я позже загляну, не хочу мешать.

Ты никогда не мешаешь, сказал я.

Вэлли не из зелененьких, заявил мой отец в редком приступе остроумия несколько лет назад, когда впервые встретился с нею.

Последние два года он всюду таскал с собой кислородный баллон на колесиках, будучи привязан к нему длинной пластиковой трубкой, которая шла от вентиля куда-то ему в нос, исчезая потом в дыхательном горле. Мать все умоляла его смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о трубку.

Оставь меня в покое, говорил он ей.

А мне: она уже столько лет проводила меня за нос, что я и не замечаю провода в носу.

Все больницы – настоящие лабиринты, которые навязывают вам задачу сориентироваться в пространстве, так что вы не думаете о времени. Заблудившись в длинных переплетающихся коридорах, вы как будто забываете, что в комнате по другую сторону бесконечного прохода истекает чье-то время, что, пока вы ищете дорогу, сбиваетесь с нее и поворачиваете обратно, там, за стеной, в нескольких футах отсюда, лежит человек, который уже не может вернуться по своим следам, кому уже нет пути.

Я миновал дежурный сестринский пункт, по виду неотличимый от всех прочих, если не считать сидевшего там крупного темнокожего мужчины, который игриво болтал с двумя медсестрами, печатавшими что-то на своих терминалах. Заметив, что я не пойму, куда идти, он, не вставая, выкатился на своем кресле из-за стола в проход и мягко коснулся моей руки. Хотя он сидел, а я стоял, глаза его находились на одном уровне с моими. На нем была рубашка свободного покроя – она стекала с его объемистой груди, каскадами спускалась по обширному животу и доходила до середины бедер, а на рубашке – сплошной рай: там раскрывали клювы в пении райские птицы, рассаженные среди клювастых цветов одного с ними названия;¹ рай, выглядевший совершенно немыслимым – как и любой другой.

Я не сразу разглядел над этой рубашкой черный воротничок священника.
Вы кого-то ищете, спрашивает он, *могу я вам помочь?*

Я ищу пациента, Джека Яблонски, своего отца,

¹ Райские птицы здесь: декоративные растения, цветы которых напоминают головку птицы с длинным клювом и ярким хохолком.

уточняю я, будто такое уточнение может помочь его найти.

*Voy a regresar en breve,*² говорит он медсестрам и, выбравшись под их хихиканье из кресла, встает во весь рост – на голову выше меня, огромный, тучный, живой монумент веры.

*No se olvide,*³ бросает он им через плечо, выводя меня в коридор.

Движением удивительно маленькой, пухленькой и мягкой ручки он указывает мне на полуоткрытую дверь, но, прежде чем я успеваю поблагодарить его, вдруг с силой придерживает меня другой рукой. Я бросаю взгляд на его пальцы, вцепившиеся в мой локоть. Сквозь защитную жесткость ногтей просвечивает коричневая с розовинкой кожа; я узнаю розовый оттенок, каким светится изнутри сияющая кожа Вэлли – но Вэлли начисто лишена защитной жесткости.

Помогите мне понять его, произносит он.

Простите, святой отец, не думаю, что это в моих силах.

Наверно, мое произношение виновато. Поможете ему понять меня, чтобы я мог до него достучаться?

Уверен, он прекрасно вас понимает, как бы ни отвечал и как бы ни отмалчивался.

Мой отец никогда не отличался словоохотливостью. Его скупые высказывания часто бывали едкими – как и его молчание. Многословие, тропические джунгли слов, влажные и буйные – это было по части матери. Она всегда любила пофлиртовать. «Разгульный рот», – говаривал о ней отец, хотя знал, как беззаветно она предана ему. Мать легко прижилась во Флориде, отец же так и не расстался душой с Питтсбургом и с зимой. Именно мать решила поселиться в пенсионном жилищном комплексе в Неаполе. Жить там было дешевле, чем в подобных комплексах на восточном побережье, а название города напоминало ей о родине. Флорида была сродни ее натуре, пылкой и шумливой. А у отца душа не лежала ни к Флориде, ни к жизни в пенсионном ком-

² *Voy a regresar en breve (Исп.)* Я скоро вернусь.

³ *No se olvide (Исп.)* Не забывайте.

плексе. Он нутряной ненавистью ненавидел холода, как личных мучителей, а здесь пыткой для него стала жара.

Я загляну попозже, говорит мне священнослужитель, подводя меня к палате. Он захочет побыть с вами без меня.

Вхожу и сразу вижу, что старый папин кислородный баллон валяется на боку в нише под окном, опустошенный, выдохшийся, и в его тошнотворно-зеленой поверхности завязло яркое послеполуденное солнце. Большой аппарат стоит в ногах кровати. Длинная трубка тянется к отверстию пластиковой маски на лице отца – рыболовная леса над низкими белыми волнами простынь, уходящая в черную дыру на его прожженном насквозь лёгком.

Глаза отца под лицевой кислородной маской кажутся выкаченными. Он напоминает пилота, которым всегда хотел стать, пристегнутый в полусидячем положении к ложу в своей кабине – палате интенсивной терапии.

Сколько помню себя, мама всегда вставала навстречу отцу или мне, когда мы входили в комнату. На этот раз она не трогается с места. Она сидит на краешке жесткого металлического стула, держась обеими руками за бортик кровати. Я подхожу, и она обнимает меня за пояс одной рукой, но, быстро убрав руку, поворачивается к постели, снова вцепившись в бортик, будто ее руки не держатся за него, а стараются удержать кровать на месте. Глаза отца, встретившись с моими, смыкаются. Веки ложатся на них, как древние монеты, серые, недействующие, лишенные силы.

Я думала, ты возьмешь ее с собой, громко говорит мать, перекрывая шипение кислородной трубки.

Она в вестибюле.

Ох, отвечает мать.

Они никогда не говорили: не приводи ее.

Тем лучше. Ему нужен покой.

Он никогда не знал покоя. Он терпеть не мог покой.

Одинокая муха, бесполезно искавшая в

стерильной комнате, чем поживиться, совершила посадку на лоб отца и, ошеломленная, сидит там на согнутых лапках; наконец, мама сбрасывает ее салфеткой.

Мухи вечно нервировали отца – их пронзительное жужжание напоминало ему визг японских истребителей «Зеро». Экипаж сперва видел их микроскопическими точками на горизонте и, едва сдерживая ужас, ждал, сколько их ускользнет от наших самолетов, в считанные минуты понизит расстояние до корабля, и будто разрастаясь, с резким гулом, переходящим в пронзительное завывание, ринется вниз, к палубе – или в море.

Она по-прежнему ходит с той прической? спрашивает мать, снова замахиваясь на муху.

Да, мама, с той же самой.

Как называются эти штуки – дохлоки?
Дредлоки.¹

Веки отца чуть размыкаются, открыв слезящиеся щелки. На мгновение неоновый свет лампы, висящей над изголовьем, прояснил его глаза и подцветил белые кустистые брови. Потом взгляд его соскальзывает в сторону, на меня, и вниз, на пол.

Что... это... за туфли?

Это рабочие туфли, отвечаю я, все инженеры их носят. Я забыл переобуться.

Голова его снова погружается в подушку.

От пола тянуло стынью, произносит он.

Да, помню, как я пришел туда...

Твоя мать достала мне ботинки... ботинки с каучуковой подошвой...

¹ В оригинале героиня называет прическу невестки «deadlocks», т. е. мертвые локоны (англ.); правильное название «dreadlocks», т.е. устрашающие локоны. Прическа представляет собой спутанные (искусственным или естественным путем) и заплетенные в косички или скрученные в тугие спирали пряди волос. Ношение такой прически может означать принадлежность к определенной культурной или этнической группе, а также быть данью моде или просто личным вкусам.

Они и сейчас у нас, эти ботинки, добавляет мать, пытаясь расправить его дыхательную трубку.

Его правая рука – левую удерживает на привязи внутривенная капельница – дрожа, слабо тянется к кронштейну, но, промахнувшись, падает на одеяло и лежит там, бессильная. Он хотел найти нужную кнопку, чтобы катапультироваться из кабины.

Легкие ему отказывают, шепчет мать. Он не может сделать выдох.

Подымите меня, выговаривает отец, будто желая опровергнуть ее слова.

Ш-ш-ш, отвечает она, лежи спокойно.

Я обезножил... Не чувствовал ног...

Ш-ш-ш, говорит она снова. Но ее успокаивающее шиканье сливается с шипением кислородной машины, и я знаю, что отец ее не слышит.

Мы выходим в коридор.

* * *

Я тебе когда-нибудь рассказывала, как познакомилась с твоим отцом?

Рассказывала.

В один прекрасный день прихожу я к нонно¹ Джо в его гараж, и вдруг слышу: за задней стенкой что-то шипит. Твой дед стоял под гаражным подъемником, поэтому я знала, что он тут ни при чем. И тут я увидела ногу в синей штанине, увидела ее через грязное окошко в задней стенке мастерской, это дед его туда встроил, чтобы обозревать весь участок за гаражом, и никогда он это окошко не мыл, уж не знаю почему. Он так гордился своим участком, ведь на родине он никак не мог бы стать владельцем земельного участка И вот эта нога в синей парусиновой штанине, она согнутым коленом упирается в землю там, на заднем дворе, и мне этого хватило: позарез понадобилось увидеть другую ногу и все, что к ней крепилось. Вышла, обошла гараж, а там

парень – стоит на коленях у нашей старой гальванической ванны. Ванна полна воды, а он стискивает резиновый шланг, заталкивает его под воду, будто старается утопить, и цепочка пузырьков подымается к поверхности.

Уж не змея ли здесь прячется в траве, сказала я своим лучшим театральным шепотом, потому что была тогда помешана на театре. Но говорила я так, будто в театре было пусто – чтобы напугать парня. Глупая была девчонка, ветер в голове.

Я и по сей день помню, как глянули на меня его светло-серые глаза, когда он вскинул голову, испугавшись до полусмерти.

Простите, говорю, я не заметила, что это вы шипите.

Он улыбнулся, не говоря ни слова, вытащил шланг из ванны, и показал мне место, где он нашел крошечную дырочку – достал тряпочку, обтер вокруг, и дал мне посмотреть. А потом разрешил мне самой приклеить заплатку.

Первые впечатления, по-моему, всегда верные, но только если скверные. Ну, а твой папа произвел на меня очень даже хорошее первое впечатление.

Твой дед каждому юноше-бедняку был как родной отец, ведь у него самого были только дочери, но этот бедный юноша стал сыном лишневатым. Мне едва исполнилось пятнадцать. Дед пытался помешать мне видеться с ним, и, конечно, не вышло. В конце концов он его уволил, но разлучить нас сумела только война.

Когда твой отец вернулся с Тихоокеанского фронта, нонно Джо уже был болен, а сердцем он был отходчив и предложил твоему отцу место управляющего в своей мастерской – это после того, как мы поженились. Но папа предпочел пойти работать на завод, где делали листовую сталь, и ничего хорошего из этого не вышло, потому что он примкнул к людям, пытавшимся объединить рабочих в союзы. Понятно, его уволили, но правительство тогда благоволило к ребятам, вернувшимся с войны, и он пошел на курсы сварщиков, и по закону о правах военнослужащих ему оплатили учебу; а когда он закончил учиться, его приняли на эту твою фабрику, а там

¹ Нонно (итал.) дедушка.

уже были профсоюзы, и потом, когда он вступил в профсоюз как старший мастер, его уже не решались тронуть. Кроме того, он был лучшим сварщиком на фабрике. Знаешь, что он изготавливал?

Ты мне рассказывала.

Он делал барашиковые гайки для кранов – и маленькие, как бабочки, и большие, как нарциссици. Так ты их назвал в тот день, когда он тебе разрешил прийти к нему в цех. Его это здорово позабавило. В жизни не видела другого ребенка, который боялся бы цветов.

Я это и сам слыхал.

Где Вэлли? Она не собирается прийти? Ее место сейчас рядом с тобой.

Она придет.

Я никогда не говорила тебе, но он и многие парни с его работы состояли в партии.

Я это знал, мама.

Он вышел из партии из-за цветных. Партия добивалась, чтобы на фабрики принимали всех. Твой отец не то чтобы не хотел работать бок о бок с цветными, просто он думал, что они отнимают рабочие места у белых.

Разве такое когда-нибудь было?

Странное дело, я встретила с ним под звук шипения, и теперь опять тот же звук, под конец.

И она заплакала, всхлипывая потихоньку, будто он мог дотянуться к ней через двери и зажать ей рот, или ее рыдания могли проникнуть в палату и укоротить его жизнь. Твои слезы меня убивают, говорил он.

Что-то произошло, сказала она, и быстро метнулась назад к его постели.

* * *

Машина, накачивавшая кислород в маску, шумела пронзительней прежнего, но глаза отца были открыты. Он поднял свободную руку и поманил меня к себе.

Твоя мама достала мне ботинки, произносит он, ботинки на каучуке. Я опять мог чувствовать свои ноги.

Его пальцы трепещут над аппаратом, подающим морфин, бессильные нашарить кнопку капультирования, которая в один прием выжала бы удушливый воздух из его легких и выбросила бы его самого из кабины в другое, незагрязненное пространство.

Твоя мама старалась удержать меня на ногах...

Звук кислородной машины уже не так пронзителен, и свист становится тише. Отец жует воздух, несъедобную облатку воздуха – он не может ни проглотить ее, ни выплюнуть. Потом свистящие звуки затихают, и язык его обмякает.

Губы его шевелятся, будто ловя последний, чудесный глоток воздуха. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его в щеку.

Позаботься о маме, шепчет он.

Свистящие звуки прекращаются. Его челюсть отвисает, несколько раз судорожно дергается вверх, жуя пустоту, и отец, мой отец, начинает спускаться в другое, более глубокое молчание.

В дверях я замечаю изогнутую тень косички: то прошла моя жена, храня свое – самоотверженное – молчание.



Артур Соломонов

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ¹

Главы из повести



ТВОЙ КОФЕ ОМЕРЗИТЕЛЕН

А Иосиф тем временем восседал за компьютером. Готовился писать. Как всегда, когда тема казалась ему важной, он, не желая того, становился важным сам. Глаза смотрели в монитор, излучая мысль чрезвычайной глубины. Лоб хмурился так сильно, словно едва сдерживал напор идей.

Он сделал над клавиатурой несколько пассов, отчего стал похож на пианиста, который разминает руки перед игрой. И вдруг ринулся на клавиши.

«Глубокоуважаемый Ипполит Карлович! Я бы не решился Вас побеспокоить, если бы не чрезвычайные обстоятельства».

«Нет, что-то не то», – Иосиф откинулся в кресле. Он внезапно застеснялся того, что собирался сделать. Повернулся к компьютеру вполборота, покосился на текст одним глазом и напечатал одним пальцем: «Мне стала известна информация, скрывать которую я считаю низостью».

Подумал: «Что-то от девятнадцатого века в этой фразе... Да ладно. Нормально». И застучал по клавишам одним пальцем, все еще продолжая немного стесняться того, что писал: «Режиссер Сильвестр Андреев за время Вашего отсутствия довел вверенный ему государством, Богом и Вами театр до полного морального разложения».

Иосиф снова остановился и с недовольством, все еще сидя вполборота к компьютеру, перечитал текст. «Нет, – думал он, – по интонации получается, будто я иронизирую. Что вообще со мной такое? Почему текст не задается? Такой важный текст? Ну да, мне симпатичен Сильвестр. Я вообще люблю людей талантливых. Но как же я могу молчать? Да вообще-то очень просто могу и молчать... – Иосиф загрустил. – То есть буду тихо ждать, когда явится Ипполит Карлович,

возьмет всю эту шушеру за хвост и выбросит из театра на улицу? А если я сообщу о беспределе – тут и откроется для меня перспектива. А когда меня вышвырнут вместе с Сильвестром – вот героем-то буду! Ха! Меня все на смех поднимут, и правильно сделают. Я бы первый такого дурня осмеял. Пришел в такой театр, провел тут три месяца, как сонная тетеря, и вместе с режиссером за его грехи – с вещами на выход! Нет, прости, Силя, я потом тебе много добра сделаю, а сейчас настал час предательства, – Иосиф тихо засмеялся. – Ну и фразочки в моей голове бродят! Что вообще со мной такое? Мысли какие-то инвалидные...»

Он встал из-за стола, выглянул в окно. Машина Сильвестра еще не вернулась. «Значит он, бедненький, до сих пор у Ипполита Карловича. Свое право на сцене куролесить отвоевывает, – с нежностью подумал Иосиф. – А я тут сижу, донос на него пишу. Одним пальцем, как бы не весь в этой подлости участвуя... – Иосиф ухмыльнулся. – А что? Я в этом деле не весь! И поступаю я как христианин. Моя левая рука не ведает, что делает правая. Сколько же раз вот так вот, выполняя завет их Бога, я падал жертвой их неприязни?»

Иосиф забарабанил пальцами по подоконнику. На душе было беспокойно.

Тогда он решил продолжить игру, которую начал, стыдливо печатая текст одним пальцем

Вообразил сурового судью, который обязывает его произнести оправдательную речь. Судьей он представил себя самого: в его воображении возник величавый толстяк в мантии.

«Ваша честь! – произнес Иосиф, естественно, про себя. – Сейчас я напишу и отошлю письмо, которое разрушит карьеру, да что там – жизнь Сильвестра. При этом я не скрою ни от себя, ни от вас, что он мне очень симпатичен. Я его уважаю. Так не становится ли мой поступок от этого подлым вдвойне – спросите вы. И я отвечу без единого колебания – нет! Разве я не во всем таков? Я ведь не только критик, я пишу статьи и против правительства, и за него. За оппозицию и против нее. Эти дураки с двух сторон баррикад, если бы узнали, закричали бы: “Ах, аморально! Ах, беспринципно!”»

¹ Полностью книгу А Соломонова «Театральная история» (М.: Альпина нон-фикшн, 2015) можно заказать по адресу: www.nonfiction.ru или телефону: 495-980-5354

Но давайте рассуждать не как банальные людишки, а как мыслители. Посмотрим на меня как на средоточие противоречивых, разнонаправленных сил и задумаемся: какова же моя миссия? Что я являю миру?»

Судья согласился посмотреть на Иосифа под таким углом. И он продолжил: «Раз один человек естественно и в каждом случае искренне высказывает абсолютно противоположные взгляды, это значит не только, что он продажная журналистская сволочь. Раз человек, искренне любя другого, столь же искренне его предает, это не значит, что он подлец и только.

Ваша честь, я вот на что хочу обратить ваше внимание. У всего один творец. Тьма и свет, добро и зло, правительство и оппозиция – все из одного источника идет и к нему возвращается. Я, Иосиф утомленный, исполняю свою нелегкую миссию – балансирую на границе противоположностей. Я мечтаю об их единстве, но нередко падаю жертвой в их борьбе. Но не теряю надежды! Надежды на то, что я способен совместить в своей душе левых и правых, про и контру, любовь и предательство. В такие моменты я чувствую себя сопричастным Тому, кто не ведает противоречий, не знает дуализма.

Я противоречив, я хаотичен, я непоследователен, как сама жизнь. Вот и сейчас я попробую, не предавая Сильвестра в душе своей, предать его на этом жалком компьютере устаревшей модели».

Толстяк в мантии был впечатлен. Он закивал головой и даже поднял вверх большой палец. И возвестил: «Заранее оправдан!»

И вдруг Иосиф понял, как нанести по Сильвестру удар сокрушительный. Наповал. «Как же я раньше не додумался? Надо писать отцу Никодиму! С ним-то, с Никодимом-то мы знакомы! И мое письмо он прочтет мгновенно! Его влияние на Ипполита Карловича огромно!» – внутренний монолог Иосифа прорвался наружу: последнее слово он выкрикнул от восторга.

«Какая же прекрасная мысль про отца Никодима! Он ведь правая рука, да что там – все руки и ноги Ипполита Карловича! И он давно точит зуб – да что там – все зубы – на Сильвестра. Блестяще! Все сходится. Это судьба».

Иосиф ринулся к компьютеру. Недавнее стеснение исчезло – вместо него нахлынуло вдохновение. Снова перед компьютером сидел охваченный творческим пламенем пианист, готовый покорить музыкальные фразы любой сложности. Он неистово заиграл на клавишах: «Глубокоуважаемый отец Никодим! Считаю своим долгом уведомить...»

«Ха! Уведомить? – приостановился Иосиф. – Подлое выражение... Ну да чем подлее, тем лучше. Так скорее станет понятно, добьюсь я здесь чего-то

или меня с позором вышибут».

Иосиф продолжил пламенный донос:

«...уведомить вас, что в театре, который так щедро одаривает Ипполит Карлович, творятся вещи возмутительные. Если спектакль, который сейчас репетирует Сильвестр Андреев, дойдет до премьеры, все будут говорить об Ипполите Карловиче как о меценате, поощряющем мужеложство».

«Ага, прекрасно! Мужеложство, это правильное слово...» – с удовольствием чмокнул тонкими губами Иосиф, словно пробуя это слово на вкус.

И он застучал-заиграл, слагая свой донос из возмущения, праведного гнева и страха за «и без того истощенную мораль нашего общества». Вписал было: «Дышащую на ладан мораль», но засомневался: «Лучше бы с ладаном поосторожней... Не дай Господь, что-то антицерковное ляпну... Нет, не надо ладана». Вспомнил и про буддиста Лоренцо. На мониторе явились новые строки: «Не стоит пояснять, что превращение монаха-христианина в буддийского монаха – это не просто каприз одаренного режиссера. Таким образом наш театр солидаризируется с глобальной сменой ценностей, с охватившим мир нигилизмом – а буддизм ведь не что иное, как нигилизм под видом религии. Что же будет проповедано со сцены нашего театра с помощью отца Лоренцо, кощунственно преображенного в буддийского монаха? Что нет добра и нет зла. Нет правого и неправого. Все едино. И в конечном счете ничего не существует. Вот такая философия стоит за этим, на первый взгляд, невинным театральным трюком!» В последнем пассаже письма была связь с недавно произнесенной Иосифом оправдательной речью перед воображаемым судьей. Но Иосифа это не смутило. Он чувствовал, что отцу Никодиму нужно писать именно так и именно об этом.

Вдруг дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял взволнованный Сильвестр. Иосиф мгновенно закрыл текст и улыбнулся режиссеру. Тот стоял, засунув руки в карманы джинсов, и смотрел на Иосифа с тревогой. Казалось, он не решается войти. Вдруг Сильвестр сделал шаг вперед и резко захлопнул за собой дверь.

– Ипполит Карлович в Москве. Черт его принес. Я уже у него был.

– И как он?

– Мрачен. И подозрительно ласков.

– Мрачен и ласков? Как это?

– Со мной подозрительно ласков, а на дне – мрачен. Что удивительного? Я, как мог, заморочил его. Но ненадолго. Орех крепкий.

Иосиф пригласил:

– Сильвестр, садись. Кофе? – спросил он участливо.

– Э, нет! Твой кофе омерзителен. Лучше Свету

попрошу принести. – Сильвестр позвонил: – Света, принеси кофе нам с Иосифом... – Иосиф отрицательно покачал головой. – Нет, принеси только мне. Спасибо.

Иосиф сказал тоном человека, который устал повторять:

– Все будет хорошо. Его православное сердце все спокойненько перенесет. И «Ле Монд» и «Ди Цайт» готовы опубликовать все, что нужно. Более того, тексты уже написаны.

– Ты?

– Ну а кто же? И в каждом тексте восхваляется Ипполит Карлович. За поддержку нового, актуального спектакля «Ромео и Джульетта». Ему расскажут, какой он молодец! Какой передовой молодец! А какой же православный устоит перед признанием Запада? – Иосиф хихикнул, улыбнулся и Сильвестр. – Не переживай! Эти статьи сделают озабоченного моралью богача намного снисходительнее к твоим театральным шалостям.

– Шалостям? Иосиф, ты наглеешь. На глазах наглеешь. Вот прямо сейчас наливаешься наглостью.

Иосиф смутился:

– Я имел в виду, что тогда он спектакль воспримет как гениальную шалость, а не как угрозу общественной нравственности.

Сильвестр погрозил пальцем Иосифу:

– Смотри! На тебя вся надежда, – сказал он и добавил весьма искренне: – Вот ужас-то.

Иосиф сделал вид, что не расслышал последних слов.

– Да ладно, что у Ипполита Карловича за вера... Так, верочка, – Иосиф хохотнул. – Да и вообще, мне кажется, зря ты его так боишься. Театр-то не его личный. Театр-то государственный.

– Иосиф, не будь ребенком, а?

– Ну да, да, глупость сказал. Хотел тебя как-то успокоить.

Вошла Светлана, улыбнулась режиссеру и Иосифу, отмерив толстяку гораздо меньше ласки. Молча поставила на стол поднос с чашкой кофе, печеньем и бутылкой воды.

– Светочка, не уходи пока из театра, хорошо?

– Что вы, Сильвестр Андреевич, я и не думала.

Светлана вышла. Сильвестр стал отпивать маленькими глотками кофе. Настроение его понемногу улучшалось.

– А отца Никодима ты видел у Ипполита Карловича? – спросил Иосиф.

– Ха! – режиссер отставил чашку от губ. – А они разве бывают отдельно? Только, наверное, когда Ипполит Карлович со своими красотками распутничает. И то, я думаю, с благословения святейшего отца.

Иосиф засмеялся и возвел глаза к потолку: мол, знаем мы все это лицемерное сообщество, знаем!

– А знаешь, как повел себя святой отец, когда меня увидел? – спросил Сильвестр. – Он как будто тайком меня перекрестил. Так, чтобы Ипполит Карлович видел, что он мне, нехристю, только добра желает. Я вот сопротивляюсь всему божественному, а он меня тайно, любовно святым крестом осеняет. Сволочь, а? – спросил Сильвестр не без восторга. – Бестия, а? Я его хоть и ненавижу, но чуть не закричал «Браво!» О таком актере в труппе можно только мечтать. А как ему идет ряса! Он будто родился в ней. Вот как надо носить театральный костюм! А наши актеры? Разве могут они так убедительно разговаривать, так естественно носить одежды героев? А его жесты – такие вкрадчивые, такие кроткие! А тембр, вносящий мир в душу! – в этой части Сильвестровой речи ненависть и восторг уже слились совершенно и загадочным образом друг друга подпитывали. – Лучший исполнитель роли священника из всех, кого я видел в церкви...

– Я думаю, пора начать пиар-атаку из-за рубежа. – Иосифу показалось, что слишком долгий разговор об отце Никодиме может выдать его планы. – Ипполит Карлович теперь бродит рядом с нашей тайной. Так пусть же его немного погладят европейские руки.

Сильвестр сделал такое выражение лица, словно внезапно ощутил запах тухлятины.

– Как же коряво ты, Иосиф, выражаться стал. Бродит рядом с тайной? Погладят европейские руки?

– Образно говорю, – Иосиф нахмурился. – Пусть его европейские газеты превознесут. А потом уже начнем массированный обстрел статьями. Сильвестр покачал головой.

– Обстрел статьями... Это, видимо, ниже журналистского достоинства – по-человечески разговаривать. Ну, да был бы результат. Не сердись, Иосиф... – сказал Сильвестр, увидев, как нахмурил тот свое толстое чело.

Иосиф в ответ еще бескомпромиссней нахмурился. Сильвестра развеселил его обиженный вид.

– Да, кстати, – добавил режиссер. – В довершение всех проблем Ипполит Карлович мне подарил еще одну. Он изъявил желание посмотреть на новеньких наших. Как всегда, встреча в «Неблизнем Востоке», его любимом ресторане.

– На новых актрис посмотреть? – усмехнулся Иосиф.

– Нет у меня для него новых актрис! Вообще нет новых актрис. Приведу Ипполиту Карловичу Сашу с карликом. Пусть полюбуется. Все равно он с ними разговаривать не станет.

– Так зачем это ему?

– Барин новых холопов видеть желают-с. И чтоб они прониклись его обликом, хочут-с. Чтоб знали, кому молиться.

– Но Саша-то не ляпнет, что он Джульетту

репетирует?

– Нет, что ты. Тибальта. Исключительно Тибальта. Я его предупрежу. И Ганель о своей новой роли промолчит.

– Всех новичков приглашает? А... а меня?

– А ты разве играешь у меня? – живо откликнулся Сильвестр. – Давно? Кого? Почему мне не сказал? Да не печалься ты, возьму тебя, возьму. Хотя меня столько людей просило, чтобы я им встречу с Ипполитом Карловичем устроил. Но я отвечал им только так, – и тут Сильвестр совершенно неожиданно поднес кукиш к лицу Иосифа. Тот отпрянул, а Сильвестр добавил: – Или вот так отвечал, – и создал из пальцев унизительную фигуру, именуемую «факом».

Иосиф смотрел, как рука режиссера выписывает малоприятные кренделя в непосредственной близости от его лоснящихся щек, и если были у него хоть какие-то сомнения насчет несправедности своего поступка, то сейчас, глядя на режиссерские выкрутасы, он решил отправить донос. Кукиш и фак очистили его совесть окончательно. Даже сподвигли на измышление новой интриги. Он вдруг хлопнул себя по лбу, словно вспомнил что-то очень важное.

– Слушай, а правда, что подружка Саши мечтает попасть к нам в труппу?

– Ах да! Черт, я и забыл, что обещал Саше на нее посмотреть. Она давно к нам мечтает попасть. Как-то не хочется мне сейчас его нервировать отказом. А ведь придется отказать. У меня молодых актрис перекомплект.

– А зачем отказывать? Она, говорят, очень красива.

– Ты с ума сошел, да?

– Да я не для себя! Ты же говорил, что Ипполит Карлович любит приехать в театр и выбирать себе артистку? Чтобы потом с ней в особнячке своем... канканировать.

– Да, это он любит, – со злобой сказал Сильвестр. – Тут его православное сердце не сопротивляется. Ибо возлюбил много...

– Он же ворчит, что у тебя новых актрис давно не появляется?

– Ах, вот ты к чему... Тогда у нашей Джульетты крыша отъедет уже навечно.

Иосиф небрежно махнул рукой:

– Когда это будет еще... А театр сейчас в опасности. Надо решать проблемы по мере поступления. Разве лишним будет сейчас преподнести меценату подарок? А наш Саша, наша Джульетта, может ничего и не понять. Он девушка юная, верующая в любовь.

Сильвестр внезапно, не прощаясь, вышел из кабинета, как делал всегда, когда чувствовал, что разговор исчерпан. Тихо закрыл дверь.

Иосиф, с лицом, на котором все еще отражалась обеспокоенность судьбой театра, открыл файл с доносом. Перечитал написанное.

«Нет, чего-то не хватает. Здесь нет моего искреннего возмущения. Надо создать впечатление, что оно меня переполнило и почти неконтролируемо выплеснулось в письмо. И я не сказал главного: что у меня есть план развития театра. Но тут надо как-то и скрыть волю к власти, и намекнуть, что она все-таки есть... Тонкая работа. Филигранная. Сегодня не смогу. Голова не работает. Завтра, завтра напишу вдохновенно!»

Иосиф встал из-за стола, подошел к окну и стал делать гимнастику для глаз. Глазки шныряли: вверх-влево-вниз-вправо, вверх-влево-вниз-вправо. Потом в обратном направлении: вверх-вправо-вниз-влево. И еще раз: вверх-вправо-вниз-влево...

Сильвестр же, выйдя из кабинета Иосифа, подошел к Светлане. Остановился перед ее рабочим столом и замер. Напряженно смотрел на нее, пытаясь вспомнить, что собирался сказать. Она очень хорошо знала и этот взгляд, и это замешательство. Улыбаясь, ждала указаний.

– Светлана... Светлана...

Сильвестр обводил глазами приемную, словно ища потерянную мысль, или бессознательно подражая упражнениям Иосифа (так или иначе, оба в этот момент усиленно вращали глазами).

– Да! – лицо Сильвестра озарила мысль. – Вот что! Сообщи-ка ты Саше, что я могу посмотреть его актрису.

– Его актрису?

– Это подружка его. Может нам пригодиться. Когда у меня время есть?

– Сейчас поглядим, – Светлана стала водить красным ногтем по записям в ежедневнике. – Завтра весь день забит, послезавтра забит... Вот! В пятницу у вас дыра с пяти до полшестого.

– Дыра в пятницу, – задумчиво повторил режиссер. – Вот и скажи о дыре Саше. Хорошо?

Приказания Светлана выполняла быстро. Через несколько секунд мобильный Александра заиграл «К Элизе» и на мониторе высветилось «Сцилла Харибдовна».

– Саша, в пятницу в пять Сильвестр Андреевич ждет какую-то твою актрису. Он сказал, что ты поймешь, о чем я говорю.

Светлана, конечно же, скрыла, что в курсе, кем Александру приходится эта актриса. Он, конечно же, понял, что она знает, но у него не было желания оценивать ее дипломатический такт.

– Да-да, я понимаю, о ком вы. Хорошо, я ей скажу.

Он нажал на сброс звонка.

Улица, которую он уже больше часа рассматривал с такой радостью, снова показалась ему тусклой.

Александр стоял у окна своей гримерной и вместе с радостью чувствовал нарастающее беспокойство. Что сулит ему приход Наташи в театр?

Дорогу к театру накрыл снег, и его то здесь, то там накрывали причудливые тени деревьев. Александр представил, как по этому снегу скоро «пройдется» и его тень. И ему захотелось поскорее уйти из театра.

* * *

– Это мой год! – воскликнула Наташа, когда узнала об этой фантастической новости. – Расскажи, Расскажи, как это было! – потребовала она.

Александр начал рассказ. Многое скрыл, еще больше придумал. Дело было так: они с Сильвестром за чашечкой кофе («хотя он, как всегда, пил свою любимую простую воду») неспешно беседовали о том, что пора бы влить в труппу свежую кровь. (Наташа смотрит на Александра счастливым взглядом и верит в это мгновение, что Сильвестр действительно обсуждал с ним вопросы такого уровня.)

– И тут, – сказал Саша, – внезапно и закономерно явилась ты!

– Явилась я! – повторила Наташа и засмеялась.

– Ну, не прямо ты, а тема твоего прихода. И если все будет хорошо – а как же иначе? – наша труппа пополнится тобой.

– Пополнится мной, – снова повторила Наташа.

Она повторяла и повторяла «явилась я», «пополнится мной», «в пятницу в пять» и радовалась этим словам, как будто они гарантировали успех.

СТАЛО БЫТЬ, Я ТОЖЕ РАБ БОЖИЙ

Нажимая на кнопки клавиатуры двумя пальцами, Иосиф зашел в свою почту. Вид у него был совсем не такой вдохновенный, как в тот час, когда он «творил донос на Сильвестра». У компьютера сидел лишенный энергии толстяк, и его пальцы вяло двигались от одной кнопки к другой. И вдруг... тусклый взгляд озаряется радостью. Печальный палец, который жмет на кнопку «открыть письмо», наливается бодростью.

В почте, среди рекламы и дружеских писем, сияет ответ на донос. Иосиф чувствует: сердце бьется все быстрее, а лоб покрывает испарина. Он достает из кармана рубашки не очень чистый носовой платок, проводит им по лбу, комкает платок и кладет рядом с клавиатурой. Приближает пухлое лицо к экрану:

«Дорогой Иосиф Матвеевич! Я прекрасно

помню наши краткие встречи и Ваши интересные вопросы на прессконференциях. Они всегда были заданы по существу, а не из желания, свойственного большинству журналистов, как можно изощреннее уязвить нашу Церковь. Бог им судья, поверьте, это самое страшное, что можно сказать.

Сердечно рад, что Вы поступили на службу в театр, которому столько сил и средств отдает Ипполит Карлович. Это очень важный для Москвы, для России, для русской культуры театр, и я с возрастающей тревогой слежу за тем, что там происходит. Теперь я с радостью вижу: мы тревожимся вместе».

Иосиф остановился, наслаждаясь тем, как выглядит это благословенное «мы», попробовал, как оно звучит и стал читать далее:

«Я понял, что Вы приблизились к крайней степени справедливого гнева. Настоятельно прошу Вас, не предпринимайте ничего в состоянии раздражения. Это только обнаружит Вас как недруга Сильвестра, и не позволит нам...»

«Бог мой – нам!» – прошептал Иосиф.

«...Отвести от этого удивительного театра страшный удар, который (Вы бы сказали – по иронии судьбы, я скажу – по наущению дьявола) – хочет нанести театру его же создатель, Сильвестр Андреев. Ваша неосторожность сведет на нет тот счастливый случай, что Вы оказались в недрах этого театра, сколь замечательного, столь и нуждающегося в исцелении».

Иосиф откинулся в кресле, прошептал хрустальной люстре: «Брависсимо!» и продолжил чтение, чувствуя, что слова, написанные отцом Никодимом, возвещают для него начало новой жизни:

«Сильвестр Андреев клеветает на творение, превращая на подмостках девушку в юношу, христианского монаха в буддийского, переворачивая с ног на голову все, что нелегко, что создано Богом так, а не иначе. А значит, он клеветает на Творца».

Дальше шла, как прошептал Иосиф, «философия», и он ее пропустил, задерживаясь только на главном:

«Но я опасаюсь, как бы мы не стали пешками в игре Сильвестра. А потому призываю Вас: будьте предельно осторожны. Когда Сильвестр кажется взволнованным, когда он совершает поступки импульсивные, когда открывается вам совершенно и безраздельно, именно тогда он ведет самую тонкую, самую изощренную игру. Я знаю, скольким людям он снес головы, прикидываясь растерянным и взволнованным, прикидываясь безопасным.

Иосиф Матвеевич! Вы сами, Ваша репутация, Ваше доброе имя – в опасности. Ведь сейчас, судя по Вашим словам, он искренен с Вами и действует как бы в беспамятстве. Это верный признак того, что он плетет интригу, цель которой нам с Вами неясна.

Вам нужно насторожиться и понять, как именно Сильвестр вознамерился Вас использовать. Ведь скорее горы сдвинутся, чем этот человек начнет действовать без задней мысли. Скорее реки повернутся вспять, чем он станет говорить прямо от сердца».

«Совесь ушей» Иосифа – возможно, единственный из видов совести, который у него остался, – возмущается претенциозной нелепостью Никодимовых фраз. Иосиф шепчет с некоторой даже брезгливостью: «Батюшка, дорогой, да вы какая-то провинциальная поэтесса».

Но больше столь сильными образами отец Никодим не злоупотреблял: «В ближайшее время я переговорю с Ипполитом Карловичем о том, что Вы мне рассказали. Уверю Вас, никто не узнает о нашей переписке. Такого же полного молчания я прошу и от Вас.

Благослови Вас Бог за то, что Вы решились написать мне!

Жду от Вас новых писем и сдержанности в речах и в поступках.

Храни Вас Бог.

Раб Божий Никодим».

Иосиф откинулся на кресле. По телу разлилась истома. Запрокинув голову, он шепчет белому потолку: «Вот я и завербовался... Теперь, стало быть, я тоже раб Божий...» Улыбаясь люстре, он перебирает в уме основные идеи письма – революционные для его жизни идеи. Он решает с большим вниманием прочесть «философию», которую лишь пробежал.

Проповедь Никодима была гневной, но Иосиф стал замечать за ненавистью к режиссеру и театру совсем иное чувство, которому пока не находил названия:

«Я знаю, театр есть театр, и артисты вынуждены представлять тех, кем не являются. Таково их ремесло, самое опасное для души из всех существующих. Но только в театре Андреева доходит до настоящих преступлений против образа Божьего в человеке. Души актеров изгоняются, чтобы вселить в них иные. В Церкви изгоняют бесов, а у Сильвестра изгоняют душу, чтобы бесы могли беспрепятственно войти в оставленный дом. Я понимаю, насколько коробит Ваш интеллигентский слух это слово, но для меня “бесы” – не образ, не символ и не метафора».

«Иначе и не может быть, святой отец, иначе и быть не может», – подбадривает Иосиф батюшку.

«Люди с выжженной душой ждут, когда в них вдохнут жизнь. И кто это должен сделать? Такой же человек, смертный и грешный, хоть и наделенный Господом уникальным даром – даром, над которым он надругался. Тем самым даром, который станет его главным обвинителем в День суда».

«Как же вам нравится воображать, – думает Иосиф, – как Сильвестр отправится в геенну огненную. Какая все-таки ненависть! Первозданная какая-то. От письма как будто дым идет... А Сильвестр? Как вчера он говорил про Никодима, как кричал, как свирепел? Будто один самим фактом своего существования подрывает смысл жизни другого... Они что, похожи? В чем?»

Иосиф нашел между ними связь довольно простую: «Оба – артисты, и битва идет – за публику».

Иосифа наполняют мысли о его предстоящей грандиозной роли в жизни театральной Москвы. О том, как он возглавит, отринет, проведет реформы, укажет пути... Тщеславие услужливо творит картину: Сильвестр Андреев покидает свой кабинет, освобождая место для нового вождя театра.

И вот портрет Иосифа уже возвышается в фойе над актерскими фотографиями. Вот отец Никодим благословляет нового отца знаменитого театра. А Ипполит Карлович смотрит на него – покровительственно, не без иронии, но все же с надеждой...

Придется признать: Иосиф неустранимо неадекватен, как почти все люди, годами пребывающие около искусства и деятелей искусства. Эти люди всегда подле и всегда не при делах. Всегда в гуще событий, но никогда не являются их авторами. Непричастная причастность, бурная, но безрезультатная деятельность, аплодисменты, всегда проносящиеся мимо. Возникает специфическое мучение, которое можно назвать «мучением недозначимости». И когда жизнь чуть-чуть приоткрывает дорогу ввысь, когда маячат перспективы и манят горизонты, они теряют голову, в воображении своем получая все возможные чины и звания, занимая все кресла, влияя на все процессы и определяя все тенденции. Такой полет обычно заканчивается плачевно, поскольку осуществляется только в воображении парящего. Тысячэтажное здание, созданное фантазией, рушится мгновенно.

Но сейчас – сейчас это здание растет, и у Иосифа кружится голова от блестящих перспектив.



Валерий Черешня

ЕСТЬ ПРОМЕЖУТКИ В ЖИЗНЕННОЙ ОСНОВЕ



* * *

Обнимаешь руками себя
(будто так ты скорее уснёшь),
только собственной плоти тепло
уверяет ещё, что живёшь.

Заключив эту тёплую дрожь,
упираясь зрачками во тьму,
«чем ты дышишь и как ты поёшь?», —
выдыхаешь себе самому.

Столько ночи собралось в вещах,
столько здесь над тобой темноты,
что, коснувшись чужого плеча,
удивишься, что есть и не ты.

Так нелепо и хлипко вокруг,
так ведёт жизнесмерть свой помол,
что её жернова не сомнут
лишь того, кто действительно гол.

ВЫХОДНОЙ

Анатолию Заславскому

Бежит солдат по переулку
на долгожданную прогулку,
он матерщинник без затей;
он завернёт, пропустит кружку,
обнимет скорую подружку
и разведёт протяжный клей.

Стоят бездымные заводы,
на них холодный дух природы
шершавой изморозью сел.
На самолёт неторопливый,

звнящий точкой комариной,
разинув рот, глядит пострел.

Морозный запах апельсинов,
упорство дивное спортсменов,
в избытке заселивших край;
кривые стёкла магазинов,
за ними лица манекенов
и скачущий по ним трамвай.

Майор сдувает пену с кружки,
обходит спящего пьянчужку
и гордо думает о том,
что он умрёт не пьяным вором,
не как собака под забором, —
в уюте, созданном трудом.

Иди и знай, как повернётся...
В квартирах медленно живётся
большим количествам людей.
Они выходят на прогулку,
солдат бежит по переулку...
Таков пейзаж воскресных дней.

* * *

Есть промежутки в жизненной основе,
куда влетается певцов родимых нить —
час сумерек в лесу сгустится в слове:
«я жить хочу...», и птица вскрикнет: «жить!».

В накате волн холодного залива
волнообразный звук, и глюковский поёт
Орфей, и тютчевский счастливый
прощальный свет над водами встаёт.

Услышишь скат ступенек дальней гаммы –
своих стихов зеркальное тепло;
поднимешь голову – и в небе Мандельштама
чернеет ласточки лекальное крыло.

Но как любить огромное дыхание
пустующего дня, кто им заговорит,
когда весь мир из тяжкого молчанья
несозданных стихов, возможно, состоит.

* * *

Капля камнем летит.
Ветер сминает рот
пьющим цветам.
Поёт
ливень, листва шумит.

Тело земли тяжелит
дождь, набухает плоть
сладостной влагой,
хоть
страшно, и всё болит.

Ночью потянет в рост
и разорвёт себя
косное семя.
Слепя,
дрождью прохватит звёзд,

мокрой живой земли
запахом, видно, здесь
ты и исчезнешь,
весь –
неотвратимость любви.

ШЛЯГЕР «ЭВРИДИКА»

Как мы вовремя успели!
Мы с тобой проедем снова
мимо жизни, мимо цели,
мимо Стрельны и Сосновой.

И приедем: что за местность?
не бывали здесь ни разу...
Ты на холм взберёшься: лес на
двадцать криков, тридцать спазмов.

Что за странная погода, –
ни зима кругом, ни лето,
непонятно время года,
да и света мало, света!

Да и ты почти что таешь,
шарик жизни, видно, сдулся,
ускользаешь, ускользаешь...
Боже, где я оглянулся?

* * *

Какая речь – угадная, слепая!
Как гальку, перекачивая душу,
полощет небо, времена смывая,
подтачивает гибельную сушу,

где заправляет затхлый запах лавки,
где бедный человек, хлебалец супа,
чужую речь, как поселянин Кафки,
встречает настороженно и тупо.

Но кто в густую темь её догадок
решился забрести, оставив разум,
увидит, как совпали боли складок
и сходит века нищая проказа.

ЛЕТО. БУНИН

1

Читаю Бунина, и терпкий вкус
готовности к любви и смерти разделяю
с высоким гордым стариком, –
неволью спину выпрямляю.

Живу в саду. И, как слепец,
лицом снимаю паутину.
Как будто я её покинул, –
так хороша земная жизнь.

2

Дней наших на земле
короткое стоянье,
как солнечный удар,
любви звериный пыл:
в двудышащем тепле
столь тесное слипанье,
как будто этот жар
им полдень одолжил.

И только точный стих, –
толчков сердечных сумма, –
даст выпрямить хребет,
хаос заговорив;
так летний вечер тих,
шепот дневного шума
и путаницу бед
в закате растворив.

* * *

Все глупости, все мерзости, все страхи
себе равны, не требуя метафор.
Клюют мозги уродливые птахи,
высасывая жизни нежный сахар.

Душа теряет юную пластичность,
в утробу мира разумом встая.
Египетских богов сухая птичность
сжирает всё, как хищных чаек стая.

И остаётся утлая сутулость,
вневременья светящаяся точка
над скрипом продырявленного стула,
над рукописи выправленной строчкой.

В ней детских трав спасительные трубы
волнуют воздух чистотою тембра,
и старческой растерянности Рембрандт
в плохой улыбке снова скалит зубы.

ОСЕНЬ В МИЛФОРДЕ

Тихий, тихий городок,
уложились в пару строк
день его и ночь его:
счастье так неразговорчиво.

Звёзд цикадная возня,
океана воркотня.

Тело беспокойно спит
в глубине своих обид.
Миг с тобой, продли его:
счастье так неповоротливо.

Свет крупницею во мгле –
область боли в хрустале.

Жизнь легка, как птичий свист,
вот газон смертельно чист –
выкошена полоса его:
счастье так неприкасаемо.

Вновь сухой листвы петит
в смерть нестрашную летит.

ИТАЛИЯ. ОБЛАКА

Какая-то счастливая земля,
в которой всё до опыта знакомо,
где лёгкий ветер, облака трепля,
сбивает их, как стадо, над Дуомо.

Шершавых стен и голубого дня
тезеевы спасительные нити,
вы, средиземноморская родня
слепивших нас, как облака, событий.

Так чисто-пусто утром в городке,
отцеженном пластом тысячелетий,
что женщина, идущая в платке,
наверняка, Мария. И пропеть ей

благую весть спешат колокола,
что мир её потерей будет тронут,
пока сыпается с небесного стола
такая ясность в наш душевный омут.





Михаил Якобсон

КАРЗУБЫЙ

Лагерная повесть



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЫСК

В этот день рабочие-заключенные дорожной бригады получили несколько буханок хлеба от своего освободившегося бригадника. При дележе возникла трудность. Один из рабочих заболел и остался в зоне. Как делить? Только на тех, кто на работе, или на оставшегося в зоне тоже? Хлеб был вольный, серого цвета – в лагере давали только черный. Если его найдут при обыске на входе в зону, возникнет вопрос, как эски его получили.

То, что у заключенных найден серый хлеб, означало бы, что они имели связи с вольными. А такие связи были запрещены. Вольные могли передать эскам не только продукты, но и наркотики, непроцензурованные письма, компасы и карты для побегов и даже оружие.

Подозрение в передаче хлеба наверняка пало бы на освободившегося. Эски опасались, что администрация воспользуется случаем и намотает ему новый срок за связь с заключенными. Начальство второй месяц не получало премиальных из-за невыполнения лагерем производственного плана. Каждый рабочий-специалист был на счету. А освободившийся был отличный вальщик.

Осторожным заключенным казалось, что разумней съесть этот хлеб прямо на работе. С ними спорил Шустряк – бойкий двадцатилетний парень. Это его друг заболел. Если хлеб попадет в зону, то Шустряку перепадет дополнительный кусок: друг поделится с ним. Опасения бригадников, что хлеб обнаружат при обыске, Шустряк отменил, заявив, что он сам понесёт хлеб и что у него на крюку один надзиратель, который пропустит его с хлебом. Заключенным

не верилось, что у Шустряка были знакомые среди надзора, но возражать ему не решались. Он мог бы обвинить их в желании зажать хлеб больного человека. Пришлось согласиться с его предложением. И понес Шустряк долю своего друга в лагерь.

У ворот заключенные вытянулись в линию для обыска. По обе стороны от них расположились конвойные солдаты, ожидая запуска заключенных в зону. Привычные движения надзирателя вдоль рук, под мышками, затем вдоль туловища и ног. Когда подошел Шустряк, скользящая вниз рука надзирателя задержалась у пояса. Шустряк сторел. Хлеб был нелагерный.

Надзирателю надо было передать его в оперативный отдел и приложить рапорт с описанием, как и у кого этот хлеб был найден. Но надзиратель неграмотно писал. Уже несколько раз офицеры смеялись над ним из-за ошибок в его донесениях, приговаривая, что к началу следующего года они подарят ему букварь и пошлют в первый класс. И надзирателю не хотелось снова переживать их насмешки.

"Да и заключенного жалко, – тут же подумал надзиратель. – В изолятор его посадят, допросами замотают, кто хлеб передал. Значит, всем будет хорошо, если это дело замять. Но куда хлеб? Ведь не отдавать же его? Выбросить!" И хлеб полетел, переворачиваясь темным комком, на серую дорогу, провожаемый голодными глазами заключенных.

До этого момента Шустряк подавленно молчал. Не столько из страха перед изолятором, сколько из стыда перед бригадниками. Наговорил им с три короба, какой он ловкий, как он надзирателя на крюк зацепил. И вдруг в один момент стало ясно, что он врал. Теперь они будут открыто говорить, почему он так

рьяно настаивал, что понесет хлеб в зону: жадный фрэерюга хотел себе большей доли. Неожиданный поступок надзирателя вывел Шустряка из состояния подавленности. Он почувствовал себя оскорбленным. Надзиратель выбросил хлеб, из-за которого Шустряк столько врал и ловчил. Гнев на надзирателя помог Шустряку забыть горечь унижения, и он охотно отдался гневу.

– Шакал, – закричал он, – ты чего хлебом бросаешься! Я его голодному человеку нес. Ты вон, кишка позорная, какой мозоль на брюхе отрастил, а мы здесь с голоду загигаемся.

Заключенным было досадно, что хлеб пропал, и вначале они были злы на Шустряка. Теперь же они, как и Шустряк, разозлились на надзирателя за выброшенный хлеб и одобрительно посмеивались, слушая шустряковские выкрики. И Шустряк, думая, что смешки зэков свидетельствуют о восстановлении его авторитета, распалялся все больше и больше. Он уже ругал не только надзирателя, но и всю систему лагерей, где, как он кричал, жирные и трусливые палачи, спрятавшись за автоматы солдат, обедают и эксплуатируют умирающих от голода людей. Затем он переключился на всю страну, в которой, по его словам, группа бандитов захватила власть и вот уже более тридцати лет терзает беспомощное население.

– Дали бы мне танк! Я бы вас танком, танком! Гусеницами – козлов вонючих, педерастов, в рот дранных!

Надзиратель молчал, давая злобу. Схватить бы этого Шустряка и бросить в изолятор. Но ведь тогда опер узнает о хлебе. "Выбрасывать нельзя было, – сетовал надзиратель. – Вот и делай людям добро. Попробуй только с заключенными по-человечески. Они сразу на шею сядут. А обнаглевший зэк хуже бешеной собаки".

А Шустряк, как бы в подтверждение этой поговорки, чувствуя слабину надзирателя, совсем разошелся. Он ругался лагерной руганью, состоящей из названий половых актов в самых разнообразных формах, и иллюстрировал свои слова движениями рук и бедер.

Дело, вероятно, на том бы и кончилось. Шустряк бы безнаказанно ушел в зону, гордый, что он не дал спуска этому тухлому менту, – высказал то, что порой мечтали сказать многие зэки. А надзиратель пошел бы в надзирательскую комнату на вахту, намечая придаться к

Шустряку по другому поводу и закатать его на пятнадцать суток в изолятор. Но получилось по-другому.

Конвойным солдатам было непонятно, почему надзиратель не наказал Шустряка. Но, привыкнув, что ругань надзора с зэками не их дело, они молчали. Лишь когда разгорячившийся Шустряк прокричал, что если бы у ментов не было оружия, то он, Шустряк, прямо здесь поставил бы их всех раком, а потом побил бы так, что им пришлось бы всю жизнь работать только на лекарства, один из солдат решил отговориться ответной грубостью.

– Да заткни ты свое хайло, пидар мокрожопый! Ведь если я подойду, у тебя и рука от страха не поднимется.

"Пидар" было сокращением от "педераста" – одного из названий для наиболее презираемой части лагерного населения. Этих заключенных презирали за то, что они, чаще всего принуждаемые к этому силой, играли роль женщин. И демонстрация презрения к ним считалась обязательной. Старые лагерники говорили, что те, кто не презирал педерастов, сами были тайными педерастами, и зэки, как правило, подчеркивали свою брезгливость к ним. Их не пускали спать в общий барак. Они ели отдельно. Повар, наливая им суп, высоко поднимал черпак. Пусть все видят, что черпак не прикасается к миске педераста. Даже помоечник, подбедаяющий лагерные отбросы, в ответ на предложенный педерастом хлеб мог ударить его за это оскорбительное предложение.

Однако, несмотря на такое презрение, зэки, а также солдаты, надзиратели и офицеры, часто ругавшие друг друга словом "педераст" (или каким-нибудь другим, означавшим то же самое – "козел", "петух"), при этом очень редко обижались на подобное оскорбление. И Шустряк в обычной обстановке мог бы легко пропустить мимо ушей слова солдата. Но сейчас, будучи особенно чувствительным к мнению окружающих о себе, он резко прореагировал на них.

– Ну, иди сюда, падла ментовская. Иди, волк. Я тебе так врежу, что тебя ни один архитектор не соберет. Иди, кишкотня позорная. Что, боишься?! Очко жмет?!

Личные отношения между солдатами и заключенными были запрещены. Если они возникали, то офицерам, контролирующим

жизнь лагеря, было необходимо найти виновных. Стремясь упростить следствие, они выработали удобное правило: за конфликт между зэком и солдатом неизменно наказывали зэка, за дружбу между ними – солдата. Это правило давало солдатам возможность безнаказанно оскорблять заключенных. И солдаты часто им пользовались. Но не всегда. Иногда разозлившийся солдат предпочитал не прибегать к помощи офицеров, а расправляться со своим противником самолично. В некоторых случаях он пристреливал зэка, но порой выходил против него один на один без оружия.

Так случилось и сейчас. Раздраженный руганью Шустряка и бездействием надзирателя, споривший с Шустряком солдат отбросил автомат и, легкий, красиво перетянутый ремнем, пошел к Шустряку. Смешки заключенных стали смолкать. Конвойные и надзиратели замерли в предчувствии новых хлопот, которые всегда следовали за нарушением рутинной жизни. В наступающей тишине отчетливо прозвучали слова солдата:

– Ну, проверим талию, Шустряк. Ты обещал бить – бей!

До этой минуты заключенные были скорее раздражены происходящим, чем заинтересованы им. Перебранка Шустряка с надзирателем и солдатом задерживала их у ворот. А они хотели быстрее пройти в зону, опрокинуть в рот миску супа и половник каши и растянуться на нарах. Но когда солдат встал перед Шустряком и потребовал исполнения старого лагерного закона "скажал–сделай", они забыли о супе и каше и потянулись головами туда, где, не спуская глаз друг с друга, стояли два двадцатилетних парня.

Такая сцена была не в новинку для зэков. Нередко один из них во время ссоры со слабым противником ловил его на слове, требуя, чтобы слабый выполнил вырвавшуюся у него угрозу ударить сильного. Все понимали, что такое требование было попыткой придать видимость законности избиению. Слабый знал, что его побьют, как бы он ни поступил. Если он ударит, то побои будут считаться ответом на его удар. Если же не ударит, его изметелят как труса.

Но, хотя зэки и жестоко били друг друга, избиение очень редко приводило к смерти. В данном же случае спорили не два зэка, а зэк и солдат. И дело могло кончиться смертью Шустряка. Если заключенный нападал на солдата, то

заключенного, как правило, расстреливали. Отступление же грозило Шустряку только позором. И потому присутствующие напряженно ждали, как он поступит.

Солдат, поставивший Шустряка перед выбором позора или смерти, не верил, что тот ударит. Стать трусом, конечно, ужасно, но все же лучше, чем трупом. Недельки через две сегодняшние события забудутся, позор загладится. Солдат ожидал отступления Шустряка и торжества своей решительности. Вот так надо обращаться с зэками. Он умеет это делать.

И Шустряк явно боялся. Его лицо побледнело. Кожа на шее и торчащих из-под куртки ключицах вздрагивала.

Но вот лицо изменилось. Оно стало резким. Глаза сузились. Губы сжались. Его правое плечо подалось назад, а левое вперед, будто он готовился ударить. Солдат, не желавший такого поворота событий, но не знающий, как изменить их ход, – отступление для него также означало позор, – приподнял голову, показывая, что он не намерен отклониться от удара.

Еще секунда, и два тела покатались бы по земле. Конвойные солдаты дважды бы выстрелили в воздух, сигнализируя о нападении на них заключенного. Прибывшие офицеры бросились бы разнимать дерущихся. Шустряк в горячке продолжал бы драться и с офицерами, выкрикивая, что он всех бы их, гадов, перебил, и добавляя тем самым материал для следователя и прокурора. Короткое следствие, показательный суд. Адвокат старался бы переложить часть вины на солдата, указывая, что тот спровоцировал Шустряка, противозаконно подойдя к заключенному. А прокурор тут же осадил бы защитника.

– Солдат виновен, – вероятней всего, сказал бы прокурор, – и он должен понести наказание за нарушение устава. Но сейчас мы судим не солдата, а заключенного, поднявшего руку на одного из работников лагерной системы с целью, которую заключенный сам сформулировал во время нападения – убить конвойного солдата. У меня нет сомнения, что если бы дать ему волю, он убил бы не только солдата, но и всех, кто мешает ему жить, как он желает. У подсудимого нет сдерживающих центров. Он не признает законов общества и не знает пощады.

Судья, зная, как далеко могли завести зэков

вспышки гнева, вряд ли нашел бы нужным нарушить инструкцию начальства, требовавшую вынесения смертного приговора заключенным за нападение на конвой.

И, когда Шустряк уже замахнулся, чтобы ударом кулака привести в действие всю эту машину следствия и суда, между ним и солдатом втиснулся высокий заключенный.

– Уйди, – сказал он солдату, – зачем ты вымогаешь? Ведь его убьют, если он ударит тебя.

Вмешательство Карзубого¹ – такзваливставшего между Шустряком и солдатом зэка – было таким же неожиданным для всех, как и вмешательство солдата в спор между Шустряком и надзирателем. Хотя все знали, что закон "сказал – сделай" использовался для прикрытия физической расправы, обычно заключенные не выражали сомнений в его справедливости и не возражали против отдельных случаев его применения.

Осуждали закон в основном те, кто, по своей слабости, не могли отыгаться за нанесенные им побои на других. Однако и они радовались, когда ссылаясь на этот закон, их мучители лупили друг друга. В отдельные инциденты вмешивались, как правило, люди сильные, подвижные симпатией или антипатией к участникам: не дать в обиду друга, не позволить восторжествовать врагу.

То, что одним из участников конфликта был солдат, нравилось другим заключенным (и они, как мы; и они понимают, как надо), но раздражало Карзубого. За долгие годы заключения Карзубый часто пользовался законом "сказал – сделай" для расправы со своими противниками. Спор Шустряка и солдата казался ему пародией на лагерную традицию. Вместо опытного лагерника – такого, как он сам – исполнения закона требовал двадцатилетний сопляк, к тому же в ментовской форме. Кашлять-то еще нормально не научился, сука, а туда же.

Заключенные, которым понравилось вмешательство солдата, как должное приняли возможное последствие этого вмешательства – редчайшее несоответствие между проступком и наказанием (смерть за удар). Если Шустряк решится ударить, то это его дело. Он не ребенок – знает, на что идет. Карзубый, напротив, был раздражен участием солдата и потому возмутился несоответствием между наказанием

и проступком. Мент должен понимать, на что он толкает Шустряка. Кровопийцы. Им крови нашей надо.

Солдат хотел выпутаться из этой истории и поэтому обрадовался, что Карзубый дал ему возможность отступить. Но, чтобы сгладить свое отступление, он возразил:

– А чего он треплется. Ведь обещал – делать надо.

Это возражение только взбесило Карзубого. Ведь мент, а права качает, доказывает чего-то.

– Обещал, обещал, – передразнил он солдата, – его мать ждет, а ты: "обещал".

Случалось, что жены, дети и другие родные забывали посаженных в лагеря людей. И заключенные не особенно упрекали их за это. "Пусть делают все так, чтобы им легче было, – говорили зэки. – Им жить надо". Но заключенным все же хотелось надеяться, что кто-то помнит их. И свои надежды они связывали с мыслью о матери. Мать, пелось в лагерных песнях, до гроба не забудет своего сына. Отношение зэков к матери было понятно солдатам. Армия оторвала их от дома, и им пришлось пережить забывчивость своих близких. Для многих из них возвращение домой значило в первую очередь встречу с матерью.

Слова Карзубого еще больше подчеркнули несоразмерность наказания, грозившего Шустряку за обещанный им удар. Ушлый зэк в положении солдата нашелся бы, что ответить. Ведь если Шустряк сам не заботился о своей матери, почему другой должен думать о ней? Но солдат не искал слов оправдания. Упрек Карзубого показался ему справедливым. Он молча повернулся и, приподняв от смущения плечи, пошел назад.

Карзубому не пришло в голову, что солдат сам не желал шустряковой гибели. Ему казалось, что тот отступил исключительно под влиянием его слов. И, гордый своей победой, он уверенно произнес, как бы подводя итог случившемуся:

– Вообще лучше дать хлеб голодному человеку, чем отнять у него.

Заключенные обычно воспринимали спор между людьми – а особенно между ментом и зэком – как состязание и болели за одного из противников. Чаще всего за сильного. Так, несколько минут назад им нравилась решительность солдата. Теперь же они

¹ Карзубый – лишенный передних зубов.
(Прим. ред.)

приветствовали успех Карзубого. Здорово он его оттянул. Знай наших.

Напряжение спало. Зэки снова вспомнили о еде и с нетерпением ждали запуска в зону. Лишь Шустряк снова разошелся. Он кричал, что если бы Карзубый не спас солдата, то он, Шустряк, оторвал бы солдату все ноги и заставил бы его танцевать танго, а потом дал бы ему в глаз и сделал бы из него клоуна. Но на него никто не обращал внимания, и он смолк.

Позже, проглотив ужин и растянувшись на нарах, заключенные добродушно посмеивались над Шустряком.

– Повезло тебе. С того света вернулся. Небось в детстве навоз хавал.

И Шустряк, радуясь, что все кончилось благополучно (под суд он не попал, в изолятор не угодил, люди говорили с ним дружелюбно, никто не вспоминал его промах с хлебом), охотно поддерживал шутку.

– А что? Все правильно. У нас в колхозе коровы приморенные были. Молока не давали. Только навоз от них и был. Так детей вместо молока навозом кормили. Вот всем нашим и везет. Особенно в драке. Кому в глаз, а нам в два. Кому по хоботу, а нам и по загривку.

* * *

Летом, как бы человек ни уставал в лесу за день, ночью почти не удавалось отдохнуть. Людей мучили два бича тайги: влажная от окрестных болот духота и мошकारа. Одно усугубляло другое. Марля, которую натягивали на окна от мошकारы, увеличивала духоту в помещениях. Заснуть удавалось только под утро, когда ветерок на два-три часа освежал воздух. Но в это утро Карзубому так и не пришлось уснуть. У него болел живот.

Зэки привыкли к болям. Особенно на повале. Им казалось, что не было работы тяжелей. На каменных карьерах и на земляных работах тоже тяжело. Но там, как устанешь или что заболит, руки сами кайлом медленнее машут и на лопату меньше груза берут. А на повале, – что в начале работы, что в конце, что спина болит, что ноги, – балан¹ одного веса. Его не отпилишь, не уменьшишь. Раз он на плече, тащи его целиком. Что-нибудь всегда болит на повале. Балан на шее повернулся кожу – с мясом

¹ Балан – очищенное от коры бревно хвойного дерева (Прим. ред.)

корой вырвал. Спина хрустнула – в ноге отдало. Обмороженные пальцы заныли. Порубился в спешке. А то зубы. У кого они от холода болят, а у кого, наоборот, на холоде ничего, а только рот закроешь, дергать начнет. Боль для зэка не сигнал, означающий: что-то не в порядке. Сигналь – не сигналь – все равно не помогут. Боль – это то, что надо терпеть.

И Карзубый умел терпеть. Только вот боль в животе была не просто болью. Она напоминала ему, что он скоро умрет. Заезжий врач нашел у Карзубого цирроз печени. И Карзубый знал, что от цирроза умирают.

Смерть часто приходила в лагерь. Во время войны умирало по несколько человек в день. Карзубому долго везло. Он пережил многих. Теперь пришла его очередь. Тут ничего не поделаешь.

Но одно мучило Карзубого. Его ни разу не поцеловала, не говоря уже ни о чем другом, женщина. Арестовали пацаном. И освободиться не пришлось. Он бежал, но его быстро ловили. Из тайги так и не вырвался. Сейчас у него возникла надежда. Менты обещали отправить его в Центральную больницу. А там женщины работали врачами. Что они его вылечат, он не верил. Цирроз не лечили. А вот возможности посмотреть на них радовался. Втайне Карзубый мечтал, что он выберет ту, которая похорошеет, и попросит ее:

– Послушай меня и не пугайся. Люди так много говорят, как женщина целует. А я вот умираю и не знаю, что это такое. Так, может, ты поцелуешь меня. Ведь другого случая у меня уже не будет.

"Вдруг, – подумал он, посмеиваясь над собой, – она и согласится". Попросили бы его, он бы ни одной не отказал. Даже если бы она была, как и он, страшной войны.

* * *

Инцидент на обыске дорожной бригады взволновал надзирателя. Если бы Шустряк ударил солдата, всплыло бы дело о хлебе. Спросили бы, почему он его выбросил. А разве скажешь, что рапорт побоялся писать по безграмотности. Стыдно. Хотя и стыдиться нечего. Колхоз, голод, война. Горожанам легче было. Они учились. Сначала в школах, потом в институтах. И бесплатно.

Это, конечно, чушь, что бесплатно. Кто-то

же учителям зарплаты дает. Если те, кто учится, не платят сами, за них платят те, кто не учится. И поскольку образование, как собственность, переходит по наследству от родителей к детям, то выходит, что семья неграмотных на грамотных кайлит.

Послушать же образованных, так это справедливо: каждому по способностям. До чего только люди не договариваются, чтобы выгоды свои защитить. По-ихнему выходит, что тот, кто в деревне родился, тупей городского. И кто в маленьком городе живет, глупей того, кто в большом. А секрет их образованности один: в больших городах школы лучше. После них легче в институт поступить, экзамены сдать. Да и родители помогут. Тому позвонят, тому подлапят. Так и устроят своих детей в институты. Благо институты все под рукой – в больших городах.

И дети, выучившись, на необразованных свысока смотрят. Женятся только друг на друге. Дескать, у образованного с необразованной жизни не будет – говорить им не о чем. Насчет разговоров, это, конечно, муть. Правда та, что без образования никуда не сунешься, теплого места не займешь. Вон все лагерные офицеры в специальных школах учились, а некоторые институты позаканчивали. И жены их не на стройках работают. Кто врачом, кто бухгалтером. Деньги к деньгам, а должность к должности.

Дома жена сразу увидела, что он был чем-то расстроен. Она быстро накрыла на стол. Выпьет, поест – всё иным покажется. Это он с голоду что-то в голове накрутил.

Они уже десять лет вместе. До этого она настрадалась без мужчины. Хотя тело у нее ладное было, и двигалась она ловко, но глазами косила. А на войне и в лагерях столько мужчин погибло, что оставшихся и на красивых не хватало. И решила она на север податься. Там было все наоборот. Мужчин много, а женщин мало. Готова была – за кого угодно. За освободившегося зэка, конвойного солдата, местного жителя. Лишь бы не быть одной. Ее решительность окупилась. Нашла. А ее подруги в Центральной России так и остались в бобылках.

Она хорошо помнила свое беспросветное одиночество и старалась радоваться каждому дню с мужем. Он, видя ее преданность, сначала носом крутил. При первой возможности в город

стремился – там женщин много. Она терпела. Но как-то раз он позвонил ей из города во взвод. Только там междугородний телефон был. Ее позвали. И он кричал ей, чтобы она ни с кем не была (она и не была ни с кем), что он прибьет ее, если у нее что будет. Она тогда чуть не заплакала от радости. Дождалась. Он, наверно, в городе у какой-то крали от ворот поворот получил. Но разве уж так важно, почему он ее любить стал.

И теперь она ждала его каждый вечер, чтобы прижать его, зацеловать холодными от желания губами. Он шутил, что у нее жар со всего тела в одно место ушел. А потом зажечь свет, чтобы он увидел ее – раскрасневшуюся и счастливую – и самой увидеть его лицо, отрешенное от всего, красивое и благодарное.

Однако сейчас он ел, зло бросая в рот кусок за куском, (так он сможет и быка сожрать, думала она) и продолжать кого-то ненавидеть. Но вот еда свое взяла. Лицо прояснилось.

– Ну, как дела?– спросил он.

– Ничего, Павел Лукич,– она всегда его по имени-отчеству называла. – Вот в клубе кино идет. Пойдете?

Предложила, но не хотела, чтобы он согласился. После кино он устанет – спать сразу захочет. И он, понимая, что у нее на уме, улыбнулся. Да ну его, кино это. К тому же, там эти грамотеи-офицеры будут. Видеть их сегодня неохота. И, прижимая ее к себе, он забывал об обыске, Шустряке, Карзубом, офицерах. Эх, жаль, детей у них нет. Что-то там не в порядке. Ну, и так хорошо. Зачем зря жаловаться. И казалась ему жена все красивее и красивее.

* * *

Солдат был подавлен случившимся. Если бы не вмешался Карзубый, думал он, Шустряка бы наверняка расстреляли. И расстреляли бы из-за него. Он вспоминал, как гордо шел к Шустряку требовать, чтобы тот его ударил, и ему становилось стыдно самого себя. Как хорошо, что Карзубый подоспел вовремя.

В столовой, обсуждая с другими солдатами происшествие на обыске, он узнал, что Карзубому отказали в отправке в больницу. Мест не хватало и для тех, кого можно было вылечить. Врачи считали Карзубого безнадежным. Весть о неминуемой смерти человека, который, как солдат думал, выручил его из беды, произвела на него сильное впечатление. И солдат решил, что завтра скажет Карзубому, как он ему благодарен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Побег

На севере зима длилась десять месяцев, два приходилось на лето. Зимой тайгу покрывали белые мухи – снег. Летом – настоящие. Мухи и мелкая мошкара-гнуз исчезали только на пару часов рано утром. Остальное время они с воем носились в воздухе и в поисках пищи тучами набрасывались на все теплое: радиаторы машин, автоматические пилы, лошадей, людей. Лица шоферов, вальщиков, коногонов опухали от укусов насекомых так, что глаз не было видно. И все же летом природа была менее враждебна людям, чем зимой. Тайга не грозила немедленной холодной и голодной смертью. И потому летом ээки бежали.

Трое заключенных дорожной бригады – Амбал, Полковник и Инвалид – готовились уйти в побег. Жена Полковника спрятала в условленном месте одежду, деньги и документы. Вечерами потихоньку от других Амбал с друзьями обсуждали, как лучше бежать.

Побеги делились на вооруженные и невооруженные. В первом случае ээки нападали на конвой и забирали у солдат оружие. Во втором нападения не было.

Администрация всеми силами старалась предотвратить побеги. Ей удалось практически исключить два вида невооруженных побегов, происходивших чаще всего: через подкоп из зоны и на рывок из строя.

Подкоп требовал трудоемкой и длительной работы, которую – «из-за вас!» – возраставшего числа оплачиваемых администрацией доносчиков – стало невозможно выполнять в тайне. Когда же в каждом лагере создали специально подготовленные группы солдат для поимки бежавших, стал неосуществимым и побег на рывок. Такой побег всегда был рискованным, так как бежали в открытую, надеясь, что стрелки промажут. Сейчас солдаты, даже если они не убивали и не ранили беглецов, выстрелами сообщали о произошедшем побеге. И специальная группа с собаками выходила на след незамедлительно. Убежать от вооруженных тренированных солдат невооруженным заключенным удавалось настолько редко, что побег на рывок стал скорее актом отчаяния, чем серьезной попыткой уйти из лагеря.

Но если в борьбе с невооруженными побегами администрация могла подготовиться и, затратив деньги и время, одержать верх, профилактика вооруженных побегов была практически невозможна. Судьба вооруженного побега определялась на месте. Она зависела от решительности беглецов и бдительности солдат.

Когда существовала реальная возможность бежать без насилия, нападений на конвой было мало. Когда же заключенные не видели шансов бескровного побега, они решались напасть. Таким образом, чем успешней администрация предотвращала невооруженные побеги, тем чаще при побегах происходили кровавые столкновения между ээками и солдатами.

Не найдя другого выхода, Амбал, Полковник и Инвалид решили напасть на конвой. Нападение, рассчитывали они, даст им наибольший отрыв от группы преследования. О побеге станет известно не сразу, как при побеге на рывок, а только через несколько часов, когда заключенные (солдаты будут убиты) дойдут до лагеря и сообщат о случившемся. Амбал и его друзья знали, как коротко время побегов – северное лето – и с нетерпением ждали удобного случая.

* * *

Поскольку дорожники не работали на одном и том же участке, а должны были перемещаться (при ремонте дороги они часто проходили по тридцать километров в день), администрация выделила им отдельный конвой, состоящий из трех стрелков. Отношения с конвойными солдатами были важны для всех ээков, а для тех, кто работал под отдельным конвоем, – особенно.

При плохих отношениях конвой мог задержать бригаду придирами: остановить в строю, запретить жечь костры, торопить с перекурами, заставить лечь в грязь. Хорошими считались уже те солдаты, которые вели себя нейтрально, не вмешиваясь ни в работу, ни в отдых заключенных. Более тесные отношения, когда конвой за какую-нибудь мзду (ручной портсигар, расшитый кисет) приносил тихонько подогрев (в основном еду), исключительно ценились заключенными, но возникали редко. За связь с ээками солдаты рисковали свободой, а скрыть эту связь от многочисленных доносчиков было трудно.

У бригады дорожников, где работал Карзубый, установились более-менее нейтральные отношения с конвоем. Зэки не ждали от солдат ни плохого, ни хорошего. И потому все были удивлены, когда по приходе на работу к ним, ни от кого не таясь, подошел солдат, споривший на обыске с Шустряком, и протянул сверток Карзубому.

– Вчера, – начал он, – ты сказал, что лучше дать голодному человеку хлеб, чем отнять его. Здесь хлеб. Четыре буханки. Возьмите. А тут сахар. Говорят, помогает от цирроза.

Карзубый растерялся. Он, как и все зэки, был, безусловно, рад передаче. Но ни он, ни остальные не понимали, зачем солдат делал все в открытую. Можно было найти безопасный способ передать хлеб. Спрятать его в сучках, а затем шепнуть, где искать. Этот же парень играл с огнем.

Однако растерянность Карзубого длилась недолго. Он быстро объяснил себе, что солдат сдурил по неопытности. И ему стало жаль его. Вот додик столичный. Такими, как он, сексоты и питаются.

Мы благодарны тебе, начальник, сказал Карзубый. Только тут загвоздка есть. Предупредить тебя надо. Раньше зэки могли своим судом какого гада при всех в бараке повесить и никто по делу не шел. Сейчас в зоне нет угла, в котором чихнуть можно было бы без того, чтобы опер не узнал. На тебя за этот хлеб и наши, и твои донести могут. Но со своими мы расправимся. Если кто поддует, то мы его на собственных кишках повесим. А с твоими сложнее. Пригласи их к нам подчифирить¹. Если у них самих рыло в пуху будет, они к начальству бежать испугаются.

Солдат слышал о доносах, но сам никогда не страдал от них и потому не очень боялся доносчиков. Увлечшись идеей отблагодарить Карзубого, он легко уговорил себя пренебречь опасностью. За раз ничего не случится, думал солдат, а он только передаст им хлеб и больше не будет с ними связываться.

Теперь выходило, что он ошибся. История с хлебом требовала продолжения. Его первым побуждением было отказаться от встречи с зэками. Он хотел сказать, что не боится наказания и потому не считает нужным звать солдат. Но осторожность взяла верх. Зачем рисковать? Карзубый предлагал разумный

выход. Если солдаты нарушат правила (чифирнут с зэками), то они вряд ли пойдут доносить на него. Кроме того, раз подчифирить не значит завязать отношения. Все зависит от него. Он может прекратить их, когда захочет. Эта мысль ободрила солдата. И он согласился пригласить других конвойных.

Когда солдат ушел, Карзубый расстелил бумагу от свертка на пенке, положил на нее хлеб и начал резать его выдернутой из куртки ниткой на двадцать четыре порции – по количеству рабочих. Затем на каждый кусок он насыпал сахару и крошки, собранные с бумаги. Карзубый мог оставить сахар себе. Солдат дал его Карзубому лично и подчеркнул "от цирроза". Но, чтобы не возбуждать зависти и не провоцировать доносчиков, он решил разделить сахар со всеми.

Заключенные стояли вокруг Карзубого. Некоторые жадно глядели, как он резал, и высматривали большой кусок (совсем ровно на глазок разрезать было невозможно). Другие подсматривали мельком, как бы стесняясь быть нахальными, но хорошо замечали, где лежали более внушительные порции. Третьи, отчаявшись выиграть при подобных дележах, прибаутками старались скрыть тревогу, что их обделят.

– Второй день везет. Для полного счастья не хватает только гимназисток.

– За два дня гужовки кишка разовьется, а потом ее укорачивать придется.

– Коммунисты в Кремле амнистию дадут, и в Хорезме ишаки сдохнут.

– Ты, волк, быстро не глотай. Подожди. Вдруг хлеб-то назад попросят.

– Фраера, – обратился ко всем Карзубый, кончив резать, – если мы подцепим солдат на крюк, у вас будет больше шансов вернуться в свои колхозы, пробиться в счетоводы и жениться на доярках. Вы не будете поднимать ничего тяжелее карандаша. Дождь будет идти, когда вы будете под крышей. И елки вы будете видеть только в дурном сне и под Новый год. Если же кто из нас доносом помешает осуществлению этой светлой мечты, то мы его три раза подкинем и только два поймем.

Заключенные смеялись:

– Ты говоришь, как пишешь. Жаль лишь, что ты безграмотный.

Солдаты колебались, не зная, идти или

¹ Чифирь – очень крепкий чай. (Прим. авт.)

не идти к зэкам. Если от плохих отношений между конвоем и заключенными страдали зэки (солдаты могли пристрелить зэка и оправдаться, заявив, что тот хотел бежать), то при хороших в проигрыше были солдаты. Офицеры их наказывали, зэки иногда убивали. Опытные конвоиры предупреждали молодых, что нельзя верить заключенным: дружбы между стражником и острожником, говорили они, не было никогда и быть не может.

Но, с другой стороны, пойти хотелось. Многие вольные сочувствовали заключенным: в редкой семье хотя бы один родственник не побыл в лагере. Солдаты знали об этом сочувствии. И им хотелось похвастаться на гражданке, что, несмотря на обязанности конвойных, они относились к зэкам хорошо, имели друзей среди заключенных. К тому же им было неудобно отказать своему. Солдат так настойчиво просил их пойти вместе с ним. И они согласились.

Заключенные, обрадовавшись возможности подружиться с конвойными, старались вести себя исключительно тактично. Они догадывались о страхах солдат и, стараясь их успокоить, держались от конвойных на расстоянии нескольких метров. Солдаты уселись в круг с зэками, сунув автоматы между ног. Пока один заключенный вываривал остатки чая, держа над костром черную от копоти кружку за длинную проволоку, скрученную в виде ручки, началось обычное для лагерных знакомств выяснение, кто откуда родом. Когда же кружка с чифирем обошла круг, разговор стал более оживленным. Старые, надоевшие зэкам лагерные шутки из-за живой реакции на них солдат снова казались смешными.

– Я за подрыв колхозного авторитета попал. Колхозную курицу проституткой обозвал.

– А я за скаты, – вмешался Чума. – Я их четыре взял. Так мне судья решил по пятерiku за каждый скат дать. Вот восемнадцать и получилось.

– Почему восемнадцать? Двадцать надо, – сказал один солдат и тут же смутился.

Лицо Чумы расплылось в довольной улыбке: все попадались на эту удочку.

– Судья неграмотный был. Помножить не смог. Ошибся.

– Да вы не слушайте их, – влез Колыма. – Ему казалось, что зэки неосторожными насмешками могли сорвать установление

хороших отношений с конвоем. – Здесь все ни за что сидят. Они уже по червонцу кончают и все в несознанке идут.

– Как ни за что? Я за то, что красть не умею. Один крадет, так его закон защищает, другой закон обходит, а я вот по простоте да по неопытности здесь загораю.

– Начальники, не верьте ему, – возразил Дурак. – Мы все идейные. Добровольно здесь трудимся. Нам и денег не надо. Было бы тяжело.

– Ну, уж ты работяга! Тебе где бы ни работать, лишь бы не работать.

– А что, – подхватил Дурак, обрадовавшись возможности сказать еще одну шутку и не беспокоясь, что взятая им в новой шутке роль противоречила предыдущей. – Работа – слово греческое. Пускай кто выдумал, тот и работает. Мы так и живем: нас толкнули – мы упали, нас подняли – мы пошли.

Зэки, желая показать себя, лезли из кожи вон. И солдаты смущались от этого внимания. Их лица, покрасневшие от смущения и горячего чая, стали по-детски милы. Они явно нравились заключенным, особенно пожилым.

«Эти еще краснеть не разучились, – думали зэки, – не то что наши шакалы. Те нахальны, как танки. Совесть и не ночевала. Глаза что зимой, что летом отморожены. Без похабства на людей смотреть не могут».

Последнее относилось к нескольким стоявшим сбоку от солдат молодым заключенным, которые, привыкнув к лагерной половой жизни, привыкли и открыто говорить о ней. Сейчас они разглядывали румяных и чистеньких по сравнению с зэками солдат и с нарочитым мужским задором делали хорошо понятный лагерникам жест. Держа руки впереди бедер, они резко прижимали их к нижней части живота, двигая одновременно руки и бедра навстречу друг другу. Этот жест как бы значил: "Эх, дали бы мне этого солдатика. Ширнул бы я его кожаной иглой в тухлую вену. Порвал бы ему очко".

Амбал и его друзья стояли в стороне. Случай подвалил. Давно ждали. Второго такого может и не быть. Но Инвалид колебался.

– Они же хлеб принесли. Может, не рубить их, а просто бежать?

– Куда бежать? – разозлился Полковник. – Они через несколько минут рюхнутся, в воздух выстрелят. А от тех борзых не уйдешь. Да ты

чего менжуетесь? Если очко жмет, то и рыпаться не надо. Подыхай здесь.

– И что ты их жалеешь? – поддержал полковника Амбал. – Побежал бы ты у них на глазах, они бы тебя за милую душу пристрелили, и им бы еще отпуск за меткую стрельбу дали. Ты не гляди, что они сейчас хорошие. Стрелок он и есть стрелок. Нам бежать – ему стрелять. Вон они, волки, как за автоматы держатся.

И Инвалид согласился рубить солдат. Втроем они быстро подошли к тем сзади. Солдаты увидели, как вытянулись лица сидевших перед ними эков. Почувствовав неладное, они хотели обернуться, но не успели. Только у Инвалида рука дернулась. Пришлось добивать кричавшего и бившегося на земле солдата. Топоры раскроили черепа, и кровавые мозги вылезли наружу.

– Ну, мясники, навалили, – зло выдохнул Чума, прерывая охватившее всех оцепенение. – А мясо-то молоденькое.

– Кто хочет бежать – бегите, – сказал Полковник.

Заключенным было жалко симпатичных молодых людей, принесших им хлеба. Но смерть этих людей создала возможность побега. И эта возможность с надеждой "рискну и выйдет" и страхом "рискну и поймают" отвлекла внимание эков от убитых солдат.

Заключенные знали, что без помощи с воли (одежда и документы) их шансы на успех были лишь незначительно больше, чем при побеге на рывок. При вооруженных побегах Управление лагерей посылало дополнительные части солдат, которые перекрывали все выходы из тайги. Местные жители боялись голодных вооруженных заключенных. Они помогали солдатам – сообщали им, когда замечали беглецов.

Неудача при вооруженном побеге почти всегда значила неминуемую смерть: или сразу же при поимке – от стрелков, мстящих за своих убитых товарищей, или по суду, который обычно считал всех заключенных, которые для побега воспользовались убийством солдат, соучастниками в убийстве. И потому даже самые рискованные, готовые бежать при малейшей реальной возможности эки, молчали и ждали, что еще предложат им организаторы побега.

А тем нечего было предложить. Все, что у них лежало в тайнике, было рассчитано на

троих. Но, хотя они не могли никому помочь, им хотелось, чтобы другие тоже бежали. При массовом побеге в разные стороны им будет легче добраться до тайника. Собаки в суматохе, может быть, вообще не возьмут их след. Если же и возьмут, то меньше солдат будет их преследовать: и за остальными ведь бежать надо. И они смотрели на бригадников, стараясь понять по их лицам, что те решат. Нет, видно, никто не хотел рисковать.

– Кишкотня позорная, – выругался Инвалид. – Вам на роду написано на ментов пахать. А на лбу приписано "без выходных". Из-за таких рабочих скотов, как вы, лагеря и существуют.

Экам было понятно, почему досадовал Инвалид.

– Ишь, козел, – думали они, – на наших трупах на свободу вылезти хочет. Врезать бы ему промеж рог. Да автомат у него.

И Колыма сказал примирительно:

– Не крути мозги, Инвалид. Я уже давно высрал, что ты только жевать начал. У тебя четвертак. И тебе без побега или до смерти, или до конца советской власти в лагерях гнить. А здесь у кого пятерик, а у кого и меньше осталось. Мы, может, и до звонка дотянем. Ты бежишь, и у тебя, небось, шмотки и ксивы¹ припрятаны. А нас в казенном шмотье менты, как в тире, одного за другим перестреляют.

– Пошли. Не поминайте лихом, – не желая терять времени на перебранку, сказал Амбал.

– Попутного ветра вам в жопу, – отозвался Чума, все еще злой на уходящих за то, что они, убив солдат, сорвали установление хороших отношений с конвоем.

И когда беглецы повернулись, чтобы уйти, раздался голос Карзубого.

– Я иду с вами, Амбал.

Во время всего разговора он молчал, ошарашенный смертью конвойных. Это он позвал их подчифирить, чтобы, "замарав" других солдат, защитить "своего" от возможного доноса. Ну вот и защитил! Амбал – козел: ему хлеб в зубы, а он – топором по кумполу. Опер, наверно, подумает, что он, Карзубый, с Амбалом в сговоре был и нарочно солдат позвал, чтобы беглецам помочь. Теперь вместо больницы (Карзубый утром узнал, что ему в больничке отказано) – изолятор. Вместо лечения и докториц – допросы и встречи с опером. А что, если ему

¹ Ксивы – документы. (Прим. авт.)

уйти с Амбалом? Уйти от следствия, лагеря, гульнуть напоследок.

Вдруг ему повезет на свободе. Встретит он женщину и попросит ее поцеловать его. Прямо подойдет к ней и скажет:

– Ты не бойся меня. Я тебя не обижу. Меня за всю жизнь ни одна женщина не целовала. В лагере четвертак оттянуть пришлось. А сейчас вот хвост откинуть должен. Цирроз у меня. Неужели я так и не узнаю, как женщина целует?

И решил Карзубый бежать.

Если бы его спросили, зачем он это делает, он бы не признался, что ему не хотелось перед смертью в изоляторе под следствием сидеть. Что он, пальцем деланный: не знает, как опера облапошить? Чтобы не показаться идиотом, он бы также не упомянул, как он мечтал попросить женщину поцеловать его. Он бы ответил, наверно, что-нибудь вроде:

– К бабе бегу. Хочу бабу еще раз попробовать.

И сказал бы это с усмешкой, весело. И кто-нибудь, если бы и не возразил вслух, то наверняка подумал бы:

– Глянь, Карзубый, вон бабы к тебе бегут. Кто от нетерпения уж разувается, а кто платье скидывает. Посмотри на себя, старый, вонючий, беззубый зэк. Да если тебя какая баба во сне увидит, то наутро в церковь побежит грех замаливать. Скажет, что ей кто-то страшнее черта привиделся.

Но никто ничего не спросил. Зэки были поражены решением больного человека идти в безнадежный, как им всем казалось, побег. Когда беглецы скрылись за деревьями, Дурак пошутил:

– Был бы он поупитанней, они бы его на мясо пустили. А так кости одни. Вроде и делать с ним нечего.

– Да он скелет свой долго не протянет, – добавил Чума. – Километров через пять хлопнется. Дров много наломает. Сушняк. На корню высох.

Нужно было возвращаться в лагерь. Но как идти? Быстро или медленно?

Лагерная традиция требовала от заключенных всемерной помощи бежавшим. Значит, медленно. Чем дольше офицеры не будут знать о побеге, тем дальше уйдут беглецы до того, как за ними погонятся.

Но за промедление администрация могла

обвинить зэков в содействии бежавшим. Иногда за это наматывали новый срок. Офицеры настаивали, чтобы заключенные информировали их о побеге незамедлительно.

Чтобы показать свое рвение, многие были бы рады бежать в зону. Но они стеснялись друг друга. Поэтому после побега оставшиеся обычно возвращались в лагерь медленно. Офицеры, взбешенные их неповиновением, наказывали нескольких заключенных, которых они считали ответственными за задержку. Чаще всего страдали те, кто шел впереди колонны. Направляющие, как говорили офицеры, задавали темп остальным.

Летние дороги в лесу были устроены так, что по ним можно было идти только в две линии. Видя, как зэки хитрят, чтобы не быть первыми, Колыма махнул рукой. "Сволочи, но кому-то же надо". И медленно, не оглядываясь, пошел по одной стороне дороги. Чуть помедлив, на другую сторону встал Чума.

Продолжение следует



Мария Степанова

МЛАДОСТЬ И СТАРОСТЬ



ГРЕЧАНКЕ

Милая, он пал героем.
Воинским, созвучным строем,
Сердце, сердца не круши,
И музыку полковую,
Полумертвую, живую,
Точно рану, затуши.

Ночью зимней, ночью длинной
Всё ль гречанке беспричинной
Выть по княжескому сыну –
По горящей головне
И стоять при ней у гроба,
Точно лира, крутолобой,
Ожидаемой земле.

Молодая, голубая
Восстает луна любая
И гречанка говорит:
При луне ребенок плачет,
Кто во рту огонь упрячет,
Что за голос говорит?

Адриатики зеленой,
Маленького Альбиона,
Затуманенных Карпат
При излучине железной
Голоса горят над бездной,
Говорят и говорят.

* * *

Юной архаике, в пеленках дитяти,
(В снегу, будто двор – под замок),
Братья, что принесем на зубок?
Слаще любого диктанта:

Она ведь еще иностранка,
Еще чужеземка, шагу ступить не умеет
И в люльке лежит, как с вокзала.
И чужбину на отчизну
Поменяешь ли вполне,
Поиграй спешащей жизнью,
Будто воин на войне.
По простейшему расчету
Не орехи ли дарить?
Ты к добру розовощека,
И кибитка на двоих.

КРАСАВИЦА

Страшно женщины большеротой,
Неистовых баб одичалого хора,
А красавица, как природа,
Горячая суть разговора.

Она, как синица бывшая,
За морем тихо белеет,
А грозная воля жилая
Ее, как зазнобу, лелеет.

Когда говорю: посмотри!
И проводы сыплют пшено,
Красавиц краса бежит, как зерно, –
Явись, покажись, повтори!

И ранней зимою на совестный суд
Скажи мне, старуха, как милая дочка,
Как видно во тьме роковую красу –
Бела и пряма, как сорочка, она.

МЛАДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Век нежный – луг мирный,
Его не минуешь,
А старость родную,
Как бусину, вынешь.

Не старость, а страсть отягчает тела
– по лугу, по лугу беги, убегай, –
И скорая юность сгорает дотла,
А старость, как радость, в тебе велика.

Пусть хищная младость слепа, как цветы,
И сердце, как рыба, в руках,
Старость углем горит, зубом златым,
И она, а не юность, легка.

Пусть хмель заиграет в весеннем зерне
И любая причуда на радость,
И как девочка-бабочка младость,
Но старуха любезней земле.

* * *

Не обещай, лукавая голубка,
Не обольщай гаданьем воровским,
Не покорить Венецию слезами
И царскою цевницей не пленять.

Пуškai с тобой никто не говорит!
Слух заражен открытием нескромным,
Что брачная постель бела, огромна,
И старый дож как Вesper золотой.

* * *

Синица по зимнему морю,
Заморская гостя, плывет,
И чашками плещет водицу,
И грозную песню поет:

В копи ли тесные, смоляные,
В полководческие полки ли, –
Только побудь со мною,
Никогда тебя не покину!

* * *

Восток азийский и прелестный
Во мраке ночи неизвестной
Я не хочу воспоминать –
Равенство здешнее претит.

Но убедительны для слуха,
Как пара близнецов,
Легчайшие пера и пуха
Уроки оперных певцов.

Ведь опера – домашний рай –
Не возбуждающая страсти,
Цветет победой на устах,
Беспечной щедростью пугает.

* * *

Не правда ль, родинка отрады
Одна, как пятница во днях?
Пусть кумушки ведут парады
И смыслят в скаковых конях.

Кто времени ноготь, его остриё,
Кто с белкою леса аристократ,
Кто мира утеху устроил, как сад,
Как спрятанный клад, и не скажет: мое?

Безумец, безумец, кто времени мил
И грубые, прочные песни вскормил,
Но громы победы ему раздаются,
И лучшие речи ему говорить.



Екатерина Короткова-Гроссман

ВАРИАНТ СМОЛЬКОВА



1.

Это не фантастика. Я в этом жанре никогда не писала и не умею. Это просто мечта – как бы нам выбраться из нашей ямы без кровопролитий. А вдруг что-нибудь такое возможно? Соберутся умные люди и придумают, как быть.

Помнит ли кто-нибудь первый день этого года? Вот этого самого, прелестного, с Чечней? Говорят, как встретишь Новый год, таким и весь год будет. То же самое и дни рождения. Я почему-то выбрала первое января. Наверное, потому, что есть в нем что-то тихое и в то же время бодрое и светлое. Тихие светлые улицы присыпаны чистым снежком, тихие, неспешно деловитые прохожие – лучшая часть человечества, те, кто вышли из дому поздним утром первого января и, нагруженные сумками и детьми, умиротворенно ожидают трамвая.

А что же в этом, нашем родненьком – девяносто пятом? Вы, может быть, вообще не выходили? Я-то вышла – у меня традиция.

Я вышла, с размаху свернула за угол и обомлела. Это был Марс или какая-то Альфа Центавра. Нет, не Центавра, это была антиутопия.

С неба падали серые жидкие хлопья, ими же была усеяна земля. В мерзком месиве полузамерзшего дождя чернела удаляющаяся одинокая фигура, отчего улица показалась уж совсем удручающе одинокой.

Вообще, прохожие бывают в будние и солнечные дни. Но рабочих дней нынче мало, экономим на зарплате, солнца тоже мало – это уж кто-то экономит на нас. Я стараюсь выходить, когда хоть что-то просвечивает из-за туч.

Я не раскрываю глаза, проснувшись – меня так научили. Еще меня научили не вскакивать сразу, а «нежиться» некоторое время в постели. Я нежусь и думаю, что пора стирать пододеяльник, а заодно и прочее, и радуюсь, что у меня есть стиральный

порошок, и мне не надо хлюпать по холодной грязи к остановке, и меня не будут толкать в автобусе по дороге в хозяйствы и назад. Есть стиральный порошок – ура! – но не хватает моих депрессивных сил запустить ублюдочную стиральную машину, наливать в неё воду, потом выливать, и снова наливать и выливать, рискуя в этой кутерьме залить соседей, и бельё отжимать вручную, и всё время давить на крышку, ибо отходит контакт, и бояться, что я эту крышку сломаю.

Где-то в начале зимы я перестала пользоваться стиралкой. Я отмачиваю бельё в тазу, потом стираю, согнувшись над ванной, что в моём возрасте тяжело и бесполезно для здоровья – тру, стираю, полощу до полного изнеможения, пластом сваливаюсь на диван, отлежусь немного и снова в ванную.

А когда-то были прачечные. Боже! Были даже прачечные, приезжающие на дом за бельем, я их годами к себе вызывала. А химчистки – за два с полтиной можно было насыпать целый барабан: и пальто, и брюки, и носки, и свитера, и варежки.

Я нежусь в своей не первой свежести постели – осенняя астенция, разве прошлым летом или осенью я так запускала бельё, а что будет этой осенью... одним словом, я нежусь, и нега приносит плоды. Я включаю приемник и выползаю из-под одеяла.

В эпоху нашей вполне терпимой антиутопии – магазины торгуют, транспорт ходит, коммуникации не отключены, но общество уже разделилось на нуворишей и остальные 95 процентов – в пору нашей антиутопии радио – величайшее благо. Оно, конечно, тоже старается развлекать «крутых» мужчин и девушек без комплексов и интеллекта. Но не так убийственно, как телевизор. Я подозреваю, что радио испытывает к нам своего рода симпатию и разделяет наши вкусы. Нувориши не так уж балуют его рекламой, и по утрам приемничек подкидывает нам ретро, романсы и классику.

Я пробежала по всем программам – что ж,

очень славно: частушки, Паваротти, затем Лесков, нежно любимая мною теперь советская песня и какой-то вполне мелодичный француз. Рекламы на сей час не случилось, экономист толковал о ресурсах.

В ванной, конечно, была горячая вода, и меня это не удивило.

А приятно всё же утром мыться теплой водой. Каждый раз, когда мне хочется пороптать, я вспоминаю, как эти интеллигентные очкастые грузины заседают где-то в пальто – то ли в парламенте, то ли в Академии наук, то ли в Союзе кинематографистов. А в кухне я беру огромный тяжелый чайник и снова иду в ванну за свежей холодной водой – как к источнику, ибо в кухне кран не работает – это не отключение коммуникаций, это просто у меня нет денег на сантехника. Вяло пользуясь благами нашей мягкой антиутопии, я совершила все утренние намазы – и постелилась, и помолилась, и помылась, и съездила – лифтом! – за «Литературкой», и наступил блаженный миг, когда комната уже приобрела приличный вид, а я могу посидеть с газетой и чашкой кофе и кусочком сыра, как ворона, и даже съесть апельсин – какая же это антиутопия, это же роскошная буржуазная жизнь, вроде тех, что нам показывает по вечерам телевидение. В «Литературке» я сразу наткнулась на какие-то простые вроде бы, но не приходившие мне в голову мысли о Максиме Горьком. Увлечшись основоположником, я не стала смотреть первую страницу и не узнала, с кем нынче ругался такой-то, и куда ездил такой-то. Куда ездил, туда и ездил. Бог с ним.

Как ни грустно, пора идти в магазин. Я натягиваю порванные на коленях и уже не поддающиеся починке фиолетовые рейтузы, сверху юбка, дыр не видно, дальше куртка, вечный вязаный колпак, сапоги – с каким трудом втискиваются в них отечные ноги в фиолетовых драных и толстых рейтузах. Сумка, кошелек, ключи – всё!

Под ногами – мокрый скользкий снег. У нас в Москве не бывает землетрясений, Бог наказывает нас проливными дождями и небезопасной снежной кашей на земле.

Невзирая на отвратную погоду, по улице ползут мои коллеги – клиенты непонятно кому принадлежащих магазинов. Это в общем-то приятно, что навстречу попадают люди: поскользнешься, можно уцепиться. Впрочем, уцепившись, можно получить по голове, а в лучшем случае вопрос: «Ты что, сдурела, бабулька?»

Боже, как я ненавижу слово «бабулька» – сло-

во перестройки, такое же уродливое, унижительное, как она сама.

Милые и миловидные старушки, бабушки, бабуся превратились в безобразных мерзких бабулек, которых нельзя ни уважать, ни любить.

Меня обычно не называют никак, но я чувствую: оно всё ближе, оно ползет ко мне, ненавистное это, булькающее, пучеглазое, приклатненное наглое словечко.

Магазин недалеко, вокруг него почему-то сбилось целое стадо машин и даже несколько такси, штуки три, а то и четыре, кто на них ездит теперь, на моих любимых и безотказных, – всю жизнь были мои, а теперь не мои, – какие-нибудь крутые мэны с захлопнутыми угрюмыми мордами, точно такими же, как у их шоферов. Я даже споткнулась, встретив доброжелательный взгляд человека за рулем такси – наверное, один на всю Москву такой остался, и глаза такие синие и красивые.

В магазине, в пустейшей нашей «Долине», тоже непривычно крутятся люди. В основном они несут кефир. Что их прельстило в этой синеватой замороженной воде по 2 500 за картонку?

Я подхожу к колбасному прилавку – ни колбасы, ни сыра – ничего!

– Я вам оставлю два кефира, – быстро говорит мне знакомая продавщица.

От рыбного отдела валят мужики с огромными охапками какой-то малоаппетитной рыбы и загадочными жестянками без этикеток.

В кассу очередь – человек десять. Я раскрываю сумочку. Боже, только этого не хватало – меня кто-то обокрал. В сумочке валяется одинокий рубль, почему-то социалистической формации, и жалкая нумизматика той же эпохи, беловатые и желтоватые кружочки.

Я выгибаю это странное имущество и растерянно на него смотрю.

– Ну чего вы там застряли, чего выбивать? – спрашивает кассирша, лихая деваха, обсчитывающая сходу тысячи на три-четыре, а то и пять.

Я робко показываю ей лежащие у меня на ладони реликты и, чувствуя себя кандидатом в районные сумасшедшие, говорю:

– Два кефира.

Деваха бодро сгребает у меня с ладони мелочь, пару кружочков сует назад и выбивает чек.

Я не думаю, что это мне приснилось – ноги мне вполне чувствительно сжимают сапоги, между черным краем сапог и серым краем юбки мелькают фиолетовые рейтузы. Если бы всё это мне присни-

лось, я открыла бы от удивления глаза, и оказалось бы, что я ещё в постели. Нет, это что-то другое.

Я не сплю, я скорее сошла с ума.

Я-то сошла, мне недолго.

А кассирша? А мужики, которые волокут груды никому не ведомых жестянок? В нашей «Долине» ничего не покупают грудями.

А тетечки с кефиром? Из каждой сумки торчат верхушки чуть ли не десятка кефирных упаковок – не пропустить бы мне мои две! Я торопливо двигаюсь к прилавку и – о, чудо! – получаю свои упаковки. Продавщица удивленно смотрит на старинный рубль, зажатый в моей руке, и лукаво говорит:

– Вы бы горох купили. Вон у вас ещё мелочь есть. Вполне хватит на пять банок.

Оказывается, мужики волокут горох.

Я уже догадываюсь, что в магазине сегодня принимают валюту догайдаровской поры, а людей сравнительно немного потому, что её ни у кого почти не осталось, да и много ли купишь на эти шиши?

Но, скользя по снежной каше с сильно утяжеленной сумкой, я постепенно начинаю соображать, что всё же здесь что-то не так.

Во-первых, чего ради в одном магазине? Во-вторых, кто назначил эти цены? Впрочем, цены прежние, я вспомнила. И всё же, всё же затея эта абсолютно бестолкова. Хотя, тут же соображаю я, много ли я видела за последние годы толковых затей?

Синеглазый шофер с приветливым лицом по-прежнему сидит в пустом такси.

– Скажите, – спрашиваю я. – Вы бы не согласились довезти меня за банку гороха до того дома, вон того, серого, он совсем близко?

– Близко, – с легким акцентом соглашается шофер. – Давайте вашу банку и двушку, мне по телефону надо позвонить.

Я смотрю на него с огорчением. У меня же ни копейки не осталось, но вдруг опускаю руку в карман – почему, сама не знаю – и радостно протягиваю ему двухкопеечную монету и банку без этикетки.

– А скажите, – спрашивает он, – вы не боитесь, чтобы вас везло лицо кавказской национальности, пусть даже всего за шесть копеек?

Это серьезное предупреждение, и у меня сжимается в испуге сердце, но у него ведь доброе кавказское лицо, и я решаю вести себя интеллигентно.

– У меня нет национальных предрассудков, – с достоинством говорю я, смело открываю дверцу и сую в машину свою гремучую утяжеленную сумку.

– Одна-единственная нормальная встрети-

лась, – говорит шофер. – (Нормальная – это я!) Что с этим городом творится? С чеченцем не поеду. С черным не поеду. Почему чеченец – я абхаз. А черный? Почему я черный?

Он пытливо вглядывается в меня синими, как летнее небо, глазами.

Я смотрю в окно. Сколько лет я не смотрела из окна такси. На ступеньках «Галантереи» толчется небольшая симпатичная очередь.

– Вы не знаете, что там дают? – спрашиваю, чтобы отвлечь его от оскорбительных воспоминаний, и ловлю себя на том, что употребила позорный застойный архаизм.

– Что дают? – повторяет он мой архаизм, нисколько не стесняясь. – Разное дают. Это же галантерея. Между прочим, тушинские колготки, по три рубля. Возьмите дома деньги и купите. Весна скоро. Вы же не будете носить в апреле эти рейтузы. Осторожно, вы дергаете не тот крючок.

Я вваливаюсь в дом и, бросив в коридоре сумку, торопливо топаю прямо в грязных сапогах в комнату и открываю ящик стола. Миллионов у меня нет, но на две пары тушинских колготок хватит, и ещё кое на что.

Неожиданно резко звонит телефон.

– Алло, – говорит томным голосом моя новая подруга, бывший физик, занявшаяся художественным переводом, которая звонит мне двадцать раз в день, используя меня как англо-русский словарь, и страшно раздражает тем, что переводит по двадцать листов в месяц (а я по старинке полтора), да ещё за скорость получает в два раза больше меня. – Алло, – произносит она. – Ты не знаешь, что творится в городе?

– Не знаю, – осторожно отвечаю я, надеясь что-нибудь узнать от неё.

– Ты ещё не выходила?

– Нет, я только что приволокла полную сумку гороха и еле стою на ногах.

– Ты собираешься открыть малый бизнес?

– Едва ли.

– Тогда зачем тебе столько гороху?

– Пусть стоит. Он не портится.

– Тоже верно.

И вдруг меня осеняет.

– А ты уже выходила в город?

– Нет, – растерянно отвечает она. – Я всё время смотрю телевизор.

– Ну и что он тебе сообщил?

– Он перестал передавать рекламу. Я смотрю уже четвертый час, и ни одной: ни про Фомица

со старухой, ни про эту одинокую бабу, которая никому не верит. Нет даже этой безобидной про ребенка, который кушает яблоко, чтобы показать благосостояние своей семьи.

– Жуткий мальчишка! Вгрызается в это яблоко, как вампир. Впрочем, черт с ним. Мне надо бежать в магазин.

– За горохом?

– За тушинскими колготками.

– Тушинские? Это же прелесть. Купи мне четыре пары. По сколько они тысяч?

– По три рубля.

– Ах, по три – тогда купи мне тридцать пар.

Черт знает что за баба. Не зря же она переводит по десять листов.

– У меня нет столько денег, – говорю я безжалостным тоном.

– У тебя нет девяноста рублей?

– Нет, – отчеканиваю я. – У меня есть ровно столько рублей, чтобы купить две пары себе и одну тебе.

И тут она начинает плакать.

– Ну вот, ты мне не можешь даже две пары купить. Себе две, а мне почему-то одну.

– Ты сторонница равноправия?

– Да.

– Популистка?

– В общем, да. А ты не могла бы купить мне хотя бы три пары?

– Извини, – говорю я, – звонят в дверь. – И вешаю трубку.

В дверь никто и не думал звонить, но я всё же хочу попасть в «Галантерею». Сколько лет не покупала я мягоньких, удобных тушинских трехрублевых колготок.

Я – существо не меркантильное, но почему-то эта перспектива меня так разволновала, что я снимаю сапоги, стаскиваю ненавистные фиолетовые рейтузы, затем снова надеваю сапоги и с твердым убеждением, что лучше простудиться, чем унижать себя этим рваньем, сворачиваю рейтузы рулончиком и выхожу из квартиры.

Простужусь – буду пить аспирин. А может, новые рейтузы куплю – в воздухе явно веет авантурой.

Я с остервенением швыряю рейтузы в мусоропровод, гордо вскидываю голову и встречаю любопытный взгляд нашего соседа Славы.

– Разбогатели? – спрашивает он.

– Кто знает, – отвечаю я. – Там видно будет. А у вас сейчас что-нибудь есть?

Слава челночит по маршруту Москва-Варшава. Однажды я купила у него два прелестных дешевеньких свитерка по пять тысяч. Один из них после стирки превратился в мини-платье, причем полностью утратил свою прелесть. Второй я берегу. Он по-прежнему мил, но делается всё грязнее.

– У меня всегда что-нибудь есть, – говорит Слава. – Вам случайно дрель не нужна?

– Случайно нет. Вы купили её в Варшаве?

– В Варшаве я хотел её продать. И не одну, а восемьдесят штук.

– И что же вам помешало?

– Ментовка, черт бы её взял. Облепили, гады, весь поезд и не впустили ни одного челнока. Только тех придурков, что едут в гости с одним чемоданчиком. Представляете, пустой состав ушел.

– А в магазине их назад не берут?

– Берут и платят в ценах 90-го года ещё той валютой. И пятьдесят процентов скидки за то, что они побывали у меня в руках.

У меня мелькает мысль, что получить хоть что-нибудь ещё той валютой не так уж плохо.

Но Слава другого мнения.

– Хрен я их отдам да ещё со скидкой. Тысяч тридцать, не меньше, за каждую, и ещё с руками оторвут. Народ же дачи строит. Сами знаете, хорошо стал жить народ.

Я давно уже заметила, что народ стал отлично жить, одеваться и питаться. У меня возникло также впечатление, что сама я не народ. И ещё одно – довольно странное, – говоря по секрету, мне кажется, что большая часть людей – не народ.

В галантерее, кроме тушинских, я урвала, потолкавшись в небольшом водовороте, полушерстяные – абсолютно целые! – и уволокла их, как собака кость. Радость удваивалась от того, что они были последними.

– Товарищи! – кричал устаревшее слово кто-то очень похожий на завмага из старой советской комедии. Не устраивайте у прилавка толчеи. Товара на складе много. Кто не купил сегодня, купит завтра.

Интересно, кто что купит завтра, в какой валюте и почему?

К нам в парадное не проберешься – баррикада: вывозят мебель из квартиры, которую один наш ушлый жилец сдал под офис.

О лифтах нельзя и мечтать. Ушлых жильцов у нас хватает. Едут, едут сверху вниз кресла, столики, холодильники, сундукообразные сумки.

Я тихонько пробираюсь на свой пятый пешком и радуюсь, что двадцать лет назад не

вытащила по жребии двенадцатый.

В подъезде оживленно, слышны обрывки фраз: «Дума протестует, а сенат не набрал кворум». «Опохмеляются твои сенаторы... хренаторы». «Слушайте, зачем же сразу так?» «А вы не знаете зачем?» «Нет, не знаю». «Газету “Правда” надо читать». «Мы её сроду не читали, мы всю дорогу “Вечерку”». «А чего там, в “Вечерке”, программа есть? Мужики, перестаньте про ерунду. “Кассандру” будут показывать? А “Дикую розу”?»

В дверях трехкомнатной квартиры валютная проститутка Лиля объясняется с двумя милиционерами: «Мальчики, что вы плетете? Неужели вы меня не знаете?»

Напарники отвечают не солидарно. Молодой, курносенький весело говорит:

– Мы вас очень даже прекрасно знаем.

А угрюмый, усатый и длинноносый бубнит:

– Мы никого не знаем. Никогда и никого. Так что садитесь и пишите, как вы ведете такой образ жизни, не имея трудовых доходов.

– Петя, ты совсем с ума сошел? Образ жизни – это же мой доход.

– Ты только писать это не вздумай, – внезапно озабоченно предупреждает усатый Петя. Голова у тебя варит, придумай чего-нибудь. Ну, например, что ты фотомодель.

– Сам ты фотомодель, – огрызается Лиля. – За фотомодель мне таких накачают статей, о каких в нашей древнейшей профессии и не слыхали.

– Древнейшая, – мечтательно произносит курносый. – «Начальнику отделения от древнейшей Лильки», – так будешь объяснение писать?

– Это вы с Петькой будете писать объяснение, – внезапно разъяряется Лиля. – Если не увернетесь сию же минуту из моего холла, заложу!

– А я-то тут при чем? – удивляется младший.

– Сейчас ни при чем – будешь при чем. Подрастешь. Перспективный.

– Дура ты, – обиженно бурчит курносенький.

– В людях ни хрена не разбираешься. А ещё туда же – профессионал!

Я ношусь по своей запыленной, неприбранной квартире. Не ползаю, не слоняюсь, а именно ношусь. Я почему-то переделалась и даже переобулась – к желтеньким колготкам неожиданно идут совсем ещё не старые черные лодочки. Идут к колготкам, да и – что греха таить – у меня до сих пор красивые ноги. Сколько пыли, сколько грязи, надо Григорьевну позвать, я же работаю как вол, могу я себе позволить позвать эту ведьму?

Международный телефон. Меня беспокоит Кишинёв.

Вы, наверное, не помните, это было сто лет назад. Да, совершенно верно – прелестная книжка. Мы по-прежнему мечтаем, мы были бы так рады. Сколько мы платим, ну, как всегда, конечно, сто пятнадцать рублей за лист, но ведь массовый тираж, так что как всегда, ваши двести тридцать. Что значит вы не скорая? Бога ради, не волнуйтесь, ваша скорость нас вполне устраивает. Да нет, наоборот, мы как раз до смерти боимся этих, что строчат, как пулеметы; мы их близко к себе не подпускаем. Как все приличные издательства, между прочим.

Вы сейчас ничем не заняты?.. Прекрасно! Когда вы смогли бы приступить?.. Так я начинаю оформление... Да не беспокойтесь же, мы знаем ваши темпы. Ну, опоздаете, ну, пролонгацию напишем... Кстати, вы никогда не брали пролонгаций. Для нас куда важнее, что книга в вашем переводе... Боже, во что они превратили переводчиков! Боже, во что они превратили перевод!

Боже, во что они превратили... Да если б только это! Главное, что они сами теперь решают, кто работает ужасно, а кто прекрасно и даже изумительно, сами где-то откапывают этих изумительных, сами, изумившись, платят им бешеные деньги, ставя в пример «так называемым мастерам».

Как они меня замучили за эти годы, «так называемого мастера», потенциальную бабюлю, женщину, которая всегда ставит сумку не туда, куда надо.

Неужели всё это сегодня кончилось? Как, почему? Кто это сделал, кто решил? Ни слова ни по телевизору, ни по радио, ни в газетах.

Нет, товарищи, или, как теперь говорят, господа, в таких случаях сам Бог велел ехать к лучшим друзьям и хорошенько обсудить всю эту странность.

Между прочим, я всю жизнь не выносила обращения «товарищи», и, кажется, никого так не обзывала. Но ведь эти, обалделые, до чего хочешь доведут. Я всю жизнь говорила «Питер», а теперь говорю «Ленинград».

Решено: я еду к Ваське с Нелей. Наверняка к ним кто-нибудь ещё набежит. Когда что-то случается, бегу обычно к Ваське с Нелей.

Бежать – это такой изящный образ. Я бегу к ним автобусом, а потом метро – с двумя пересадками. И ещё немного пробегаю трамваем. Пешком не в счет.

2.

В автобусе – не протолкнуться. В основном старичье. Они привыкли много ездить в последнее время. Да к тому же понимают, что никакие внуки и правнуки к ним за советом не побегут, так что двигаются сами, и шустро – день пока ещё короткий, обстановка криминогенная.

Автобус гудит голосами, догадками, вспышками, спорами.

«Государственный переворот!» – восклицает высокий интеллигентный голос. «Это у вас был переворот, а теперь порядок! – тут же следует авторитетный ответ. – Покончили с этим вредительством». «Ничего себе порядок, повынимали у людей миллионы, а насыпали старых гривенников!» «Это у тебя, что ли, миллионы, что ж ты их плохо держал, гривенники сгреб и в гастронорм за минтаем!» Все хохочут. «Дурень ты, какие у меня миллионы, ты на шапку мою посмотри», – обиженно бубнит гипотетический миллионер.

Шапка в самом деле удивительная: меху почти не видно, одни ржавые клочки. Он стоит рядом со мной, пожилой человек, который уже с легкостью говорит «позабирала миллионы», но миллионеров никогда не имел. На нем старое дешевое пальто, на нем облезлая шапка в клочьях, он стоит рядом со мной и хохочет, разевая щербатый рот, от души вместе с нами хохочет – темные, совсем не глупые глаза искрятся весельем.

«Братцы, – раздаётся в дальнем конце автобуса, – это ж мы теперь при коммунизме будем жить. Денег по потребности, продукт дешёвый». «Это точно», – соглашаются спутники.

Мне приходит в голову, что ещё недавно мы называли этот строй «социализм». Но нас неласковой рукой тряхнула перестройка, и, будьте любезны, это уже коммунизм – горох, минтай, кефир и денег по потребности, то есть всего этого добра можно купить столько, чтобы накушаться досыта.

«Интересно всё же, кто нам эти денежки подсыпает?» – раздаётся давно назревший вопрос. «Кто надо, тот и подсыпает», – всё тот же авторитетный голос. «И каждый день так будет подсыпать?» «А кто ж его знает, какое выйдет распоряжение». «А от кого же оно выйдет?» «А тебе не всё равно? Главное, жить будем по-старому, деньги старые, цены старые. Мерзость эту – чернуху, порнуху, АО всякие – к матери». «Да, не ценили, жили ведь, как люди, ни тебе дилеров, ни киллеров, летом с друзьями в дворике сидишь и никого не боишься». «Вот и радуйся, дед, – весело кричит молодой голос. –

Стабильность, порядок. Снова есть у вас, старперов, возможность вечерами без боязни козла забивать». И снова смех. В автобусе часто, охотно смеются.

И вдруг он останавливается. Наш веселый, счастливый автобус. Он останавливается не на остановке, а почему-то посередине моста. Откатывается дверь кабины, в проеме появляется высокий шофер, а в салоне наступает мертвая тишина. Как мы запуганы. Чего мы боимся? Смерти? Грабежа? Что с нас можно взять? Наши поношенные шмотки? Но почему он всё же остановился посреди моста?

– Граждане пассажиры, – скучным голосом говорит водитель, – оплатите в кассу свой проезд. Напоминаю: билет стоит пять копеек. Штраф – один рубль.

– То есть как это пять копеек? – дребезжит возмущенный старческий тенорок. – Существует постановление...

– Хрен оно существует, – ехидно обрывает шофер. – Вы чего тут все балдеете – социализм, коммунизм, цены низкие, всё по потребности. Вот и платите по низкой цене пятак с рыла. Вы же хотели, чтобы всё было, как раньше. Валийте деньги в кассу, и будет вам социализм.

– Но мы не хотели, чтобы абсолютно всё было как раньше, – проникновенно возражает какой-то законник. – Это было единственно разумное правило. И мы требуем...

– Это было самое дурацкое правило, если хотите знать, – запальчиво парирует шофер. – Видно, у Моссовета денег навалом – ежедневные экскурсии устраивать для старичья.

– Что вы имеете против пенсионеров? – истерически выкрикивает худой высокий старец в очках.

– Всё! – оглушительно кричит водитель. – Всё я против вас имею! Достали! Только вы одни и ездите весь день. Утром сели, вечером вышли. И в кассе ни одного билета. Небось за апельсины по пять тысяч платили. А тут такая, видите, потребность на халяву по всей Москве шастать. Ну куда вас носит целый день?

Он прав. Он агрессивен, груб со старыми людьми, но, милые мои собраты по социальному статусу, он убийственно прав.

Мы ещё не успели нарадоваться тому, что не должны платить по пять тысяч за кило апельсинов, а уже готовы выцарапать кому-то глаза из-за законных и давно привычных по милым старым временам пяти копеек.

Я тихонько приоткрываю сумочку, нащупываю в кошельке пятачок, и на этом кончается мой

гражданский подвиг. Я боюсь. Боюсь, что на меня набросятся пассажиры. Боюсь стать предательницей – красивый страх, боюсь одна выступить против всех – красиво или некрасиво, но именно это есть правда.

И вдруг я встречаю понимающий сочувственный взгляд. Щербатый рот кривится в смущенной улыбке, погрузневшие глаза смотрят серьезно, жалостливо и серьезно. «Дзинь-дзинь-дзинь», – в щель кассы-полуавтомата посыпались копеечки – пять штук. И я тут же быстро сую туда свой пятак.

Что они сделают сейчас с нами – эти люди, плотно забившие автобус, люди с интеллигентно демократическими голосами, начальственными голосами и просто голосами мужиков, любящих забивать козла?

Нет, я, конечно, невропатка. Никто не собирается нас разрывать на части. Просто в автобусе среди самых обыкновенных людей густой массой ползает, пузырится, клубится злоба, и поэтому, конечно, страшно одному против всех. И «миллионеру» этому, может быть, тоже было страшно. Но он преодолел себя, не я, интеллигентка, а он – то ли рабочий... или уже безработный?

Я ловлю на себе злые взгляды, слышу что-то нелестное насчет шибко грамотных, которые сначала эту кашу заварили, а потом – в кусты. Моего сообщника не трогают, неприязнь нацелена на меня, и вдруг кто-то задел меня локтем, я думаю, нечаянно, и всё же сразу выскакивает противная мысль, что не зря я боялась этой разномастной и сплоченной толпы.

Но то страшное, что пузырилось вокруг меня и бродило, постепенно оседает под начальственным оком шофера.

– Ну, двое порядочных на всё кодро отыскались, – презрительно цедит шофер. – Остальные, наверное, спецзадание выполняют. Секретное. Очень хочется узнать – какое. Ну вот вы, бабуля, – обращается он к сидящей на переднем сиденье старой даме в нутриевой шапке. – Куда путь держите?

– В цивилизованных странах, – с достоинством произносит старуха, – у пассажиров не принято спрашивать, с какой целью они сели в автобус.

– Это точно, – соглашается шофер. – В цивилизованных странах – плати свои два франка, а цель на здоровье держи при себе. В цивилизованных – вы как миленькие шлепали бы пешочком. И здесь скоро зашлепаєте. Все. В цивилизованных, если

хотите, таких автобусов даже на свалке нет. Там же пассажиры деньги платят, как там может быть такой износ? Пенсионеры, говорю вам, как людям. Выкладываете пятаки. А то откачу эту колымагу к 72-му отделению, там с вас с каждого по десятке возьмут.

И, торжествующе взглянув на притихший вагон, любезно добавляет:

– У водителя имеются в продаже абонементные книжечки.

3.

Господи, как хорошо среди своих! Ничто не ползает, не крутится между нами, ничто не норовит рассорить нас. И даже когда двое-трое, словно петухи, насакивают друг на друга, с гневом, ужасом и отчаянием восклицая: «О чем ты говоришь?!» «О чем ты говоришь?!» – любимый аргумент московской интеллигенции в споре – никто не сердится, ибо все мы любим друг друга, а это наш любимый аргумент.

Мы счастливые. Таких, как мы, мало. Мы дружим уже почти тридцать лет; познакомились когда-то, легкие на подъем, молодые, в научном подмосковном городке, так что мы главным образом физики, но попадают среди нас и другие. Наша первая красавица Нина – библиотечкарь. Я была там, в научном городке, учительницей английского языка и лишь мечтала о переводе, а потом переводила и дошла до вершин, с которых меня не так давно столкнула Томка и ей подобные. Томка – моя новая подруга и старая знакомая. Томка ведь тоже из нашей шараги, и она как раз именно физик, но ей проще – она никогда ни о чём не мечтает, кроме вещей и благ. Томку у нас недолюбливают. Кто-то из наших сказал: в компании должен быть такой козел, который всех раздражает. Для комплекта. Ой, не знаю. Всякий раз, столкнувшись с Томкой, я вспоминаю о том клопочущем, пузыристом, как забродивший кефир, которое всё время крутится вокруг нас и от которого начинает крутить и меня.

А вообще у нас прелестная компания, и самый прелестный в ней – Юра Десницкий. В молодости он был так красив – с большими серыми глазами и пушистыми ресницами – мальчик из хорошей детской. У него даже прононс какой-то дивный – старомосковский, упоительный.

Мы шумим и шутим, и обзываемся смешными молодежными словами нашей поры, но в этой прелести есть грусть. Мы часто видимся – в год раза три-четыре, и нам кажется, что никто не изменился: «Старуха, ты всё такая же, даже

помолодела», мы все отлично выглядим и совсем не стареем, но тоненький мальчик Коля за тридцать лет стал толстым и лысым, и, не помню уж с каких пор, мы называем его Николай Иванович.

Но главное, конечно, Юрка, Юра Десницкий. Он был прелестным и остался прелестным, но тогда он был словно юный лорд из старинного английского романа, а сейчас чудесные серые глаза прячутся под набрякшими веками, а снизу, под глазами, какие-то чудовищные мешки, и вообще, как это странно: у Юры висят щеки, висит подбородок, и такие глубокие продольные складки проходят по его обвисшему лицу.

Мы, дамы, держимся получше, красим волосы, накладываем грим, до путча делали массаж. Нет, мы вполне ещё ничего, но какие мы были девчонки тридцать лет назад!

Впрочем, сегодня мы подобрали свои складки и разгладили морщины, сегодня – необыкновенный, похожий на сказку день, и к тому же мы собрались все вместе и, кажется, мы в самом деле молодеем. Это бывает с пожилыми людьми. Мне даже кажется, что воздух стал легкий и теплый, как в Крыму.

Я здесь уже часа два, набралась информации, мы все что-то подхватываем друг от друга, но поскольку и жаждущие объяснений и жаждущие объяснить ничего не знают полностью и далеко не всё понимают, мы все более или менее в курсе, мы блаженствуем на равных, и наше демократичное полужнание придает сборищу немного авантюрный, оптимистичный и бедовый шарм.

Главный источник знаний – Юра Десницкий, вокруг него скачет с вопросами добрая половина нашей братии и, поскольку Юркина жена Алина скачет с нами и с таким же жадным любопытством, как остальные, заглядывает мужу в рот – дело выглядит серьезно. Не сказал жене – это раз, не сказал ей даже по дороге – чего вам более, о чем ты говоришь?!

Мы выяснили примерно следующее (главным образом от Юры). Пока мы сокрушались, что умных людей у нас никто не принимает всерьез, эти умные давно уже приняли всерьез друг друга и организовали какой-то обалденный по мощности мозговой центр, и притом ещё нашелся гений, о котором никто никогда не слышал, он работал бесплатно в каком-то НИИ и подрабатывал ремонтом телевизоров.

Мощь Центра оказалась столь велика, что помимо интеллекта – обязательного для всех – довольно многие там занимали неслабые

административные и думские посты.

Засекречено это было до жути. Не зря же Юра, который даже в Центр не входил и просто делал им какие-то расчеты по узкопрофессиональной линии, – а как молчал! Там этих консультантов было до фи́га, и все свято соблюдали тайну.

Всё подготовили, всё проверили, неведомый народу гений не только изобрел метод, но и определил дату с точностью до мельчайшей доли секунды, и вот сегодня, в самую глухую пору ночи, когда все уже спят или ещё не проснулись, план был приведен в действие, и наш утлый, непредсказуемый мир, о котором почему-то было принято говорить, что ему нет альтернативы, был разбит на десять реальностей, также именуемых вариантами. Во всех реальностях в этот же миг был произведен обмен валюты.

Нам повезло. Мы попали в вариант Смолькова-7, очень спокойный, прагматичный, довольно сильно смахивающий на китайский.

– Добрый вечер, тетя Хая, – запел внезапно Васька, – ая-ая, вам посылка из Шанхая, ая-ая.

– Обмен валюты... – задумчиво произносит Тамара. – А как он производится? Ведь не лазили же в наши сумки и столы?

– Конечно, нет. А как он производится, никому не известно. Есть такие профессиональные волшебники, они это умеют.

– Отцепись от Юрки с валютой, – вмешиваюсь я. – А дальше что, кроме валюты, ещё какие перемены?

– Ну ты же видела, наверное, сама: нужно побыстрее избавиться от последствий той жизни – имущественное расслоение, весь административный базар, гласность.

– Гласность! Юра, ты с ума сошел.

– Не сошел. Гласность, братцы, придется закрыть, а то всё опять развалится. Будет постепенное смягчение цензуры, как оно и раньше шло. А вообще у нас единственная перемена – мягкие реформы.

– А тот, с инфляцией и мафией, в котором мы все раньше жили, – кричит Васька. – Уничтожили его?

– Ты озверел? – возмущается Юра.

Он красивый сегодня. Он сегодня похож на пожилого лорда из старинного романа. И лицо не обвисает, просто не молодое.

– Как мы могли его уничтожить? Вариант Шоковый-4. Оставили, конечно. Живут той самой жизнью, какой все мы жили ещё вчера.

– А на кой хрен его оставили? – не унимается

хозяин квартиры.

– На тот хрен, – отвечает Юрий со своим изящным старомосковским прононсом, – что он, то есть шоковый вариант, в конечном счете может оказаться оптимальным, и тогда все остальные будут возвращены к нему.

И, увидев наши вытянутые физиономии, добавляет:

– Правда, это маловероятно.

– А из нашего, Смольковского варианта, много нынешних выжили?

– Очень много. Но, главным образом, поменяли местами.

– А кто такой Смольков? Президент?

– В нашем варианте нет президента. Николай Андреевич Смольков – генсек.

– А кем он был во время горбачевской перестройки?

– В нашем варианте не было перестройки. Михаил Сергеевич Горбачев находится на партийной работе и занимает ответственный пост.

– А Ельцин?

– Ребята, стоп, – говорит Николай Иванович.

– Вы только что узнали о перемещениях в нашем варианте, а по телевизору за эти годы навиделись столько рож, что до утра теперь не слезете с кадровых перестановок. Меняем пластинку. Юра, скажи, почему мы живем гораздо хуже, чем при застое? Какая-то паршивая рыба, кефир. Это что, только сегодня или так будет всегда?

– Будет лучше, – говорит Десницкий. – Но мы растратились, вы сами понимаете, коррупция, инфляция, война и, конечно, будем жить похуже, но терпимо, главное же – перспектива. Я что, дурак, повашему, я сам выбирал, для какого варианта готовить программу. Мне он понравился, Смольков-7.

Тут раскрывает ротик Нина, наша первая красотка, и, так как все мужчины смотрят на неё, становится тихо.

– А в какой реальности, – спрашивает она мелодичным и неторопливым голосом, – люди будут жить хорошо?

Мертвая тишина. Как это никому из нас не пришло в голову?

– В Шоковом-4, в котором ты уже долго жила – бандиты, чиновники, коммерсанты. Ну, и некоторые женщины.

Нина игнорирует этих неинтересных ей женщин и задает ещё один вопрос:

– А где будут жить тяжелее всего?

– В варианте Затянутые пояса-9. Там прогнозируется порядочная смертность от истощения.

– Зачем? – хором кричим мы все.

– Там поставлена цель – первыми прорваться к высокому уровню жизни.

– Идиоты... – раздаётся общий стон.

И вдруг Васька мечтательно произносит:

– Что ж... Я попробовал бы. Надоела эта бодяга. Юрка, а как уходят в другой вариант?

Мы все с жалостью смотрим на Васькину жену Нелю. Васька славный, конечно. Но...

– Переходы из варианта в вариант категорически запрещены без всяких исключений, – торжественно отвечает Юрка. – О чем ты говоришь? Ты представляешь себе, какая каша началась бы, если бы мы стали прыгать по реальностям?

В глазах у Нели счастливые слезы.

– Добрый вечер, тетя Хая, – сумрачно заводит Васька.

А в глазах у Тамары – печаль. Тамара, моя старая знакомая и новая подруга. Это она строчит по десять листов в месяц. Это ей я сегодня с ехидной улыбочкой вручила одну-единственную пару тушинских колготок.

Томка не хочет в Тугие пояса. Я знаю, куда она, стерва, хочет. Назад, в шоковую, где она будет в двадцать раз богаче меня. Где срабатывает её твердое убеждение, что ей полагается больше, чем остальным.

– А как они зарплату нам будут платить? – спрашивает она капризно. – Лазать каждую ночь к нам в сумки? А вдруг эти волшебники – воры?

– Волшебники чисты, как кристалл, – твердо отвечает Юра. – А зарплату или пенсию будем получать, как в старое время, начиная с первого платежного дня.

– А вся эта история с вариантами, с шоковой терапией, – мы о ней всё время будем помнить? – тревожно спрашивает Неля, поглядывая на своего авантюрного мужа.

– Помнить будем, – мягко отвечает Юра, но, как только избавимся от последствий шока, станем всё меньше об этом думать. Так что в конце концов эти реальности станут для нас не важнее, чем какая-нибудь отдаленная зарубежная страна. Гонолулу.

– А ездить туда можно будет туристическим маршрутом? – вкрадчиво спрашивает Тамара. Васька оживленно поднял голову.

– Нет, нельзя, – отвечает Сережа. Он тут тоже у нас один из самых информированных. Пришел

недавно, где-то уже побывал. – В другие реальности нельзя перемещаться. Переписка и иные виды связи тоже запрещены.

– Но это произвол, – возмущается Тамара, – это можно было даже при застое.

– А кому ты туда будешь писать? – спрашивает Сергей. – Все твои родственники и знакомые живут в этой реальности.

– А в той кто живет?

– Наши аналоги.

Хлоп! Томка так рассердилась, что, как будто бы нечаянно, сбросила тарелку со стола.

– Аналоги! Жулики и самозванцы – твои аналоги! Живет там какая-то вместо меня.

– В твоей квартире и твоё имя носит, – говорит Нина.

– И мои платья, между прочим!

Я молчу. Я рада, что халтурщица, которая вытолкнула меня из перевода, живет где-то там, в другой реальности, куда нельзя писать писем.

И, чтобы покончить с этой темой, я внезапно задаю шальной вопрос:

– А есть реальность с гражданской войной?

– Танька, ты дуреха, – говорит Сергей. – Люди же специально придумывали оптимальные варианты. Гражданская война может возникнуть в любой реальности, временно. – И добавляет, вздохнув:

– В нашей Шоковой, как известно, она тлеет в нескольких местах.

Мы всё ещё считаем Шоковую своей реальностью...

– А что ж мы так мало реальностей знаем, – внезапно сокрушается Васька. – Всего три. А их аж десять. Какие есть ещё?

– Разные, – это опять Сергей. – Ну, например, такая, где Горбачев отказался распустить Верховный Совет.

– А он на такое способен?

– Он на всё способен, просто он считал, что так лучше.

Нина оживает:

– А монархическая есть?

– Есть реальность, направленная на введение в дальнейшем монархического строя. Но он же ещё совсем мальчик.

– Да я не о нем! Та, старая реальность, что до 17-го года.

– Ну ты хватил, мать! Там же в Центре всё-таки не боги, – говорит Сергей. И, чтобы утешить красавицу, добавляет: – Есть реальность феминисток.

– Терпеть я их не могу! Определенно во главе

с Новодворской.

– Технократическая есть, – бубнит Сергей, – гуманитарная, аграрная...

– Ты что, их продаешь? – перебиваю я. – Долдонишь, как на Центральном рынке.

Серега машет на меня рукой и продолжает:

– С уклоном в рефлексию...

– В мистику, – ехидно подсказывает Васька.

– А ты уже туда захотел, – смеется Неля. Она так рада, что запрещено шастать по реальностям.

– Ребята, – вдруг встревожено говорит Юра. – Мистика нам здесь не грозит, но всё же не забывайте, что творилось в этой реальности менее суток назад. Особенно дамы.

Юрка – золото. Никто, кроме него, не вспомнил, что вчера в Москве было страшно ездить вечером. Особенно дамам.

Мы потихоньку движемся к прихожей, вытаскиваем из общей груды шапочки, куртки, пальто. Мужики обматывают шеи шарфами. Васька галантно держит перед Тамарой пуховик и мурлычет те же странные слова: «Добрый вечер, тетя Хая, ая-ая. Вам посылка из Шанхая, ая-ая».

– Что с тобой? – осведомляется Тамара.

– Это в детстве у нас была такая игра. Надо было угадать, что в посылке.

– А чего ты её вдруг вспомнил?

– Ассоциации! – поясняет Семен. Он работает в какой-то психушке. – Китайский вариант – Шанхай: свободная игра ассоциаций, связанная с детством.

– Фрейдизм, – мрачно произносит Сергей. – А фрейдизм не запрещен в смольковском варианте?

– Антисемитизм запрещен, – взрывается Неля. – Что ещё за «Хая». «Рая» надо говорить.

– Я никогда не знал, что это одно и то же, – задумчиво произносит Юра. – Раиса – старинное русское имя. Где-то у Мамина-Сибиряка есть.

– В «Горном гнезде», – подсказываю я.

– О, – одобительно произносит Васька. – В компании всегда нужно держать гуманитария. Заменяет компьютер. – И ласково гладит меня по голове. – Ты сегодня очень хорошенькая, Танечка. И опять помолодела.

– Мы сегодня все помолодели, – отвечаю я. И встречаюсь глазами с Юркой. Господи, я даже вздрогнула – какие у него яркие и не серые даже, а почему-то синие глаза. Сияют, будто кто-то свет включил.

До метро едем компанией. Других пассажиров не видно. Только в конце вагона сидя спит, покачивается какой-то парень.

В метро компания раскалывается, потом ещё

раз и ещё – на пересадках, и от второй пересадки мы едем только с Семеном. Он вообще-то не Семен, а Виктор. Фамилия у него Семенов. Вот так простенько, как в третьем классе, всю жизнь мы его Семеном и зовем.

Семен тревожится, как наша, и без того уже сдвинутая, психология будет реагировать на новый резкий сдвиг.

– Ну, – отвечаю я беззаботно, – Юрка же сказал.

Он молчит и как-то странно на меня смотрит. Потом спрашивает:

– Тебя баловали в детстве?

– Нет, по-моему, – растерянно говорю я.

Семен кивает, будто чем-то доволен.

Вот и моя остановка. Семену ехать дальше, и я милостиво говорю, чтобы троллейбусом меня не провожал. В самом деле, вот же люди – и в вагоне, и на платформе. Уговаривать Семена не приходится. Но, честное слово, я не боюсь! Я не боюсь на остановке, и в почти пустом троллейбусе тоже не страшно. Мне даже нравится, что троллейбус пустой. Я уютно сижу у окна и чувствую, что я сама уютная, что внутри у меня мир и лад, я вспоминаю яркие Юрины глаза. Почему Семен меня спросил, баловали ли меня в детстве? Мы говорили про Юрку, и он спросил. Те, кого не баловали в детстве, очень неуверенны в себе. Но я сейчас уверена в себе. До того уверена, что готова поверить... нет, всё же этого не может быть. А тогда в Крыму? А на именинах у Нинки, когда Алина вдруг рассердилась и одна ушла домой? Из-за такого пустяка. Просто Юрка сказал в мою честь тост, такое славное сказал, и на душе у меня стало славно.

Их много, этих случаев, и каждый раз на душе у меня мир и покой. Троллейбус катится, и я сижу уютно у окна, и такие мысли – ужас просто! Почему же ужас? Всё может быть, всё может быть в так неожиданно пришедшей к нам реальности Смолькова.

4.

Я набираю код, я открываю холл. При моей бедности столько замков – я даже в той, разбойничьей реальности, захлопнув за собой двери холла, чувствовала себя безопасно. Конечно, у меня всего один замок. Нищета защищает лучше, чем бронированные двери.

Я вхожу в свою прихожую, зажигаю свет, раздеваюсь, поглядывая в зеркало, и, довольная тем, что в нём отражается, тихонько напеваю: «Добрый

вечер, тетя Хая, ая-ая. Вам посылка из Шанхая, ая-ая».

Очень хочется пить. Я прямо в сапогах иду на кухню. В чайнике наверняка полно воды.

Я вхожу в темную кухню и на фоне окна вижу силуэт человека.

Значит, так это и бывает. Тыходишь ночью в свою пустую квартиру, и кто-то неподвижный поджидает тебя. Убьёт? Будет пытаться? Почему он меня выбрал? Я никогда этого не боялась, у меня же нечего взять. Но, видно, не одни лишь воры ходят ночью по чужим квартирам.

Мне страшно. Леденящая мучительная жуть сдавила меня, сжала, я не могу шевельнуть даже пальцем. Что может быть страшнее этой жути? Но она оттого и страшна, что я знаю: самое страшное, невыносимо, невообразимо страшное ещё ждет меня, оно впереди.

– Ну, чего стоишь? Давай, свет зажигай, – слышу я насмешливый мерзкий голос.

Наиздевался. Насладился первой частью представления. Я послушно зажигаю свет.

Батюшки, да я ведь знаю этого человека. Это тот усатый милиционер с висячим синим носом, которого я мельком видела ещё сегодня утром. Он препирался с валютной девушкой Лилей, и Лилия грозила его заложить и, кажется, называла его Петькой.

Страх сползает. Это ведь знакомый человек. Может быть, ему действительно чего-то нужно, и он бесцеремонно влез в мою квартиру. Ничего особенного. Беспредел. Мы к нему так долго привыкали.

Страх сползает, и мне опять хочется пить. Я подхожу к плите, беру чайник – он и в самом деле почти полный – снимаю с полочки чашку, наливаю себе воды и снова слышу этот издевательский, хамский голос.

– Хозяйка называется. В грязных сапогах сразу воду лакать. Хоть бы «здравствуйте» гостью сказала.

– Зачем вы ко мне пришли? – тихо спрашиваю я и снова чувствую, как холодок жути потек по всему телу, сжимая меня. Я неловко ставлю чашку прямо на плиту и, сделав над собой усилие, гляжу ему прямо в лицо.

Нет, он действительно страшный. У него мутные свинцовые глаза и скверная, зловещая улыбка.

– Зачем пришел? А ты ещё не поняла?

Я молчу.

– Убить тебя пришел. Вот зачем.

– За что? – я говорю это почти беззвучно.

Он, хмыкнув, поудобнее устраивается на стуле.

– А ты не знаешь?

Я трясу головой.

– Вот теперь хорошо напугалась. Даже голос пропал. Да ты садись, – вдруг милостиво предлагает он, и я покорно опускаюсь на табуретку. – Я ведь не сразу тебя задушу... или как-нибудь ещё – видишь, даже этого не придумал, – говорит он почти буднично, словно и правда в гости пришел. – У меня с тобой разговор будет долгий.

Значит, сразу не убьёт. Господи, спаси меня. Господи, пошли чудо.

Это очень странно, но, узнав, что меня убьют не сейчас, я чуть-чуть отошла. Хотя увы, не верю в чудо. Наверное, я плохая христианка.

– За что вы хотите меня убить? – спрашиваю я. – Вы же меня совсем не знаете.

– Ну как в лужу, – хохочет он. – Это я тебя не знаю? Да я насквозь тебя знаю. Всякую мелочь знаю про тебя. Это ты тут ходишь и людей не видишь. А тебя-то знает весь дом, всю по косточкам перебрали.

Я гляжу с изумлением.

– Что обо мне можно знать? Я живу тихо, почти ни с кем не общаюсь, зарабатываю мало.

– Вот-вот. Ни с кем не общаешься, живешь не как люди. Даже «Топаз» и «Кассандру» не смотришь. Денег мало, это правда, а без обслуги – никак. Чуть что, Григорьевне звоночек. То морозы сильные – не хочется выходить, то дождик. И в магазин, и по делам своим старуху гоняешь, за книжечками, за бумажками, на деньги ей доверенность даешь. Мало не мало – ты из конторы их получаешь, а Григорьевна от твоей милости. А ты ещё такую рожу скорчишь, если старуха чуть побольше попросит.

Попросит! Эта ведьма, эта люмпенша не просит прибавок, она требует их нагло, с криком, хватая за горло. Она скоро всю пенсию у меня заберет. Ненавижу! Как я её ненавижу. После того, как я впервые дала ей доверенность, она обзвонила весь дом, сообщая, сколько мне лет. И сама же потом доложила, что соседи удивляются. Они думали, что мне гораздо меньше. Я просила её об этом? Даже соседи не просили.

– Но ведь я немолодой и больной человек, – объясняю я кротно. – У меня гипотония. Мне трудно двигаться. И я ведь ей плачу.

– Платишь – рожи делаешь. И ругалась ты с ней, и проверяла. Старую женщину проверяешь, как воровку.

Так ведь она и есть воровка. И я всего лишь сказала ей, что моя приятельница за все продукты

платит меньше. Я даже не сказала, что за апельсины она платит меньше вдвое.

– У тебя какая твоя «тония», а у неё гипертония, как у всех людей. И старше она тебя. Правда, всего на пять годочков. Так она же волосы не красит и на диване не вылеживается. Она с гипертонией – старый человек – плитку твою драит, а ты на диване – хи-хи, ха-ха с подружками, ах, я не могу сейчас сказать, я вроде не одна, а потом ещё иностранному.

Что-то царапнуло меня. А ведь это противно – лежать, хохотать на диване, когда рядом за дверью седа старуха, скорчившись, моет пол.

Первое время я ходила за ней следом, разговаривала, но так скучны, и пошлы, и непристойны её разговоры, так отвратительна её зависть ко всем на свете, что я всё больше помалкивала, страдая в душе, и лицо моё, наверное, не выражало живого интереса, потому что старуха сама стала говорить: ты своим занимайся, а я своим. Иди к своим бумажкам. И я вытаскивала эти бумажки заблаговременно перед её приходом, иногда прикрывая ими газету или книгу, которую читала. Ну а уж если зазвонит телефон... Так что я, в общем-то, не виновата. Но почему-то противно. Так противно, как бывает, когда не нравишься себе. Я очень не люблю не нравиться себе. Это, пожалуй, самое неприятное из всех противных ощущений.

– Так вы из-за Клавдии Григорьевны хотите меня убить? Кто она вам?

– Она мне сватья, – отвечает он веско. – Только я убью тебя не за неё, а за себя.

– За себя? Но я же ничего вам не сделала. Мы даже не разговаривали никогда.

– Ты – мой самый злейший враг. Я за это тебя и убью. А что не разговаривали, могла бы хоть поздороваться. Я всё ж-таки курировал ваш дом.

Ах, Петя, Петя, какие слова он знает. Курировал! Собирали деньги со спекулянтов и проституток – от той же Григорьевны знаю. Правда, она не говорила, что он ей сват, а просто «есть тут один», но сейчас я уже догадалась, не зря же Лиля хотела его заложить. Да он ведь просто рэкетиры в милицейской форме, сейчас таких будут гнать из милиции поганой метлой, но он не стал выжидать, в первую же ночь ко мне примчался. И неожиданно для себя я спрашиваю:

– А почему вы хотите меня задушить? Вы же милиционер, вы застрелить меня можете.

Я сумасшедшая. Как я решила выговорить это слово «задушить»? Я чуть не задохнулась, словно кто-то воткнул мне поперек горла камень.

– Легкой смерти захотела? – хохочет он, покачиваясь на стуле. – Легкой смерти не дождешься – ты мой злейший враг. – Потом яростно добавляет: – Да и нету у меня теперь «Макарова», отобрали. Выгнали из ментовки в шею, вытолкали в самый первый день. Можешь радоваться. Вражина...

Он, наверное, не дурак. Он видит моё недоуменное лицо и начинает объяснять. Почему-то ему хочется поговорить, всё разъяснить мне. Наверно, он никогда ещё не убивал таким вот образом – из идейных соображений. И опять меня пронзает эта нестерпимая жгучая жуть при мысли о том, что этот человек, наверняка уже кого-то убивавший, очень скоро убьёт меня.

– От вас, интеллигентов, вся беда, – говорит он. – Сперва захотели по-новому жить. И живут, и за границей детей учат, и деньги свои в банках держат за границей, ещё и замков там понастроили, разных дворцов.

Господи, с кем он путает интеллигенцию? Какие замки? Детей, правда, учат, но ведь далеко не все, меньшинство какое-то ничтожное.

– А такие вот, как ты, вредней всего. Люди кинулись туда-сюда, приспособились, кто торгует – это же работа, бабульки старые ночью встают и бегут очередь занимать. Кто поздоровее, в челноки пошел, кто в проститутки, кто сдает квартиру, тоже ведь не сахар по чужим людям мотаться, там пожил, здесь пожил, в сарайчике, на кухне, да ещё хозяину плати, но ведь баксы-то идут, кто ж откажется от баксов, терпеть нужно. Ну и у нас, в спецслужбах, тоже способы нашли. Одна вот ты, и такие в этом роде, ничего менять не желают, сидишь, пишешь свои переводы, да ещё хвалишься: я, мол, знаменитый переводчик, я не халтурую, пусть я буду меньше денег получать, зато у меня качество. Да кому оно сдалось, твоё качество? Нашла чем хвалиться, денег хочет меньше получать. Весь народ халтурит, а ты не халтуришь.

– Это неправда, – вспыхиваю я. – Весь народ не халтурит.

И тут я вспоминаю этого пассажира в автобусе. Полунищего, в страшной шапке и с невставленными зубами. Его умные и жалостливые глаза, когда он первый бросил в кассу пять копеек. Пять маленьких копеечек, просыпавшихся в полуавтомат.

– Нет, – повторяю я. – весь народ не халтурит.

Интересно, почему мне вспомнился этот случайный, незнакомый человек, а не ребята из нашей компании? Скорее всего, просто потому, что ребята наши всё же зарабатывают. Юрка, Серега – крупные специалисты. Васька на стройках подрабатывает, и

неплохо. У Семена частные визиты. Тамара халтурит, единственная в нашей компании халтурит. Нинка, конечно, совсем плохо живет. Я и Нинка, только двое. Нинка даже хуже меня, я всё же подрабатываю, и за переиздания временами подбрасывают, кто сколько надумает, с барского стола. Боже, как я ненавижу наших издательских нуворишей. Есть, конечно, среди них порядочные, но остальные – что они творят.

А эти наглые тусовки по телевизору? Были милые, чудесные, наши любимцы, а сейчас зачем-то жрут икру перед голодными людьми и шьют костюмы у парижских модельеров. Или у Славы Зайцева.

Ненавижу их всех! Модельеров, торгашей и спонсоров, и само слово «спонсор», которое произносят с таким сладким, льстивым придыханием, – тошнит.

То мутное, бурливое, которое носится в воздухе, вырвалось, наконец, и из меня. Меня трясет от ненависти, душит, давит, как задавит меня вскорости этот урод – ух, как я его ненавижу, и эту старую мерзавку, которая выжимала из меня мою пенсию и злобно мыла мне кости, и домылась, наконец, навела убийцу в дом, который она с такой злобой убирала, и злобно получала деньги, которые, не скрою, я тоже злобно вручала ей.

– Да, – соглашается со мной убийца. – Все не халтурят. Слабые люди не халтурят. И дураки с принципами. А ещё интеллигенты, такие, как ты, падаль чертова. Не понравилось вам по-новому жить. Обратно всё перевернули. И радуются. А я, между прочим, не радуюсь. Меня из ментовки выперли в первый же день. Коррумпированный, говорят. Поборами занимаюсь. Рэкетир. Какой я, к черту, рэкетир? Мы все сроду этим занимались; спекулянты, воры, жулики, шлюхи – всегда за ними был пригляд, во все времена. Ну, сейчас их побольше. И денег, конечно, побольше. Люди всё же лучше стали жить. Ещё новый контингент прибавился – квартиры сдавать. А кому сдают? Что они, вьетнамцы эти, в тюках своих возят? Я, может, с наркомафией борюсь, а меня в шею. Заслуженного сотрудника. А ты, сука, тоже радуешься. Вон, песенки про тетю Хаю пела, пока меня тут не увидела.

Пела, каюсь, пела! Ты всё пела – это дело, так поди же попляши. Я гляжу на него глазами ошеломленной стрекозы, которой петь совсем не надо было, а он продолжает:

– Многие сегодня радуются. И слабаки, и дураки, и интеллигенция гнилая, так вы, вроде, называете себя. А я по-простому скажу – падаль.

Как он ненавидит всех честных, порядочных,

добрых, не крутых. Мне вдруг приходит в голову: да ведь он – воплощение зла. С его речами, с его страшными делами.

Я не сразу решаюсь. Мы сидим, молчим, и он глядит на меня мутным взглядом.

Но вот я опускаю руку, так что её прикрывает угол клеенки, складываю пальцы крестным знамением и быстро поднимаю руку, чтобы его перекрестить.

Он молниеносным движением тут же её перехватывает и начинает разжимать мне пальцы. Я отчаянно стараюсь держать их вместе, щепотью, но хватка у него звериная, и один за одним он разделяет троеперстие своими железными пальцами.

– Чего придумала! – кричит он. – Смирно сидеть. Без всяких мне этих штук.

Да, теперь я буду сидеть смирно. Пальцы болят, будто он мне кости размозжил.

– Посиди, посиди, – бубнит он. – Водки у тебя нет? Или хоть вина какого. Черт знает что за баба. Ладно, обойдется. Посиди, пока живая, подумай.

Он явно не торопится. Теперь я поняла, почему. Он развлекается, играет со мной, как кошка с мышью. Кстати, ведь я это сразу почувствовала в тот момент пронзительного первого страха.

Я сижу, я думаю. Мне сейчас кажется смешным, что я хотела его перекрестить, словно кузнец Вакула своего ручного черта. Какой он черт? Он же сам чертыхается. Он преступник, бывший милиционер. Нет, конечно, он не черт. Но нечистая сила тут бродит.

Он привел её с собою в мою не грешную и бедную квартиру, и мне стало душно.

Отчего? От ненависти, к нему и к таким, как он, к убийцам и ворам, завистникам и сплетникам, юрким людишкам нынешнего времени, которые ловят рыбу в мутной воде. И ещё к этим, с перекосенными от злобы лицами, пылающими от агрессии.

Он шевельнулся, вздохнул и сказал:

– Хозяйка хренова. Одеколону, что ли, дай.

Я принесла из ванной огромный цилиндрический флакон «Гигиенического», он глянул на него презрительно, сказал «Господи!» и, отмахнувшись от рюмки, сделал глоток из горла.

Нет, конечно же, он не черт. Вот, даже Бога поминает.

Он снова отхлебнул и ехидно сказал:

– Ты тут на особенные срока не рассчитывай. Вот допью и к делу надо приступить.

Помертвев от ужаса, я подумала: хорошо, что флакон такой большой и почти полный. И тут же

рассердилась на себя.

Чем я всю жизнь занята? Утешаю себя, что всё не так уж плохо. Не так плохо жить сейчас в Москве – в Чечне хуже. Не так плоха моя личная жизнь. Всё-таки я побывала замужем, ну, допустим, неудачно, а другие вообще никак. И у меня есть взрослая дочь, правда, я её месяцами не вижу, но она довольно часто звонит. У меня хорошие друзья... нет, вот это уже в самом деле правда, но мы встречаемся раз в полгода и все хором галдим. Ежедневно и подолгу я говорю только с Тамарой и всё время раздражаюсь и завидую ей. Она ведь тоже из этих – из юрких. Вот теперь новый повод порадоваться нашла: флакон большой, убьют меня не скоро. Во всяком случае, не так скоро, как если бы у меня был маленький флакончик французских духов.

Мне не радоваться, мне горько плакать надо. Отметилась, чтобы не быть старой девой. А друзья? Как это вышло, что Тамара – моя лучшая подруга? Я ведь не желаю ей добра и завидую ей. И богачам завидую, и всем этим «лауреатам», которым премии за всякую чушь дают. И Григорьевне за то, что у неё такой напористый характер. Впрочем, ей я не особенно завидую. Но как я её ненавижу! Мне иногда кажется, что я могу её убить.

Душно в кухне. Меня душит зависть. Я завидую очень многим и ненавижу их.

Почему среди моих подруг нет хороших людей? Почему из всей нашей милой компании я выбрала единственную немилую, которую держат для комплекта, верней, контраста, и называют козлом?

Впрочем, это как раз понятно. Все заняты, у всех семьи, а мы одинокие. Мы с ней на равных. Обе друг дружке нужны. И я радуюсь её звонкам, так приятно быть нужной. Не так уж много она мне вопросов задает, просто жалуется на одиночество, на болезни, на сына. Он, по-моему, жесткий парень, но я утешаю её. И она меня утешает. Она меня, а я её. И я ей благодарна. Правда, правда. Ведь никто, кроме неё, никогда меня не утешает.

А мне так хочется, чтобы утешили, пожалели. Сказали что-нибудь хорошее. Я всё время говорю людям приятное, а мне никто приятного не говорит. Неужели же никто не понимает, что доброе слово важнее дела?

Петя как-то хрюкнул и сделал огромный глоток. Во флаконе уже меньше половины.

– Ну, баба, – буркнул он. – Тройного не могла купить, шалава.

Он порядком набрался. Но задуманное выполнит. Мне бы самое время подумать о душе,

но что это такое – думать о душе? Это, наверное, возвышенно, прекрасно. А у меня в душе одни обиды – на жизнь и на людей. Я всегда считала, что я совсем не завистливая. Тамара завистливая, а я нет. Она даже один раз сказала мне: я тебе завидую, что ты независтлива. А вот, оказывается, я завидую такому множеству людей. И ненавижу их – своих ближних, которым я должна желать того же, что себе. Так сказано в Писании, а я христианка.

Но ведь все эти удачливые «ближние» живут лучше меня, и я как раз себе желаю иметь то, что есть у них. То есть завидую. Завидую и ненавижу. На пороге смерти. Наверное, это какие-то другие христиане перед смертью думают о душе. Те, у кого души светлые, независтливые, добрые. Тот человек в автобусе – что он мне всё время вспоминается? – у него, наверное, светлая душа. Глаза добрые и столько в них жалости. Это он меня жалел, что боюсь положить пятак. И у Юры светлая душа, конечно. И у многих наших. Но почему-то у меня стоит перед глазами этот мужичок в ушанке.

У меня это бывает. Встретишь какую-нибудь женщину с добрым лицом. Она что-то скажет про гололед или чью-то собаку и улыбнется хорошей улыбкой, и у меня светлеет на душе. А ещё старушки так славно благодарят за какой-то пустяк: «как пройти», «который час»; ну, бывает, иногда переведешь через дорогу, – «Благослови тебя Бог, милая. Всякого тебе добра». И ты идешь ну просто счастливая.

А ребята наши чудные, конечно; одна беда – мы давно разошлись. И встречи наши – ниточка, за которую мы цепляемся, удерживая память о тех временах, когда мы дружили по-настоящему.

Это что ж, выходит, многим из нас плохо, если мы цепляемся за нашу видимость дружбы?

А автобус, полный радующихся стариков? Разобщенные – даже козла уже не забивают, в постоянном страхе и тревоге, они сегодня понадеялись, что перестанет давить этот пресс, что наконец-то замаячила надежда.

И на улице люди повеселели, и в метро. И в нашей крикливой компании. Значит, всем им плохо было, так же как и мне, а я всё завидовала, завидовала, завидовала!

Завидовала не таким, как я, а другим, таким, какой я быть не умею. И, честно говоря, не хочу.

Так откуда же эта нелепая зависть? От тяжелой жизни, вот откуда она. Раньше я и правда не была завистливой. Хотя нет уж, не врать так не врать. Завидовала я и раньше. Нет, не богатым! Счастливым семьям, счастливым парам – вот кому я завидовала

всегда. Но мне жилось тогда гораздо лучше, а сейчас прижало, и вся душа наполнилась завистью.

Э, похоже, я задумалась о душе. Делаю то, что полагается перед смертью. И что же я нашла в своей душе? Сплошную зависть. Зависть и ничего больше? Ладно, будем копать дальше.

Я раздражительна. Мильтон этот прав: когда старуха, оказавшаяся его сватьей, нагло требует очередной прибавки, я «делаю рожи», как он говорит. Представляю себе, какая мерзкая физиономия бывает у меня в этот момент.

Раза два я случайно видела в зеркале своё лицо, когда я сержусь. Оно ужасно. Злобное и безобразное. Я часто злюсь, я очень часто теперь злюсь.

За один лишь этот час, нет, больше, вероятно, – я сама не знаю, сколько часов мы тут сидим, – из меня уже десятки раз выскакивало слово «ненавижу». И хорошо бы если бы только слово, но ведь тут и чувство. Я дрожу, задыхаюсь от ненависти, я ненавижу множество людей, из которых я большинство в глаза не видела. А Григорьевну мне несколько раз хотелось убить. Я, конечно, не могу её убить, я всё же не Петя. Но это было – всего одну секунду – очень сильное чувство. Я никогда никого не хотела убить, ни разу во всей своей долгой жизни. Но сейчас, когда всё так плохо, так обидно, так несправедливо, – вот появилось же, мелькнуло. А если это станет сильнее? Неужели я могу убить человека? Нет, нет. Это всё равно, как говорят со злости: чтоб ты сдох. Это довольно часто говорят, но ведь никто при этом никого не убивает. Но как много во мне ненависти, страшной, черной, доводящей до таких желаний.

Это тоже я открыла у себя в душе. А ведь все считают меня доброй, и я сама считаю, что я добрый человек. Я говорю людям приятное, я щедра на комплименты. Я утешаю тех, кто огорчен. Я очень часто думаю: почему люди не отвечают мне тем же? Говорят: «Спасибо, как вы подбодрили меня» – но никто не платит мне той же монетой. Никто не утешает и не подбадривает меня, и, рассыпая комплименты, я их не слышу в свой адрес. А как мне хочется услышать похвалу, для меня это в миллион раз важнее каких-то подарков – косыночек и кусков мыла. Как они жестоки, мои знакомые, мои подружки, почему им не приходит в голову произнести это так страстно ожидаемое мной слово? И говорят они всё о своём, а стоит мне заговорить о том, что меня волнует, они тут же начинают скучать.

А я ведь так стараюсь, так подталкиваю их своим доброжелательством! И ничего.

Стой-ка, Таня, стой. Я их подталкиваю,

я стараюсь – для чего? Жадно прислушиваясь, не мелькнет ли желанное слово, для кого я это делаю? Вот так номер – получается, что для себя. Я расспрашиваю их и утешаю только для того, чтобы все поняли, как я добра. Я говорю: «Как ты чудесно выглядишь сегодня», чтобы услышать в ответ: «Ты тоже. Ты просто замечательно сегодня выглядишь». Но они благодарят меня и не роняют в ответ ни одного словечка из тех, что мне так хочется услышать. И я прихожу в ярость.

Ну и ну, снова ненависть, снова ярость. Я ненавижу тех, кому лучше, чем мне, и ненавижу тех, кому плохо. Я к ним бросаюсь с утешениями, но при этом жду от них только того, что нужно мне – чтобы меня оценили.

Правда, мне довольно часто искренне жаль тех, кто попал в беду, преувеличивать не буду. И всё же самое главное для меня – это я сама, моя отзывчивость, моё умение найти нужные для утешения слова. А уж комплименты, которые я так щедро распыляю – чистый торг. Я поэтому так злюсь на знакомых дам, что они не выполняют условий торга. Не делают самого главного. Не хвалят меня.

Вот и ещё одна приятная новость, которую я обнаружила, думая о душе. Я эгоистка. Мне всерьёз интересен один лишь человек на свете – я сама. И в ближних для меня одно лишь важно – как они относятся ко мне. Я себялюбива и равнодушна к ближним.

Что ж после этого жаловаться на одиночество? Я равнодушна к людям, а люди – ко мне.

Так что всё справедливо. И на дочку мне не стоит жаловаться – получаю от неё столько внимания, сколько может получить равнодушная мать. И на возлюбленных моих, которым никогда не приходило в голову, что на мне нужно жениться. И на приятельниц, и всех моих бесчисленных знакомых с их внуками, больными стариками, разводами детей. Я пропускала всё это мимо ушей и думала лишь об одном, единственно для меня важном – о себе.

Петя пробормотал что-то невнятное, икнул и, приподняв флакон, уставился на него с любопытством. С неменьшим любопытством смотрела на флакон и я. Там осталось совсем немного. Возможно, он допьёт это сейчас одним глотком. И тогда... Господи, спаси меня. Сотвори чудо. Но какое чудо может здесь, сейчас меня спасти? Задрав голову, он снова отхлебнул из флакона. Громко стукнув, поставил на место. Я скосила глаза – там ещё есть что-то на доньшке. Почему мы так цепляемся за жизнь? Ведь мне остались жалкие минутки, а я рада.

Странное создание человек. Мыслимо ли ра-

доваться, когда знаешь, что через несколько минут ты умрешь жуткой мучительной смертью?

А накануне смерти ты поняла, что ты зря ждала похвал и надеялась на добрую дружбу и – что скрывать от себя? – всегда скрывала это от себя, но знала, ой, как знала, – что надеялась на чудо, на позднюю счастливую любовь.

Не на что мне было надеяться и нечего ждать, даже если бы, придя домой, я не встретила бы здесь этого сумасшедшего убийцу.

Ничего подобного у меня не могло быть. Я черствая, эгоистичная, я всем завидую и всех ненавижу. Я одиночка. И осталась бы такой навсегда. Но я уже никакой не останусь.

Я взглянула на него. Он с самого начала был страшный. Но какой он ужасный сейчас.

Мутные, красноватые, воспаленные глаза и воспаленное лицо, и шевелящиеся мокрые губы. Что с ним? Почему он весь горит? Господи, спаси меня и помилуй, это пьяная ярость, – то самое состояние аффекта, о котором так часто говорят в суде! Ему море сейчас по колено. А убить меня – всё равно что комара задавить.

Он и думать не станет, как меня прикончить. Машинально плеснет себе в глотку то, что там болтается ещё на доньшке, а дальше будет действовать уже не человек, а красная пьяная ярость.

Умирая от ужаса, я отвернулась. Он сидел, сопел. Я устала куда-то в угол, только бы на него не смотреть.

И тут я увидела её. Не зрением. Не знаю, как. Но, уж конечно, это не была галлюцинация. Я увидела её каким-то внутренним зрением. Так, пожалуй, будет точнее всего.

Я не видела её глазами, но я хорошо её разглядела. Она стояла, сгорбившись, и было ясно: она собирается уйти. Злая, жалкая, отвратная старуха. Она была как хищный зверек, потревоженный в логове. Опасный, яростный, но принужденный уйти. Злобные зеленые глаза. Взъерошенные волосы – очень странные: жесткие, словно раскрученная тонкая проволока, и цвет какой-то металлический, – с сильной проседью, темно-серый.

Почему-то меня беспокоило, что она на кого-то похожа. На кого-то очень близкого мне. И вдруг я поняла: на меня. Верней, не на меня, а на мои отражения в зеркале, которые меня так угнетали. Это бывало редко, раза два-три, не больше, – когда в диком приступе гнева я вдруг оказывалась перед зеркалом и видела там мерзкое, искаженное злобой лицо. Два-три раза всего лишь, но я хорошо их запомнила.

Она исчезла так же внезапно, как появилась. Я вдруг почувствовала такую усталость, что положила руки на стол и опустила голову на руку. На тот самый стол, за которым сидел мой убийца. Почему-то я сейчас не думала о нём. Наверно, от усталости.

И тут я услышала храп. Очень громкий мужской храп.

Я, наконец-то, на него посмотрела. Он спал, сидя на стуле, и потихоньку клонился набок.

Очень странная вещь. В кухне было совсем не душно. Даже прохладно. А ведь я задыхалась весь вечер. Но сейчас тут стало прохладно и, что совсем уж странно, спокойно. А то тревожное, сердитое, что пузырилось и бурлило, прибилося книзу, ушло в пол.

Потом мелькнула мысль: надо бежать, пока он спит, но я не тронулась с места. А он клонился всё ниже, ниже и чуть было уже не упал, но всхрапнул, как конь, и выпрямился на стуле, ошеломленно глядя на меня.

Ну вот, я упустила свой единственный шанс, своё чудо. Но я не ужасалась, не упрекала себя. Дело в том, что я не боялась. И когда он ещё спал, не боялась. Я поэтому и не пыталась бежать.

– Сколько время? – спросил он хрипло.

– Скоро три.

– Ну и дела. – Он явно испугался. Вскочил и ринулся в прихожую. – Слушай, я тебя очень прошу, никому не говори, что я тут... в общем, был. Мне супруга башку оторвет, если узнает, что я у одинокой женщины чуть не целую ночь проторчал.

Я ничему уже не удивлялась. Лишь спросила:

– А где ваша шапка, шинель?

– На первом этаже у друга оставил. Он в угловой квартире с той стороны живет. Алкоголик, его тут все знают. – Он говорил торопливо, видно, мысль о супруге всерьёз тревожила его. – Мы посидели с ним, хорошо посидели. Ну, сапоги я скинул, он мне тапки свои дал. И такая меня вдруг взяла обида, не обида, а, понимаешь, злость. Я тебе прямо скажу: озверел. Ну, думаю, сейчас уж я убью кого-то, это точно. В доме я всех знаю, вроде и некого убивать. Нет, я всё-таки иду, в его тапочках драных, выхожу на площадку, смотрю на почтовые ящики, я же дом этот как пять пальцев знаю, кто в какой квартире живет. Гляжу на эти ящики и думаю: Лильку убивать нельзя – заметут: это ведь она меня заложила. Значит, в данном случае имеется мотив. Да и не одна она сейчас. К богатеньким – есть тут у вас две квартиры – к ним разве сунешься, там и засовы, и замки, и, главное, собаки – звери настоящие, овчарки, бультерьеры, мастифы, чтоб им пропасть. Но не назад же мне идти

к алкашу. Решил: убью кого-нибудь, значит – надо. И вдруг ясно так мне морда твоя вспомнилась. Как ты утром с сумками вверх по лестнице бежишь и уж так радуешься, прямо скачешь. Вот, думаю, кого я убью. Меня со службы в шею, а она, блядь, скачет. И убил бы, представляешь, слово даю. До того крутила меня злость, я аж задохнулся, жарко, муторно. Вот, думаю, допью одеколон – где ты только эту отраву взяла, сроду такого говна не пробовал, вот допью, думаю, потом: бац! И всё.

На секунду меня кольнула прежняя жуть. Кольнула и сразу ушла. Я взглянула на него выжидательно. Он зевнул с подвывом и вяло как-то сказал:

– Ну, чего тебе ещё рассказывать. Дурь, значит, на меня нашла. – Он опять зевнул. – Ну, я, в общем, пошел... А про этот случай ты молчи. Супруга у меня ревнивая. – Он усмехнулся и покачал головой. – Тоже мне, нашла кого ревновать, дура старая. Выпивка – один в моей жизни интерес.

Он ловко щелкнул моим замком и вышел, бесшумно притворив дверь. Я зачем-то прокрутила два раза свой бесполезный замок, с грустной, а точнее – черной – иронией подумала, что, судя по сегодняшнему вечеру, выпивка всё же не единственный его интерес, и пошла в комнату.

Мне тоже давно уже хотелось спать. Я даже зевнула, как Петя.

Я живу одна в своей однокомнатной, но ещё недавно здесь жила моя дочь Аня, а когда давным-давно мы въезжали сюда, нас было четверо – мы с мужем, моя мама и Нюрчок в кровати на колесиках.

Когда четыре человека живут в одной комнате, в ней всегда бывает бездна вещей – шкаф, сервант, и два стола, и всем надо где-то спать.

Комната понемногу пустела – уходили люди, с их уходом исчезали вещи. После развода я купила себе прехорошенький письменный столик – муж увез свою громадину. Так что сейчас у меня вполне уютно, не нагромождено, как на складе, даже странно, как мы могли тогда существовать.

И всё же у меня по-прежнему нет свободного угла, где я могла бы повесить иконы. Да и откуда бы ему взяться, если одного угла у меня просто нет – он практически совпадает с дверью, в другом стоит мой диван, а в остальных – книжные полки и переставить их невозможно, наоборот – до перестройки я их всё время прикупала.

Но я нашла выход. Одна полка – совсем без книг, и на ней стоят иконы. Богородица Всех Скорбящих Радость (это ещё бабушкина, деревянная, старинная), а остальные – картонные образки,

я покупала их в разных церквях в разное время – Спасителя, и Николая Угодника, и Казанской Божьей Матери, и Сергия Радонежского (в Загорске, когда жила в тех местах с мамой и Анютой на даче).

Я подхожу по утрам к этой полке и молюсь, когда подольше, когда поменьше. А по вечерам просто читаю «Отче наш». Иногда, бывает, так устанешь, что даже «Отче наш» не прочтешь – перекрестишься и всё.

Я не знаю, правильно ли я молюсь. Бывает, что молитва как бы льется из души, иногда же я ловлю себя на том, что говорю слова механически, а думаю о чем-то другом. Тогда я останавливаюсь и читаю молитву заново; от всей души в таких случаях всё равно не выходит, но я хотя бы вникаю в слова. Временами я с кем-то из них разговариваю, что-то объясняю, жалуюсь, прошу простить меня, прошу помочь.

Я молюсь, как умею, может быть, не по правилам, и всё же думаю, что это настоящие молитвы, потому что я без них давно уже не могу начать день.

Я подошла к полке с иконами и остановилась перед образом Спасителя. Я ничего не говорила, только смотрела на Него.

«Господи, – вдруг подумала я, – я просила у Тебя спасения, но ведь не верила, что Ты меня спасешь. Я молила о чуде, но разве я надеялась, что ты ради меня сотворишь чудо!»

– Боже милостивый, – прошептала я ошеломленно, – я не верила, а ты меня спас!

Я перекрестилась, поклонилась образу и сказала:

– Господи, прости моё неверие. Господи, благодарю тебя.

Я думала, что сразу лягу и усну, но вместо этого пристроилась в уголке дивана, поджав под себя ноги и облокотившись на подушку. Мне было мирно, спокойно, тепло. И хорошие славные мысли набегали медленно, как теплые морские волны.

Что-то теперь будет, думала я. Что-то хорошее, а что – не знаю. Интересно, как оно начнется? С чего пойдет?

То есть как это – с чего начнется? Уже началось.

Началось сегодня утром, когда я проснулась на этом диване и сразу же привычно принялась себя утешать. Теплым душем в ванной, наличием кофе и возможностью съесть апельсин. Помнится, я даже сравнила себя с героиней французского фильма.

А потом я натянула рваные фиолетовые рейтузы, и прикрыла дырки на коленях серой юбкой.

Надела старенькую куртку, белый вязаный колпак и отправилась в гастроном.

И тут он хлынул на меня, этот безумный день. Замелькали люди, лица, мокрый снег под ногами, бабульки с кефиром и мужики с минтаем. Из сутолоки вдруг четко выплыло лицо, лицо кавказской национальности, но с синими, словно летнее небо, глазами.

«Я черный? Почему я черный?» Он был совсем не черный, а черный был другой – не черный, но хотя бы черноглазый, с добрым жалостливым взглядом и широкой щербатой улыбкой. «Какие у меня миллионы? Ты на шапку мою посмотри».

Отчего он мне так часто вспоминается, – весь вечер – этот мужичок?

И опять водоворот, мелькают лица, лица, наше сборище, все прыгают вокруг Юрки, а Васька ходит и поёт смешную песенку своего провинциального детства: «Добрый вечер, тетя Хая, ая-ая...» И Юркины глаза – внезапно яркие, как голубые фонари.

Не многовато ли в этом водовороте мужских глаз? Для дамы серьезного возраста?

Возраст мой серьезный, но я сегодня разбесилась – за банку гороха проехала полквартиры в такси. А потом в своей же собственной пыльной квартире надела лодочки, выходное платье и чуть не пустилась плясать. Как этот Петя сказал? По лестнице так и скачет.

Я почувствовала себя женщиной, вот в чем дело, господа-товарищи. Я почувствовала себя привлекательной.

А раньше какая была? Когда сравнивала себя с героиней французского фильма из-за того, что у меня есть апельсин?

Была испуганная, издерганная тревогой, стареющая, опустившаяся. Вот такая я была. Почему я так боялась взглянуть правде в глаза? Ведь могла же я сказать себе прямо: мне сейчас плохо, как большинству людей вокруг меня, мы живем в бедности, замученные страхом. Если бы я так себе сказала, я бы, наверное, по-прежнему осталась издерганной, бедной и старой, но я хотя бы не была опустившейся. Человек, который смотрит правде в глаза, себя уважает.

Но ведь теперь всё будет по-другому. Ах, эта чудная посылка из Шанхая, вариант Смолькова-7. Уйдет из жизни это хамское и агрессивное, мы снова будем себя уважать.

Однако в первый же вечер в мою, казалось бы, защищенную нищетой квартиру пришел убийца. И по привычке я снова принялась себя утешать, – тем, что он убьет меня не сразу, а лишь после того, как

выхлещет большой флакон одеколона.

Но это было слабым утешением – часом раньше, часом позже я всё же умру. И тут я перестала играть с собою в жмурки. Как положено перед смертью, я задумалась о душе. Я, правда, этого не знала, я считала, что какие-то более правильно верующие христиане делают это не так. Но оказалось, что я делаю всё верно. Я узнала, что в душе моей живет злая и завистливая старушонка, похожая на хищного зверька. И, как хищный зверек из норы, она, будучи обнаруженной, скрылась. Это и было моё покаяние перед смертью.

Но смерти не последовало. Ушла гадкая старушонка, разъяренный хорек. И в душевной кухоньке, где метались, разжигая свою ненависть, два зверя, остался один. Его никто не злил, и он утих, успокоился в душе моего гостя. На месте жуткого убийцы сидел растерянный пьяный мужик.

Какой прекрасный день, полный чудес. Так почему же, тварь неблагодарная, я не чувствую себя счастливой? Старушонку выгнала, но какой-то бездомный пес скулит и воет у меня в душе.

Что ещё не так? Чего мне надо? Неужели я снова должна посмотреть в глаза ещё какой-то правде? Честно говоря, мне это надоело.

Мне так не хотелось опять заглядывать себе в душу, что для начала я просто широко открыла глаза и огляделась. Пыль я завтра сотру. За неделю уберу квартиру. Подумав это, я почувствовала нестерпимую тоску.

Я уже жила здесь в чистоте и уюте. Муж увез некрасивый громоздкий стол, и я купила изящный, дамский.

А после смерти мамы её сестра, тетя Лида, взяла её кровать, шкаф и тумбочку – малый спальный гарнитур, отделанный веселенькой фанеркой. Их семья росла, как на дрожжах.

А моя уменьшалась. И вот уже семь лет, как я одна. И начиналось это, когда в нашу жизнь ещё не вторглась перестройка.

Было ли мне хорошо тогда, в моей уютной чистенькой квартирке? Мне было ужасно. Ничего нет страшней пустоты.

А сейчас, когда мы все, хлебнув столько лиха, начинаем входить в колею? Неужели я опять буду считать, что моя жизнь ужасна и мучительна? Не говоря уже о том, что сегодня вечером она чудом подарена мне?

Если жить так, как я жила тогда, это и правда ужас. Собой и для себя. Одна. Всегда одна.

Интересно, если бы мне предложили вернуться в «Шоковый» со всеми его прелестями, но

не быть там одинокой? Согласилась бы я? Да я на что угодно соглашусь, только бы не эта пустота.

Как мне горько, как мне за себя обидно. Мается, щемит моя душа. И никто меня не понимает, кроме Тamarки, такой же одиночки, как я. Мне и её, дуреху, жаль. Сердится, воюет со всем светом. Но ведь ей так тяжело. Наверное, ещё хуже, чем мне. Живет в одной квартире с сыном и по целым дням не разговаривают. Он, мне кажется, скоро уйдет.

Так и от меня ушла моя Анюта. Мы всё ссорились, ссорились с ней. Ей сейчас, наверно, хорошо. А может, и нет, откуда я знаю? Когда мне бывало плохо, я жаловалась маме. А моя дочь со мной не делится. Так у нас повелось. И чего ради ей звонить мне с какой-нибудь своей бедой, если я думаю со злостью: ей сейчас наверно, хорошо. Неужели я хочу, чтобы ей было плохо? Уж не лезет ли опять ко мне в душу эта мерзкая старуха?

Нет, конечно, нет, я не хочу моей девочке зла. Мне просто тяжело и одиноко. Что делать, что же теперь делать, мне и Анюту жаль, и себя... И парень этот Томкин – несчастный. У него такое злое и замученное лицо.

А эти люди в автобусе, задерганные, пугливые? И тот, с жалостливыми глазами, которого я вспоминаю без конца.

Почему я всё время его вспоминаю? Господи, да он ведь пожалел меня!

Пожалел чужую, благополучную, прилично одетую даму. Пожилую женщину с испуганным лицом. Сколько нас таких – замученных, испуганных, прилично одетых? Что мы прячем за благополучным видом, за бодрими голосами? У Анюты всегда такой веселый голосок...

Бедный, бедный мой ребенок. Бедные мои подружки. Бедные пенсионеры из автобуса, и женщины с сумками, и все эти люди, бредущие сквозь мокрый снег.

Уж не тронулась ли я умом? Ведь не всем на свете плохо, почему же мне так жалко всех?

Слезы льются у меня по лицу. Что со мной, я никогда не плачу. Но слезы катятся, горячие, быстрые слезы, щеки мокрые, и я не вытираю их.

Как грустно мне, как хорошо, как жалко всех.

Екатерина Короткова-Гроссман ПЛАЧ ГОРОЖАНКИ

Говорят, деревня уходит. Куда уходит? Где её искать? Незачем искать. Она совсем уходит. Доживает последние дни. А иные утверждают, что у нас уже давно нет деревни. Одно название осталось, а деревни в полном смысле нет. Кончилось тысячелетие, какие могут быть жалобы?

Жалобы, конечно, могут быть. У тех, кто родился в деревне. Или, допустим, даже в самой Москве родился, но полюбил деревенскую жизнь и ездит в деревню ежегодно.

Похоже, что это совсем не мой случай. Я прожила в деревне всего один день. Правда, я не раз проводила в сельской местности целое лето, но жила там, как дачница: снимала часть избы, покупала у местных жителей молоко и фрукты, иногда прогуливалась синишку, но по большей части сидела в хозяйском саду и переводила, к примеру, письма Диккенса, ибо заказ был срочным, а тираж – миллионным; такие были времена. То есть никак нельзя сказать, что я приобщалась к деревенскому образу жизни.

Иное дело – тот единственный день. Он запомнился очень четко. В одну прекрасную субботу на последней лекции нам сказали, что выходного дня у нас не будет – воскресный день мы проведем в колхозе на уборке кукурузы. Сейчас – все по домам, но к шести часам быть в институте, взяв с собой самое необходимое на ближайшие сутки. Мы не обрадовались этой перспективе, но к шести вернулись в институт с хмурыми физиономиями и с тощими авоськами, в которых содержалось это «самое необходимое» – зубная щетка и тому подобное.

Нам сообщили маршрут, и на вокзал мы поехали трамваем. И тут, наконец, прорвалось наше недовольство. Признаться, я никак не ожидала, что наш протест примет такую странную форму, не говоря уж о том, что я и протеста-то не ожидала.

Наши немногочисленные мальчики решительно заявили, что, коль скоро мы выполняем государственное задание, нам положен бесплатный проезд. Девочки к ним оживленно присоединились, и я, хоть и считала, что две копейки – недостойный повод, штрейкбрехером быть не хотела. Кондукторша заявила, что, пока мы не купим билеты, трамвай дальше не пойдет. Тут в конфликт втянулись пассажиры, выступавшие в основном против нас. Дело, впрочем, закончилось очень быстро и мирно –

какой-то милый человек за всех нас заплатил.

В поезде эксцессов не было, на станции нас встречали, до деревни мы добрались в полной темноте.

Нас разбили на небольшие группы, и два колхозных активиста повели нашу четверку устраивать на ночлег. «Мы вас к таким хозяевам приведем, – объяснял красноречивый провожатый, – там уж дом... и места много, и покормят вкусно». Другой поддакивал ему. Но хваленые хозяева не пустили студентов даже на порог. Провожатые повели нас в другой замечательный дом; там произошло то же самое. Третий, кажется, был уже не столь великолепен, но достаточно хорош, чтобы нас завернули и там.

Проводники растерялись.

– Ну, так как же, – потоптавшись, произнес наш красноречивый, – наверно к Ныльке придется вести.

– Нылька пустит, – согласился его напарник.

То, что Нылькина избушка сильно отличается от недоступных для нас хором, заметно было даже в кромешной темноте. Хозяйка нам что-то постелила на полу и на лавке, и мы сразу провалились в сон.

Я проснулась ярким солнечным утром. Нылька – худенькая, не старая ещё вдова – тихо сновала по хате, готовила завтрак. На печи лежал мальчик лет шести. Он, видно, ещё не проспался и не спешил спускаться.

– Мама, кисю дай, – протяжно попросил он.

Она подняла с пола котенка и переправила на печку.

Почему-то это меня поразило. Деревня, чуждый, непонятный мир, а всё как в Киеве, в моем раннем детстве. Мальчик играет с котенком, а Нылька деловито и бесшумно «порается» в хате, совсем как моя бабушка.

Мы позавтракали вкусной деревенской картошкой и отправились в поле. Процесс сбора кукурузы оказался легким и приятным. Нам вручили спецодежду – нечто среднее между мешком и фартуком – и в две минуты показали, что делать. И пошла работа. Рывком, обеими руками раздвигаешь оболочку бледно-зеленых листьев – и вот он тут как тут, веселый янтарный початок. Отломила, сунула в мешок, пошла дальше.

Мы работали с энтузиазмом, день пролетел быстро. Наверняка был перерыв и нас чем-то кормили, но почему-то не запомнилось.

Помню, как возвращались. Солнце ещё не садилось. Мы шли без провожатых, к станции была протоптана дорожка. И вдруг мы вышли на чудесную

зеленую поляну, остановились, залюбовались и принялись танцевать. От вчерашнего недовольства и следа не осталось.

Если хорошо порыться в памяти, то, пожалуй, кроме одного-единственного деревенского дня, можно припомнить и одно-единственное сельское лето. Правда, с оговорками. Известное каждому киевлянину Святошино уже и в те времена находилось от города так близко, что туда и оттуда ездили не поездом, а трамваем. В этом трамвае мама каждое утро отправлялась на работу, а вечерами возвращалась к нам. Между конечной остановкой трамвая и деревней находилась небольшая роща. Возросшая к тому времени исключительно на сказках, я именвала рощицу лесом и уверяла всех, в том числе и себя, что там живут настоящие волки. Истины ради признаюсь: волков я в рощице ни разу не видела, даже издали; что до конфетных оберток и стаканчиков из-под мороженого, их было там гораздо больше, чем можно увидеть в солидном лесу.

Так ведь это же самая настоящая дача, вполне резонно могут возразить мне. Кое в чем, конечно, дача, но не во всем. Мы действительно, как дачники, приехали туда из города на лето. Но мы не снимали дачу. Мы гостили у маминой сестры, тети Жени, которая жила там постоянно. Наша тетя была сельская учительница. Впрочем, возможно, что и тетя, и мы снимали жилье у какой-то хозяйки, потому что во дворе была коза, и тетя Женя никакого отношения к ней не имела.

Незабвенная коза! Мне давно уже хотелось – и чем дальше, тем больше – прокатиться на ней верхом. Наконец я не выдержала. Шел летний дождик, реденький, но холодный. Коза стояла неподалеку от меня и что-то жевала. Я решительно к ней направилась, взобралась на спину и, к великой моей радости, козочка, почувствовав на себе всадника, сразу же куда-то зашагала. Блаженное ощущение: мало того, что исполнилось мое давнишнее желание и я еду на козе верхом, но, оказывается, на ней еще так приятно сидеть – я озябла под дождем, а у этой славной козочки такая мягкая, теплая шерсть.

Боюсь, что счастье длилось всего несколько мгновений. Резким движением козочка сбросила меня на землю и, не дав мне опомниться, злобно и очень больно боднула твердой, с двумя шишечками головой. Хорошо хоть оказалась безрогой.

(Мне было больно и досадно. Но время прошло, и досада прошла. А странное свое приключение – теплый, влажный от дождика мех

и чувство торжества – до сих пор вспоминаю с улыбкой).

Мама на работе, тетя где-то ходит, из взрослых дома только бабушка. Прожившая большую половину жизни в деревне, бабушка, вполне естественно, считает, что летом детям положено ходить босиком. Мне это новшество понравилось, однако с непривычки я то наступала на осколки стекла, то с разбегу налетала на выпирающий из земли корень. Вынет бабушка осколки из ранки, польет ее йодом, боль проходит быстро, и я снова куда-то бегу.

Или взбираюсь на высокий забор. Вот тут уж бабушка не оставалась равнодушной. «Катечка, – умоляла она меня в страшном испуге, – слезай скорissime, ты же разобьешься». Я отрицательно мотала головой и нахально продолжала сидеть на заборе. Однажды нас застала в этой ситуации тетя. Она тут же стащила меня с забора и отколотила палкой, которая мне показалась огромной. Вечером я жаловалась на «тетку» маме, но сочувствия не встретила. Почему-то этот эпизод я вспоминаю с неуместной гордостью. Наверно, мне понравилось, что я вкусила «настоящую» сельскую жизнь.

С соседнего двора к нам приходят настоящие «дачные детки». Черноглазые брат и сестричка примерно моих лет. Тихие, воспитанные, миловидные, обутые в туфельки на пуговках и, кажется, даже в носочках. Держатся они застенчиво, но всегда хотят есть, и бабушка их сразу же начинает кормить. Их зовут Дина и Ладик. Имена несколько необычные, и бабушка их называет Дынька и Оладик. Вероятно, подсознательно они ассоциируются у неё с едой.

Но вернемся к радостям. Их в том году выпало на мою долю немало.

Я сижу на берегу реки. В руках у меня удочка. Как ловится рыбка, мне уже объяснили. Самое главное, что она действительно ловится! Я выудила уже несколько рыбешек. Каждый раз восторг, ни с чем не сравнимый. Много позже, читая Аксакова, я узнала, что мальчик этот, Багров-внук, в XVIII столетии чувствовал точно то же, что и я через полтора-два столетия. Правда, он потом еще больше увлекся охотой, но мне, пятилетней, вполне хватило рыбалки. Какая горесть, что за всю мою дальнейшую жизнь ни разу не пришлось вернуться к рыболовству. До слез обидно.

А с середины лета мы стали ходить по грибы.

Волки нам по-прежнему не попадались, но грибов было много. Еще одно удовольствие, быть может, не такое острое, как рыбная ловля, но сравнивать не стоит. Каждый обнаруженный внезапно гриб радует, как долгожданный подарок. А уж если попадется «белый» – король грибов, или высунет из-под листвы красную шапочку крепыш подосиновик, тут ликование нет предела.

Я так полюбила искать и находить грибы, что бывала не в силах с ними расстаться. Придя домой, усердно принимаюсь за чистку, игнорируя несерьезные на мой взгляд угрозы: «ну и ну, зачем тебе такая грязная работа, вся измажешься, и маечку потом не отстирать». Пустяки какие-то. Главное, что у меня опять в руках грибы, и я старательно соскабливаю кожицу со шляпки, сцарапываю пятнышки с ножки, отрезаю корень. Вот он, по всем правилам очищенный гриб, мое изделие – картинка!

И на том, к изумлению взрослых, мое участие кончается. Жареных грибов, так дивно пахнущих и аппетитных, я не ем. Мне это неинтересно, да и само блюдо с непривычки кажется невкусным. Я даже чуть ли не горжусь этим. Во всяком случае, с достоинством всем сообщаю, что искать и чистить грибы люблю, а есть их мне совсем не нравится. Позже, конечно, оценила это блюдо, как все нормальные люди.

В конце лета деревенские жители начинают копать картошку. Это последнее, к чему я приобщилась в Святошине. За деревней распростерлось огромное картофельное поле, и повсюду бабьи хусточки и детские рубашонки. На эту сельскую работу выходят женщины и дети. И я тоже роюсь в рыхлой земле, чем глубже, тем прохладней... и вот она! Тяжелая, холодная картофелина у меня в руке, я вытаскиваю её и бросаю в корзину, где лежат такие же, большие, розовые, гладкие. Картошек много, их не приходится долго искать, как грибы, но и в этом поиске есть своя азартная прелесть.

Такое лето, полудеревенское, полудачное выпало мне всего один раз. Потом я ездила к отцу на дачу, несколько позже – в пионерский лагерь.

Тем не менее именно в эти последующие годы я постоянно слушала рассказы о деревне. Не о той деревне, где ходила по грибы, а о другой, далекой и совсем не похожей, о деревне XIX века. Рассказчиков было много. Ведь вся семья, не только бабушка, но и все мамины братья и сестры выросли в деревне. Только мама родилась в Оренбурге.

В Черниговской губернии, в двух расположенных вблизи друг от друга казачьих

селениях: село Высокое и деревня Шаповаловка, жили с давних времен наши предки. Поначалу жили, как я понимаю, спокойно. Не случайно же у близких наших родичей так много не украинских фамилий: Шерембеи, Людкевичи. Подвергались набегам, да и сами набегали. А кого-то уводили в полон.

К XIX веку успокоились. Бури остались позади и предстояли в дальнейшем. А мне рассказывали чаще всего что-то забавное. Иные истории смахивали на анекдоты. Особенно рассказы о наших свойственниках, разорившихся дворянах, людях, как видно, очень странных, мнительных и нервных. О них даже сложили смешную песенку: «Шапорець, Шапорець, козына¹ головка, не боїться ні людей, ні сирого вовка». Узнала я и о сердитом священнике, который, невлюбив кого-то, нарекал детей этой семьи «плохими» именами: Хавронья, Мардарий, Иуда.

И, конечно, узнала романтическую историю бабушки и дедушки, которые поженились против воли родителей.

Мама рассказывала, как в 20-е годы, когда город жил голодно, а у крестьян и казаков ещё не отобрали землю, она ездила каждое лето «на хлеба» в Высокое и даже привозила с собой подруг.

Одним словом, о деревне я была насыщена порядком и не знала лишь одного: что с появлением колхозов всю нашу хлебосольную родню погрузили в товарные вагоны и увезли на поселение в Сибирь. Увезли со всем семейством и обоих бабушкиных братьев. Старший брат Николай Тимофеевич Головань, богатый казак, живший в большом красивом доме с маленькой семьей, состоявшей из жены и сына, единственного наследника, был, уж конечно, раскулачен. Младший брат его Трофим, человек невезучий, обретался в крохотной избушке с огромной оравой голодных детишек. Раскулачили и его тоже. Вероятно, обозвали подкулачником. Оба они умерли в Сибири, а их вдовы Ксения и Харитина с теми детьми, кто выжил, вернулись на Украину, и теперь уже они отправились «на хлеба» в Киев.

Они жили у нас некоторое время и были рады поношенной одежде городских племянниц, стоптанной обуви. Даже галошам, обутым на босые ноги.

Они приехали первыми, а за ними потянулась вся родня. Две смежные комнатки в коммунальном полуподвале, где мы жили впятером, – тетя жаловалась, как неудобно ей, девице, спать в одной

¹ Козына (укр.) – козья. (Прим. ред.)

комнате с мужчиной (братом), и ночевала в ванной (в ваннах тогда никто не мылся), – две эти комнатки превратились в странноприимный дом, двери которого были всегда открыты. Приезжали семьями, – одиноких не помню, – в любое время суток. Я так к этому привыкла, что не удивлялась, сквозь сон услышав незнакомые голоса и плач ребенка. Несколько озадачил меня парень в гимнастерке. Как же это так – в Красной армии служил и в ссылке оказался. Но я не очень-то задумывалась. Вся эта толпа нашей раскулаченной родни, людей, как я знала, порядочных и хороших, настолько сразу же ошеломила меня, что я отвыкла удивляться.

Тетушки же, Ксения и Харитина, наезжали к нам не раз, поэтому я хорошо их помню. Я никак не могла взять в толк, что неряшливая, с растерянными синими глазами Ксения была хозяйкой справногo имения. А молчаливая и сдержанная, с жестким взглядом прищуренных серых глаз Харитина провела всю жизнь в нужде с незадачливым мужем. Хотя, возможно, именно это её и закалило.

Потом все они, наверно, как-то приспособились к новой жизни. Перед войной уже не приезжали. А мамина кузина Маруся Шерембей даже стала директором фабрики в Подмосковье. Что-то сдвинулось наконец-то – умерил свою беспощадность суровый классовый подход.

Пришла война, и семья наша раскололась. Мы очень долго не уезжали из Киева. Мы все откладывали да откладывали. Дело в том, что тяжело болела сердцем мамина сестра Маруся. Так тяжело, что врачи не рисковали выписывать её из больницы. Бабушка, конечно, осталась с больной дочкой. Остался и Василий, старший брат. В эвакуацию отправились трое: мы с мамой и тетя Женя, некогда отколотившая меня палкой, чудаковатая, как все старые девы, на редкость добрая и бескорыстная душа. Впрочем, из Киева мы выехали не втроем, а впятером – вместе с тетушкой моего отца Марьей Савельевной и её компаньонкой Тиной.

По дороге нам пришлось расстаться. Марья Савельевна направлялись на Северный Кавказ к каким-то родственникам. Нам же надо было добраться до Казахстана, там жила наша родня. Тетя так и осталась в степях с колючками, а мы с мамой перебрались в Ташкент. Увиделись мы только в конце войны. Не подходит для визитов военное время. Главное, мы всё же сохранили связь. Переписывались, знали друг о друге.

А вот Киев нас тревожил всерьез. Мы

написали сразу же, едва его освободили. Ответ пришел невразумительный: адресат выбыл. Куда выбыл? Господи, да живы ли они? Мы писали соседям, знакомым. Никто не отозвался. Казалось, город опустел. Наш прекрасный Киев, где было так много друзей, представлялся мне скопищем мрачных развалин.

И тут мама написала в Шаповаловку. Вот радость-то! Давно бы так! Деревня вновь пришла на помощь, как в голодные 20-е годы. Живы наши, живы! *Отыскался след Тарасов.*¹ В заветной коробочке хранится – и я перечитываю его время от времени – письмо тетушки Софьи Шерембей, которую, конечно, видела в 30-х, но не помню. Замечательное письмо на русско-украинском наречии – и буквы так и пляшут вверх и вниз, и ошибок несть числа, всё как положено. Молодчина тетка Софья: теперь мы знаем, куда писать, и наш адрес уже отправлен в Житомир. Какие чудные письма, полные любви, посыпались на нас вскоре от бабушки и дяди. Бабушка писала их одно за другим. В них радость и тепло, но с той же родственной открытостью рассказано, как страшно умирала Маруся. Вдали от близких, в придавленном немецким сапогом городке, для жителей которого трое беженцев из Киева – чужие. Убитые горем, растерянные, мать и брат бестолково мечутся: то подойдут к ней, то отходят. Ведь надо все же проводить в последний путь по-христиански. Лицо застыло, глаза закрыты – скончалась. Дрожащими руками они зажигают перед иконами свечи. И вдруг «покойница» открыла глаза, увидела эти горящие свечи, и дикий ужас замерцал в её последнем взгляде.

Моя бабушка, такая умная, чуткая, твердая духом, что служит мне поддержкой и сейчас в трудные дни, как же она намучилась, что допустила такое.

На том кончаются мои непосредственные отношения с деревней. Лишь два милых эпизода косвенно сталкивают меня с ней.

Сразу после войны на рынке я разговорила с одной женщиной. Она оказалась нашей односельчанкой, даже родственницей, о чем обрадованно мне сообщила. Дома я рассказала о ней маме, и мама тоже оживилась. «Журавли! – вскричала она. – Ну конечно! У нас полдеревни Журавли». Да и мне было приятно.

А второй эпизод состоялся уже в «перестройку». Я ехала в такси и, как всегда,

¹ Цитата из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»; стала крылатой фразой, означающей восстановление утраченной связи с кем-либо. – (Прим. ред.)

болтала с шофером. Узнав, что моя историческая родина – Черниговская область, он возликовал и стал допытываться, как именовался наш районный центр. Я объяснила, что знаю лишь старое название уездного города, а райцентр наверняка называется как-то иначе. Он упросил меня не утаивать это старое название. Оказалось, что оно ему знакомо, хотя в советское время его действительно переименовали. Насколько мне известно, сейчас этот город снова называется Борзна. Лазарь Лазарев¹, которому я тут же пересказала наш разговор, (ибо ехала тогда в «Вопросы литературы»), заулыбался и сказал, что этот случай типичен для армии – солдаты радуются, встретив «земелю».

Уж не знаю, какая из меня «земеля» – в Черниговской области я так никогда и не побывала, но с каждым годом я все больше и больше жалею, что так мало расспрашивала о деревне, о предках, когда было кого спросить. Я написала повесть по мотивам услышанных в детстве историй. Разыскала в Брокгаузе все, что можно было найти о Черниговской губернии.

И нарыла не так уж мало, причем, такого, о чем едва ли узнала бы в детстве. Ведь ни бабушка, ни дядя, ни тетя не говорили мне, что когда-то мы проживали в Литовско-Русском княжестве. И не от семьи я узнала, что в XIX веке население губернии на 80 процентов состояло из казаков и вольных крестьян. Так что зря уж так: «страна рабов»!

Что до Литовско-Русского княжества, Дюма бы позавидовал: тут история густо насыщена борьбой за власть, сменой правителей, сменой союзников и в результате даже сменой конфессий. Я с облегчением обнаружила, что примкнувшие к княжеству «русские земли» (а их не так уж мало – восемь областей) в коловерти этой не участвовали и «сохранили свою самостоятельность и самобытность».

Отрадно сознавать, что наши предки обладали этим чудесным талантом: сохранять самобытность. Ведь со времен Грюнвальдской битвы именно самобытность неоднократно подвергалась покушениям.

Страна рабов, страна господ... Безжалостная сила вспылчивого гения рисует страшную картину разобщенности. Вот раб, вот господин, а между ними пропасть. Пропасть, как известно, прорубил своим знаменитым топором Петр Первый.

¹ Лазарь Ильич Лазарев (Лазарь Ильич Шиндель), 1924-2010 гг., – литературный критик и литературовед; с 1992 года до конца своих дней был главным редактором журнала «Вопросы литературы». – (Прим. ред.)

Прорубил, но недорубил, однако. Воспрепятствовали и барин, и мужик.

В «Семейной хронике» Аксакова рассказано, как тайком от урбанистки-маменьки маленькие барчуки пробираются в светелку к тетеньке. У молоденькой барышни собираются деревенские девушки и вместе с ней поют русские песни, так красиво – душа тает.

И у Льва Толстого есть глава, которую я невольно перечитываю дважды. Молодые Ростовы после охоты гостят у дядюшки, небогатого помещика, и оба очарованы царящей там атмосферой. Наташа пляшет «русскую»; наверно, многие помнят: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские...»

Однако я люблюсь не столь Наташей, сколько дядюшкой. Ему и в голову не приходит, что он чему-то противостоит. Живет как живет, по-другому не умеет: «Чистое дело марш».

Выходит, не получилось у царя-западника прорубить *непроходимую* пропасть. Стремление сохранить самобытность и в большом имении, и в крохотной деревушке помешало.

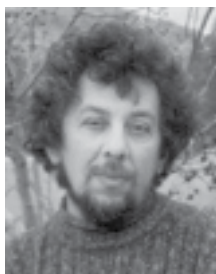
Век восемнадцатый, век девятнадцатый – давно это было. Но и в двадцатом, я помню... Поющие поезда послевоенных лет. Лихие тройки уж не скачут по дорогам России. Летит по рельсам это железное чудище – паровоз, гудит, дымит. А в вагоне песни всю ночь напролет. Незнакомые друг другу люди и сами не заметили, как сложился этот не знающий усталости хор, к неудовольствию некоторых пассажиров.

А сейчас, говорят, и песни уходят. Молодежь и даже люди постарше предпочитают иностранные. Это грустно, ибо мы, утратив родную мелодику, утрачиваем нечто важное в себе. Скорей всего, эту самую самобытность.

Ушли песни, уходит деревня, интерес к прошлому тоже, говорят, уходит. Так пойдет, глядишь, уйдем и мы.

Неужели так безнадежно? И песни родные противны, и на деревню начхать, и в прошлом ищем одни негативы.

Как знать? Я всё расспрашиваю. Где-то всё еще поют. И деревни есть ещё живые. И не у всех угас интерес к прошлому. Кто перетянет? Поживем – увидим.



Мартин Мелодьев

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ СОНЕ



* * *

*Жизнь суетна, искусство неприступно:
дилемма эта мучит неотступно
художника, перерастая в сплин.*

*Но в день, когда небес ультрамарин
и золотая россыпь птичьих трелей,
травы, крутая глина рослых елей
и яблонево-белый кринолин –
внезапно сочетаются...*

Но в ночь!

*Когда пахнет черемуховой страстью,
художник вдруг поймет, как это к счастью,
что у него есть маленькая дочка, –
и кружит он как ведьма над мольбертом,
колдуя: «Поживем...» да «Поглядим», –
которая увидит мир таким,
каким он должен быть: великолепным.*

1987

* * *

Как в реке вода, в небе провода;
города, переплеск огней.
Перезвон колес, перестук сердец –
целых семь с половиной дней.

“Скорый поезд “Россия” – на первый путь.”
Осторожно звучит гудок.
Мы с тобою проснемся когда-нибудь
на железных руках дорог.

Пять минут, и неслышно скользнет земля.
Станет грустно – не мудрено –
как пойдут разворачиваться поля
в копнах, черными домино.

Перезвон колес, перестук сердец;
по ночам – переплеск огней.
Как в реке вода, в небе провода:
целых семь с половиной дней!

* * *

Пахнут, землёй разогреты,
клевер, цветы, мотыльки.

Белые цапли-эгреты
в небе летят, как платки.

Смотрим вдвоём, я и дочка,
в первый вечерний туман:
медленно узкая речка
в тихий плывёт океан.

Чья-то зелёная дачка
с лестницей в рыжем холме
детской игрой «Водокачка»
вдруг вспоминается мне.

Флюгер на башне фанерной,
пыльное злое стекло.
Мир той поры, эфемерный...
столько воды утекло.

Смотрим, как будто с крылечка,
с берега в белый туман.
...Медленно Русская речка
в Тихий плывёт океан.

* * *

Как жаль, что Вас не было здесь поутру.
И Вы бы увидеть могли б,
как рыжие листья шумят на ветру
гирляндами вяленых рыб.

Двойным полукружьем стекают холмы,
как свечи, в долины без рек.
И здесь никогда не бывает зимы –
лишь прошлое сыплет, как снег.

Осенних гуашей плакат разорви:
от третьего повесть лица.
В кустах ежевики живут воробьи,
и камерно блеет овца.

И нежно-оранжевый лист на спирту
горит, как печальная весть ...
Как жаль, что Вас не было здесь поутру!
Что вряд ли Вы будете здесь.



Мария Перцова

ИЗ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ



НАСТАВЛЕНИЕ

Школа выкрашена в льдисто голубой с жарко рыжим
Шапки пышных непримятых облаков нахлобучены на крыши,
Слаб и тонок голых ясеней костяк на поверку.
Питер Брейгель, скиньте замшевый пиджак и к мольберту!
Время сыплется, серебряный песок, мел толченный,
На точеные фигурки игроков на зеленом,
На отпущенного сдуру с поводка сенбернара,
На потрескавшийся каменный рукав коммунара.
Все проходит, исчезает словно дым, все на свете,
Даже молодость, да что там, даже жизнь, я – свидетель.
Остается незаконченный квинтет, звон досрочный,
Осень в кадре, капли неба на холсте... Или в строчке.

ИЗ АРИЗОНЫ

Где пальцы кактусов ощупывают небо,
Внимательные бархатные пальцы
Незрячих иль бредущих в темноте.
Неопытная юная планета
Похоже, только учится вращаться,
Слагая ультиматум пустоте,
Упрямо расставляя гарнизоны
Безмолвных гор в пространстве раскаленном
По Данту, до смертельной духоты.
Но в волнах скал, текущих к горизонту,
В их ритме навсегда определенном,
Нет, не вода – предчувствие воды.
Хотя, прикинь, такая бесконечность
Вполне возможно, порождает монстров,
И сладок их мучительный оскал.
Так, возвратясь туда, где не был вечность
Ты плачешь, углядев знакомый остов,
И зеркала, где нет зеркал.

* * *

Я опаздываю – всегда,
Расписания чья минуты,
Без меня – в дыму – поезда
И туда бегут, и оттуда.

Неожидан в финале снег,
Но и дождику удивляюсь,
Не даются начала мне,
Пропускаю сюжета завязь.
Зябко кутаюсь в круговерть
Будних радостей и печалей.
Тот, кто мог бы меня согреть,
Исключительно пунктуален.
Что задумано... не достичь,
Что не гадало... жизни мало!
Ялик латаный через Стикс
Не дождется меня, пожалуй.

* * *

Тропический дождь поливает тропический лес,
И нас поливает, того и гляди разрастемся,
Подобно лианам и мхам неразбуженных мест,
Так буйно и дико, что нас не узнает потомство.
С шуршащим потоком вот-вот снизойдет благодать
На нас, неуклонно к сокрытому свету влекомых –
Сюжеты лелеять, трагический эпос слагать
Из жизни растений и разных других насекомых.





Алла Ходос

ВАГОНЧИК



Вышла на пенсию и перед тем, как переселиться на Елисейские поля, купила односпальный вагончик в трейлер-парке. Сколько заплатила, вы можете посмотреть на Интернете, – это не секретная информация. Вагончик железный: летом раскаляется, а зимой промерзает. Зато теперь пенсии мне хватает – на жизнь и на всякий случай. Я пригласила своих друзей и их детей, которых учу музыке. Раньше учила за деньги, а теперь – посмотрим. Поговорили, поели-попили – одним словом, освятили помещение своим присутствием.

Вагончик мне продала бывшая ассистент медсестры. Теперь она переехала в дом престарелых. Ассистент медсестры не имела детей; жильцы трейлер-парка были ее подопечными. Она помогала им медицинскими советами, – теперь у этого жилища хорошая аура.

По приезде мои ученицы выпустили кота на улицу – я в это время как раз говорила с их родителями. Кот сразу испарился. Я в смятении спросила у проходящей мимо Сэнди, живущей в вагончике напротив, не попался ли кот ей случайно на глаза.

Она подошла к моей двери:

– Нет. Если он еще котенок, его загрызут еноты.

– Кот – взрослый.

– Почему же ты меня к себе не впускаешь?

– У меня люди.

– Что же я не человек?!

– Нет, что вы...

– Нет?! Или все-таки – да?!

– Да-да. Зайдете?

– Нетушки. Не на ту напала, – усмехнулась Сэнди, и мне почему-то показалось, что она немножко с приветом. Возле ее двери обычно

пахнет марихуанной. Сейчас говорят, что это не так вредно, как водка, а в некоторых случаях даже полезно – утишает боль. Может, травкой она лечится от своего привета, не знаю. Я огорчилась: ей, по-видимому, так хотелось приобрести хорошую соседку или подругу, а я не смогла соответствовать ее ожиданиям. Глубоко вздохнув, я сказала себе, что, так или иначе, я была бы не в силах отозваться на ее дружеские чувства, ведь все места в моем сердце заняты.

Да, кот нашелся: он сидел под десятым вагончиком, положив под себя лапки. Был похож на булку хлеба. Его так и зовут – Батончик. Кот всегда мне мил, хотя внешне он стал очень противным, когда мы переехали. Грыз сам себя. Лапы без шерсти – дистрофичные, по всему телу – кровавые раны. Ветеринар сказал: блох нету, наверное, аллергия. А я-то знаю, почему он заболел. От чуткости своей – пропитался весь моим беспокойством. Я часто беспокоюсь. Муж мой в земле, а сын Грегори, живой, на поверхности. Не хочется ему во взрослую жизнь входить – в ней папа умер. После школы сын пошел работать в Макдональдс на минимальную зарплату. И подружка у него такая же, Абигел, – правда, студентка. Они не смогли платить за жилье и пришли в мой трейлер. Я сначала воспротивилась: хотелось, чтоб к самостоятельности стремился юноша и девушке что-то приличное предложил. Сын сказал:

Если прогонишь, мама, мою любовь, я напьюсь таблеток до смерти. В связи с этим возможны два варианта. Первый: я умру, а ты будешь плакать, пока не достигнешь своей смерти. Второй: я выживу, но разрушу систему пищеварения, а ты будешь за мной по гроб жизни своей или моей ухаживать.

Что тут было делать? Я испугалась и

согласилась. Но если такая любовь к девушке у него, почему ж не женится, почему просто так живет? Говорит, сейчас такая тенденция. Целыми днями Абигел ходит по дому с грустным лицом, в ночной рубашке. Учебу совсем забросила. Скоро из университета выгонят. И это все из-за моего Грегори. Вот ими, детками, и занято мое сердце.

Я раньше играла на пианино в ресторане. Наверное, и на сцене могла бы выступать. Но боялась прославиться. Думала: развратит меня слава, еще от мужа, зануды такого, уйду. Да и сын мой всегда был сложный ребенок, уязвимый: беспокоился за плохие отметки, хотя его никто за них не ругал. Трудности в общении у него тоже были. Если кто-то задаст ему вопрос, он сперва скромно ответит. Потом испугается, что его сочтут несмелым, и добавит что-то дерзкое. А когда его на место поставят, паникует: все, мол, от него отвернутся теперь.

Абигел влетает ко мне ночью. Волосы развеваются. Рубашка соскальзывает с худого плеча, девушка водворяет ее на место. Абби похожа на Свободу Эжена Делакруа. Я хватаюсь за сердце. (Оно у меня здоровое, но беспокойное). Свобода летит ко мне, чтобы высказаться. *Роза, Грегори – как ребенок. Он не думает о будущем. Ты плохо его воспитала, Роза.* Я не возражаю. Вместе плачем, это успокаивает.

Раз в две недели Грегори ходит к бесплатному государственному психологу. Говорит, она одна во всем свете меня понимает. О чем он думает? Скоро психолог откроет свою практику и начнет брать большие деньги за прием. Хоть бы он не влюбился в нее. Абби, бедная девочка. А где родители ее? Неизвестно. Девочка выросла сама, как будто никто и не рожал ее совсем. Оттого она так свободу любит. *Не давайте советов мне, Роза, пожалуйста: я еще точно не решила, какой путь избрать.* Но Грегори она любит больше, чем свободу. Поэтому и не бежит на все четыре стороны.

Как мне помочь детям встать на ноги? Пусть бы мне кто-нибудь совет мудрый дал, я бы с радостью его приняла. Если б он мне понравился.

Поразмыслив об этом, я вскоре опять пригласила друзей и знакомых на обед. Друзья и знакомые у меня, надо сказать, воспитанные люди

с высоким коэффициентом интеллектуальности: профессор-историк с женой; водитель метро с другом; менеджер по электронике с двадцать пятого этажа пирамиды и ее коллега; психолог, работающий в тюрьме; продавщица и ее старенький папа; а также поэт. Кто детей своих у меня музыке учил, а кто – когда-то, так, нечаянно, не помню зачем, зашел, и мы приглянулись друг другу... В длину от стены до стены как раз хватило, чтобы всех гостей разместить. Весь вечер мы обменивались мыслями о выборе в разных его проявлениях: о выборе профессии – чтоб кормила или увлекала, спутницы или спутника жизни – чтоб развиться или разлентиться, о выборе жилища: особняк, семейный дом, квартира, сарайчик, вагончик, простор поднебесный, о моральном выборе и предстоящих президентских выборах. (Хотя о политике за столом не говорят, мы все равно говорили. А вот что говорили, вам не стоит спрашивать, да я и не собираюсь рассказывать.) Думаю, никто из гостей не заметил, что курица у меня перестоялась в духовке. Отведав ее, менеджер по электронике сказала, что бывает еще экзистенциальный выбор.

– О да! – воскликнула жена профессора истории.

– Как вы это понимаете? – спросил профессор.

– Кого принести в жертву, – сказала менеджер, усиленно жуя суховатую курицу.

– Барана какого-нибудь, – пожал плечами друг водителя метро...

– Нет! – воскликнул поэт и мотнул головой, будто хотел кудри со лба откинуть. (Поэт не так давно сбрил волосы, но привычка осталась.) – Себя или сына своего.

Сердце мое застучало. Я выпила воды.

– Мой сынуля, к примеру, – не Бог-Сын – тихо заметила продавщица.

– И я – просто отец и дедушка, не Бог, – грустно заверил ее папа. – Лучше без этого... Без жертв.

– Не каждому выпадает принести жертву, – волнуясь, сказала менеджер по электронике и положила вилку.

– Жертва – это крайнее средство, – подтвердила я.

– Как хирургия? – робко спросила

коллега менеджера.

– Ножом по горлу – вот и вся хирургия, – сказал друг водителя метро.

– Мы не о баранах! – вскричал профессор.

– *Бедный водитель метро!* – подумала я.

– *Как он ошибся в выборе друга!*

Водитель метро встал и, поманив друга, вышел с ним на улицу. Через открытое окно слышались отрывистые слова и выкрики. Даже выстрелы чудились. Но это был обман слуха. За столом продолжали есть: оставались еще салаты и полезный рис, сделанный из цветной капусты¹. Через пятнадцать минут друзья вернулись: водитель метро – красный, друг – какой-то пятнистый.

– Все дело в том, во имя чего жертвовать, – строго сказал водитель метро.

– Экзистенциальный выбор – это вам не фунт изюму, – подтвердила менеджер по электронике.

Друг водителя метро отдышался, вытер лоб салфеткой и сказал:

– Моя мама, набравшись, била меня деревянной ручкой от кресла. Бабушка, ее мать, умирая, просила, чтобы я простил мать и выхлопотал ей пенсию по инвалидности как алкогольнозависимой. К тому времени, когда я подрос и оформил ей пенсию, мать, конечно, давно драться перестала: ослабела, усталостью пропиталась. Вся сделалась какая-то винно-сырая, слезливая, виноватая. Я жалел ее, но простить не мог. Переживал, что она такая и что я – такой. Наконец, я сделал выбор: мать забыть и начать свою жизнь. Сказал ей: «Прощай, мать; если денег не будет, сдашь бутылки». И уехал в другой город.

– Значит, – ножом по горлу – это шутка? – на всякий случай уточнила жена профессора.

Друг водителя метро только слабо улыбнулся в ответ. Погладив друга водителя по руке, я положила ему еще салатика из авокадо, манго и папайи. Он заставил себя поесть. Под столом Батончик терся своими ранами о его ноги.

К этому времени было выпито немало каберне «Бланк», и поэтому все стали говорить наперебой. И речи каждого тонули в общем хоре.

¹ Cauliflower rice – блюдо из цветной капусты, по виду напоминающее вареный рис.

– Но не только жертву выбираем! – возвысил голос поэт, откинув воображаемые волосы, – будто волна взметнулась за его головой. Мне показалось, что он похож на Свободу мужского пола. – Выбираем путь!

– Или дорожку, – себе под нос сказала продавщица. – Ей я тоже подложила салатика.

Тюремный психолог молча поднял бокал. Все выбрали каберне «Савиньон» и каждый выпил за свое. Я так совета ни у кого не спросила, постеснялась.

По вечерам Грегори смотрит кулинарные шоу. Не одни ведь гамбургеры существуют в кулинарном мире. Бывают еще жареные ребрышки молочного тельека. Посмотрит-посмотрит, а, может, потом вдруг возьмет кредит в банке и ресторан откроет! Его бы можно было именем сына назвать. Ресторан «Грегорианский календарь», например. Чтобы каждый день недели подавалось какое-нибудь определенное изысканное блюдо... Я вот сейчас набросаю бизнес-план на всякий случай.

Пока я пишу Абигел ласково просит Грегори переключить на канал новостей. Он ее целует в голову. И переключает. Скромно ведут себя детки при мне, молодцы какие. Абигел внимательно смотрит новости и разные там аналитические комментарии к ним. Я думаю: вот закалят ее трудности, и в политику пойдет девушка.

Батончик решил лечиться голодом и сном. Недельку отдыхал, – отошал, как черт, потом встал, и, вместо того, чтобы себя покусать, просто умылся. Все зажило, как на собаке. Недавно я видела в окно: когда он гулял, Сэнди предложила ему жареную рыбу, но он вежливо отказался и пошел наблюдать птичек.

Вагончик у меня железный, зато на колесах. И я тоже железная: когда у молодых жизнь наладится, начну путешествовать. И деньги есть на всякий случай. Не стоит спешить. Елисейские поля будут последним пунктом назначения.

Алла Ходос

КАК ЭТОТ ВЬЮН В ЗАБОР ВЦЕПИЛСЯ!

* * *

К. Л.

Бушует любовь, ей и жизнь по колено,
а дружба, как речка, наш жар остудит:
в ней буря умрет и рассеется пена, –
к ней слабый стремится, к ней смелый летит.
О речка прохладная, нежная дружба!
На лодочке – в чистые воды твои.
Мне кажется, большего и не нужно.
А все, что доверю тебе, – утаи.
Но кто это бредень любовный заводит,
дырявый? Добыча его уплыла.
Греби поскорее, уж солнце заходит.
И тень надломилась, коснувшись весла.

* * *

Эвкалиптовая аллея.
Всюду скрученные листочки.
Солнце в небе январском млеет.
– Братец мой, мы дошли до точки.
Вот и озеро засыпают.
Видишь, комья земли повсюду.
А вокруг ручьи высыхают.
– Из копытца попьешь?
– Не буду.

И Аленушка уж старушка.
Тяжелы ей стали гулянья.
Тихо братцу шепнет на ушко:
– До свиданья, брат, до свиданья.
Только братец в ответ: – Алена!
Ты еще какая гулена!
Просто это – земля Карабаса.
Корт для гольфа высшего класса!

Бьешь увертливый мячик клюшкой
целый день, а потом со старушкой
молча делишь здоровый ужин.
И никто им больше не нужен.
Мы ж с тобою найдем ларечек, –
по-соседству есть множество точек.
Я подумал: нам тоже можно
быть счастливыми осторожно.

– Да, братишка, возьмем мандаринок, –
оживилась тут Алена.
Калифорния, подари нам,
и орешков твоих соленых!

– И мадеры возьмем, Алена, –
– утешает братишка бывалый, –
Ты еще какая гулена!
– Да и ты врунишка немалый.

* * *

Казалось, мы выживаем –
раны жгутом зажимаем,
чтобы затем – доживать.
Оказывается, мы жили.
Мы жили-были, любили.
Банально – так рифмовать.
Но то, что банально, – больно.
Мы живы – случайно, невольно...

ЖЕСТОКОСЕРДНОЕ

Ты страдаешь, а я сострадаю,
я поставлена здесь сострадать.
Раньше было – вбегу, угадаю,
и делю с тобой боль, умиряю.
А теперь эту муку глотаю
как пилюлю, что надо глотать.
Проглотить бы ее и забыться.
Или выплюнуть – да и сбежать.
Надоело у ног твоих биться,
напевая, баюкать, как мать.
Нет, аршином я общим не мерю
эти странные муки твои.
Я в них верю, но я их похерю,
с целым миром без правил бои...
Но сегодня я вновь сострадаю.
Может, я рождена сострадать?
И страданье твое принимаю,
словно пулю, что надо принять.

* * *

В переплетении помыслов и смыслов,
О, дай хоть раз еще – остаться чистой!
Но в тишине

упорно и негромко
Зовет меня бранчливая воронка.
Потянет и закрутит, и – пропало!
Пока

натягиваю одеяло,
она уже урчит и предпрещает.
Она меня бестрепетно вкушает.
То руки из нутра ее, то клики.
То светлые, то сумрачные лики.
То шепот над поверхностью волнистой:
О, дай еще хоть раз остаться чистой!

* * *

Холодный ветер, ветви ясеня листая,
узнал их повесть, но не плакал над листом.
И, косы рыжие в печаль мою вплетая,
терялось солнце, озирая старый дом.

* * *

Жизнь надраена до блеска
На исходе лет.
Незаметна занавеска –
пропускает свет.

* * *

До капли выпита беда.
Закуска на столе.
Садись, красавица, балда,
не будешь жить во зле.
Не надо больше срок мотать,
осталось лишь себя пытаться.
Теперь – не на войну –
уйдешь в себя одну.

* * *

Поезда поют, светятся.
Льётся жизнь зазывная.
Под прожектором месяца
всё качается, месится
соль и глина земная.
Как при Блоке, Платонове
и как при Мандельштаме, –
едет стражник с погонами,
едет дачник в панаме.
Я смотрю через пропасти,
через льды-океаны
как скользят эти крепости
сквозь степные туманы.
Чаепитие и чтение
босиком и в обнимку,
и как будто сличение,
с проявившимся снимком.
Пробуждение-отчаянье
в прошлом и настоящем.
Непрощенье – прощание
в темном храме летящем.

* * *

То ли видимость плохая,
то ль решётка, то ли сетка.
Пеленою застилает
зренье. Воздух едкий
ест глаза. Пожар ли? Смерч ли?

Пепелище или память?
Молча смотрит в очи смерти
человек. Печали паперть.
Горя зга. И вдруг надежда
сердце старое подбросит.
Стёклышки протрёт невежда
и отсрочки не попросит.

* * *

Как этот выюн в забор вцепился!
Так жить хотеть!
Сто двадцать шей
свернуть готов!
Сто двадцать пять
раскидистых голов
взрастить, пригнуть,
бояться потерять!
В печи июля закалять
покров. Потом нырять
в пучину ноября. Застыть.
Казаться хрупким и пустым.
Неясный голос услышать.
Не смея верить, набухать.
И каждый листик распускать
опять.

Т.Ц. и Б.Б.

Кто ходит с тряпочкой
и протирает пыль
с розовощёких пышек Ренуара?
И наш Серов, земля ему ковыль,
свой персик кушает уже в долине пара.
Ворсистый свет, кто так тебя протёр,
что ты и светел и жемчужно-матов?
Я сплю и вижу рой музейных пчёл,
смотрителей восходов и закатов.
А, может, пылесос они берут,
седые юноши и девушки-старушки?
И вечный бал! Ещё и пол натрут!
Вот жизнь! У живописи на опушке.

* * *

Когда цепляется проблема за проблему,
цепь укрепляется: сидим на ней, как псы,
забыв нечаянно, откуда мы и где мы,
слепые стражи посреди земной красоты.

Но как-то в час, когда туман ползет из леса,
Звено упрямое съедят тоска и ржа.
Мы, в тихих радостях не смысла ни бельмеса,
пойдем домой, от тихой радости дрожа.





Александр Зевелёв

СЮРИКИ



ИНОХОДЕЦ АЛЕКСАНДР ЗЕВЕЛЕВ

Умер наш автор и товарищ. Человек, чьи эпатазирующие стихи поражают; чье пение завораживает. Он умел быть своими героями. Если Г. Флобер говорил: «Эмма Бовари – это я», то Александр Зевелев мог бы заметить: «Зойка – это я».

Вопреки известным строкам, его трагическое мирозерцание никогда не было высокомерным, разве что ироничным, а иногда самоироничным. Поэт не стремился угадать потенциального читателя и угодить ему. Кажется, что все сочинено для себя. Читатели и слушатели отыскивались сами.

Этот незабывающийся, одновременно сильный и приглушенный, будто стесняющийся своей выразительности голос, так легко вызвать в памяти... Невозможно поверить, что его обладателя нет с нами.

Казалось бы, мы не так уж часто встречались. (Как жаль!) «Привет, как дела? А люди меняются, ты знаешь? Бывает, становятся добрыми», – реплики, которые он бросал при встрече. Потом мы читали, публиковали и слушали на выступлениях его стихи и сильнее чувствовали его душу.

Сейчас вспоминается:

(...)А жизнь бодлива.
Жизнь блудлива.
Она горька
И нелегка,
И ни к кому не справедлива,
И неприлично коротка...

И еще:

Живи, мой друг, живи –
под тенью ночи, под светом солнца,
с любовью, без любви –
живи, ей-богу, пока живётся!(...)

И связывай в строку
венец лавровый, венец терновый...
А утром – кофейку,
яичко всмятку – и всё по новой.
Быка не трогай за рога,
не затыкай собою дыры,
не наживай себе врага,
не сотворяй себе кумира.

Плесни бальзам в аперитив,
и лучше за, чем супротив.
Закрой глаза, сложи мотив,
и лучше за, чем супротив.
Живи, мой друг, живи!
Живи, ей-богу, пока живётся!
И счастливо слыви
не иноверцем, но – иноходцем(...)

Закрой глаза, сложи мотив,
и лучше за, чем супротив.

Прощай, поэт, бард, иноходец. Легких тебе
воздушных путей.

Алла Ходос, Марина Золотаревская

* * *

За окошком хмурь и слякоть.
Значит, буду пить и плакать.

* * *

Ренуар, Сезанн, Ван-Гог, Монэ...
Мир погряз в грехе и декадансе.
Истина, конечно, не в вине.
Не в церквях.
Не в ленинском бревне.
Не в тебе и даже не во мне.
Истина – в итоговом балансе.

* * *

Сгущаются тучи.
Всё гуще и гуще.
И счётчик запущен.
Всё очень запущено.
И то ли дорогу осилит идущий,
а то ли дорога осилит идущего.

* * *

Плётка справа.
Пряник слева.
Морда жуткая в тени:
– Отрекайся, Галилео!
Отрекайся.
Не тяни.

ДЕТСКОЕ. ПРО ОСУ

Укусив меня, оса,
ветерком влекомая,
улетела в небеса,
зебра насекомая...

* * *

На излёте августа
или сентября
вдруг накатит: жизнь – пуста,
жизнь проходит зря.
Шаришь взглядом по небу –
не на что взглянуть.
А ведь мог бы что-нибудь!
Мог бы что-нибудь...

* * *

Куда влечёт меня звезда?
Куда, зачем – Бог весть...
Она влечёт меня всегда
туда, где выпить есть.

Как говорится на Руси,
в её глухом лесу:
не верь, не бойся, не проси,
всё сами поднесут.

И ведь подносят – вот беда,
и я всегда хмельной.
Моя весёлая звезда
смеётся надо мной.

Вот засмеётся – и тогда
чуть-чуть светлей окрест.
Гори, гори, моя звезда,
пока не надоест.

* * *

Не напрягаются любя.
Не напрягай – люби себя.

* * *

На меня нагадила колибри,
дикий зверь в тропическом лесу.
И уже неважно, гладко ли я выбрит –
с маленькой какашкой на носу.

* * *

Мне нравится ход моей мысли,
такой хаотичный,
такой, как будто бы мысли повисли,
как песни над Волгой-рекой.
Висят, но стремятся куда-то,
никак не ложатся в слова...
Зачем же я вышел из хаты?
Поссать? Покурить? По дрова?

* * *

И снова, и снова
случается вдруг
какое-то слово,
какой-нибудь звук.

Тебя накрывает великий-могучий.
Ласкает и дразнит. Корячит и пучит.
И катятся слёзы, и валятся кучи
сомнительных рифм и дешёвых созвучий.

Ушами и горлом,
и в дверь, и в окно.
И знаешь: попёрло.
Попёрло оно.



Ирина Муфель

ВСПОМИНАЙ



* * *

Дочка моя
Возвращайся
Держись за руку мою
За голос
За то, что ты чуешь
С детства нутром
Вспоминай
Вспоминай
Вспоминай
Как открыть глаза и закрыть
Как улыбнуться и прошептать
Как пахнет сосновый наш лес
Земляника и васильки
Тишину на озёрах или грозу
Бабушку в книжной пыли
Киску, что к нам напросилась
Глянец тетрадок твоих
И шершавость дипломов
Спицы в быстрых руках
Мягкость ниток
И жёсткость фильмов любимых твоих
Возвращайся к себе
Умоляю
Вспоминай
Вспоминай
Вспоминай

* * *

Ласково дождь шелестит
В кронах деревьев
А скамейка суха
Как душа
Неужели он не пришёл





Инна Мельницкая

КАК Я ОСТАЛАСЬ ЖИВА

С благодарностью – светлой
памяти Федосьи Николаевны и
Кости Ткаченко



Когда нашу милую, самую лучшую школу у нас забрали и передали «спецам» – четырнадцатой артиллерийской спецшколе, мы рассыпались по району, как тараканы. Почему-то большинство наших мальчишек перешло в десятую, а большинство девочек – в новую, недавно выстроенную сто двадцать пятую. Эта была недалеко от дома, сюда перешла большая часть учителей – в том числе и папа. Естественно, поначалу мы держались плотной стайкой, но наша классная нам сказала:

– Я вас понимаю, ребята, но всё-таки посажу новичков со старичками. Поверьте мне: так будет лучше. Вы скорее освоитесь.

Наверное она была права, но мы огорчились.

Моим соседом оказался смуглый круглолицый мальчик Костя в коричневой вельветовой курточке. Когда учительница подвела меня к его парте, он поднял на нас спокойные, коричневые, как курточка, мохнатые глаза, кивнул – и молча отодвинул свой ранец, освобождая мне место. Я молча села – и, как ни странно, почувствовала, что мне в этом чужом, ещё незнакомом, классе покойно и почти уютно.

Позже папа говорил, что, когда он спросил, какое у меня сложилось впечатление от первого дня в новой школе, я ответила: «Тёплое и коричневое».

Не могу сказать, что мы с Костей подружились: мы мало разговаривали, не делились никакими секретами, не ходили вместе домой – после уроков мы расходились в разные стороны – ему было направо, а мне налево. Но мы *хорошо сидели!* Мы без лишних слов выручали друг друга на контрольных; с Котькой можно было на скучном уроке сыграть в морской бой, можно было беззлобно подражаться – то есть пнуть локтем, не одобряя чего-то. Иногда он приносил мне яблоки (у них был старый яблоневоый сад) – и я могла съесть принесенное им яблоко без всякого чувства неловкости, хотя с раннего детства привыкла отказываться от любых угощений, кто бы мне их ни предлагал и как бы мне ни хотелось. И когда Косте случалось по какой-то причине не прийти на урок,

я даже ощущала какой-то смутный неуют. Не знаю, просто не помню, как долго мы просидели вместе, но однажды я чем-то там надолго заболела, а когда, отлежавшись, снова пришла в школу, место моё было занято. В моё отсутствие к Косте подсел Вилыч – мелконький, рыжеватый, заводной пацан. Вообще-то его имя было Вилоринэт. Когда мы впервые это услышали, нам показалось нечто невообразимо и необъяснимо французское – однако все оказалось ещё замысловатее. Вдохновенные Вилькины родители назвали своего первенца высокоидейной аббревиатурой, означавшей: Владимир Ильич Ленин Октябрьской Революцией Истребил Ненавистных Эксплуататоров Трудящихся! Оценили? Теперь судите сами: могла ли я выдворять со своего (моего!) места человека, носящего великолепное имя ВИЛОРИНЭТ ИВАНОВИЧ ДУДАРЧИК? Тем более, что он был хороший пацан, неистощимый на выдумки, признанный классный заводила? Так что я просто заняла первое попавшееся свободное место, а Котька и Вилыч – я уверена – тоже *хорошо сидели* вместе до самой Войны.

Помню, что в последний год перед войной я точно сидела с кем-то из девчонок за первой партой, у дверей, и на контрольных выручала сидевших сзади милых девочек: хрупкую, худенькую Фанечку Минц и безмятежно румяную Дусю Клейф с короткими толстыми косами, взлетающими при каждом повороте головы.

А потом пришла война. Войны, как известно, в разное время и в разные страны приходят по-разному. В одни они вползают, на другие – обваливаются. И страны, бывает, встречают войну по-разному. И ещё: война по-разному меняет людей. Вот, например, у нас во дворе злобный, не по-доброму шкодливый Шурка Алексахин, мучивший кошек и обижавший беззащитных малышей, в одночасье стал героем двора: когда начались бомбёжки, он бесстрашно дежурил на крыше и наловчился руками в брезентовых рукавицах (где он их только взял?)

хватать за хвост, именуемый «стабилизатором», бомбы-зажигалки и топить их в бочке с водой или ящике с песком.

Если не у всех, то уж наверное у большинства из нас были какие-то обязанности по дому: помыть за собой посуду, застелить постель, подмести или вынести мусор – всё это ты делал в конечном счёте для себя. А в первый же день войны, когда, услышав по радио речь Молотова, мы инстинктивно собрались перед школой, понятие необходимости вдруг чётко разделилось в сознании на обязанность – и Долг. Обязанность – это было нечто привычное, как сумка через плечо: иногда тяжеловатое, иногда почти неощутимое, а иногда даже привычно-приятное. Так или иначе, сфера обязанностей, как правило, ограничивалась пределами твоего микромира, а Долг – это было нечто гораздо шире и выше. Мы это ощутили сразу.

Вчерашние десятиклассники, по тревоге рефлекторно собравшиеся перед школой, сразу определились: «С нами всё ясно – мы в военкомат!» У девочек такой определённости не было – им ещё предстояло определиться. Одно было ясно: настало время, когда важнее что-то делать **ДЛЯ ДРУГИХ!** И знаете – мы как будто стали выше ростом. Вот Шурку Алексашина – мы ведь во дворе все его дружно ненавидели, а когда он утопил шестую по счёту зажигалку, мы все его дружно зауважали. А главное – кажется, он сам себя зауважал!

Но это было потом – а лето мы проработали в свеклосахарном совхозе в Булацеловке. Рядом был небольшой аэродром – на нем жили маленькие двукрылые самолётики, летавшие иногда так низко, что можно было слышать голос лётчика (так, по крайней мере, говорили наши мальчишки). События того периода запомнились разные: Борька Йоффе из параллельного класса провалился в дощатый нужник (со всеми вытекающими отсюда последствиями), и ребята загнали его в пруд и не выпускали на сушу, пока последствия не откисли. Мы с Майкой Коломойцевой выследили настоящего шпиона, который снимал аэродром и стоявшие на нем самолёты; за это отряд получил благодарность воинской части – причём благодарность была официально напечатана и даже скреплена печатью. Кормили нас по большей части тёмными галушками с высеками – как ни странно, это было вкусно. После ужина девчонки истово крутили гоголь-моголь – совхоз же был очень сахарный, а кто-то сказал, что гоголь-моголь помогает певцам (вечерами мы обычно пели). С тех пор я прочно, на всю жизнь, возненавидела сырые яйца.

Из совхоза мы вернулись в изменившийся, военный город. Кресты из газетных полос на окнах, затемнение – и таинственные васильковые огни на трамваях и автомашинах. Дежурства у ворот, на крыше, вечерами патрулирование по улицам – не нарушается ли где-нибудь светомаскировка? Школу заняли под госпиталь, а нас перевели на вторую смену в авиа-спецшколу. Спецы оставляли нам на партах записочки, назначали свидания, но мы после занятий бежали в госпиталь, помогать.

Становилось всё труднее с хлебом и молоком: очереди занимали с четырёх утра – и однажды немецкий самолет-разведчик коршуном пронёсся над столпившимися перед магазином людьми и на бреющем полёте прошёл их пулемётной очередью. Галка Елисеева и Лида Гулина из девятого «Б» по дороге в школу видели на асфальте незнакомые пятна крови – это была первая кровь, пролившаяся на асфальт нашего города. Потом начались регулярные бомбёжки, пожары, вой сирен, оповещавших о налётах, и на улицах города из чёрных тарелок репродукторов всё чаще повелительно звучало: «Внимание, внимание! Говорит штаб обороны города Харькова...»

У нашей трамвайной остановки – там, где Юрьевская и Примеровская вливаются в Проспект – был треугольный скверик, в центре которого невысоким куполом возвышалась круглая клумба, засаженная неказистыми цветочками. Окрестные мальчишки непочтительно называли ее Пуп. С противоположной стороны Проспекта на Пуп безразлично тарасился немой витриной магазинчик, по старой памяти называемый Церабкоп – когда-то Центральный рабочий кооператив (вроде бы так!). Как-то утром я пошла в Церабкоп за солью – и увидела нечто совершенно непонятное: верхушка Пупа была аккуратно срезана и лежала, как круглая буханка, на какой-то дощатой подставке, а рядом, тоже непонятно, копошилась горсточка солдат. Вокруг, снедаемые любопытством, топтались соседские мальчишки.

– Дядя, а что это будет? – не выдержал один.

– Пулемётное гнездо это будет, – ответил дядя, вытирая рот со лба.

– А зачем тут? – осмелев, не унимался пацан.

– Прикрывать отступающих. Не видишь – идут.

Вниз по Проспекту, в сторону заводов, тяжело топя кирзачами, тёк нескончаемый строй пехоты.

– Так вы герои, дядя, – осознав происходящее, с благоговейным ужасом прошелестел пацан.

– Шёл бы ты домой, пацан, – устало произнёс

солдат. – Не герои мы, а штрафники, понял?

– Как это?

– Да так вот: брал он, понимаешь, кое-что взаймы, да не торопился отдавать, – вмешался другой. – Вор он был, понятно? Иди давай – не до тебя тут.

Пацан недоуменно попятился. Я перешла дорогу. Неужели отступление?

К концу следующего дня – или через день? – а может, через несколько дней оружейная стрельба прекратилась, и наступила ставшая уже непривычной тишина. Наши окна выходили во двор; чтобы выяснить, что происходит на улице, я вышла на чёрный ход и подошла к воротам – любимым кованым воротам, на которых мы, бывало, катались, вопреки запретам взрослых. Подошла – и сердце мое гулко ухнуло: по улице, мимо ворот, трое военных в незнакомой серо-зелёной форме волокли окровавленного красноармейца. Я узнала его – это был один из тех, в скверике. Он поднял залитое кровью лицо и, увидев меня, с какой-то горькой лихостью крикнул: «Курносая, запомни, как штрафники выплачивали долг!» Удар приклада сбил его с ног.

Когда я вошла, папа ни о чём не спросил – только молча обнял меня и прижал мою голову к груди. Всё было ясно. Нелепо, ненужно висел на стене у дверей в брезентовой сумке на ремне бесполезный БН, «боевой несекретный» – единственное, чем успели вооружить папин истребительный батальон. Их, по-моему, всем тогда выдавали, эти противогазы...

Я, наверное, должна была умереть раньше папы – я раньше него начала пухнуть от голода; видимо, мой организм требовал больше топлива – ведь я ещё росла! Знаете, как опухают голодающие? Неизвестно почему, но опухают они неравномерно, частями, очень некрасиво – и страшно! Сначала ноги – ботиночками, выше щиколотки. Потом выше – до пол-икры. Затем, незаметно, под одеждой, начинает пухнуть живот. И кисти рук превращаются в какие-то боксёрские перчатки с негибающимися толстыми пальцами. А потом, как-то по-собачьи обнажая зубы в страшном голодном оскале, опухают носогубные складки. На этой стадии возраст уже неразличим – можно принять ребенка за старика, и не поймёшь – плачет человек или смеётся.

Нет, когда к нам пришла Котькина мама, мы с папой этой стадии ещё не достигли. Но Дося Николаевна – так странно звали эту высокую

женщину с иконописным строгим лицом – сразу всё поняла. Я не знаю, не помню, как они договорились с папой, что на какое-то время она заберёт меня к себе, не знаю, как она нас нашла, – ведь мы тогда жили со стариками Уваровыми на Юрьевском переулке (сын их, художник и папин друг, был за что-то репрессирован в чёрном тридцать седьмом, и папа тогда дал слово, что не оставит беспомощных стариков). Наверное, папа меня куда-то за чем-то послал, потому что я напрочь не помню, о чем шел у них разговор. Помню только, что папа сказал: «Ты сейчас пойдёшь с Федосьей Николаевной и некоторое время у них поживешь, так что собери вещички – что может тебе понадобится». «Зачем?» – не поняла я. «Так надо», – сказал папа и непривычно погладил меня по голове.

Если папа сказал: «Так надо» – значит, почему-то так действительно надо, и это не подлежит обсуждению, потому что иначе папа бы сам объяснил. Значит, на этот раз он не считал это нужным. Я молча удивилась, но послушно собрала узелок. «Ну, смотри – помогай там», – сказал папа и ещё раз погладил меня по голове. Стало как будто немножко понятней.

Дом у Кости был приземистый, одноэтажный, но комнат в нём было, по-моему, много. Не знаю, был он частным или жилкооповским. Помню, что отопление было печное – мы с Котькой пилили двуручной пилой толстые пахучие дрова, и Котька терпеливо учил меня, как это делается. Наверное, у меня получалось, потому что Котька не ворчал – или просто он был такой терпеливый? Но в тот день, когда я впервые вошла в этот дом, меня сковало какое-то странное чувство: я не понимала, зачем я здесь? Почему папа меня отослал сюда?

Вышедшему нам навстречу Котьке Дося Николаевна сказала:

– Ну вот, Костик, встречай гостью! Она у нас поживет некоторое время.

И Котька спокойно, как нечто само собой разумеющееся, сказал: «Давай я повешу» – и взял мое пальто. Точь-в-точь как он когда-то, в мой первый день в нашей школе, подвинулся и убрал портфель, освобождая мне место рядом.

И так же, как тогда, меня как будто отпустило, спало напряжение, отошло чувство неловкости. Но тут Дося Николаевна сказала:

– А теперь мыть руки. Костик, покажи, где рукомойник.

Всё ещё не приходя в себя, я послушно последовала за Котькой к рукомойнику, послушно

и старательно вымыла и вытерла полосатым полотенцем руки – и тут мне опять стало трудно, потому что Дося Николаевна сказала:

– Садитесь обедать.

На столе, покрытом клетчатой скатертью, стояли три красивые тарелки, а в тарелках – что бы вы думали? – нечто давно забытое. Суп!

Конечно, голод давно уже стал привычным состоянием, но как можно есть чужое, когда кругом умирают от голода! Ведь если ты ешь *чью-то* пищу, ты, может быть, с каждым глотком укорачиваешь его жизнь? Может быть, если бы ты не съела его суп, он прожил бы на день или на час дольше?

Я смотрю на тарелку с супом – и у меня сдавливают горло и темнеет в глазах.

– Ты ешь, ешь, девочка, – говорит Дося Николаевна. И добавляет: – У нас пока есть, что есть.

Она понимает! А Котька хозяйственно вторит:

– Ешь, а то остынет.

И я беру ложку. Я стараюсь есть аккуратно и неторопливо, мелко откусывая от ломтя перепечки, который мне подсунула Дося Николаевна, – и вдруг меня пронизывает: а папа? Я тут ем этот суп – даже с хлебом-перепечкой – а папа? Комок подкатывает к горлу, слёзы душат меня, я не могу с ними совладать, я не могу больше есть – я захлёбываюсь слезами. Побледневший Котька что-то лопочет, я не слышу, я не понимаю, я не могу... Неловко, нескладно я выбираюсь из-за стола – кто бы поверил: оставив недоеденный кусок хлеба! – и вон, вон из комнаты!

В полутёмном коридоре я отчаянно прислоняюсь к вешалке, зарываюсь лицом в чьи-то пальто – но добрые, сильные руки обнимают меня за плечи:

– Ну, будет, будет – пойдём! – говорит Дося Николаевна и своим платком утирает мне лицо.

Она снова усаживает меня за стол, и я снова беру ложку. Котька неестественно бодрым голосом выговаривает какие-то неестественно бодрые слова; я их не слышу, не воспринимаю – я трудно работаю ложкой, зажатой в онемевшей руке и старательно *воспринимаю* забытый вкус белой сахарной фасоли.

Потом как-то надвигается ранний зимний вечер, темнеет, и в комнату вползает темнота, а с темнотой возникает давно забытое – Керосиновая Лампа! У нас, на Юрьевском переулке с наступлением темноты зажигался каганец – знаете, что такое каганец? В стеклянную бутылочку или – для устойчивости – баночку наливается петролеум (так называется немецкий не то керосин, не то бензин), в

который зачем-то обязательно кладут щепотку соли. Затем баночку накрывают ломтем сырой картошки, сквозь который продернут фитилёк: каганец готов – остается только зажечь. Огонек от каганца небольшой, каганец коптит и воняет петролеумом – но темнота оживает и теплеет.

Керосиновая лампа по сравнению с каганцом – королева! Величина язычка пламени, а с ней и сила света регулируется винтиком, стеклянный колпак защищает огонь от малейшего движения воздуха, а сидящих за столом – от копоти и вони. Лампа, которая воцарялась на столе в этом доме, – не будничная керосинка двадцатых годов, а некое горделивое создание осветительного искусства. Когда эта величественная красавица с наступлением темноты занимала свое законное место, она автоматически становилась центром нашей маленькой вселенной. Здесь, вокруг нее, собиралось все немногочисленное население Дома. Вместе со Светилом в комнате обычно появляется Валя, уютная тихая женщина – то ли родственница, то ли просто соседка, ставшая с годами родным человеком. Густые тени съеживаются по углам, а мы мостимся поближе к свету, каждый со своим занятием: Валя сосредоточенно перебирает то ли фасоль, то ли жито, Котька возится с какими-то винтиками и гаечками, что-то мастерит, я штопаю прохудившиеся варежки. Мы сидим, как когда-то в школе, – *хорошо сидим*, а Дося Николаевна стоит, прислонившись к остывающему зеркалу голландской печки, кутается в пушистую белую шаль, смотрит на нас и думает что-то своё. В комнате тихо и тепло – а меня прожигает беспощадная, безжалостная мысль: мы тут хорошо сидим, а папа? Как там папа? И почему я здесь, в тепле – а он там?

Но Дося Николаевна говорит, что нам с Котькой нельзя выходить на улицу: в городе облавы, молодёжь хватают и отправляют в Германию. И так идут дни. Дося Николаевна учит меня вязать, Котька мастерит что-то непонятное – по его словам, это будет мельницей: молоть жито в кофейной мельничке (это моя обязанность) очень долго и, как солидно утверждает Котька, *непродуктивно*. Для затирки жито поджаривается, и тогда молоть его легче, а на перепечки его надо молоть сырым – и это тяжелей.

Сплю я у Вали: у нее в комнате стоит широченная кровать, именуемая двуспальной, но, по-моему, на ней запросто уместятся четверо таких, как я, – так что мы не мешаем друг другу, но все равно я каждый раз долго ворочаюсь и никак не могу уснуть. Я не могу понять, почему я здесь. Дося Николаевна говорит, что в жилкооповских домах управдом сдает списки жильцов в управу, а управа

по спискам рассылает повестки в Германию, а у них тут никакого оправдания нет. Но ведь какой-то, наверно, учет ведётся? И как там папа? Меня тут кормят – а он как? И ещё: нас за обеденным столом трое (Валя питается отдельно). Значит, за два дня здесь я съедаю один день жизни Котьки и Доси Николаевны? Ведь какие бы ни были у них запасы – они же не бесконечны! Ой, как всё непросто!

Но однажды размеренное течение нашей жизни неожиданно нарушается. С утра мы с Котькой, как обычно, мирно пилим во дворе дрова, но когда мы с охалками поленьев входим в дом, Котька, идущий первым, с грохотом роняет свою ношу: перед нами вырастают двое в серо-зелёных немецких мундирах. За ними Дося Николаевна, с лихорадочным румянцем на смуглых щеках, и растерянная Валя. Нам сбивчиво объясняют, что немцев привел квартирьер: они заняли вторую комнату у Вали, а сколько проживут – неизвестно. Сколько им надо будет, столько и проживут. По-русски они не говорят, как с ними объясняться – непонятно. Правда, мы с Лютькой Романовой (это моя школьная подружка) немножко занимались немецким – но это же брызги! Так – где-то на уровне “Kurt und Anna fahren nach Anapa. Franz und Marta baden da” – или что-то в этом роде.

Немцы вроде бы не страшные – не хамят и не грозятся, один совсем молодой, розовощёкий, другой постарше, с обветренным, серым лицом; старший – Курт, младший – Герберт, только Курт его зовет дер Юнге – Малыш или что-то вроде этого.

С появлением новых жильцов в Доме возникает какая-то напряженность. Мне кажется, что она почти одинаково опутывает нас и их. Впрочем, поначалу мы их почти не видим: то ли они большую часть времени где-то в отлучке, то ли неслышно окопались на своей половине. Но проходит какое-то время, и вслед за керосиновой Королевой на пороге столовой несколько стеснённо возникает дер Юнге: “Darfe ich herein?” Это звучит совсем мирно, даже деликатно, и Дося Николаевна разрешающе кивает головой. Он нерешительно кладет на стол ящичек с шахматами, обводит нас взглядом и, естественно, останавливает выбор на Косте. Тот согласно двигает плечом и, зажав в кулаках две фигуры, протягивает немцу – кому начинать? Начинать выпадает ему самому, и он привычно двигает пешку: e-2 – e-4. Шахматы не требуют знания языка, и Котька нахально выигрывает. Само собой, публика, то есть мы с Досей Николаевной, безмолвно торжествует.

На следующий вечер, осмелев, Герберт притаскивает голубой патефон и пачку пластинок, и шахматное сражение идёт уже под музыку. Пластинок

ки – наши, родные, довоенные – наверно, Валины. Или это трофеи завоевателей? Я не спрашиваю. Слов песен немец, естественно, не понимает, но слух у него хороший, и мелодии ему, видимо, нравятся, потому что он с удовольствием их насвистывает, не забываясь о содержании песни, так что мы с Котькой временами ехидно переглядываемся.

Курт на нашей половине не появляется.

Назавтра Валя сообщает, что постояльцы рано утром уехали.

– Насовсем? – синхронно ликуем мы с Котькой.

– Нет, – разочаровывает нас Валя, – вещи остались.

– А на сколько?

Валя пожимает плечами.

Через пару дней возвращается один Герберт – кажется, чуть-чуть навеселе.

– А Курт? – спрашиваю я. – Wo ist Kurt?

Герберт неопределённо машет рукой:

– Ein Befehl...

Какой-то приказ, значит... Ну, приказ так приказ. А этот почему так сияет?

– Geburtstag, verstehst du? Heute ist mein Geburtstag Und das ist mein Baumkuchen! Kuk mal, meine Kleine!

”Meine Kleine”! Если это он меня имеет в виду, то какая я ему «малышка»? Я почти такого роста, как он! И вообще...

– Бедняга, – неожиданно говорит Дося Николаевна. – Как ему тошно, наверно! Как это должно быть тяжело – в чужой, холодной стране, куда его послали убивать других, таких же как он, людей – таких же, как он, и ни в чем перед ним не виноватых!

Совсем неожиданный поворот – но мне вдруг приходит в голову, что, возможно, она права: только представить себя на его месте!

Он торжественно водружает на середину стола свой баумкухен – и обводит нас виновато-счастливыми глазами. Баумкухен большой и толстый, и даже на вид увесистый. Мне кажется, он похож на солидного немецкого бюргера – какими я их себе представляла. Только вряд ли они сейчас так выглядят – во время войны...

Дося Николаевна – тётя Дося, как я мысленно её называю, – поднимается и говорит:

– Костик, принеси самовар.

Можно подумать, Герберт понял ее слова: щелкнув пальцами, он уносится за Валею и за патефоном. Пошипев в раздумье несколько секунд, патефон светлым, печальным тенором запекает: «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось...» –

и Герберт церемонно протягивает Вале руку:

– Woolen war mal tandem?

Валя кладёт руку ему на плечо. Танго. Бред какой-то! Баумкухен, самовар, танго – и война!

Война, баумкухен – и танго?

Самовар запекает в унисон с патефоном. Дося Николаевна заваривает чай (вишнёвые веточки!) – и расставляет на столе тонкие фарфоровые чашечки. Танго кончается, пластинка прощально шипит – и её, усталую, сменяет развесёлый польский фокстроте: «Ай да парень, паренёк, дайте парню только срок...»

Дося Николаевна изящной лопаточкой кладет мне на блюдце ломтик баумкухен. Тяжелые, гулкие молотки начинают стучать в висок. Чай, баумкухен, веселый фокстротик – а папа там...

Раскрасневшийся Герберт лихо щёлкает передо мной каблуками:

– Wollen wir?

– За моей спиной вырастает Котька – он энергично мотает головой:

– Ей нельзя, она ногу подвернула!

Умница! Мы всегда вовремя приходили друг другу на выручку! Я горестно подтверждаю:

– Ja-ja. Es schmerzt mich so sehr!

Дер Юнге с сожалением – впрочем, невеликим – подхватывает Валу. Я молча жму Котьке руку под столом.

Так проходят дни, проходит время.

Валя стирает и готовит своим квартирантам, и они делятся с ней пайком.

Тётя Дося больше не печет перепечек. Жито кончается. Котька доделал мельничку, но она уже ни к чему. Для того, чтобы намолоть жита на затирку, хватает и кофейницы. И приходит день – и я говорю тёте Досе:

– Я пойду к папе, ладно? Спасибо вам за всё.

Она обнимает меня за плечи и долгим взглядом смотрит мне в глаза. Потом легонько отталкивает и говорит:

– Иди, девочка. Жито кончилось. Пора нам с Костиком идти на менку...

Последнюю ночь в этом Доме я ворочаюсь и считаю, сколько дней их жизни я съела, сколько возможных дней своей жизни они скормили мне – и мне становится холодно. А папа – как он там?..

Папа – тень папы – открывает мне дверь. Я боюсь его обнять – так мало его осталось! На бледно-сиреневых руках злобеще фурункулы.

– Что это, папа? Что у тебя с руками?

– Это? Ну, это, говорят, алиментарная дистрофия. Я не знаю, что такое алиментарная дистрофия.

Я только с ужасом понимаю, что папа и Дося Николаевна СПАСАЛИ МЕНЯ, сознавая, что, как сказал классик, «Боливар не вынесет двоих!»

Анна Ивановна, соседка – они живут через стенку от нас; у нас общий коридор, общая кухня, но разные входы – Анна Ивановна рассказывает, что папа какое-то время ходил куда-то на Франковскую, давал кому-то уроки немецкого за тарелку супа. Тарелка – и все? Последние дни он, кажется, не ходит... А Мабаба – старуха Уварова – сейчас живет с племянницей.

В доме нет ничего. Мешочек желудей – я не знаю, что с ними делать, – и пара стаканов жита... Ещё – немножко соли. Вода? Папа виновато говорит: «Дождевая...» Господи, у него уже не было сил идти за водой!

Я занимаю у Анны Ивановны кастрюльку воды и, наскоро смолов на кофейной мельничке стакан жита, варю папе убогую затирку. Он поднимает на меня глаза: а ты? Я категорически мотаю головой: «Я ТАМ ела!» И судорожно соображаю: что же делать дальше?

Несколько следующих дней проходят в лихорадочной борьбе с голодом. Нет, я не помню, чтобы мне тогда очень хотелось есть, – всё отступало перед тоскливым ужасом: у меня на глазах неотвратимо таял папа!

Продала на Конном базаре папин портфель – замечательный кожаный портфель с замечательной историей. Жили мы рядом со школой, и папа обычно носил книжки под мышкой, но к его пятидесяти пятилетию два обожавших его параллельных девятого класса подарили ему, никогда не принимавшему никаких подарков, каждый – по портфелю! Надо же такому случиться! Класс А – черный кожаный портфель с дарственной надписью, выгравированной на серебряной пластинке; класс Б – роскошный коричневый портфель. Чтобы никого не обидеть, папа клятвенно обещал носить их по очереди: неделю А, неделю Б. Мне было поручено следить за строгой очередностью.

Портфеля хватило ненадолго. Весна выдалась неторопливая – хорошо, что хоть не надо было топить. И ещё – пару раз мне удалось нарвать молодых побегов жасмина: мы ели и старательно уверяли себя, что они пахнут огурчиками...

Портфель класса Б пошел совсем за гроши – кому в такое время нужен портфель? Кому нужно самое дорогое, что у нас есть – книги и ноты, уникальные издания, которым нет цены? Партитуры трех опер Вагнера и партитура «Наталки Полтавки»,

где авторами значатся Иван Котляревский и Оттон Оскнер, мой двоюродный дед? Разве что на растопку... Папина виолончель, папина флейта?

Ясно, что с базара нам не прожить – надо идти на менку, но как я могу оставить папу? Только подумать, что совсем недавно я запивала доставшийся мне кусок баумкухена чаем, заваренным из вишневых веточек, а папа в это время погибал от голода!

Когда я уходила с Досей Николаевной, у Анны Ивановны на постое жили два немца, сейчас остался один. Зовут его Пауль, он шофер и часто в разъездах – наверное, по какой-то хозяйственной части, потому что из каждой поездки, в дополнение к пайку, он привозит то курочку, то сало или яйца и даже мёд. Поэтому Анна Ивановна и ее четырёхлетняя дочка не худеют. Вообще-то мы с ними почти не общаемся, но наши комнаты разъединяет только перегородка и заколоченная дверь (раньше это была одна большая квартира), и нам обычно слышно, как там ссорятся или разговаривают. Голос у Анны Ивановны сочный, звонкий, и когда она командует: «Пауль, котлеты стынут!» или «Лена, ешь хлеб с маслом! Лена, пей какао!», мне кажется, что я слышу запах еды.

Очередной обед за стенкой. Слышно, как, шумно отодвинув стул, уходит Пауль, как моет посуду Анна Ивановна, – и совсем неожиданно раздается легонький стук в дверь: на пороге раскрасневшаяся то ли от еды, то ли от избытка здоровья Анна Ивановна со сверточком в руке.

– Владимир Иванович, – бодро вопрошает она, – вы у Марии Васильевны бываете?

Мария Васильевна Кнабе – немка, фольксдойче из тех русских немцев, по которым нынешняя Пушкинская улица раньше называлась Немецкой, – пианистка и учительница музыки, приятельница Уваровых и папы с тех давних пор, когда он дирижировал симфоническим оркестром – ещё до моего рождения.

– Вот тут косточки для ее собачки, – говорит Анна Ивановна и кладет сверточек на стол.

Мы с папой оторопело, оглушённо молчим, и Анна Ивановна, приятно улыбаясь, прощально кивает и выпархивает из комнаты.

Я разворачиваю сверток – и давно забытый запах вареной курятины щекошет нам ноздри. Костей много: надо думать, соседи сытно пообедали. Мы с папой молча обмениваемся взглядами – и понимаем друг друга.

– Папочка, я их хорошо помою, – говорю я.

Папа кивает. Вода у меня есть, я принесла, и соль еще есть. Вымытые кости я дроблю: ведь в

трубчатых еще может быть мозг! – и долго-долго варю, так что в чуть помутневшей воде даже появляются единичные скалочки! Потом торжественно разливаю и раскладываю по тарелкам то, что получилось, – и тут, веселая и приветливая, на пороге снова возникает Анна Ивановна:

– О, у вас курочкой пахнет!

Следует немая сцена. При виде наших тарелок, наших окаменевших лиц Анна Ивановна бледнеет и вылетает из комнаты – и через минуту за стенкой всплескиваются неудержимые рыдания. А еще через минуту папа опускает голову и берет ложку. Мы молча дохлёбываем остывающий отвар, молча обсасываем вываренные кости, и папа молча вытягивается на постели. Он давно уже ест, сидя на кровати. По сути дела, он уже с нее почти не встает.

У изголовья кровати, торцом к заколоченной двери стоит пианино; иногда папа просит меня поиграть – сам он уже не может. Пианистка из меня никудышная: я с детства близорука, но у меня нет и не было никаких очков, поэтому мне приходится наклоняться к нотам, а это не поощряется. Зато руки у меня папины – гибкие, узкие кисти, длинные пальцы, так что мне все с самого детства пророчили музыкальное будущее. Ещё бы: девочка без труда могла взять терцию! Иногда – не часто – мы с папой играли в четыре руки, но дальше этого не пошло; за невостребованностью наше старое пианино было уже изрядно расстроено. Муся, по-моему, к музыке была равнодушна, и руки у нее были мамыны: маленькие, с короткими пальчиками.

Но здесь, когда нечем больше было жить, я вечерами играла папе его любимое «Дивлюсь я на небо», играла романсы деда Оттона, кусочки бетховенской «Лунной сонаты», «Времена года» – что удавалось вспомнить и что было под рукой, только не много, потому что за стеной ребенку надо было спать и, кроме того, за стенкой был неизвестный Пауль.

В тот вечер нам было не до музыки. Я прикрутила каганец и устроилась в кресле, которое на этой квартире служило мне постелью, – но сон все не шел. Не выходили из головы эти обглоданные куриные косточки, предназначавшиеся собаке и оказавшиеся в наших тарелках, и побелевшее лицо Анны Ивановны. И папино окаменевшее лицо. Что это было? Что каждый из нас чувствовал в эту минуту? А завтра? Как – завтра?

Сон напознал – беспокойный, рваный. Папа во сне то всхрапывал, то постанывал, то затихал. Я прислушивалась к его дыханию, как кормящая

мать. И вдруг он произнес ясным, совсем не сонным голосом: «Мусенька, давай ещё раз сыграем!» «Папочка, ну кто же сейчас играет? Сейчас ночь, все спят», – откликнулась я. Он удивленно возразил: «Но мы же только что так хорошо играли!» Я не стала говорить ему, что я – не Муся. Не стала говорить, что вообще он со мной, а не с ней, когда-то играл в четыре руки. Пусть думает, что рядом она. Я всегда знала, что Мусю он больше любит, – она того заслуживала. На каких-то пять лет старше меня, она была моей маленькой мамой, она во всем ему помогала. Пусть ему снится самое любимое, самое дорогое – Муська и музыка! Я побуду в сторонке.

Больше он ничего не говорил.

Наутро, когда я проснулась, папа ещё спал, хрипло и прерывисто дыша. Пусть спит – ночью он спал беспокойно. В дверях я столкнулась с Анной Ивановной. Непривычно бледная и осунувшаяся, она ткнула мне в руки краюшку хлеба и миску белой рисовой каши – может быть, даже молочной!

– Возьмите, я мисочку потом заберу.

Я, кажется, даже не сказала «спасибо» – растерянная, онемевшая, вернулась в комнату и поставила миску на стол, перед папиной кроватью. Краюшку положила рядом: большая, может даже грамм двести! Хлеб, настоящий хлеб, не перепечка! Как давно мы его не ели – да что там не ели, даже не держали в руках! Целых полгода...

Бужу папу – а он никак не просыпается. Перед ним настоящая, хорошая еда – а он не просыпается!

– Па, посмотри, что Анна Ивановна принесла.

Папа не смотрит – и тут я замечаю, что глаза у него полуоткрыты – невидящие полуоткрытые глаза! Он хрипло, неровно, странно дышит – и вдруг громко всхрипывает – и перестает дышать! Я зову, я прижимаюсь ухом к его груди, стараюсь нащупать пульс, – он не откликается мне, мой папа! Я стучу кулаком в заколоченную дверь, зову Анну Ивановну – и перестаю видеть, слышать, понимать.

За стенкой никого не было. Анна Ивановне пришла через несколько часов: я сидела, качаясь, у папиной постели и уговаривала его, мертвого, поесть. Говорят, меня пытались увести, я отмахивалась; меня оставили, и я до поздней ночи сидела и разговаривала с ним. Мне никто не мешал. Что было потом, я смутно помню. Наверное, на следующий день откуда-то взялась Мабаба, старуха Уварова. Увидела кашу, спросила:

– Ты не будешь? Так я доем.

Не знаю, съела она или нет, не знаю, куда девался хлеб, – мне было все равно. Я не верила,

что папы больше нет; он был рядом, только не разговаривал со мной – но изредка, мне казалось, я слышу, как он вздыхает.

Потом пришла Яночка, бывшая детдомовка и коммунарка, папина воспитанница. Меня зачем-то отвели в комнату Анны Ивановны. Пауль, оказывается, был в командировке; где была девочка, я не знаю.

Когда меня пустили в нашу комнату, папина постель была пуста. Папа лежал в бывшей кухне, на разостланной на полу дерюжке, аккуратно обернутый в незнакомое, белое в красных шашечках, рядно. Лицо у него было спокойное и задумчивое – как будто он все еще слушает любимую музыку. Я знала, что у него в шкатулке был маленький, с ладонь, образок в деревянной оправе. Я спрятала образок под рядно у него на груди, – чтоб ему не было одиноко, если я куда-нибудь отойду.

Так мы и пробыли вдвоем восемь дней – пока из командировки не вернулся Пауль. Немцы, как известно, народ цивилизованный и остерегаются эпидемий. Покойник в соседней комнате, целых восемь дней – это же непорядок!

Меня куда-то вызвали, под каким-то предлогом, и папу – без меня! – увезла команда «мортусов», собиравших трупы по городу. Дворничка, которая меня вызывала, говорила потом:

– Ты на меня не серчай. Оно и лучше, что ты не видела. Там мертвяки на подводе – как дрова, и голые почти все. Твой, он там самый лучший был – чистенький и завёрнутый. А уж куда их всех свозят – кто ж его знает. Говорят, вроде куда-то за Рашкину Дачу. Там яр большой.

Папы больше нет. Я больше не слышу его дыхания. Я не знаю, где его зарыли, и мне некуда прийти проститься. Папы больше нет. А Костя и Дося Николаевна ушли на менку...

Через несколько дней пришла Яночка и увела меня домой, на нашу старую квартиру.

В другую жизнь.

P.S. Через годы после войны Костя, дипломированный специалист и уже отец семейства, как-то отыскал меня.

– А как ее зовут, твою жену?

– А как, ты думаешь, ее зовут – если мы учились вместе в техникуме И СИДЕЛИ ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ?

Вот так, значит?

Инна Мельницкая
**МИШКА-МАШКА
И ДЮК РИШЕЛЬЕ**

(Воспоминания об одном отпуске)

*Поговорим за берегов твоих,
Красавица моя, Одесса-мама!..*

*(По искреннему убеждению автора, слова народные,
музыка – тоже)!¹*

Путешествие с самого начала было чистой авантюрой. Сперва Киев. До того мне случалось побывать в нем только проездом. На этот раз впереди был целый отпуск – и никакой определенной цели: мы просто не успели определиться. Вот так: выпали в отпуск – и всё!

Крещатик мне не очень понравился – ему определенно не хватало чувства меры! Восстанавливая любимую главную улицу, киевляне явно перестарались, – что называется, «передали кути меду». Недаром строгие ленинградцы, взрастившие красоту своего Города на унылой болотистой равнине, прозвали изукрашенный всяческими фестончиками Крещатик «взбесившимся тортом». То ли дело реюшая над Подолом Андреевская церковь! А Выдубецкий монастырь? Или скромно стоящий вровень с тобой прелестный Паниковский-Гердт с ложкой, торчащей в нагрудном кармане?

Поздоровались со вздыбленным конем Богдана, постояли перед Орантой² в Софийском соборе, перед удивительной васнецовской Богоматерью во Владимире³; познакомились в Кирилловской церкви с молодым еще Врубелем – перед тем, как в картинной галерее замереть перед его трагическим Демоном.

Побывать в Лавре нам почему-то не удалось, но на лоточке у входа, у какой-то набожной старушки я обрела черненький складенек – так старушка назвала эту штучку, удостоверявшую бисексуальность моего имени. Штучка состояла

¹ На самом деле первый куплет написан Борисом Смоленским, остальные же слова и музыка принадлежат Евгению Аграновичу. Песня, созданная в 1938 году, «ушла в народ» и обросла множеством вариаций. (Прим. ред.)

² Оранта – в иконографии: изображение Богоматери в позе заступнической молитвы. (Прим. ред.)

³ Владимир – здесь: Владимирский собор в г. Киеве. (Прим. ред.)

из двух створок: левая представляла крошечную иконку с фигурками троих мучеников неведомо какого пола в долгих, светлых одеяниях, один из которых, видимо, носил мое имя; на правой четким типографским шрифтом была начертана молитва, обращенная к соответствующему ангелу – хранителю. Выглядело это так:

Молитва святым мученикам
Инне, Пинне, Римме

Моли Бога о мне, святыи (святая)
(имя), яко аз усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и
молитвеннику (скорой помощнице и
молитвеннице), о душе моей.

Честное слово, мне стало немножко обидно за мою хранительницу, за эти алгебраические скобки, в которые ее так по-канцелярски заключили! Надо бы всё-таки более четко решать гендерную проблему, а то как-то оно получается безответственно!

Уже без задних ног и при последнем издыхании мы приплелись ко Владимиру. И Великий князь, узрев с высоты своего постаменты наши жалкие, потные физиономии, проникся сочувствием и изрек: даром, что ли вам сказано: «Нельзя объять необъятного»? Хватит ноги бить!.. Велик и славен Киев-град – за один приезд его не обскачешь. Спускайтесь к причалу, садлайте теплоходик – и с Богом вниз по Днепру! Можно, например, в Одессу.

И благословил нас массивным крестом, который видно за километры вверх и вниз по реке.

Не ручаюсь, что он высказался именно так, но мы именно так его поняли – и, разумеется, повиновались. Ох, до чего же это было здорово, как отрадно – плюхнуться наконец на постель в прохладной каюте и вытянуть нестерпимо гудящие несчастные ноги!

Проснувшись, я в первые минуты никак не могла сориентироваться во времени и в пространстве. Что это? Вроде бы утро – но отнюдь не раннее. А где я? Ага, в каюте судёнышка, видимо, влекущего нас, по велению князеву, вниз по Днепру – куда? Кажется, в Одессу. Нас – стало быть, где-то тут должен быть Володька? Однако при ближайшем рассмотрении – или осмотрении? – Володьки нигде не оказалось.

Подергала дверь – заперта! Это что же – ушел и запер меня? А ключ? Может, есть второй? Нет второго! О Господи!

Где-то – мимо меня! – проплывают днепровские кручи и плёсы, и какие-то приречные селения – а я их не вижу! Там пахнет речной водой, луговыми травами – а тут, у меня, подозрительной недавней дезинфекцией или дезинсекцией. Во мне постепенно взбухает и накаляется злость. Хорошенькое путешествие! Как это можно – уйти и оставить человека взаперти?

К тому моменту, когда в замочной скважине наконец заворочался ключ, ярость моя уже достигает белого каления – но в дверях возникает Володькина блаженная физиономия:

– Выспалась, лапушка? Я специально ушел, чтобы тебя не беспокоить – ты так вчера находилась!

Ну что ты тут скажешь?

– А где мы сейчас?

– А кто его знает... Я тут разведал – у них тут, кажется, буфет есть...

Все понятно: кроме виртуального наличия буфета он, конечно, узнал результаты вчерашнего матча, выяснил, кто стоял в воротах «Динамо» и кто забил первый гол, а также успел прокомментировать на палубе чью-то бездарную шахматную ничью. Но гнев мой уже остыл, и мы отправляемся на поиски буфета, чтобы ублажить Володькину голодную язву (две язвы, уточняет Володька в скобках).

Сопутствующие теплоходу тяжелые, и, в отличие от нас, явно сытые днепровские чайки лениво машут крыльями – так непохоже на своих стремительно-острокрылых морских сестер!

Буфет на борту теплохода, несомненно, был, потому что от голода за время путешествия мы не умерли, но сколько-нибудь ярких воспоминаний он не оставил. Пожевав нечто невыразительное, мы разошлись по интересам. Володька, выйдя на палубу, вытащил из кармана карманные шахматы, чем вызвал жгучую зависть у нескольких безоружных попутчиков: крошечные фигурки на штырьках, вонзавшихся в специальные дырочки на клеточках доски, были действительно очень симпатичны! А я, оставив Володьку на растерзание завзятым шахматистам, прилепилась тихонько к поручням и погрузилась в созерцание – нет, в общение с проплывающим мимо пейзажем. Да, «Чуден Днепр при тихой погоде» – но, ей-Богу, милый наш Донец, с его меловыми кручами, с его неожиданными водоворотиками и копанками-крейдянками¹, где на глубине каких-нибудь сорока-пятидесяти

сантиметров бьют хрустальные пружинки родничков и вода такая вкусная, что пьёшь-пьёшь и никак не напьёшься, хотя зубы уже ломит от холода, – нет, он ни в чём по красоте не уступит «старшему брату»! Разве что по количеству воды, деловито струящейся меж его берегов, да по степени упитанности речной птицы.

Хотя – может, это у меня глаз такой ревнивый?

Подплывает уютный Светловодск, и рядом неожиданно возникает Володька. Оказывается, Светловодск – это рай для отставников; все офицеры, Володька в том числе, мечтают, что в отставке осядут на этой Земле Обетованной и посвятят остаток жизни охоте и рыбалке.

Ну, нам еще до отставки – что суворовскому солдату до Луны: два солдатских перехода! Володька возвращается к шахматам, я – к проплывающему мимо пейзажу. По левому борту в Днепр по неглубокому овражку сочится зыбкий туман – то самое атмосферное явление, для которого у нас существует ласковое слово «туманец», и во мне само собой тихонько рождается:

Туман яро-о -м, туман долиною,

Туман яром, туман до-олиною...

Откуда она проснулась, эта песня? Я даже не вспомню, когда ее слышала в последний раз – её вообще, по-моему, никто сейчас не поет.

За тумано-ом нічого не видно,

За туманом нічого-о не видно...

Тільки видно дуба зеленого...

Что это? В песню осторожно вплетается мягкий молодой баритон:

Тільки видно дуба зе-е-леного .

Під тим дубом золота криниця...

Мне не хочется оборачиваться: песня так ладно течет в два голоса; и мы – кто мы, откуда я знаю? – мы допеваем ее до конца:

В тій криниці дівка во-оду бра-а-ла –

Упустила золоте-е відерце ...

Овражек остается позади, редкие клочья тумана тянутся вслед за нами.

Упустила золоте відерце –

Засмутила козакові серце...

Засмутила

козако-о-ві

се-ер-це...

...Туман яром, туман долино-о-ю...

Долгая пауза. Я не оборачиваюсь. Пелось так хорошо – а говорить, может, даже не захочется: вдруг

¹ Копанка-крейдянка – (укр.) ямка с водою в меловой породе. (Прим. ред.)

испортишь последнюю, такую хорошую, ноту?

– Простите, я не нарушил?.. Вы так славно вписывались в этот пейзаж... И потом – эта песня... Просто не припомню, чтобы я еще когда-нибудь пел в командировке!

– А вы, стало быть, в командировке?

– Ещё в какой... Врагу не пожелаешь!

– Вот так вы любите свою работу?

Вполоборота, чуть-чуть набычившись, мой нечаянный попутчик смотрит мне в лицо долгим – наверное, целых полминуты – внимательным взглядом, словно оценивает соизмеримость моих умственных способностей и того, что он хочет сказать, а затем медленно произносит:

– А вам никогда не приходило в голову, что работа, даже самая любимая, не всегда безболезненна?

Честно говоря, я никогда об этом не задумывалась.

– К вашему сведению, я врач. Военный врач, и профессия у меня не больно ширпотребная: я не хирург, не терапевт, не стоматолог и не венеролог. Я психиатр. Но если вдуматься, то, пожалуй, по степени ответственности психиатрия равна кардиохирургии и не уступает ей по важности, а по сложности, по многообразию своему даже превосходит ее.

Нет, не думайте: этот военврач не хвастал – он словно приглашал к размышлению, а это, согласитесь, нечасто случается. Становилось интересно. У папы было много книг по психологии и психиатрии; кое-какие я читала – или, вернее, пыталась читать – еще в детстве; помню, как поразила меня тогда книга Рибо о творчестве душевнобольных – не потому ли нас прежде всего понесло в Кирилловскую церковь смотреть раннего Врубеля?

– А командировка?

– Командировки наши в воинские части связаны, как правило, с каким-то ЧП. Приезжай и разбирайся: то ли перед тобой элементарная шпана, вор, воруящий вещички у товарищей по казарме, то ли больной человек, клептоман, требующий лечения. Что ему предстоит – тюрьма, гауптвахта или больница? Иногда пойманный вор, чтобы избежать наказания, косит под больного; твоя задача – разоблачить его. А иногда все наоборот, и твоя задача – спасти больного от неприятностей и обеспечить ему лечение. В случаях, когда подозревается паранойя, твоя задача – отличить патологию психики от патологии характера: первое надо лечить, второе – как-то искоренять разными

методами воздействия. Но горше всего случаи суицида или попытки суицида. Вот это как раз наш сегодняшний случай – причина моей командировки. Чаще всего это встречается среди первогодков, преимущественно из городской интеллигенции. Что обычно толкает их на этот отчаянный шаг? Ещё вчера неоперившиеся птенцы под крылышком родителей, еще не окрепшие и неуверенные в себе, они ранимы и беззащитны. Непривычная жесткость армейской дисциплины, добродушная и не очень издевочка старослужащих, плюс иногда крушение хрупкой первой любви или страх ее потери лишают этих ребят душевного равновесия. Ребята сельские и заводские – ну, и шахтеры, конечно, – те прочнее и тверже стоят на ногах; на них раньше затвердевает хитиновый панцирь самостоятельности, а стало быть, и способности к самозащите. А этот солдатик...

– Он что – повесился?..

– Пытался. Откачали. Слава богу, шейные позвонки не пострадали. Но это для врача-психиатра самый сложный вариант.

– То есть как? Вы что хотите сказать – лучше бы он умер?

– Да ну, бог с вами! Пусть живет до ста лет – я лично не против!

– Тогда в чем дело?

– Вот в чем: если мы имеем дело с покойником, командование заинтересовано в том, чтобы психиатр подтвердил: налицо роковое следствие психического заболевания – в противном случае дело приобретает криминальный характер, и возникает вопрос: кто или что довело солдата до самоубийства? Вопрос, согласитесь, для начальства весьма щекотливый. Однако, как вы могли догадаться, практика показывает, что в большинстве случаев проблема решается просто: ещё до приезда врача с товарищами самоубийцы проводится надлежащая разъяснительная работа, так что на вопросы приезжего психиатра они, как правило, отвечают так, как им подскажут старшие товарищи. А вот если бедняга остается жив, тут ситуация выстраивается гораздо сложнее.

Я чувствую, что у меня самой от всего услышанного заходит ум за разум, и отчаянно трясусь головой: где тут логика?

Собеседник сочувственно качает головой и мягким голосом задает чудовищный вопрос:

– А вы уверены, что логика должна быть одна? А может, их несколько?

Наверное, у меня абсолютно идиотский,

ошалелый вид, потому что он, невесело улыбаясь, гладит меня по руке – я успеваю заметить, что у него тонкие руки пианиста – и говорит:

– Нет-нет, не беспокойтесь, у меня с головой пока еще все в порядке, но беда в том, что в самой психиатрии существует безумная, парадоксально бесчеловечная установка: если человек, совершивший попытку самоубийства, остался жив, его отправляют на карантин и некоторое время держат там для проверки его душевного здоровья. Все, казалось бы, правильно – только для проверки его помещают «на буйняк», то есть с буйнопомешанными – а в такой обстановке и человек с абсолютно здоровой психикой свихнуться может. Что уж говорить о слабом, ранимом мальчишке, который и в петлю-то полез потому, что какая-то пережитая им боль показалась невыносимой, – а тут еще такое испытание! Вот и изворачиваешься всячески, чтобы вдолбить начальству, что мы имеем дело не с ненормальностью психики, а с естественной болевой реакцией слабого организма на какие-то ненормальные обстоятельства. А начальство такие диагнозы ох как не любит – вдруг за эти ненормальные обстоятельства придется отвечать?

– Ну, и что теперь с этим солдатиком? – спрашиваю я, заражаясь его тревогой.

– Да вот постараюсь его невропатологам перекинуть. Ему бы просто в госпитале полежать, успокоиться, отвлечься, а там, может, в другую часть его бы перевели, чтобы все это забылось...

Какая-то толстая блестящая рыба вдруг всплескивается за бортом. Нахмуренный лоб моего собеседника разглаживается. Лицо неуволимо светлеет, он улыбается маленькой, легкой улыбкой и ни к селу, ни к городу говорит:

– А пели мы с вами славно. Как в ручье умылись... Споем еще?

И мы поем «Місяць на небі» и «Повій, вітре», и «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна» – на Днепре почему-то приходят на ум именно эти – и потом снова «На долині туман, на долині туман упав...».

Возникает Володька, ревниво роняет: – Вам тут, я вижу, не скучно.

– Нет, не скучно. Нам хорошо, – с готовностью откликается мой подголосок. – Присоединяйтесь!

С оторопелого Володьки слетает ревнивая настороженность, и он присоединяется к нам залётным соловьем. Поет он, надо сказать, довольно противно, но слух у него преотличный, и свистит он

удивительно хорошо.

Гадкими голосами нас пытаются перекричать попутные чайки. Но у них ничего не получается – до тех пор, пока наш попутчик не спохватывается, что ему пора сходить на берег. Теплоход, чем-то там шипя, притирается к причалу, и Андрей – вот как его, оказывается, зовут! – сбегает по сходням. Мы машем ему на прощанье, а он, обернувшись, кричит: «Не забудьте – меня зовут Андрей! Андрей Дзюрбей! Может, мы ещё споем?»

Теплоход отпихивается от причала, и военврач с такой необычной в наших краях фамилией удаляется, удаляется от нас, отплывает, стоя на берегу...

Чайки теряют к нам интерес.

Где-то месяца через два или три почтальонша вручает мне конверт с красивой открыткой. На ней четким, твердым почерком написано: «Туман яром, туман долиною ...» – и до самых последних строчек «упустила золоте відерце, засмутила козакові серце...» Откуда он добыл наш адрес?

Но это потом, потом...

Я не помню, в какой последовательности возникают и сменяют друг друга прибрежные поселки и города; воды становится больше и больше, и во мне возникает и вспухает, пропорционально увеличению количества воды, горькая зависть: хорошо им! Вон какие – даже малые – у такой Большой Воды, а мы?

На пяти, с позволения сказать, реках стоим, а дразнят нас: «Немышлимо: Харьков в Уды, хоть Лопни, Не течёт!» Реки-то у нас: Харьков, Лопань, Уды, Нетеча и Немышля – и все воробью по колено! А у них тут даже острова посреди реки водятся! Та же шароварная, опереточная Хортица, например! И чайки вон какие жирные!

Но, когда мы спускаемся к Запорожью, когда мы готовимся шлюзоваться, в голове начинается и окончательно происходит некая перезагрузка: вспоминаются строчки «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру!» – и я потихоньку начинаю себя по-особому уважать. Вот какой силой, какой властью обладаем мы, ЧЕЛОВЕКИ! А я ведь тоже некая статистическая человекоединица! (Правда, мы и испакостить многое можем – но об этом как-нибудь потом!)

Впрочем, очень скоро я как-то устаю собой гордиться, – это, оказывается, весьма утомительное

занятие, особенно на пустом месте. И Володька, тоже подуставший от шахматных боев, вовремя вспоминает, что в каюте у нас есть ещё кулёчек семечек – достойное, сугубо национальное занятие в наших краях!

Однако, как только он отходит, ко мне подкатывается плотноватый, весёлый, загорелый одессит:

– Я правильно понимаю – вы тоже до Одессы?

Я успеваю только утвердительно кивнуть – подоспевший с семечками Володька с непонятной интонацией изрекает:

– Вот стоит только на пять минут оставить жену, к ней тут же непременно кто-то присоединится!

– Неоспоримое свидетельство того, что у вас отменный вкус. Безоговорочно присоединяюсь к мнению общественности, – отвечает наш новый знакомый и протягивает опешившему Володьке крепкую, широкую ладонь. – Семен; можно просто Сёма – самое модное имя в этом сезоне! Некоторым, правда, больше нравится «Сеня», но я категорически против. Считаю, что это дурной вкус.

Ну как не оценить такой изящный поворот сюжета! Володька пожимает протянутую руку и, в свою очередь, протягивает одесситу кулек с семечками.

– Не откажусь, – милостиво заверяет тот, – святое дело!

И всё! Тройственный союз заключен! То, что за этим следует, нельзя назвать никак иначе, как «Поэма за Одессу». Скажите, вы встречали хоть одного одессита, который не убеждал бы вас, что Одесса – самый лучший город на свете, что это тот же Париж, только чуточку меньше, но зато в сто раз лучше? Если скажете, что встречали – я вам не поверю.

Начиная с этой минуты – и до самой Одессы – проплывающие мимо берега всяческие рукотворные моря, все красоты пейзажа и человеческой мысли тускнеют и отступают на второй план, почти не отмеченные сознанием. А что на первый? Вы ещё спрашиваете! Само собой – «красавица моя, Одесса-мама»!

Узнав, что у нас с Володькой на Одессу отведено всего недели полторы, Семен искренне огорчается. «Такой город! Это ж вам не Хацапетовка! Тут и полтора месяца мало!»

Честно говоря, у меня мелькнула грешная мысль: может, человек видит в нас потенциальных квартирантов на лето? И тут же стало стыдно за

себя, потому что он продолжил:

– Эх, жаль, что у меня отпуск кончается! Я бы вам Одессу показал! Прежде всего, не пытайтесь устроиться в гостиницу в центре города – это безнадежно: во-первых, в сезон все забито, а во-вторых, если бы и свершилось чудо и подвернулся свободный номер, с вас бы содрали семь шкур. В частном секторе, наверное, то же самое – разве что где-нибудь на окраине... Можно попробовать в гарнизонную, но боюсь, что это тоже дохлый номер: сейчас там, наверно, полно отпускников. Я вам советую: езжайте в Институт селекции и генетики; далековато, правда, но командированных там сейчас не должно быть много, так что номера найдутся – чистенько и недорого.

Мы с Володькой переглянулись и благодарно покивали: мотаем на ус!

Кем был Семен по профессии, мы так и не узнали – до этого как-то не дошло, но одно отпечаталось четко: человек явно не равнодушный (впрочем, как выяснилось в дальнейшем, равнодушные одесситы в природе не встречаются). Уже через каких-нибудь пятнадцать минут стало совершенно ясно, какую невыносимую трагедию для него, для нас, а, может, и для всего человечества составляет то, что он не успеет рассказать нам о Пушкине и о Куприне в Одессе («Любой десятилетний пацан покажет вам “Гамбринус”, где играл Сашка-музыкант!»), и не сможет показать ни где находилась редакция газеты «Моряк», в которой начинал свою журналистскую деятельность молодой Паустовский, ни дом, где родился Лев Кассиль и возникли бессмертные «Кондуит и Швамбрания». И вообще – сколько ярких звёзд подарила нашему небу Одесса! Бабель, Багрицкий, братья Катаевы, Вера Холодная, Леонид Утёсов... А профессор Столярский со своей школой развития слуха, а Давид Ойстрах... Да разве их всех перечислишь! А оперный театр! А Потемкинская лестница! А Дюк, а Ланжерон! А военная Одесса?

Одним словом, что вам говорить!

В Одессу мы прибыли под вечер. Когда, утвердившись на суше, Володька спросил у Сёмы, как нам добраться до рекомендованного им прибежища, тот воззрился на него с негодованием:

– Вы меня что – за малахольного держите? Чтоб я вас, на ночь глядя, отпустил искать по городу Генетику и Селекцию? Переночуете у меня. Две трети моих женщин еще в Питере остались – это у меня отпуск кончился – так что места на всех хватит.

А мама уж нас чем-нибудь покормит.

Володька разинул было рот, но не успел произнести ничего осмысленного.

– Возражения не принимаются. Командовать парадом буду я!

Дверь нам открывает улыбчивая, кругленькая Берта Соломоновна, счастливо восклицая:

– Сыночка приехал!

– И не один, мама, – с друзьями!

– А как же, а как же – бог троицу любит! Заходите, заходите, пожалуйста!..

В уютной приветливой комнатке мы едим («а что я говорил?») неописуемо вкусную фаршированную рыбу, что-то пьем; Берта Соломоновна счастливо щебечет, подкладывая нам всяческие вкусности, а Семен непривычно молчит и только улыбается мохнатыми глазами.

Потом меня, окончательно осоловевшую от еды и от усталости, укладывают спать в крохотной Сонечкиной (Сонечка – это, очевидно, дочка) комнатке – и я проваливаюсь в прохладный крахмальный сон.

Снилась мне еще не увиденная Одесса, какое-то ветхое здание непонятной архитектуры и мордастенькая экскурсоводочка, повествующая группе туристов, что именно в этой гостинице останавливалась королева шотландская Мария Стюарт, когда ей посчастливилось побывать в Одессе. Я не успеваю разоблачить эту вопиющую ложь – меня будит Володька.

– Сёмочка очень просил извинить, что не попрощался, – виновато сообщает нам утренняя Берта Соломоновна, – не хотел вас будить. Чуть свет на свою работу помчался. Ну, как же – вдруг там без него какой-нибудь гармидер приключился! Тут он вам записку оставил.

На клетчатом листочке из блокнота синими чернилами начертано ухмыляющееся солнышко и – стрелками – предстоящий нам маршрут через проходной двор на соседнюю улицу и далее – до автобуса, идущего в сторону Привоза. И еще несколько строчек, улыбчивых, как он сам, и номер телефона: до встречи!

Берта Соломоновна категорически напикивает нас завтраком, и мы отправляемся в путь – через проходной двор, согласно начертанной схеме. В автобусе словоохотливые одесситы наперебой рассказывают нам, что ехать нам до нашей Генетики

и Селекции порядочно («Проедете дрожжевой завод – вы по запаху услышите – а там уже недалеко».)

Храм науки поразил наше воображение обширной территорией с целым комплексом добротных, коренастых зданий, пузатыми клумбами и внушительными статуями обоего пола, символизирующими, видимо, то ли Героев Генетики и Селекции, то ли Передовиков Сельского Хозяйства. Гостиница, по сути, представляла собой просто хорошее, опрятное общежитие для приезжающих специалистов. Номер нам достался светлый, просторный, без особых излишеств, но вполне удобный.

Мы наскоро рассовали по местам свой нехитрый скарб и ринулись открывать для себя дотоле неведомую Одессу. И тут же, в самом начале пути, буквально в нескольких шагах от гостиницы, наткнулись на полную неожиданность: на аллее, ведущей от гостиничного корпуса к воротам, под могучим, раскидистым деревом, позвякивая цепью, топтался подросток-медвежонок, явно расположенный к общению.

– Не бойтесь, это наша всеобщая любимица, Мишка-Машка, – успокоила нас подошедшая от соседнего корпуса женщина. – Ее еще в младенческом возрасте подарил институту заезжий сибиряк. Она привыкла, что каждый, проходя, обязан непременно с ней поздороваться. Здравствуй, Маша! У вас найдётся что-нибудь – угостить ее «со свиданьем»?

К счастью, только выйдя из автобуса, мы тут же, у самой остановки, на всякий случай купили четыре вездесущих (наверное, всесоюзных!) жареных пирожка с ливером. Маша приняла угощение благосклонно. Ее довольное урчанье мы перевели с медвежьего как «спасибо!», сказали ей «на здоровье!» – и откланялись.

Еще по дороге сюда словоохотливые попутчики советовали нам побывать на Привозе – благо он недалеко от Генетики, а другого такого Привоза, как Одесский, само собой разумеется, больше нигде на свете не сыскать. Ну, надо – значит, надо. Нет, покупать мы ничего не собирались – впереди еще отпуск! – но так, для эрудиции... Вообще-то я не любительница всяческих торжищ, но Володька сказал: придется, иначе общественность нам не простит.

Надо сказать, одесский Привоз – это действительно нечто невообразимое, хотя теперь говорят,

что харьковская Барабашка¹ его уже переплюнула. Но тогда он действительно был вне всякого сравнения. От гула голосов, от пестроты толпы, от многообразия бесчисленных товаров меня уже буквально в первые минуты начало просто укачивать – я не выношу толпы! И тут мы наткнулись на какую-то монументальную тётку: держа в огромных ручищах с ярко-красным маникюром нечто эфемерное, воздушное, тётка упорно долбила докрасна обгоревшей блондинке:

– Дамочка, я вас не уговариваю, но вы ж смотрите, какая вещь! Муж из Италии привёз, я б ни за что не продала – так не мой размер! Прелесть какая кофточка – ей цены нет! Я задёшево отдаю – это ж итальянский товар – смотрите!

На ярлычке честно значится: «*Made in USA*» – и я, в простоте душевной, роняю:

– Ну какой же он итальянский! Вовсе не итальянский!

Лицо дамы наливаясь свекольным соком, но она, сдержавшись, окатывает меня великолепным ледяным презрением:

– Шо вы понимаете – «не итальянский»! Во, глядите: тут черным по белому написано: МАДЭ ИН УСА!

Володька издает какой-то подозрительный, сдавленный звук и невинным голосом произносит:

– Пойдём, пойдём – ты же видишь: там и правда МАДЭ ИН УСА, – и, боясь фыркнуть, тянет меня прочь за рукав.

А гневная дама, позабыв о галантности, переходит на интим:

– Ото не понимаешь ни хрена, так не суйся!

Мы подобру-поздорову проталкиваемся по-дальше и, по размышлении здравом, приходим к выводу, что Привоз необъятен и необозрим, а жизнь наша коротка, а отпуск – тем более, поэтому надо уносить отсюда ноги. И направляем стопы к автобусной остановке.

На этот раз – ура! – нам даже достаются сидячие места, а когда автобус наполняется пивным благоуханием, попутчики рассказывают нам, что производством на дрожжевом заводе заведует «трофейный румын». Последнее звучит интригующе, и нам поясняют: Гитлер обещал румынам, что после войны Одесса будет принадлежать Румынии. Дрожжевой завод был своего рода авансом: им пра-

¹ Харьковская Барабашка – крупный вещевой рынок, известный под названием Барабашовский. Расположен возле станции метро "Академика Барабашова" в Киевском районе г. Харькова. – (Прим.ред.)

вил директор-румын: но, когда Одессу освобождали, он не дал немцам взорвать завод, сам сдался в плен и упросил, чтобы его оставили работать на заводе, а впоследствии даже дослужился до начальственной должности.

Мы выходим из автобуса на той остановке, которую посоветовали доброжелательные попутчики, и пускаемся в пеший поход. И с этой самой минуты до самого отъезда не перестаем убеждаться, что каждый второй одессит – неперенный борец за истину. Вот, например, вы спрашиваете какого-то прохожего, как добраться от данной точки земного шара до, скажем, железнодорожного вокзала. Любой одессит, как бы он ни спешил, подумав секунду, даст вам, как правило, подробный (в меру своих возможностей) ответ. Но проходящий по касательной Второй абориген непременно поинтересуется:

– А шо тут спрашивают? А вы шо сказали?

И, получив исчерпывающий ответ, воскликнет:

– Та нет! Слушайте сюда!

После чего пылко и убежденно изложит свой вариант.

Не зная, которому отдать предпочтение, вы робко благодарите обоих и бочком, как краб, уходите – но если, дойдя до угла, вы оглянетесь – голову даю на отсечение: вы увидите, что о вас уже забыли, а спорщиков уже трое, если не четверо, ибо «Платон мне друг, но истина дороже!»

И мы бродим по этому удивительному городу, не переставая удивляться; считаем ступеньки Потемкинской лестницы, вглядываемся в гордое лицо Дюка, мысленно соглашаясь, что ему есть чем гордиться, но тут нам говорят, что неподалеку есть еще памятник – человеку, по-своему не менее великому. И мы, движимые чувством долга, идем на поклон к Александру Сергеичу. Поэт задумчив, и ему, видимо, не до нас. Мы присоединяемся к группе экскурсантов, столпившихся пред нарядным зданием Биржи.

Сухой и коричневый, как вяленая таранка, экскурсовод рассказывает, что это здание было построено по проекту Бернардацци, знаменитого итальянского архитектора, специально приглашенного для этой цели крутым одесским купечеством. Однако между заказчиком и исполнителем неожиданно возник конфликт: сумма, требуемая на строительство согласно проекту, превышала сумму, ассигнованную купцами. Архитектор категорически

отказался упростить свой проект, а купцы отказались увеличить затраты. И Бернардацци вложил в строительство великолепного здания свои собственные деньги (надо думать, купцы не очень огорчились по этому поводу).

Вообще говоря, слоняясь по Одессе, мы почти на каждом шагу убеждались, что Семен в своей вдохновенной «Поэме за Одессу» был абсолютно объективен. Чего стоит одна Дерибабушка, как нежно называют Дерибасовскую сами одесситы, с ее потрясающим Пассажем!

Поскольку до приезда в Одессу мы знали ее в основном по литературе, естественно, что следующим объектом обозрения должен был оказаться купринский «Гамбринус». Хотя Семен и заверял нас, что «каждый одесский пацан...!», я все-таки решила, что в качестве «справочного аппарата» старшее поколение как-то надежнее.

Володька в таких случаях обычно выдвигает меня вперед, а сам малодушно прячется за мою могучую спину (впрочем, по-моему, почти все мужчин таковы – да простят меня читатели!) И так, я выбрала подходящий объект – высокого худого старика в парусиновой тройке (помните пикейные жилеты?) и медовым голосом интеллигентно спросила:

– Простите, вы не подскажете нам, как найти «Гамбринус»?

Вопреки ожиданиям, старик воззрился на меня отнюдь не дружески:

– Я что, по-вашему, – похож на биндюжника?

Я опешила и залопотала, что, дескать, всем известно, как одесситы чтут Куприна, и что... Не знаю, что должно было следовать за этим многоточием, но видимо, старик понял, что я окончательно увязла, и смягчился: по желтому, сухому лицу дрогнув, разбежались мелкие, смешливые морщинки – и мой словесный поток был милосердно остановлен:

– Вам повезло. Я как раз из тех одесситов, которые чтут. А «Гамбринус» находится на углу Дерибасовской и Преображенской.

Преображенская оказалась улицей Советской Армии, а «Гамбринус» – простой рабочей столовкой. Время было не обеденное, и народу в столовке было немного.

За вторым от входа столиком, справа, сидела молоденькая пара – видимо, молодожены: свежее испеченный лейтенантик с женой – судя

по отсутствию загара, оба приезжие. По цвету жидкости в тарелках можно было догадаться, что на первое в «Гамбринусе» в тот день был гороховый суп. Стоявший у кассы беседующий с кассиршей коренастый мужчина лет сорока улыбнулся нам, как старым знакомым, и сказал, как будто продолжая разговор: «Во-он там он играл!»

Интересно, как он догадался, что мы пришли не за гороховым супом?

В глубине темноватого зала на стене торопливой, не очень талантливой кистью был намалеван скрипач.

Не помню, отважились ли мы тогда что-нибудь поесть, но помню, что, направляясь к выходу мимо лейтенантского столика, я наклонилась и сказала вполголоса:

– А вы знаете, где сейчас сидите? Это же «Гамбринус»!

Густо покраснев, лейтенантская жена подняла на меня испуганные глаза. Мы с Володькой прошествовали к выходу. За спиной я услышала голос лейтенанта:

– Ну что ты разволновалась? Это писатель такой был, Куприн...

Это явно были не одесситы.

С прославленным одесским театром нам круто не повезло. Мало того, что он был закрыт: там велись какие-то ремонтные работы, вокруг были выкопаны какие-то канавы, и все это бесчинство было обнесено оградой. Мы горестно потоптались, поискали какую-нибудь дырку в ограждении, чтобы хоть снаружи оглядеть его поближе – пустой номер!

Огорченные, мы побрели дальше в поисках утешения. Вы знаете в Одессе Пушкинскую улицу? Прелестная улица! Там у каждого дома свое лицо и свое настроение, и при всем при том они никак не ссорятся между собой, а живут в абсолютной гармонии (что касается жильцов – тут я не ручаюсь, конечно). Но вот перед нами удивительный дом. Начнем с того, что в нем два парадных входа и перед ними два разных фонаря: один старинный, оригинальный, другой стандартный, современный – кажется, в доме живут две непохожих друг на друга организации? Совершенно необыкновенные окна; фасад украшен необыкновенными рельефами, – я не знаю, как их архитектурно назвать, – но часть из них повреждена.

Должна признаться: с самого детства во мне живет неистребимый щенячий рефлекс. Если жизнь

преподносит что-то НЕПОНЯТНО-незнакомое, он тут же просыпается и настойчиво вопрошает: «Эт-то Что Такое? Откуда? И – Почему? Зачем?» Наверное, именно поэтому незнакомые собаки – особенно большие и лохматые – пугая своих хозяев неожиданностью чувства, проявляют ко мне неизъяснимую родственную нежность: родство душ! И, видимо, по той же причине ко мне вдруг подошел какой-то мужчина и спросил:

– Скажите, вы случайно не архитектор? Или художник?

Естественно, я удивилась.

– Нет. А почему?..

– Я вижу, что вы равнодушный человек. Это здание строил Бернардацци, тот самый...

– Который Биржу?..

– Ну да. А для отделки фасада он специально выписывал из Италии особый материал. Мы сейчас не можем себе этого позволить – больно дорого. Вот пытаемся найти, чем его можно заменить – какие-нибудь отечественные каолиниты. Да нет, не подумайте – мы не жмоты, просто слишком много приходится реставрировать после войны.

– А вы строитель? Архитектор?

– Ох, главный! Очень нелегкий хлеб, должен вам сказать. А вы театр наш видели? Он ведь чудом уцелел – немцы, отступая, все выдающееся уничтожали.

Я поскулила, что нам не повезло: что-то там на ремонте. И он рассказал нам удивительную историю.

Одесса была освобождена десятого апреля сорок четвертого года, и мало кто знает, что первоначально штурм был назначен на более поздний срок, но одесские подпольщики уведомили командование, что фашисты готовятся перед отступлением взорвать гордость Одессы – оперный театр.

Офицер СС, руководивший закладкой мин, уходя, сказал сторожу: «Любуешься? Любуйся, любуйся! Насмотришься впрок: такого-то числа эта красота взлетит на воздух! Но имей в виду: никто об этом знать не должен, понял?»

Сторож понял его правильно, и командование войск Третьего Украинского фронта начало наступление значительно раньше, чем было намечено.

– Мне довелось допрашивать этого офицера: я сам был сапёром. Я спросил его: «Объясните мне: вот мы с вами враги, вы руководили минированием

здания – что побудило вас сдаться в плен и передать нам схему закладки мин? Вы помогли нашим сапёрам – почему?»

Он поднял на меня глаза и чётко ответил: «Моя мирная профессия – архитектор. Я архитектор средней руки и никогда не сумел бы создать такое чудо, но я смог – мне удалось – спасти его от уничтожения. И я доволен – чего бы это мне ни стоило».

Оказывается, можно уважать врага!

Тут архитектора зачем-то отозвали, он извинился и простился с нами, так и не назвав своего имени.

В выходной мы вознамерились было позвонить Семену, но оказалось, что Володька потерял записочку с номером его телефона. Ни фамилии, ни адреса, ни даже названия автобусной остановки, с которой началось наше освоение Одессы, мы не знали – ведь мы добирались к автобусу по чертёжику! Да и заявиться без предупреждения было бы неудобно: ведь он дал нам свой номер телефона!

Так мы и слонялись по Одессе, угрызаемые совестью и подгоняемые жадным любопытством: Воронцовский дворец – и греческая церковь, Пересыпь – и Лютицдорф, Ланжерон – и станции Фонтана... Разная архитектура, разные запахи, разная температура воды – но при этом одно, неповторимое, неистребимое понятие, объединяющее все это: ОДЕССИТЫ! Удивительная разновидность двуногого млекопитающего, нескромно именуемого *homo sapiens*, – разновидность, своеобразие которой определяется не расовой и не национальной принадлежностью: одесситами могут быть и русский, и еврей, и украинец, и грек. Ступив на землю Одессы, они медленно, но верно становятся одесситами, постепенно приближаясь в своем развитии к категории *homo sapientissimus*. Должно быть, почва тут такая – это как с каолинитами, итальянскими или, скажем, украинскими, и китайским каолином, уникальные качества которого обуславливаются особенностями почвы и сейсмическим характером местности.

Вот как объяснить то, что у нас во дворах в тёплые летние вечера старики-пенсионеры громогласно «забивают козла», а в одесских двориках глубокомысленно сопят задумчивые шахматисты? Где еще вы в тихом переулочке увидите монументальную мусорную урну с водруженной

на нее шахматной доской? Где еще заботливые бабушки кричат в окно рассеянному внуку не: «Лёня, ты забыл взять бутерброд (или завтрак)!», а «Лёня, ты забыл смычок!»? И где еще, заканчивая ежевечерний прогноз погоды, диктор скажет: «Ночью повсеместно ожидаются обильные дожди, поэтому, если вы любите спать на свежем воздухе, откройте форточку»? И где, наконец, главный архитектор города подойдет к незнакомому человеку, чтобы рассказать историю спасения уникального здания только потому, что лицо незнакомца показалось ему равнодушным?

В какой-то день Володька приболел, и я отправилась странствовать одна. Открывать без него какие-то новые места было бы, по моему разумению, свинством, поэтому я затеяла нехитрую игру: выбирала на верхнем ярусе потёмкинской лестницы какую-нибудь скамеечку, на которой одиноко сидел какой-нибудь почтенный старец в парусиновой тройке (они в то время заменяли классические пикейные жилеты), скромно присаживалась на противоположном конце скамеечки и, просидев минут пять-десять в молчаливом созерцании, задумчиво изрекала в пространство: «Да, удивительный город Одесса!»

Не было случая, чтобы старик не клянул на эту фразу! «Это что! Вот когда я был молодым...» или «Вот “Потемкин” приходил в Одессу...» И, независимо от степени достоверности повествования, каждый раз это была настоящая поэма – опять-таки «Поэма за Одессу». За пару дней мне удалось разговорить человек пять – и это было прелестью!

Близились время отъезда – билеты были у нас на руках; мы необдуманно купили их в первый же день. Но в предпоследний день произошло неожиданное событие. Я уже говорила, что каждый, кто проходил мимо, обязан был оказывать Мишке-Машке какие-то знаки внимания: подходя – здоровались, уходя – прощались. Если кто-нибудь по рассеянности или в спешке пренебрегал ритуальными обязанностями, она напоминала о себе обиженным воплем.

И вот, накануне нашего отъезда, какой-то мерзавец дал Маше кусок соблазнительно пахнущего земляничного мыла. Маша доверчиво приняла незнакомое угощение. Бог знает, каково оно было на вкус, но, когда мы утром подошли к Машке, она

отчаянно трясла головой, пускала мыльные пузыри – и плакала! Из горестной пасти неукротимо лезли радужные пузыри, бедняга неудержимо мылилась – и плакала. Мы не знали, что делать, чем помочь, – принесли свежей водички, макали в воду Машкину горькую головушку, – но толку было мало.

Спрашивается: кто мог пойти на такую подлую, такую жестокую проделку? Уверена: это не был одессит!

Мы собирались в дорогу с нелегким сердцем: как покидать в неизвестности плачущую, мылящуюся Мишку-Машку? Как – по-свински – уехать, не попрощавшись с Семеном? Как покинуть Одессу, так и не ознакомившись с ее гордостью, ее прославленным театром? С ее прошлым и настоящим? Простите нас, одесситы! Прости-прощай, Одесса-мама!

Я все-таки надеюсь: я еще вернусь. Я когда-нибудь приеду в этот Город и увижу на нарядном фасаде его прекрасного театра мемориальную доску с именем человека, создавшего это чудо, рядом с именем человека, спасшего это чудо от гибели, – может быть, его имя сохранилось в военных архивах или в памяти главного архитектора?

Кто-то из древних сказал (а, может, я сама пришла к такому выводу): уничтожать памятники истории стремятся те, кто понимает, что сами они не способны создать что-либо, достойное памяти, а стало быть иного пути, чтобы войти в историю, у них нет. Предлагаю психологам и психиатрам для этой породы двуногих млекопитающих точный диагностический термин – комплекс (или синдром?) Герострата! (Для тех, кто не знает древней истории – а она иногда ох как поучительна! – поясню: Герострат – это древний грек, который из тех же соображений ещё в триста пятьдесят шестом году до нашей эры сжег прославленный храм Артемиды в Эфесе.)

Дорогие мои одесситы! Сберегите на фасаде театра для нас и для наших потомков эти два замечательных имени! И подумайте: может быть, «трофейный румын» тоже достоин памяти?



Саха Немировский

ВОЗДУХ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬНЕЙ



ОТКРЫТКА ИЗ СИНТРЫ

Эти бусы огней, уходящие в море с грудастых холмов.
Мавританские башни-тиары, где небо в подсветках.
Синтра спит. Плещет камень в разбеге веков.
Ресторанные столики спят в одеялах салфеток.
Это час, когда эльфы приходят с прогулок
В садах Риголейра.
Это время курительных трубок
С бокалом портвейна.
Португальское время эпохи смещения времен.
Все, что было уже и еще не случилось.
Здесь клен
Перемешан на склонах с хвощем и сосной.
И тут воздух звенит колокольной и пахнет весной.
Назначение извилистых улиц
В расстановке дворцов.
Мы коснулись
Брусчатки. И стали причастны к листве.
Дон и Донья, что из синих встают изразцов,
Чтобы выйти в кроссовках в рассвет.

08.09.14

ОТКРЫТКА ИЗ ЛИССАБОНА

Породистость португальского носа
Есть следствие перехода горных кражей,
Подпирающих горизонт,
В виноградники – наносы
Зеленого цвета на склонах полосами
Растущей пряжи,
Используемой на похмельный сон.
В котором чайки кричат, подхватив сардину,
Или увернувшись от ног зевак,
Топчущих крошки.

Ты тоже дремлешь, перевалив середину
Дня в кафе на террасе.

Лишь взгляд, встретив стройные ножки.
Машинально виснет, позабыв кабак,
Где играли «фадо» на радость туристской массе.

В вечерах,
Начинающихся, где-то в районе восьми,
Есть преимущество – отсутствие трафика на рассвете.
Тогда, в пещерах узких дворов, пока они пусты,
По утрам
Наступает эпоха уборки мусора.
Что не досталось рта,
Лежит на брусчатке, размазанное по углам,
Откуда легче стать содержимым кузова.

Эта практичность использования пространства,
Продолжаясь резьбой, сама по себе украшает камень
Соборов, уходящих в бесконечность, к свету.
И тогда не странно, что в итоге странствий
Напротив могилы Васко-да-Гамы
Не меньшая гробница принадлежит поэту.

Отдавая дань местной кухне, надо быть осторожным,
Когда ветром
С площади тянет запах сардин на гриле.
Удовольствие вкуса не в этом.
Не пригибая голову, проходит дворцовую печь
Изнутри,
Намекая, что еду не изобрели,
А споткнувшись, открыли.
Смуглянка, как экспрессо с пирожным,
Короткие шорты, туфельки, движение плеч.

Лиссабон, ранний сентябрь, заброшенная
Работа. Мягкая португальская речь.

22.09.14

ВИД НА РУАН

Соборная площадь. Дождь.
В высоком окне
Напротив стоящего дома
Клод Моне.
Он рисует дрожь
Резьбы на камне.
Холст весь в огне.

От собора, по улице, лет за пятьсот до,
Катиться телега.
В ней девчонка.
Оковы, зацепленные за дно.
Смотрит волчком.
Затравили. Нет времени для побега.
Так суждено.

Рынок плещется вокруг развалин церкви.
Новая стоит рядом. Крыша языками пламени
Стучит в небо.
Создателя с тех пор давно свергли.
Лишь ангелы на карнизах армиями.
На базаре также торгуют репой,
Томатами, рыбой и, конечно, сырами.
Мы бредем, пробуем,
Один, другой, третий.
Вокруг люди с торбами.
Оставляют отметины
На времени, происходящем с нами.

25.10.14

ДЖАЗ В ОДЕССЕ

Я считаю ступени, ведущие к Дюку.
Раз, два, три.
Я делаю вид, что набил себе руку,
Чтобы лихо вести удачную жизнь.
Четыре, пять.
Черноморский бриз
Завернул мои брюки,
Дышит в спину,
Не поверни.
Если придется сбежать вниз,
То тогда половину
Камней ноги сами смогут узнать.

На эти я капал мороженым
За девятнадцать копеек
В первом классе.
Семь, восемь, девять.

А на этих поссорился с другом из-за корма для его канареек.
Что поделать. Мы помирились гораздо позже
В очереди к кинокассе.
Четырнадцать, пятнадцать.
Вот тут я споткнулся, чтобы схватиться за твою руку,
И пальцы,
Вздрогнув, переплелись. С тех пор запахом твоей кожи
Или звуком
Голоса загорается память.
Шестнадцать, семнадцать, двадцать.
Я не знаю, как я прожил
Через пустоту, когда ты уехала в эмиграцию.
Возможно,
Я поехал за тобой – догнать и оставить.

Я в туристской толпе на пятидесятой ступени.
До верха еще далеко.
Я грызу семечки из газетного кулечка
И тени
Каштанов соответствуют точно
Моему росту.
Легко
И быстро мимо поднимаются не наши дети.
Шестьдесят, семьдесят, девяносто.
К залитой солнцем последней площадке,
Откуда можно заметить
Песчаные
Дюны вдоль фривейной дороги.
Одноэтажный домик.
Сто десятая, сто девяносто вторая.
Все. Мостовая.
Черта.
Пологий
Пляж. И томик
Стихов на языке, что больше не прочитать.
Из другого края.

01.06.15

Хелен Джонс
ПЕСОК, ИЗМУЧЕННЫЙ ВОЛНОЙ

КРОЛИК

Я о кролике тайно мечтаю,
Чтобы прыгал и прыгал без толку.
Специальные книги читаю,
Отвела им отдельную полку.
Я о кролике тайно мечтаю,
В холодильнике вянет капуста.
Я лежу, я болею и таю,
Потому что не жить мне без хруста.
Но встаю. Одеваюсь, как в гости,
Выезжаю в знакомый проулок –
По ухабам, по пробкам, по злости,
По тоске предрассветных прогулок
В переулок с названием Мертвый.
Ничего, я живая, прорвемся,
Я калач-то ведь, в сущности, тертый,
Мы же с кроликом вместе вернемся.
Мимо дома, где Пушкин с цирцеей,
И отеля, где есть тараканы,
Я отчаянно двигаюсь к цели.
Пешеходы мешают, бараны.
У Арбата машину паркую
И, инстинктом звериным ведома,
Ковыряя собой мостовую,
Дохожу до знакомого дома.
Вижу – в ветхих лохмотьях старушка
Держит кролика в темных ладонях.
Свет струится сквозь розовость ушка
И в глазницах старушечьих тонет.
Объясняю: крольчонка мне нужно,
Я капустой плачу, не рублями.
А она говорит – он недужный,
Он помрет, он скончается днями.
Уболтать я умею старушек,
И в руках моих легкое тело
С лепестками увядшими ушек.
Но я очень, я очень умела.

ВРЕМЕНА ГОДА

Смесь тюльпанов и сирени
Пахнет тюбиком помады,
Поцелуем до мигрени
После длительной осады.

Поцелуем на запястье,
Тенью сохнувшей рубашки –
Тихим домом, полным счастья
Пахнут честные ромашки.

Розы пахнут «неужели»,
Поцелуем за подарок,
Ночью в скомканной постели,

Нежной колкостью ремарок.

Хризантемы – тихой болью,
Пережитой, перепрелой.
Пиджаком, побитым молю,
Что висит в шкафу без дела.

* * *

На забитом хайвее,
Прибавляя газку,
Чтоб прорваться левее,
Я влепилась в тоску.

Просто так, без причины,
Просто так, без затей.
И не из-за мужчины,
И не из-за детей.

Увернуться хотела,
Да попробуй успеи,
В лоб тоска мне летела,
Сквозь гудящий хайвей.

В лоб тоска мне летела,
Без руля и ветрил.
А куда ты глядела,
Я тебе говорил...

В лоб тоска мне летела.
Нет бы тормоз нажать.
Впрочем, ей что за дело,
Мне ж в могиле лежать!

Впрочем, мне что за дело,
Я не против, не за.
В лоб тоска мне летела,
Отключив тормоза.

Разогнав до предела
Пару сотен гнedyх.
В лоб тоска мне летела,
А попала под дых.

Я доеду, доеду,
Ты б меня подождал...
Не успеешь к обеду,
Я же предупреждал...

МАСТЕРСКАЯ

Опять бессонница работу задала –
В убогой мастерской судьбы прибраться.
В печи скопилась жирная зола
Безжалостно сожженных инсталляций,
Бездарных и претенциозных: вкус
В нас долго дремлет шариком прострела,
Пока отчаянья прививочный укус
Не впрыснет крови в отпечаток черно-белый.

И вкривь, и вкось портреты на стене –
Паук сплел саван на родные лица.
Они так искренне позировали мне...
Ах, если б можно было извиниться!
Детей невыношенных смутные черты
В сырой, смолистой, наспех сбитой раме:
Не видно, где глаза, носы и рты,
Но видно главное: они хотели к маме.
Бросаю в печь этюды детских дней
И радужную юность акварели.
Я знаю, что не станет здесь теплей –
Они и без того почти истлели.
Я брошу в печь последнюю любовь –
Пусть выкипит она в февраль морозный!
И дрогнет на твоём портрете бровь.
Глаза оттают. Только будет поздно.

* * *

Нежная, нежная, снежная, снежная
Вдруг наступила зима.
Небо бездонное, небо безбрежное
Вскрыло свои закрома.
Сыплет и сыплет на нас, будто хлоркою,
Надо же нас отбелить:
Что ж мы засыпали души махоркою,
Как мы могли с этим жить.
Ангел усталый, печальный, невидимый
Машет крылом голубым.
О мой любимый, потом ненавидимый,
Нынче ты стал мне чужим.

* * *

Песок, измученный волной.
Отлив – прибой, отлив – прибой.
Стрибог напрасно причитает
И ветры шлет: он не летает –
Песок, измученный волной.

Он хочет на морское дно,
С водою стал он заодно.
Пусть все ветра сорвутся в вой,
Пусть мачты с треском разметает
По небесам: он не летает –
Песок, измученный волной.

Пусть все ветра сорвутся в шквал,
Какого в жизни не видал
Тот, кто на берег ни ногой.
Пусть капитана уболатает
До немоты: он не летает –
Песок, измученный волной.

Как я измучена тобой.
Отлив-прибой, отлив-прибой.
Моллюск в груди захлопнул створки,
Втянул осклизлые оборки,
Исторгнув жемчуга зерно.
Осталось только лечь на дно.

Приют затопленным армадам,
Морским холоднокровным гадам –
Песок, измученный волной.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Озон – озноб, и пахнет, как мигрень.
На мой газон пришел пастись олень.
Олень пришел пастись на мой газон.
Рогами пробиваясь сквозь озон.

Он тут родился. Тут же и умрет,
Он никому про жизнь свою не врет.
Ему границы наши – не резон.
Резон один – озон, озон, озон.

Он полагает – общая трава,
Тут нет забора, вала или рва.
Он без бумажек – просто так живет.
Он тут родился, тут же и умрет.

Умрет он без страховок и врачей,
Он свой себе, пусть в остальном – ничей.
Умрет, как только рок и срок придет,
Которых он не ищет и не ждет.

Мы – гости тут, пусть с купчей на руках,
За каждым пнем нас поджидает страх.
Тут леший, здесь лишайник, там лишай.
Олень, свободой нас не искушай.

Уйди туда, где тень и сень ничья,
Где притаился кто-то у ручья.

КОЛДУНЬЯ

Ведьма, – говорят, – наворожила,
Дьяволу на славу послужила...
А во мне и злобы-то – на донце,
Я люблю на снег смотреть в оконце,
Я люблю ребенка в носик клюнуть,
На коленку содранную дунуть,
Пса погладить с грустными глазами,
Помолиться перед образами
В старом, тихом, белоснежном храме,
А лежу, забитая камнями.
Мне вставать не надо бы, не надо,
Не стерпеть мне каменного града.
Только не привыкла я сдаваться,
Я могу и смерти улыбаться.
Я дойду, шатаясь, до калитки,
Острую иглу возьму и нитки.
Все срастется за ночь у колдуньи
В полнолуние...



Слава Блуд

СЛОВО О МИХРЮТЕ

Из «Истории новейшей
Федерации Российской»



Родился Михрюта в самом центре Великой России, а точнее – в райцентре под названием Зысрань. Название это дали еще монголо-татары, которых пленила красота местечка, расположенного на крутом берегу великой русской реки Бездонки. На старотатарском языке это слово означало «рай», или «рай-город», или – «райцентр». Со временем поселок разросся и стал именоваться Великой Зысранью.

По паспорту Михрюта был Михредин, но так называла его только бабка его, Оглашена, а все остальные жители Зысрани звали его по-свойски – Михрютой.

Михрюта был великоросс. Т. е. до определенного возраста он просто рос, да и то плохо: в стране тогда свирепствовал авитаминоз и болезнь «бери-бери», потому как мало было конфет и пива. Для того, чтобы поднять страну и население, правительство объявило программу «Время». Министерством и ведомством было дано поручение увеличить импорт конфет и производство пива. Программа «Время» объявила Россию великой, а жителей ее (за исключением лиц кавказской национальности, которые хотели только есть конфеты, а пиво пить отказывались) – великороссами.

Генеалогическое древо рода Михрюты уходило вместе с ветвями и стволом глубоко в прошлое, и найти его поэтому было почти невозможно. В древних летописях упоминается лишь сам родоначальник и основатель Зысрани, живший во времена татаро-монгольского нашествия. Это был невысокий и бородатый человек по имени Оглоед. По одним летописям, он жил в Зысрани один, по другим, – проживал он в землянке с крестьянином Брюхо по прозвищу Пятка.

Когда к Зысрани подошла Орда, Оглоед (по некоторым летописям, сопровождаемый крестьянином Брюхом) вышел из землянки, чтобы встретить врага. То было войско грозного хана

Кочумая и племянника его Чучмека. «Плати дань, свинья!» – приказал Кочумай. Оглоед вскинул на конного хана всключенную свою бороду и вскричал: «А ху-ху не хо-хо?» Татары обнажили сабли, готовые порубить смельчака на бешбармак. Но Кочумай остановил их, взгляделся в лицо смельчака, усмехнулся и велел повесить на Оглоеда ярлык «кизяк-башки», который освобождал его от уплаты ясака.

Что было со славным Оглоедом после этого поворотного в русской истории поединка – неизвестно. Но в течение нескольких столетий потомки его носили в своей фамилии часть его имени – Оглы.

Славный путь прошел и сам Михрюта. Всю свою сознательную жизнь – т. е. каждый день до 11 часов утра, не считая выходные и понедельники, он посвятил служению Отечеству. Остальное время Михрюта проводил в неравном единоборстве с пьянством и его пагубными – на это и уходили понедельники – последствиями. Служил на разных руководящих должностях. Одно время едва не был избран районным путиным. («Путин» (старомонгольск.) – начальник, судья, комендант, авторитет, отец родной.) Были и неудачи: как-то за плохую организацию работы вверенного ему управления был с должности снят. После чего в характеристике написали: «Не справился с управлением».

Основное же занятие Михрюты заключалось в том, чтобы поднимать сельское хозяйство Великой России. Так, по почину всероссийского путина, он засеял местные болота завезенной из Австралии кузиковой, предназначенной для откорма скота. Вся кузика, однако, была поглощена болотом. Тогда решено было осушить болота. Кузика удалась на славу. Некоторые кочаны были величиной со среднего великоросса. Самый большой экземпляр погрузили краном на Белаз и отвезли в Москву на ВДНХ.

Кочан посетил сам всероссийский путин. По первому ТВ каналу стали говорить о новом возрождении величия России.

Однако радость была преждевременной. Скот отказался есть кузику. Хуже того, кузика разрасталась стремительными темпами, рушила изгороди и постройки и местами даже сама нападала на мелкий рогатый скот. Тогда из братской православной Эфиопии был выписан бегемот по кличке Великорот, способный поедать до 100 центнеров кузики в день. Но возлагавшиеся на него надежды были напрасны: сразу же по прибытии Великорот загадочно исчез: то ли спрятался в болотах, то ли – что вероятнее – был похищен и съеден жившими по соседству великомордвинами.

А тем временем кузика перла на поселок, как немецко-фашистские танки на Курской дуге. Было объявлено ЧП. Всероссийский путин приказал премьер-министру подготовить поручение правительству по нахождению Великорота. Для оценки гуманитарных потребностей над Зысранью пролетел самолет МЧС. Местный кулибин из ворованных алюминиевых тазов и кастрюль изготовил прибор – бегемотоискатель, аналогов которому не было во всем мире. При помощи уникального изобретения было найдено четыре (4) бегемота, но Великорота среди них не оказалось.

Наконец было решено поднимать дальнюю авиацию и с ее помощью подавить кузику пестицидами. Однако присланные из Америки пестициды оказались, как водится, просроченными. Тогда было принято тяжкое, но единственно правильное решение – бомбить Зысранский район, чтобы зеленая чума не доползла до Москвы. Для смягчения побочного вредного эффекта для населения, было дано указание применить ковровое бомбометание с предварительной эвакуацией. К несчастью, из-за 6-часовой разницы во времени между Москвой и Зысранью эвакуация совпала с бомбометанием. Бой был страшным. Был проявлен массовый героизм. В итоге кузика была побеждена. Но и потери были немалые: в ходе продолжительного и упорного бомбометания без вести пропали: два вертолета боевой поддержки, все боеприпасы на арт. складе в Армавире, ж/д состав с ГСМ на узловой станции Льгов, а также глубоководный батискаф и мичман Рябошапка с Мурманской военно-морской базы. А также все провода линии электропередач между Хабаровском и Владивостоком. А также ТВ антенна с дома Михрюты. И еще алюминиевая раскладушка с огорода Михрютино соседа

Николая, великоудмурта. В самой Зысрани от населения остался сам Михрюта, великоудмурт Николай и еще одна семья, члены которой были наполовину турками, из-за чего все называли их полутурками.

С годами мало-помалу население возвращалось в Зысрань. Появились новые условия жизни. Начался капитализм и демократизация. Люди стали приобщаться к общечеловеческим ценностям, есть много импортных конфет и пить пиво. Никто уже не вспоминал о боевых заслугах Михрюты, о том, как он был одним из немногих, кто остался принять бомбовый удар и чудом уцелел. Михрюте стало обидно, и он стал обращаться в разные инстанции и требовать медаль. Все ж таки не последним он был Зысранцем. В центре долго думали, какую бы медаль отлить Михрюте, и, наконец, придумали. Вручили ему торжественно в районном путинате именную медаль с надписью: «За юркость перед Отечеством».

Больше всего на свете Михрюта любил Родину и всероссийского путина. Особенно нравилось ему, как всероссийский путин приказывает по 1-му ТВ каналу своему премьер-министру подготовить то одно поручение, то другое – для исправления всяческих недостатков и улучшения жизни. А еще любо ему было смотреть, как всероссийский путин выезжает на места в различных костюмах: в ВМФ – в форме подводника показывает, как надо нырять; в мундире ракетных войск следит, как ракета попадает в Камчатку; а то вылезает из танка в шлеме и говорит: «Порядок в танковых частях!»; а то и вовсе без всякого костюма показывает молодежи, как повысить рождаемость в Великой России. А еще всяким горелым подсказет, как развивать альтернативные источники энергии, рыбакам прикажет прекратить использовать дрифтерные сети, а лесорубам – гнать за границу «кругляк». Михрюте даже сон приснился про всероссийского путина: как появляется он в костюме северного оленя, ведет за собой в тундру оленьё стадо и показывает, как откапывать из-под снега ягель.

А врагов России Михрюта ненавидел. Их было много. Самыми лютыми из них были прибалты и хохлы. Прибалты Россия когда-то присоединила к себе, чтобы кормить и защищать от немцев. Но не в коня корм. Прибалты построились «свиньей» и присоединились к немцам, чтобы те защищали их от русских. Хуже прибалтов были только латыши, которые русского деда Мороза заменили дядюшкой Гитлером и у русского меньшинства пытались вырвать русский язык. Немногим лучше их были

хохлы, или как называли их на 1-ом госканале – малороссы. Преступлениям их не было числа. В первом ряду стояло воровство. Малороссы умудрились украсть у России ну пусть и не целый остров, но полуостров – Крым. Патриоты, к которым принадлежал Михрюта, требовали возврата Крыма и возвращения ему исконного русского названия – Мал-Ямал. А в последнее время, как объявили по ТВ, малороссы стали воровать у великороссов природный газ. И хоть много природного газа было у Михрюты, он, прежде чем его из себя испустить, всегда оглядывался – не крадется ли за ним вороватый хохол. А еще малороссы выращивали ядовитых свиней и гнали их через границу в Россию. Эти ядовитые свиньи представляли большую угрозу великороссам. Стоило великороссу укусить такую свинью, как у него начинался великий понос. Поэтому правительством было принято решение украинских свиней в Россию больше не пускать.

К другим нацменьшинствам Михрюта, как и все другие жители Зысрани, относился терпимо, а то и по-дружески, даже к евреям. «Что вы все так евреев не любите, – спрашивал он соседей-полутурков. – Они, коли хотите, тоже, может, люди не хуже вас, чурок поганых».

К иностранцам Михрюта относился с подозрением из-за того, что они делали вид, будто не понимают по-русски (специально так делали, чтобы в удобный момент застать врасплох). Вот был такой случай. Как-то давно еще Михрюта поехал по профсоюзной путевке в ГДР. В гостинице пошел в ресторан поесть: питание входило в стоимость путевки. Принесли ему суп, а хлеба нет. Михрюта и говорит: «Хлеб!» Никто не реагирует. Михрюта тогда громче: «Хлеб!» Официант только плечами пожимает. Тут Михрюта стал кулаками по столу стучать и кричать: «Хлеб! Хлеб! Хлеб!» А рядом сидел какой-то фриц и жрал бутерброд. Слушал он Михрюту, слушал, а потом как запустит в него этим бутербродом. Михрюта схватил хлеб, стал грызть, довольный: «Все ж таки понимает немчура русский язык!»

Иностранцев Михрюта иногда даже жалел. Вот все у них есть – высокие технологии, деньги и т. д., а с русскими тягаться – кишка тонка. Вот взять Леньку, сына соседа Николая. Захотел участвовать в зимних олимпийских играх. Сызмальства лыжи любил. Но где ж их взять, лыжи-то? Так сам себе сделал: выковал на машинном дворе из железа. Тренировался и день, и ночь, уже в олимпийскую команду взяли, но не повезло парню: кто-то лыжи на

металлолом пер.

Еще была у Михрюты совесть. Как-то сидел Михрюта, смотрел всероссийского путина по ТВ. Тот был одет в Иисуса Христа. «Не укради, – говорит, – нельзя воровать, всю Россию разворовали, мы теперь будем воров мочить». Задумался Михрюта. Ведь он только у великоудмурта Николая утащил раскладушку, два алюминиевых таза и ТВ антенну. Стыдно стало Михрюте. И решил он отдать Николаю алюминиевые тазы. Но жизнь есть жизнь – то одно, то другое – закрутился Михрюта и так и не отдал. К тому же и спор у него получился с Николаем из-за русского языка.

А дело было так. Написал Николай на Михрютином заборе слово: «Педарас». Михрюта ему и говорит: «Вот ты, Коля, все-таки удмурт неграмотный. Не педарас, а пидарас». «Да ты и сам русского языка сроду не знал, – ответил Николай, – я правильно написал». «Есть проверочное слово», – говорит Михрюта. «Какое это еще слово?» «Пидар», – ответил Михрюта. Умолк Николай, но обиделся.

А однажды решили известить Михрюту и научили его Богу молиться. Лоб он себе не расшиб, но голова заболела. Пошел в больницу. Сделали ему рентген головы. Врач говорит: «Рентген ничего не показал». «Как это – ничего?» «А вот так. Можете сами посмотреть». Показывает рентген – а там действительно ничего. Вообще ничего. «А голова где?» – спрашивает Михрюта. «Не знаю, – говорит доктор, – сам теряюсь в догадках. – Уникальный в медицине случай: чтобы невооруженным глазом голова наблюдалась, а вооруженным – нет». «Рентген ваш – говно», – сказал Михрюта и поехал в область. В областной поликлинике рентген нашел Михрютину голову, в которой оказались глисты. Обрадовался Михрюта: свято место пусто не бывает.

Как ни протестовал он, врачи сделали промывание марганцовкой, чтобы глисты не пошли ниже. И вот с тех пор Михрюте больше не снился один и тот же дурной сон. А снилось ему раньше, как просыпается он и глядит в окно, а там лежит сельское хозяйство, лежит и не поднимается. Выбегает Михрюта в сердцах, пинает сельское хозяйство ногой в бок и кричит: «Поднимайся, свинья!» И вдруг, к ужасу Михрюты, из сельского хозяйства появляется эфиопский бегемот Великорот, открывает свою пасть и кричит: «А ху-ху не хо-хо?» Так вот, больше таких кошмаров не было, и зажил Михрюта спокойно, можно сказать, счастливо.

Нью-Йорк. Июнь 2006 г.



Владимир Гандельсман

ЭЛЕГИИ¹



ЭЛЕГИЯ. СЕМЕЙНАЯ САГА

В чуть видимом прочесть, а часто –
в невидимом. Хрустальный зверь повис
над скатертью – разбитый вдрызг, лучистый,
осколками сверкает сверху вниз.

На скатерти закуски в узких лодках.
Графин. Стрекошет речи ручеёк
семейный. Семенящий, в позолотах
ночных огней, дождь за окном. Очаг.

Седой хозяин у рояля. Счастье
романса. Хризантемы. Баритон.
В чуть видимом прочесть, а часто –
в невидимом. Тайнственный тритон
продольной памяти, продольно-поперечной,
притон подсвеченный. Хозяйка. Нежный сын.
Его невеста. Скоро жизни брачной
рассвет, а с ним закат. Лучи глубин.

Учи любви уроки, гость случайный,
ещё ты мальчик в дебрях тех квартир,
где запах старости и кухни выжел чадный,
а дверью ошибёшься – там сатир
танцует с нимфою, и всё подробней,
всё стереоскопичней и родней...
О, хриплый патефон! Захлопни
дверь и оставь козлинный миф за ней.

Взгляни туда, где летних дней отрада.
Цветёт тяжёлой поступью сирень,
и просится в стихи веранда,
и пастушок фарфоровый, свирель
целующий, стоит на этажерке.
Родится новый мальчик между тем,
а прежний станет юношей, и тень
падёт на прошлое по скорбно снятой мерке.

Чуть что – хозяйке скорую. Укол.
Сбегались тётушки, добрейшие золовки.
Хозяин первым всё-таки ушёл.
Поминки. Хризантемы. В позолотах
ночных огней... Хозяину вслед
ушла супруга. Торною, конечно,

тропинкой ковылять – не столь кромешный
кошмар, ведь там супруг. Закат. Рассвет.

Закат. Лет через сорок «новый мальчик»
погибнет, а отец (тот «нежный сын»),
болеющий, будет сутками один
смотреть бесстрастно, как гоняют мячик.
Когда-нибудь ударят по мячу
последний раз, и к сыну, не переча,
сойдя, он молвит: я заждался встречи.
И скажет сын: пойдём, я посвечу.

ЭЛЕГИЯ С НЕДОСТАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ

На отшибе дом викторианский,
ракушки морской белей.
Пруд невдалеке, подёрнут ряской,
с цаплей одноразовой. Сарай.
Ранних подмороженных полей
даль сердечной болью поверяй.

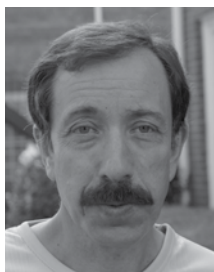
Дочь моя четырнадцатилетней
девочкой стоит в дверях,
угловатой, трогательной, бледной,
несравненной. Дует из прорех.
И бесшумно гроыхает страх
будущего, как пустой орех.

Есть ещё соседка, та, которой
нет на свете. В январе
вдоль Гудзона пронесётся скорый.
Длись, заря, ты сокращённо – зря.
Пусть твоей потворствует игре
снег. Ему всегда до фонаря.

Дочь. В руках стеклянная вещица –
шарик. Беглый разговор.
То и дело взгляд её лучится.
То и дело взгляд соседки внутрь
отступает, точит её хворь.
Холод просыпающихся утр.

С духом собираясь, кофеварка
цедит кофе в тишине.
Радостно, печально, горько, ярко,
непреложно. Изначальны дни.
Вдаль и виришь, в крови или вовне.
Всё запомнил? Боже сохрани.

¹ См. статью С. Стратановского “Шум бытия” о творчестве В. Гандельсмана (Стр.177)



Лев Бертин

ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ" СКРИПИТ НА ПОВОРОТАХ

Из новой книги «Цикличность»¹



* * *

Когда весь город видит сны,
не спит, приветлив и опрятен,
в квадрате каменном стены
окна светящийся квадратик.

Бессонный, крошечный зрачок.
Не знаю, надолго ли хватит.
Горит, горит в ночи свечой
окна светящийся квадратик.

Такой оставлен там залог...
Четырехлетний мой солдатик
окна светящийся квадратик
оберегает от тревог.

Я не исчезну никогда.
Вернусь к обещанной мной дате.
Гори, гори, моя звезда –
окна светящийся квадратик!

* * *

Старинные друзья, трюмо, сервант и люстра –
состарились вы все, мне верность сохраня.
Во времена любых домашних революций,
я знаю, вы всегда стояли за меня.

Вы помните меня? Мой голос в древесине
завяз. Мое лицо в обшарпанном трюмо
мерцает по ночам, как будто на картине
в окладе темных стен тревожно и немó.

Вы помните – был день. По облакам, по росам
по клавишам лучей с сияющих небес
в привычный наш уют – смешной, светловолосый
спустился ангелок и поселился здесь.

Казалось мне тогда – предметы все смеются!
В квартире правил бал веселый кавардак.

И не было числа летящим на пол блюдцам
и – вдребезги! – тем дням. И это было так.

Потом она ушла. И дом, такой ненужный,
вдруг сразу постарел, угрюм и одинок.
И грузным кораблем плывет, скрипя недужно.
И люстру на крюке раскачивает ночь.

Гасить давайте свет. Не возражаешь, лампа?
Лишь звезды-светляки пусть светят в полумрак.
Давайте горевать. Давайте тихо плакать,
как ходики стучат, роняя слез тик-так.

Давайте полагать, что все это случайно.
Что неизбежных бед нам не сулит судьба.
Что распахнется дверь – и длинноносый чайник
протяжно пропоет: “Приветствую тебя!”

И озарится дом волшебным, прежним светом.
И крыгой¹ по весне растает глыба-ночь.
И первыми – без слов – мне возвестят об этом
любимые мои: сервант,

часы,

трюмо...

NEW ORLEANS

Трамвай "Желание" скрипит на поворотах.
Ничуть не меньше он скрипит и на прямой.
Народец разный, к другу в гости едет кто-то,
а кто-то явно из гостей уже, домой.

Люблю из прошлого я эти заморочки:
вагончик крохотный, водитель пожилой...
Захочешь выйти, только дерни за веревочку,
а станет душно, то окошечко открой.

Звучит музыка, то отчетливо, то гулко.
Гульба на улице полезней, чем пальба.
То здесь, то там, как луч, мелькает в переулках
Луи Армстронга золоченая труба.

Я не ручаюсь, что мне социально близки
там, за окном – кларнет и скрипка, и тромбон.

¹ Крыга – льдина (белорусский). (Прим. ред.)

¹ Книгу стихов Льва Бертина “Цикличность”
можно заказать, написав автору: <lev_fel@yahoo.com>

Но, господа, как бесподобно пьется виски
на главной улице с названием "Бурбон" !
Я не прощаюсь, мы, конечно же, увидимся,
найдем занятие себе у этих стен.
Нам машут вслед герои Теннесси Уильямса,
что поселились здесь когда-то насовсем.
Вагончик катится. Бронируйте заранее
места в салоне. По ночам не спит
Нью-Орлеан. Скрипит трамвай "Желание"...
И, слава богу, что еще скрипит...

* * *

Германия.
Опрятные ухоженные домики.
Улыбающиеся лица.
Только раз меня дернуло:
маленький газон был аккуратно
по периметру
огорожен фигурной сеткой.
Мини-концлагерь...

* * *

Б. Б

Не ругайте сгоряча
музыканта-скрипача.

Сколько раз – к плечу плечом –
за столом со скрипачом

мы гасили дней свечу...
Скрипачу помочь хочу.

В уважительном ключе
так скажу о скрипаче:

– Он и жертва, и палач, –
к нам спустившийся скрипач....

* * *

С годами сны длиннее
и обувь дольше носится
и, как в Музее Прадо, –
даль за окном светла.
Одно прошу во сне я:
чтоб снов моих виновница
сто лет со мною рядом
тихонечко спала...

AMSTERDAM

Не выдержал, шепнул
сидящей рядом даме :
– Я в Амстердаме !

Смысл слов моих
мучительно итожа,
ответила она:
– Я тоже...

BUDAPEST

Ни в Христа, ни в Аллаха, ни в Будду,
лишь в тебя верю, полон надежд.
Вечно ты будешь, я вечно буду
неразлучны, как Буда и Пешт.

Ничего про себя мы не знаем.
Жизнь тасует всюю времена.
Если вдруг потечешь ты Дунаем,
я мостом лягу через Дунай...

* * *

А.Х.

“Отогревшись у печки, звуки стали
сами вылетать из рожка”

“Приключения барона Мюнхаузена”

Э.Распэ

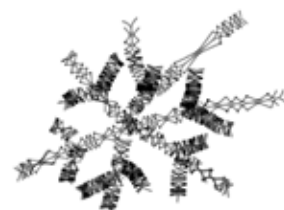
Когда оттаяли слова
в тепле жилого помещения,
понятны стали все решенья,
необъяснимые сперва.

Когда оттаяли слова,
на время сделавшись живыми.
Так на окошке тает иней...
Он вспомнил: это был январь.

Он вспомнил: вечер был хорош,
морозец крепок, снег пружинист.
Снежинки жертвенно кружились,
как звуки чьих-то похорон.

Не потерялось ничего.
Он слушал долго, обреченно,
как будто бы с магнитофона
два голоса – её, его.

Когда оттаяли, едва
для них не ставшие судьбою,
как обмороженные, с болью...
Когда оттаяли слова.





Игорь Ильин

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО КОЛДУНА



ИСТОРИЯ ПЯТАЯ,
*где главный герой даже не подозревает,
что он главный*

Эта история не то чтобы о недруге колдуна, но и не то чтобы о его друге, а так – о постороннем поначалу человеке, который и знать не знал, что долгое время был не посторонним. Может быть, так и умер бы, не познакомившись, если бы... Но все по порядку.

Однажды пришли к нашему колдуну все три жены этого человека, и он, то есть колдун, сразу догадался: что-то не в порядке с их кормильцем; и не успели они удивиться его прозорливости, как он уже догадался еще об одном: дело совсем не в том, что им нечего есть, и, более того, их муж не болен обычной болезнью сезона дождей. Тут женщины переглянулись и поняли, что все рассказы о нашем колдуне – как они ни приукрашены – все равно правда: потому как пришли они издалека и – что не совсем принято в наших местах – без приглашения, и потому колдун не должен был знать, что их привело, а значит, пришли они куда надо.

Здесь надо отступить и заметить, что эти женщины, – то ли сомневаясь, насколько колдун может им помочь и насколько оправдают себя их дары, то ли из обычной женской вредности и недоверчивости, – обратились за разъяснениями к колдовской жене, и оказалось, что все удивительно – даже поразительно – просто. «Кто, – спросила она, – может содержать трех жен?» Женщины развели руками. «Только тот, у которого большое стадо. Выходит, вовсе не голод привел вас сюда. Если бы муж заболел, скажем, той же болезнью дождя, то уж наверное он сам прислал бы за помощью, и не всех, а только самую быструю из вас». Женщины опять

развели руками, из чего было ясно, что в беге они не соревновались. «Ну, и наконец, если бы у него была болезнь старости, то уж скорее всех пришла бы младшая жена (младшая жена зарделась) и принесла бы черного петуха, а тут все три, да еще с коровой. А то, что главу рода не призвали предки, то созывать плакальщиц и вовсе есть кто-нибудь из более дальних родственников, а еще раньше – известие принес бы барабан». На это женщинам сказать было нечего, оставалось только глядеть да подглядывать, чем они позже и занялись, но об этом опять-таки позже.

И вот, разинув рты от прозорливости нашего колдуна, женщины уступили слово старшей, и та, глотая слезы, пожаловалась, что муж ее совсем забыл. То есть не только ее, но и других жен тоже, а что еще хуже того – детей, которые, того и гляди, сами скоро могут стать мужьями и женами. И все потому, что полюбил другую. Не женщину, нет, – это если и нельзя простить (хотя иногда можно), то уж по крайней мере можно понять (хотя иногда нельзя). Нет – он полюбил масамбалу. А вот масамбала – это и есть то самое, от которого забывают про все остальное, и такого оно свойства, что его вечно не хватает, и поэтому чем больше его пьешь, тем больше его не хватает.

Готовят его так: в глиняный чан мелко рубится сахарный тростник, и манго, и груши, и оманья, и все остальное, что дал сезон дождей; потом ждут, пока тростник не начнет пускать пузырьки, как будто внутри сидит утопленник, потом... но об этом могут узнать дети, поэтому сразу вернемся к отчаявшейся старшей жене постороннего для колдуна человека, которая и предложила за спасение утопленника целую корову – уж лучше отдать одну, чем все пропадут.

¹ Продолжение. См. ОЖ 2012-2013. Место действия – Южная Африка.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ (упоительно – отвратительная)

Воздав должное женской бережливости и заботе о ближнем, пусть даже утопленнике, – а именно так у нас называют бедолашных любителей масамбалы, что из просто посторонних (какими они выглядят в глазах окружающих) того и гляди превратятся в поту-сторонних (которые уже никак не выглядят), – колдун, тем не менее, вовсе не бросился немедленно его спасать. А на недоуменные брови жен-заговорщиц заметил, что иногда спасение утопающих требует не меньше времени и усилий, чем обратное. Вслед за чем он подозвал своего колдовского пса и удалился, оставив смущенных женщин толковать и перетолковывать его слова (в таковом толково перетолкованном виде они до нас и дошли). Что же касается его дальнейших мудрых рассуждений, то (опять же по мнению жен утопленника) ничего путного – то есть хотя бы на коровьи копыта заслуживающего того, чтобы быть подслушанным – в последующие несколько дней колдун не обронил. Приходилось только удивляться, как возмутительно безобразно ведут себя иногда наши знахари, когда удаляются на чисто «мужскую» половину крааля, предварительно прихватив с собой того самого зелья, от которого якобы собираются отвадить кого-то другого.

Впрочем, не смея мешать колдуну и вместе с тем не желая, чтобы взамен настоящего добротного колдовства – с танцами, заклинаниями и вызовом со-ответственных за пьянство духов, от которых с испугу икалось бы еще с полгода – им подсунули жалкий выворачивательный настой, известный любой старухе, за который и коровий-то хвост отдать – жирно будет, бдительные жены установили поочередное подслухонаблюдение сквозь прорехи и дыры в частоколе в разных точках крааля. Но то, что они увидели и услышали, им не понравилось. И не только им.

Во-первых, никакого хоровода пьяных духов ни вокруг костра, ни в иных значимых местах не наблюдалось.

Во-вторых, если уж кто-то и и-и-ик-ал, то это был сам колдун. Причем икалось ему явно не с испугу, а либо от личного неприличного удовольствия, либо по милости озабоченных результатом женщин: как вокруг крааля ни ходи, как ни бегай и как ни выжидай, а волей-неволей мысленно помянешь колдуна с его колдовством и

заодно всех его незаслуженно забытых предков.

И, кстати, о предках. И это уже в-третьих. И это самое главное. Меж колдуном и его собакой (а именно пес с его необычайным чутьем входит в число наидавнейших предков и собратьев всего колдовского клана) не обнаружилось никакого взаимопонимания относительно путей лечения недуга и – более того! – возникли разногласия, отмеченные взаимными упреками, криками, визгами и обидами вплоть до рычания, чего между родственниками, честно говоря, быть не должно....

Вы, конечно, скажете: мол, что с того, – разве не бывает ссор между родственниками?! Но я отвечу так: это смотря какие родственники; если они, конечно, собаки по прозванию, тогда, естественно, сколь угодно, пожалуйста, а если и впрямь собаки – тогда уж извините! – каков человек, таков и его пес. В общем, получалось, что либо колдун не колдун, либо пес – не пес, либо колдун его знает, а пес нет, либо пес его знает, а колдун нет, либо ни пес, ни колдун не те, за кого себя выдают.

Все эти повороты рассуждений привели бедных женщин в такое головокружение чувств, что для обратного раскручивания они вновь обратились к колдовской жене, которая в конце концов просто-напросто вынесла для них местной масамбалы (ничуть не хуже той, что они принесли) и объяснила, что если бы колдун был не колдуном, а пес не псом, то единственным существом, которому можно было бы посочувствовать при таком расположении духов, была бы лично она.

По всему по этому, когда на вторую или третью ночь, пресытившись слухами и, небось, испытывая уже неподдельный голод, у входа возник сам утопленник, то картина, открывшаяся его слуху, была и в самом деле отвратительна до икотки.

Среди настырного писка москитов, неодобрительного кашля филинов и перепалки сверчков, из-под глубин навеса мычал смутно припоминаемый голос родной коровы. С левой, мужской, половины доносилось сонное повизгивание и невразумительный храп. А вот у самого костра, вокруг которого по случаю ясной погоды и разлеглись его жены, вместо легкого потрескивания или шипения раздавался издевательски беззаботный нестройный пересвист.

Некоторое время утопленник соображал, как бы выяснить, насколько услышанное им соответствует действительности, а насколько – только чудится, но потом решил, что лучший способ проверить

– это выдрать ладный дырн из частокола и уже с его помощью расставить все на свои места. Он даже примерился вытягивать подходящую случаю дровеняку, но сзади послышался предостерегающий рык и, обернувшись, он увидел на пригорке немалого льва, который в лунном свете лакал из темного чана что-то белое, похожее на туман.

Утопленник было решил, что такое может только грезиться, но внутренний голос предков, ответственных за сохранение всего рода, твердо дал ему понять, что в подобных перипетиях лучше всего не палки дергать из чужого забора, а наоборот – не дергаться самому, поскольку сытому льву заниматься падалью как-то не по-львовски, да и вообще лень.

«И впрямь как-то нехорошо получилось, – подумал утопленник, сползая в лежачее положение, – пришел в гости на ночь глядя, с хозяином даже не переговорил, а забор вот чуть не поломал; доживу до петухов, надо будет извиниться».

На прощание он еще раз открыл глаза, но вместо луны над головой увидел огромную львиную морду с косматой гривой, громко икнул и окончательно притворился падалью; на сей раз – уже до утра.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ (Наутро)

...Первым проснулся – угадайте кто? – ну, разумеется, петух. Будучи птицей, – по характеру, жизненному укладу, и, само собой, по магическим свойствам – противоположной филину, он, тем не менее, тоже не одобрил увиденное. Внутренний голос ему подсказал, что ночной свистопляской все обязаны последнему пришлецу, коего и гостем-то нельзя было назвать, поскольку, не успев даже поздороваться, он улегся у входа-выхода, да еще и отхватил самый удобный утренний насест во всем краале, как будто собирался его выдрать для собственных нужд. За такое хотелось клонуть, а потом еще загрести лапой. Но тот же внутренний голос рассудил, что на птичьем месте, в каком бы петушином расположении духа ты ни находился, а надобно беречь себя; поэтому петушиться – не петушиться, а коль скоро истинно петушиный поступок может быть неверно истолкован остальными, то лучше воздержаться. Вняв голосу разума, петух пересилил свое естество. Единственная мелкая месть, на которую он сподвигся, повинувшись

петушиным духам выживания, состояла в том, что он всего-то-навсего перегнулся с насеста как можно ниже, и каркнул что есть мочи как можно противней, чтобы Тот-который-внизу так больше не поступал.

Однако всех последствий этого – в высшей степени разумного и, если уж на то пошло, то и справедливого – шага петух со своими куриными мозгами не то, что предвидеть, а и вообразить не мог. Тот-который-внизу вначале действительно проснулся и даже оторвал голову от насеста, потом вскинулся и поглядел на петуха, смерив его одним глазом так, словно ошипывал, прикидывая: войдет ли тот в котел целиком или лучше частями, отчего у любой птицы по коже пробежали бы цыпки и перья встали бы дыбом. Потом он приподнялся и даже привстал на колени, словно его осенило подыскать в песке подходящий для убийства камень, потом узрел нечто такое, от чего квакнул столь внезапно и столь громко, что с петухом приключилась неприятность, о которой ему потом было стыдно вспоминать. А Тот-который-внизу тут же рухнул на прежнее место.

Считать да рассчитывать, кто проснулся третьим-четвертым и далее, любопытства особого нет, так как далее все пошло своим чередом. А вот Тот-который-внизу даже через много лет еще много лет подряд рассказывал не-на-ночь-будь-сказанные истории о том, как он чисто по-человечески зашел в гости к колдуну, а тот ни с того ни с сего возьми да и превратись во льва, что взял да и напал на него – на ту пору еще утопленника – прямо сразу у ворот, а наутро еще накаркал что-то нехорошее и тут же, притворившись петухом, совершил еще более нехороший поступок.

Не доверять его рассказам оснований ни у кого не возникало, особенно по той причине, что на полную луну за ним водилось икать и не успокаиваться до тех пор, пока не выпьет с полтыквы воды. Что ж до его жен, то на любые расспросы те принимались хихикать, не вдаваясь в подробности, что тоже можно было приписать большому испугу. И только старшая, оглядываясь по сторонам, как бо-о-ольшую тайну поведала, что всему, о чем на полную луну *заикается* ее муж, не только *можно*, но и *нужно* верить. И даже не потому, что она – его жена, и Те-кто-сомневаются будут иметь дело лично с ней, чего лично она не посоветовала бы никому...

А потому, что рано поутру, помогая по хозяйству, на правах старшинства она взялась перетаскивать тело своего мужа на циновку под сенью деревьев и своими глазами видела огромные следы огромных кошачьих лап у его тела и такого же размаха пятно петушиной неожиданности на нем же.

А знаете, в чем одна из самых больших разниц между белым и черным?

У белого человека слова давно живут отдельно от него: слова сами по себе, а он сам по себе со своими делами. И поэтому верить его словам, не приглядевшись к делам, это все равно, что поутру у реки, заслышав плеск в камышах и завидев круги на воде, честно думать, что это гуляет рыба перед клевом – ан нет... Не надо даже удивляться, когда потом вдруг выяснится, что это белый человек взял да и бросил в реку камень. Причем сам не зная зачем.

Зато у черного человека слово – это знак поступка, такой же непреложный, как дым для огня. И пусть иногда дыма может оказаться немного больше, чем самого огня, не верить тому, что за дымом горячо, в лучшем случае недальновидно, а то и вовсе опрометчиво, не говоря уже о том, что это неприлично. Поэтому препираться со старшей женой бывшего утопленника никто не отваживался, а все только качали головами, с опаской поглядывая на темные холмы, за которыми в лунной пелене скрывался колдовской крааль.

Единственный вопрос, который, подталкивая друг друга локтями, слушатели волей-неволей задавали сказительнице, по всему по этому напрашивался сам собою: «Что же было дальше?» На что старшая жена, преисполненная достоинства и значимости от прикосновения к тайне, обыкновенно отвечала: «А это уже другая история».

* * *

...В ее сдержанности, конечно, было *ма-а-а-аленькое* лукавство: может, и рассказывать-то было всего ничего, но то, что – самое малое! – еще на вечер она завоевывала всеобщее внимание и заботу – уж это точно.

Ее повесть, возможно, слышали и вы, но тут я должен предупредить: бывают в жизни события,

которые с годами кажутся все мельче и мельче, так что под конец жизни и вспоминать о них особенно незачем; но бывает и наоборот, и тогда... кошачьи следы представляются все больше и больше, пока не вырастают не то чтобы до людоедских, а просто-таки слоноедских размеров, а уж пятно петушиной неожиданности у входа растекается в слоновью лепешку прямо посреди краалья. Выходит, как ни крути, а дым от огня всегда нужно уметь отличать.

Об этом происшествии некоторые из тех, Кто-не-то-что-бы-не-доверял-речам-бывшего-утопленника-и-его-старшей-жены-но-желал-бы-уточнить-определенные-подробности, кстати, расспрашивали колдуна, но тот, будучи спросонья, ничего толком не прояснил.

– А что петух, – сказал он, – петух, он и есть петух – проснулся и кукарекает.

ИСТОРИЯ ВОСЬМАЯ,

*Где утопленник познал всю глубину свинства,
И что из этого вышло (если хватит дров
докормить эту историю до конца)*

...но об этом позже. Вначале о свиньях как таковых. Все знают о том, как пришел к человеку пес и принес ему огонь¹, и за это человек пригрел его у костра и насытил вкусными косточками, которые пес – поскольку у него все четыре лапы с когтями, а не пускай две, но зато руки с пальцами! – все равно скуховарить бы не сумел; а пес в благодарность еще научил человека выслеживать дичь, в том числе и свиней, на что человек доказал псу, что луком и стрелами эту дичь добывать гораздо вернее и сподручнее, нежели пытаться ее загнать, закогтить и зазубастить с риском для собственного живота; и так постепенно они выяснили, что лучше им держаться друг друга, чтоб не пропасть поодиночке в том предрасположении дикой природы, где каждый, завидев другого, тут же вынужден прикидывать: бросаться ли в погоню или напротив – наутек.

Человек любил поспать ночами. А в жару – и среди бела дня. Пса устраивало дремать в любое время. Лишь бы тепло и сытно. Человек при этом ухитрялся не чують опасности даже на полет стрелы. Что при его беговых способностях могло стать последней оплошностью в жизни. Пес очень

¹ Есть и такая легенда. – (Прим. авт.)

хорошо чувял опасность. Особенно с наветренной стороны. Но не мог сдержаться, чтобы не зарычать, не залаять, а то и вовсе – взвизгнув, дать стрекача со всех ног.

Кроме того, пес, конечно, любил поковы на луну. А человеку это не нравилось. Поскольку лично он любил поковы поближе к вечеру, а иногда и с утра – под настроение. И пса это тоже раздражало до кончика хвоста. И раз уж зашла речь о хвостах, то у человека, в дополнение ко всем его недостаткам, он и вовсе отсутствовал напрочь. Словно в те годы, когда он еще не знал пса, человек откинул его, то бишь, хвост, в минуту испуга, как ящерица, а потом позабыл отпустить заново. «Видно, здорово испугался, – думал пес. – И немудрено. С таким-то носом и ушами, небось, просопел и прохлопал незряшное землетрясение, а то и вовсе угодил под стадо напуганных антилоп и теперь вот мается».

Действительно, в отсутствие хвоста человек был вынужден выражать столь простые и понятные молчаливые чувства, как нетерпение, недовольство или даже заурядное привстречное хвостовство не иначе, как с помощью голоса, или – вновь-таки – распуская руки, что не могло не вызывать хвостовых возмущений у всех, кто с ним знал. Но в целом пес и человек чувствовали себя гораздо лучше вместе, чем порознь, и поэтому всегда старались уступать друг другу в мелочах, как то: где, когда и на какой лад поковы в свое удовольствие.

... Очень хорошо известно, как достались человеку овцы. Их подарил Калунга, когда под его оком их расплодилось столько, что уследить за всеми стало невозможно даже ему. Он же и надоумил, что единственным толковым существом, коему можно доверить овечье стадо, если не считать уже родной для человека собаки, должен быть не баран, как хотелось бы некоторым баранам, а козел, которому оно, может, и малоинтересно, но зато у него борода. А борода – явный признак умственных и прочих достоинств, позволивших носителю дожить до такого состояния.

Но о козлах говорить можно долго. Поэтому лучше воздержаться и сразу перейти к свиньям. Так вот, есть отдельные истории о том, как появился вблизи человеческого очага даже кот. По одним слухам, он прикинул, что охотиться на мышей

сподлапней, находясь поближе к зерновым, нежели прозябая на краю тростниковых болот, где всегда может найтись неразборчивый крокодил, которому на голодный желудок все равно что туда отправить: антилопу ли, того же человека, или, что обиднее всего, зазевавшегося кота. Ну и опять же, если сидеть дома, а не посреди, скажем, просяного поля, то вряд ли попадешь на глаза подслеповатому коршуну, который вечно начинает разбираться, что перед ним не какой-нибудь кролик, а таки – КОТ, уже после того, как вконец испортит шкурку.

Впрочем, по другим, столь же достоверным слухам, произошел в незапамятные времена то ли немалый неурожай, то ли, наоборот – малый урожай зерновых, да только позарились на него такие тучи саранчи, что мышам осталось лишь собирать крылышки. И вот тогда-то они и потянулись к жилищам, где стояли скииры с остатками зерна, и наловчились лазать по опорам с таким проворством, что вовсе не кот, а сам человек стал прикидывать, что сподручнее, а что сподлапнее, и чем это закончится. И даже в послехвостие к какой-то мышке то ли выгнал пса за ограду, обидевшись на него за невнимание то ли к урожаю, то ли к неурожаю зерновых. Но потом все равно поостыл. И крепко задумался. И думал даже свести дружбу с леопардом. Но потом несколько раз повторил это предложение и понял, что оно ему не нравится, потому что «думал даже свести дружбу с леопардом» очень тяжело произносится. Так же тяжело, как представить себе самого леопарда на жалкой кучке последнего зерна, когда очень, очень хочется кушать, а там – леопард.

Поэтому человек отказался от этого предложения. И тогда он подумал о сове. «Свести дружбу с совой», – вначале показалось, что это звучит заманчиво, но затем он вспомнил, до чего же неприятно ловить на себе этот сов-падающий взгляд, неотступно следующий за тобой, когда ты выходишь заполночь по своим делам. И этот страшный шорох крыльев прямо над головой, когда ты уже занят делом. Или – что того хуже! – внезапное «ох-ох-ох» в тишине, от которого быстро шмыгаешь обратно в хижину, не закончив дел...

И передумал. Нужно было искать нечто среднее между совой и леопардом.

Высокий интерес вызывал жираф. Но к мышам

он относился так же, как человек, хотя и спал гораздо меньше.

Несмотря на бороду, отпал и козел. Поскольку уже был занят.

Пес – обиделся.

Петух не считал мышей соперниками. Ни гребнем, ни голосистостью, ни оперением хвостовой части они не могли привлечь даже самой захудалой курицы. Найти и склевать таракана или многоножку им тоже то ли претило, то ли не хватало прыти. И, наконец, залетая на скиир, петух нет-нет, да и сам завидовал мышам, ибо поиск любого мало-мальски заваливающего зерна во дворе забирал неизмеримо больше усилий, чем сам клев, так что буде такая возможность, он первый поменялся бы с ними местами клевых угодий. Естественно, при таких настроениях петушине и мышинные следы спокойно пересекались во всех направлениях и при любых прогулочных погодах.

Огромным уважением пользовался Onjaba: что по размеру, что по хоботу, что по аппетиту. С его размерами, хоботом, и аппетитом он вообще никого и ничего не боялся. Он боялся только пожаров, грозы, града, гона антилопы гну, гнева гусей, голода, холода, охотничьих ям, болезней, старости, гиен под старость, муравьев, а также бушменов и щекотки. Что до бушменов, то на востокозапад они заходили как раз редко. А вот щекотку у Онджабы вызывали мыши. Ну, и кроме того, у него были другие недостатки, а именно: его размеры, хобот и аппетит. И человек подумал, ЧТО бы он подумал, если бы спозаранку вместо мышинных следов узрел слоновьи, и раздумал даже думать об этом.

В тревоге за сохранность зерна, он то *мышленно*, то *немышленно* подсаживал в скиир и удава, и пчелиный рой, и всех своих жен и за *немышлимое* количество раз убедился: в охоте на мышей никого хуже женщины нет.

Вы, несомненно, задавались вопросом, с каких это пор женщины на дух не переносят мышей, зато готовы обласкать любого приبلудного кота? А вот как раз с тех самых пор, как вместо теплого слова, горячей похлебки и обжигающей страсти еще в очень-очень далеком прошлом их послали туда,

где с небес, вернее, крыши, вместо звезд падают мыши... тут хочешь – не хочешь, а завизжишь. Так не разумнее ли подать голос заранее, еще до встречи с мышью, от одного ее имени? Так и сложился обычай.

А если вы мне не верите, то, *очудившись* в женском окружении, попробуйте-ка сами, как бы ненароком, выкрикнуть: «мышь!» – и *наушно* убедитесь в моей правоте. Любопытно лишь то, что на саму мышь никакие женские мольбы не действуют. Действуют они лишь на мужчин.

Вот так оно и вышло, что, еще на заре нового обычая, ополоумев от женского визга и намаявшись от бессонных ночей, человек дал полную волю рукам. Уж он-то и дергал себя за волосы (отчего их теперь и не хватает) и хватался за голову; разводил руки в стороны и пожимал плечами; стучал кулаками по земле и, между прочим – по лбу (очень плохая, на мой взгляд, привычка) и затыкал пальцами уши, и ковырял в носу (что совершенно безобразно), и чесал себе затылок (вы догадываетесь, к чему это потом привело) – и, в общем, *рукоделил* так, что его пожалел бы последний припадочный бабуин. И вот в этот самый миг, когда, простирая ладони к небесам, человек возопил: «Так спать нельзя!» – у входа в крааль он увидел зверя.

Зверь был пушист и спокоен. Хвостом не вилял. Зубами не лязгал. На луну не выл. Без толку не визжал. Не следил во все глаза за каждым твоим шагом, а скромно отводил взгляд. Не бил себя кулаками в грудь. Не клевал зерно, путаясь под ногами. Не орал что есть мочи, что пора вставать. Не вытягивал шею, не протягивал хобот, ничего не требовал и ничего не просил. Он лишь пробормотал что-то вроде «р-р-раз-ре-ш-шите», мигом взлетел по столбам скиира прямо внутрь, и... наступила тишина.

И в наступившей тишине человек понял, что согласен на любые условия зверя: питание, проживание, послеобеденный сон и сон сразу после завтрака. А равно и полдника, и ужина, и прочего, что подвернется. Плюс дополнительное молоко, полная свобода передвижений, и – чтоб никаких собак! А также временное сезонное отсутствие, не считаемое бегством. На том они и ударили по рукам.

Те, кто знакомы и с людьми и с котами, сумели убедиться, что эти условия неукоснительно блюдятся сторонами и по сей день.

* * *

Такова, иными словами, история, обыкновенно вещаемая старшей женой бывшего утопленника на следующий вечер после того, как, сгорая от нетерпения, и подталкивая друг друга локтями, все упрасивали ее поведать, что же случилось с ее мужем – Человеком-который-икает-на-полную-луну-и-не-пьет-даже-пива-а-только-воду-после-того-как-на-него-по-свински-напал-переодетый-петухом-заколдованный-лев, которую она обещала рассказать еще в предыдущий следующий вечер. На что эта ловкая женщина скромно отвечала: «Реку кормят водою, огонь – дровами, а...».

Еще бы! Не знаю, как у вас, а у нас рассказчика кормят – как и костер.

ИСТОРИЯ ОДИННАДЦАТАЯ (принудительно-успокоительная)

...О событиях той жуткой ночи, когда колдун и его пес ходили в гости, если кого и расспрашивать, то только не бывшего утопленника. Бывшие утопленники поначалу вообще малоразговорчивы, да и потом еще долго-долго избирательны как в отдельных словах, так и в целых выражениях, а уж наш, заколдованный, и подавно был не исключением. «Это что же получается, – говаривал он, почему-то оглядываясь, – приглашаешь, выходит, в гости, а оно, выходит, вот оно что: тебя же за это и того; и так оно как-то незаметно, что потом уже как-то и не по себе...»

И всем становилось неловко докапываться у человека, которому уже как-то не по себе, как это его угораздило, – при том, что многие отмечали в нем обратные перемены к лучшему. Посему, если на чье-то прислушивательное мнение и приходилось полагаться, так это, увы, лишь на его смешливых жен. Те и вправду подхихикивали по ходу рассказа, зато ладно нанизывали бусинки слов на нити мыслей и связно сплетали концы с началами, а начала с концами. И вот что они наплели.

...День клонился к вечеру. Небо грозило

дождем. За долгим долом над холмами вроде бы даже погрохатывало, но кто, как и зачем, за дальностью было не разглядеть. По бушам шелестела листва и стучали ветви. Где-то шуршало, что-то шипело, кой-где урчало, ворчало, рычало, где-то ухало, охало, ахало, а где-то чирикало, тинькало и посвистывало; тут жужжало, там пищало, верещало, завывало и чавкало, и, кажется, проснулись древесные лягушки. Вдали хохотали гиены. О нахождении луны известно лишь то, что она не находилась.

Таковы, вкратце, обстоятельства, сопутствующие ниже поведанному происшествию. А упомянуты они оттого, что некоторые привередливые нганги¹ ни с того ни с сего вдруг начинают топтать ногами, махать руками и дурным голосом взывать к окружающим, требуя то мертвой тишины, то упокойного покоя, а то, глядишь, и крошечного полнолуния. Иначе, мол, не то что чудес, а и танцев их при-чудливых не видать. Так вот, не стоит отвечать им тем же, а, поведя плечом по поводу такого их колдовского недо-умения, нужно с достоинством и подробностями сослаться на это поучительное со-бытие при непосредственном колдовском со-участии.

День клонился к вечеру, и небо грозило дождем, когда на межсклонье двух холмов появилось ма-а-а-ленькое облачко пыли. Не требовалось дальноточкой проницательности, чтобы понять, что это идет наш колдун (поскольку со-бытие касалось и его). Более того, когда стало ясно, что облаков даже два, причем одно из них ведет себя как-то не по-людски суматошливо, пришлось признать, что не только с гостями, а и с сопровождающими лицами (то есть мордами) колдун не шутил. Впрочем, на эту малость утопленник внимания сразу не обратил. А зря.

Не успел еще разжариться костер в предвкушении дымки углей, и ветерок еще носил куриный пух по задворью, а утопленник уже опробовал все доступные кувшины с масамбалой, – ну, чтобы гостям, опять же, достался-таки опробованный настой. Для этого понадобилось немало тонкости вкуса, силы духа, выдержки и усидчивости, ибо – да будет известно всякому, не испытавшему на себе крепости и прочих свойств этого напитка – на свете предостаточно вполне здоровых, разумных и чутких людей, не способных, однако, не только

¹ Нганга – здесь: колдун. (Прим. ред.)

распознать масамбалу разных урожаев на вкус, но и вынести ее на запах – независимо от урожая, погодных условий, уговоров друзей и приговоров знахарей. Есть, правда, и такие, которым и устоять перед ней невозможно, из-за чего, кстати, и принято ее пробовать сидя – все-таки ближе падать. Так вот, утопленник, проявивший уже упомянутые качества, сумел даже вовремя остановиться. Он остановился на самом интересном (с его точки зрения) кувшине, что отыскался за хижинкой на его половине, и даже сумел донести его людям. Люди давно и с нетерпением ждали. По этому поводу колдовской пес сильно переживал и, казалось, вот-вот бросится на подмогу. Но до костра все обошлось.

А вот в пред-верии самых пальцеоблизывательных мгновений прихода гостей произошла первая неловкость. Едва утопленник разлил масамбалу по калесам, как пес повел носом и зарычал. Колдун нагнулся к нему, и пес шепнул ему что-то на ухо.

– Oshiponga!(«отрава!») – огласил колдун.

– Oshiponga?! Ne-e-e! – возмутился утопленник и в доказательство хорошенько пригубил.

Пес ошестинился и показал зубы.

– Ему нельзя ошибаться, – вздохнул колдун. – Пес ошибается лишь два раза в жизни: в первый и последний. Причем разницы меж ними никакой. Вот, смотрите, – призывая в свидетели зачарованных жен и детей, сказал он, снимая с огня заманчиво шипящий вертел и поднося его ближе к собачьему носу.

Пес взглянул с надеждой и облизнулся.

– Shili nawa («очень хорошо»)! – согласно закивали головы.

– А теперь? – из кожаного мешочка на поясе колдун извлек сморщенные плоды зеленой омани.

Пес поглядел и сказал: «гав».

– Ошипонга! – ахнули жены и дети. От мала до велика все слишком хорошо знали, что млечным соком зеленого плода очень и очень нелишне пропитывать деревянные наконечники стрел, когда идешь на очень или даже очень-очень приткого

зверя. И уж, конечно, не мог не знать этого и колдовской пес...

Все вопросительно посмотрели на утопленника.

И тут произошла еще одна неловкость. Оно б когда его не потянуло распробовать все лично заходя, то он, может, и смутился бы или еще как-нибудь, а так... оправдываться он не стал. Во всяком случае, словами. Он поднялся во весь свой рост и с молчаливой решимостью, свойственной истинным утопленникам, испил кувшин до полной тишины, до самого доньшка и последнего булька. Но предьявить себя для опознания – в смысле, ошипонга это было или нет – он не успел. Пес отчаянно взвизгнул и, невзирая ни на какие проклятия и угрозы, кинулся к утопленнику. Видимо, желая предостеречь...

...Говорят, что в далекой юности на заре времен пес и шакал были одного рода и легко находили родной язык. Но как-то промозглой, особо зубостучательной ночью, когда слюнявая косточка – и та невольно вы-вы-выскальзывает из пасти, и приходится только выть на луну, в обозримой ночи они заметили огонек. Приблизившись, они обнаружили у огня своего злейшего на ту пору врага – человека.

– Может, съедим и сами будем хозяевами огня? – спросил шакал.

– Съедим – не съедим, а прогнать придется. Тем более что у него над костром птичка – сгорит ведь! – заволновался пес.

– А вот прогонять-то и не стоит, – раздумал шакал, – пожалуй, его еще можно приручить, то есть прилапить; ну, натаскать ... э-э-э приносить палочку и это... подкладывать в костер...

– Брать след и вынюхивать дичь... – подхватил пес.

– Ошипывать перышки и смолить тушку, – размечтался шакал.

– Доставать косточки и передавать их нам... – прослезился пес.

И оба горестно завывали.

От этого их воя, то ли вторя ему, то ли в предостережение, костер, словно эхо, поднялся ввысь. И тут оказалось, что пока они слово за слово обсуждали возможное применение человека, сообразуясь с его умениями и наклонностями, этот самый человек уже успел обнаружить некоторые из них, а именно – те, что способствовали поглощению горячей птички, от которой, собственно, и оставались-то уже одни лишь косточки.

На ту пору ни пес ни шакал еще не знали, что к собственно одним лишь косточкам человек все-поглощающей страсти отнюдь не питает, испытывая к ним, скорее, необязательные чувства: обсасывания и отбрасывания. Неудивительно, что с таким отношением за ним водилось и такое – прямо скажем – расстройство памяти, как зарыть косточки где попало, а потом и не вспомнить! Другое дело тот же пес и тот же шакал – каждый из них не только про свою косточку не забудет, а и чужую отроет и потом не вернет, а уж в такую невзгуду, когда среди ночи – как в желудке, а в желудке – как в пустыне, и, кроме одинокого костра, впереди ничего не светит... одним словом, последняя косточка еще летела от огня прочь, когда вместо ожидаемого мягкого стука раздался вдруг внезапный хруст, и она пропала во тьме разинутой пасти.

Сейчас уж и не сказать, отчего эта пасть оказалась как раз песьей, а не шакальей или еще чьей-нибудь позверее – мало ли чего бродит в ночи, щелкая зубами в надежде перекусить! Может, шкура была тоньше, а голод горше, а может, природная бережливость взяла свое или нюх не подвел: дескать, не прыгни сейчас – и главным в этой истории будет кто-то другой, или даже не будет самой этой истории – об этом-то еще гадать да разгадывать. Но то, что разницу между псом и шакалом можно измерить шагами (да-да, шагами, но только не между ними, а от них и до огня), уж это неоспоримо.

Обо всем об этом невольно вспомнилось тем, кто воочию увидел, что вытворил колдовской пес. Он даже не стал обегать огонь по кругу, а сиганул сквозь пламя, уронив, правда, курицу прямо на угли. Общий же вопль его не столько остановил, сколько сбил с пути. На мгновение пес заметался, не зная, кого спасать раньше, но потом отметил, что все бросились спасать курицу, а на него дружно машут руками – мол, беги, спасай главу рода, а мы уж тут

как-нибудь сами – и развернулся для решительного броска, однако...

Пусть и с некоторым опозданием, но утопленник тоже убедился, что вокруг происходит что-то неладное и, воспользовавшись погibelью курицы, рванул наутек.

Во благо ль, на беду, но человек, в отличие от многих остальных и прочих и разных, существо мыслящее, но вот бег ногами у него не всегда поспевает за бегом мыслей. То же произошло и с утопленником. Вместо того, чтобы бросить все равно уже пустой кувшин – ну, раз уж на него пало подозрение, что там была ошипонга – утопленник прижал его к груди, желая спасти и его и себя бегом. Вместе с тем, припоминая, что по прямой собака может обставить и куду, и даже импалу¹, утопленник припустился кружить вдоль ограды, пытаясь совершать прыжки то вверх, то из стороны в сторону, как это обычно делают импалы, таким образом рассказывая oshimbe льву, что за ними и гнаться-то не стоит: только запыхаешься.

Вот и вышло, что после двух-трех кругов, даже под одобрительный хлопот ладош – дети, видно, подумали, что перед сном им веселый папа решил показать танец импалы – утопленник в попытке угнаться за бегом своих мыслей в очередной раз очутился у входа. Теперь перед ним было три выхода.

Он мог продолжать безвыходно бегать по кругу до полного изнеможения противника, попытаться уйти по долине в горы или совершить что-то такое, что не под силу собачьему роду, – например, забраться на дерево и уже оттуда возвестить свои воззрения на текущее положение вещей и происхождение видов, особенно собачьего. Но дерева не было.

Вернее, оно было, и не одно – их был целый лес, но достичь их, выбрать подходящее и опередить пса (оставшись при этом целым и невредимым) утопленник не чаял.

Тем не менее в мысленном его взоре путь ко спасению уже приобрел древовидные очертания.

¹ Куду, импала – виды африканских антелоп.
(Прим. ред.)

Поэтому, очертив еще несколько кругов теперь уже по внешней стороне крааля, он улучил мгновение и шмыгнул в первый же показавшийся надежным загон. Не вдаваясь в особенности возведения подобных строений, заметим, что таковым – со всей неизбежностью хозяйственных соображений при устройстве жилья в бушах – оказался свинский. Впрочем, с разбегу это не имело большого значения. Пес надрывался снаружи, свиньи негодовали внутри, жены хлопотали над едва не погибшей в огне курочкой, дети радовались шумному вечеру, колдун – как и подобает гостю – никуда не спешил, и лишь где-то далеко-далеко над кем-то хохотали гиены. На том и наступила ночь.

Где, как и когда произошло колдовство, неизвестно, – не зря ночь называют самым колдовским временем. К утру, во всяком случае, оно уже свершилось. К утру оно свершилось уже настолько, что никто иной, как сам утопленник, едва расплющив очи в еще дремотной дымке предрассветных сумерек, стал задавать немыслимые дотоле вопросы, которые, кстати, издревле мучали разумное человечество: «Кто я?», «Откуда?» и «Куда дальше?..» В ответ ему недовольно хрюкнули поросята, лениво гавкнул пес и сообразительная корова недоуменно протянула «му-у-у» и «му-у-у». Вдали расхохотались гиены...

– Кто? – кто? – кто? – кто? – всполошились куры...

– Кто – "кто?" – не поняла обычно молчаливая птица-носорог.

– Тс– тс– тс– тс,– заверещали со всех сторон цикады.

– Ш – ш – ш – ш,– шикнула из бушей большая черная мамба.

Но было уже поздно. Уже переполошились жены, и наступило утро.

Тут надо признать, что лежащему мир представляется иначе, чем стоящему, тем более спросонья, тем более, когда просыпаешься в свином окружении, да и запахи не те, что в лесу, так что бывшего утопленника по-человечески очень даже можно понять... опять же – не выспался или пригрезилось что-то... Так что когда, наконец, не найдя отклика у поросят, утопленник обратил

свои вопросы ко встрепенувшимся женам, по-человечески они поняли его следующим образом:

– Скажи спасибо, что на одну ночь! Еле-еле отговорили колдуна, чтоб не насовсем!

Ближе к полудню уже обмытый утопленник сумел, впрочем, обратиться и к самому колдуну: «Неужели и впрямь колдовство способно превратить человека в свинью, а свинью в человека?!»

– Не совсем,– полуподтвердил колдун,– что бы там ни говорили, а главная разница между свиньей и человеком в том, что человек может стать свиньей, а свинья человеком – нет. И никакое колдовство тут не поможет.

– А как же я? – переспросил перепревращенный утопленник.

– А вот ты и думай! – ответил колдун.

– Вот я и думаю,– четырежды по четыре луны спустя раздумчиво молвил бывший утопленник, вглядываясь в притихшие лица сородичей и другие заинтересованные лица, сгрудившиеся у костра на дальнем пастбище по правую руку от заката по ту сторону Кунене.

– И-и-и? – одними глазами спросили притихшие и прочим образом заинтересованные лица, сгорая от нетерпения поскорей устроиться спать.

– И думаю я, что когда б мое превращение пришлось на полную луну...– заговорщицки начал утопленник.

Но узнать, что он сам по этому поводу думает, никому не удалось. Над коровьими рогами, как на зов, зависла луна и в тишине лунных пастбищ послышалось громкое «Ик!

– Да-а-а,– рассудительно вздохнул кто-то... И подумать страшно...



Александр Милитарев

СОНЕТЫ



* * *

За все, чем жил, чем жив, благодарю:
за кров и кровь, за притчу и за пищу,
за пирров пир, за крезов короб нищий,
за власть и казнь, приставшие царю.

Твоих даров уже не раздарю,
не разорю спаленного жилища –
под черным перегибом пепелища
пушу росток и лягу ждать зарю.

Но клонятся календы к ноябрю –
негодный срок для сева и для тризны:
голодная, неплодная страда.

И белыми губами говорю
слова любви, ни слова укоризны:
не даждь зерну умрети без плода.

* * *

Памяти Осипа Мандельштама

Поэту нищенство – венок,
его словарь – сума да милость,
ему не так постыла стылость
земли под плоскостопьем ног.

И прободенный язвой бок,
и плоть, что над трубой дымилась –
все облачится в слог, как в милоть¹,
но речь простую слышит Бог.

Остались: астма, чернь дорог,
червь в сердце, смерчи пересылок,
барак, утрата веры в рок,

ночь, пламя, босховские рыла,
расплевка с музой, бред, могила –
чтоб столь кристален был итог.

1983 г.

* * *

Не научились даже умирать –
отбив свое, откланяться прилично.
Уходит жизнь. Как зло. Как непривычно.
Как тать в ночи. Как тать в ночи. Как тать.

А думали, что рождены летать!
Что куплены баландой чечевичной
свобода и ангажемент столичный.
Но сорок – срок. Не век его мотать.

И предкам нашим проданным под стать,
в судьбу не веря и беды не чуя,
живем, покуда чуть не на виду

напитанную вермутом звезду²
трубой воззвав, невидимая рать
последнюю готовит аллилуйю

1986 г., май

* * *

Не меден как грошик и щит –
сентябрь невозможно серебрян.
Варьянтов набор не перебран,
оркестрик аллегро бренчит.

А кровь еще в меру горчит,
по царски питая cerebrum,
и кожа неломаным ребрам
еще из надежных защит.

Отмерено было сполна
мне нежности женской и детской,
беседы мужской и труда,

но чаша пита не до дна
египетской, царской, стрелецкой,
и благо не ведать – когда.

1986 г., сентябрь

¹ *Милоть* (церк.-слав.) – выделанная овечья шкура (ср. 3 Цар. 19:19). (Здесь и далее – прим. автора.)

² Русск. *вермут* заимствовано из немецкого *Wermut*, которое, как и украинское *чорнобил* (русское *чернобыльник*), значит «полынь горькая» – очевидная ассоциация чернобыльской катастрофы с апокалиптической «Звездой Полынью» (Откр. 8:10).

* * *

Песок застлал руины Йерихона.
Я быть устал. Страна моя пуста –
потоптана конями фараона,
по горло морем красным залита.

С обломков стен глядят как бы с холста
глаза родных на своего Харона.
Последний бык горящего моста,
я ухожу, паромщик похоронный.

На западе – Сахары рыжий дым
и белые фантомы гор Хоггара.
Зачем меня, прожженным и седым,
и в этот раз выносишь из пожара?

Но вновь почти не различим ответ:
народ... песок морской... на склоне лет.
1990 г.

* * *

Илье Смирнову

Прекрасной Франции холмы
ломают линию долин,
и птиц грассирующий клин
в табличке неба – знак зимы.

Здесь пляшут белые дымы
над кровлей из карминных глин
и жизни ток неодолим,
но на Востоке смертны мы.

О, этот птичий говорок,
обычай местных недотрог
благоволить, скользя!

Водой бы влиться в водосток,
но за спиной горит Восток,
и не уйти нельзя.

1992

г.

* * *

Мне мало дня – переползти висячий
мост. Над провалом времени вися,
чье чрево поло, вижу: сзади вся
окрестность поросла травой удачи,

посохшей, ставшей сеном, сном. Тем паче
назад, где наспех, вкривь и вкось кося,
прошла красotka с бельмами, нельзя
коситься, как и вниз, в пролет – иначе

до ночи не дойти, и темнота,
раскачивая колыбель моста,
добьется реверсивного эффекта,

и переход *когда-то* – *никогда*
зальет по темя темная вода,
и в тень одну войдут никто и некто.

1992 г.

ДВА СОНЕТА ИЗ ВЕНКА

1.

Металлический аттический рок,
безразличен актер и теоним –
тот, кем бесов сомненья изгоним,
заготовленных автором впрок.

Третий акт доиграется в срок,
режиссер – знаменитый аноним.
Текст домямлим, героев схороним
и нашарим в штанах номерок.

Но на вечность закрыт гардероб,
альфа театра и жизни омега –
золотое сгинело руно.

Размозжить напоследок бы лоб,
да окутала ватная нега –
в чаше черепа сладко вино.

2.

В чаше черепа сладко вино.
Пей же, нежная, пей, Маргарита:
жребий брошен, срамное обрито
и смешное забыто давно.

Что недодано, будет дано,
где схоронено, будет разрыто,
а топтаться не нам у корыта:
чрево сыто и сердце полно.

Под юпитером всяк – королева,
но не здешних лесов наше древо,
так не бойся, не верь, не проси,

ты вешунья, невежда, невеста.
А конец, он един на Руси –
кол осинный в причинное место.

1992 г.

* * *

Серее Старостину

Я не пошел в Севилье на корриду,
хоть мясо ем (и выпить не дурак;
был бит и сам не сторонился драк –
с годами, впрочем, забывал обиду).

Тореро, стой! не упускай из виду:
бык не партнер по зрелищу, а враг.

Смешно от смерти пятиться как рак
(а верить в рай – как сплавать в Атлантиду).

Но резать скот – не наше ремесло.
Да что нам надо? Нам немного надо:
успеть прожить, удерживая зверя.

А если что-то делаем назло,
прости, отец, покинутое чадо –
так трудно помнить о тебе, не веря.
1998 г.

* * *
век бродячей собаки недолог
дать ответ не успеть на семь бед
докажи им немой что не волк
выбллой хищник кровавый навет

за кормежку за вывод на свет
благодарствуй великий кинолог
только руку лизать нам не след
дом он пахнет иначе чем долг

а что суки щенятся в краю
где так много бездомного зверя
что задешево здешнее мыло

так за это в собачьем раю
где у дома не заперты двери
нам ведь скажут зачем это было
1998 – 1999 гг.

* * *
Вот я, Аврам. Я выйду ночью рано,
покуда Иштар¹ светится во мгле.
Под тенью пальм сладка вода Харрана²,
но я – арам³, кочевник на земле.

Печать зари затрет твой путь, Инанна⁴ :
он кругл и вечен и застыл во зле.
Но мед и млеко в реках Кенаана⁵
текут вверх как новый сок в стволе.

Мой дед Адам был выгнан из Эдема,
Терах⁶, отец, ушел из Ура⁷ сам.
Не вижу, кто меня позвал в дорогу.

Но это был не междуречный демон,

¹ *Иштар* – аккадское женское божество, отождествляемое с «утренней звездой» (планетой Венерой).

² *Харран* – библейский топоним (см. Быт. 11:31; 12:4).

³ *арам* – арамей; Второзаконие (Втор.26:5) ссылается на Авраама как на «арамейца странствующего».

⁴ *Инанна* – шумерское женское божество; соответствует аккадской *Иштар*.

⁵ *Кенаан* (древнееврейск.) – Ханаан.

⁶ *Терах* (древнееврейск.) – Фарра.

⁷ *Ур* (Ур Халдейский) – город в Месопотамии (см. Быт. 11:31).

чей голос был бы слышен только там.
Тот зов шел от неведомого Бога.

1998 г.

* * *
Я – Исраэль. Я не боролся с Богом.
Писец-потомок из имен извлек
событий смысл, которых знать не мог
(он был поэтом и *этимологом*)⁸.

Я ночь как пес провел перед порогом
взбесившейся речушки Ява́к
Я – Яко́в, что значит «Бог сберег»⁹.

Тот был силач, но я уперся рогом.

Он не хотел пускать меня туда,
где мой народ, кому я имя дал,
таился за рекой и смерти ждал,
как после, как в Исходе, как всегда.

Сил Сильного хватило до утра.
И вброд я вышел – с вывихом бедра.
1999 г.

⁸ Древнееврейское имя Исраэль (Израиль) объясняется в Библии как «борющийся с Богом» («отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом...» Быт. 32:28). Здесь типичный случай явления, которое я называю «этимопоэтикой» в отличие от «народной этимологии». Это характерный для древних семитов (и, по-видимому, для мифологического сознания вообще) и почти не исследованный способ создания текстов и образов, призванных объяснить значения слов, – главным образом, имен собственных, – особенно в тех случаях, когда эти имена заимствованы и потому малопонятны; древние авторы должны были осознавать этот вид своего творчества как проникновение в тайны божественного слова. Подобные идеи были сформулированы С.С.Майзелем в его неопубликованной работе «Семитская мифология в свете аллотезы и метатезы». По этому принципу строится целый ряд библейских образов и сюжетов и некоторые мифологические образы других древних культур, например, шумеро-аккадское название созвездия «Рыба-коза» (или «Козлорыб»), соответствующее Козерогу, и изображение козы с рыбьим хвостом на месопотамских межевых камнях кудурру; аккадский бог Эа, «податель жизни», извергающий на своих изображениях потоки воды; греческий крылатый конь Пегас и др.

⁹ *Яков* (древнееврейск.) – Иаков, Яков. Наиболее вероятная научная этимология обоих имен Иакова-Израиля – «Бог защитил» (или «да защитит Бог»); сходное строение имеют многие семитские имена собственные.

Александр Милитарев ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

ЭДГАР АЛЛАН ПО

ВОРОН

*Памяти мамы, сорок лет недоверчиво
и ревниво следившей за изменениями
в переводе*

Как-то ночью в полудреме я сидел в пустынном доме
над престранным изреченьем инкунабулы одной,
головой клонясь все ниже... Вдруг сквозь дрему – ближе, ближе
то ли скрип в оконной нише, то ли скрежет за стеной.
«Кто, – пробормотал я, – бродит там в потемках за стеной,
в этот поздний час ночной?»

Помню, в полночь это было: за окном декабрь унылый,
на ковре узор чертило углей тлеющих пятно.
Я не мог уснуть и в чтении от любви искал забвенья,
от тоски по той, чье имя света лунного полно,
по Лино, по той, чье имя в небесах наречено,
той, что нет давным-давно.

А шелков чуть слышный шорох, шепоток в багровых шторах
обволакивал мне душу смутных страхов пеленой,
и глуша сердцебиенье, я решил без промедленья
дверь открыть в свои владенья тем, кто в поздний час ночной
ищет крова и спасенья в этот поздний час ночной
от стихии ледяной.

Быстро подойдя к порогу, вслух сказал я: «Ради Бога,
сэр или мадам, простите – сам не знаю, что со мной!
Я давно оставлен всеми... вы пришли в такое время...
стука в дверь не ждал совсем я – слишком свыкся с тишиной».
Так сказав, я дверь наружу распахнул – передо мной
мрак, один лишь мрак ночной.

В дом с крыльца скользнул я тенью, от себя гоня в смятении
то, что даже в сновиденьи смертным видеть не дано.
И когда замкнулся снова круг безмолвия ночного,
в тишине возникло слово, тихий вздох: «Лино... Лино...».
Но услышал лишь себя я – эхо, мне шепнув «Лино...»,
смолкло, вдаль унесено.

Только дверь за мной закрылась (о, как гулко сердце билось!),
вновь усиленный молчаньем, оттененный тишиной
тот же звук раздался где-то. «Что ж, – подумал я, – раз нету
никого там, значит, это ветер воет за стеной.
Просто ветер, налетая из зимы, из тьмы ночной,
бьется в ставни за стеной».

Настежь тут окно раскрыл я. Вдруг зашелестели крылья
и угрюмый черный ворон, вестник древности земной,

не чинясь, ступая твердо, в дом вошел походкой лорда,
взмах крылом – и замер гордо он на притолоке дверной.
Сел на белый бюст Паллады – там, на притолоке дверной,
сел – и замер предо мной.

От испуга я очнулся и невольно улыбнулся:
так был чопорен и строг он, так вздымал он важно грудь!
«Хоть хохол твой и приглажен, – я заметил, – но отважен
должен быть ты, ибо страшен из Страны Забвенья путь.
Как же звать тебя, о Ворон, через Стикс державший путь?»
Каркнул ворон: «неверррнуть!»¹

Что ж, не мог не подивиться я руладе странной птицы:
хоть ответ и не был связным, к месту не был он ничуть,
никогда б я не поверил, чтобы в комнате над дверью
видел этакое зверя кто-нибудь когда-нибудь –
чтоб на мраморной Палладе вдруг заметил кто-нибудь
тварь по кличке «Неверррнуть».

Испутив сей хрип бредовый, гость мой вдаль глядел сурово
как певец, когда сорвется с вещей струн последний звук.
Так сидел он, тень немая, черных крыл не подымая,
и вздохнул я: «Понимаю: ты пришел ко мне как друг,
но тому, чей дом – могила, ни друзей уж, ни подруг...»
«не вернуть!» – он каркнул вдруг.

Вздрыгнул я слегка (ведь тут-то в точку он попал как будто),
но решил: «Припев унылый – все, что слышать ты привык
в чьем-то доме, на который Фатум, на расправу скорый,
натравил несчастий свору, и убогий твой язык
в этой скорбной партитуре лишь один припев постиг:
не вернуть! – тоскливый крик».

Усмехнулся я украдкой, так легко найдя разгадку
этой тайны, и уселся в кресло, чтоб слегка вздремнуть...
Но взвилась фантазмов стая надо мной! И в хриплом грае,
в дерзком, мерзком этом грае все искал я смысл и суть.
В том зловещем кличе птичьим все хотел постичь я суть
приговора «не вернуть!».

Так сидел я без движенья, погруженный в размышленья,
перед птицей, что горящим взором мне сверлила грудь.
Передумал я немало, головой склонясь усталой
на подушек бархат алый, алый бархат, лампой чуть
освещенный – на который ту, к кому заказан путь,
никогда уж не вернуть.

¹ Рефрен "не вернуть" впервые появляется в опубликованном виде в переводе покойного В.Бетаки. Я к нему пришел независимо (вообще-то он напрашивается, странно, что раньше никто не додумался), сперва строя весь перевод на "не вернешь", потом понял, что "не вернуть" меня устраивает больше. В любом случае, "пальма первенства" – у Бетаки (Прим. переводчика).

Вдруг пролился в воздух спальни аромат курильниц дальних,
вниз, во тьму, с высот астральных заструился светлый путь,
и незримых хоров пенье слышу я: «Во исцеленье
Небо шлет тебе забвенье – так забудь ее...забудь...
пей же, пей нектар забвенья, пей – и мир вернется в грудь...»

Тут он каркнул: «не вернуть!»

«Кто ты? – взвился я с досады, – дух? пророк? исчадь ада?
Искусителя посланник или странник в море бед,
черным вихрем занесенный в этот край опустошенный,
в мир мой скорбный и смятенный? Но ответь мне: разве нет,
нет бальзама в Галааде, чтоб вернуть слепому свет?».

«Не вернуть» – пришел ответ.

«Птица, дьявол ты, не знаю! – крикнул я, – но заклинаю
этим небом, горним светом, указующим нам путь:
напророчь мне, гость незванный, что в земле обетованной
сможет вновь к Лино желанной сердце бедное прильнуть
и вернуть тот свет блаженный хоть на миг... когда-нибудь...»

Каркнул ворон: «Не вернуть».

Тут я встал: «Твое признание принял я – как знак прощанья.
Уходи же, кто б ты ни был – в бурю, в ад, куда-нибудь!
черных перьев не дари мне! лживых слов не говори мне!
одиночество верни мне! с бюста – вон! в недобрый путь!
И из сердца клюв свой вырви, чтобы жизнь вернулась в грудь».

Каркнул ворон «Не вернуть».

С той поры сидит упорно надо мною ворон черный.
Ни на миг под этим взором не проснуться, не уснуть.
А в зрачках безумной птицы демон дремлющий таится,
и от крыльев тень ложится, на полу дрожа чуть-чуть...
И души из этой тени, что легла плитой на грудь,
не поднять – и не вернуть.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

67

Лишь тот знаток удачи,
кто вечно мазал в цель.
Лишь посреди пустыни
вода пьянит, как хмель.

Никто из тех, кто гордо нес
победы славный флаг,
сокрытый смысл победы
не объяснит вам так,

как кровию истекший
оглохший полутруп,
когда души коснется
напев победных труб.

126

Геройство биться на виду
у всех, но те храбрей,
кто в бой на конный строй врага
идут в душе своей.

Не славить миру тех побед,
неведом счет утрат,
сограждане, склонив главы,
у гроба не стоят.

Но знаю: ангелы с небес
встречать сойдут таких
парадным шагом, к строю строй,
в мундирах снеговых.

130

Дни, когда тянет птиц назад,
хоть раз на дню, хотя б одну,
последний бросить взгляд.

Когда пускают небеса
синь с позолотою в глаза –
июньский маскарад.

И верить в этот вечный блеф,
софизм, понятный и пчеле,
потянется душа,

но золото улик – в зерне,
и воздух нов, и в тишине
кружится лист, спеша.

О, таинство осенних дней!
ребенка дымкою своей
покрой и разреши

вина нетленья пригубить,
хлеб освященный преломить –
последний пир души.

137

Ах, цветы! Но кто бы, впрочем,
смог определить экстаз:
это – мука, это – то, чем
им дано унижить нас.
Кто покажет мне источник,
где так *против* струи бьют, –
все получит маргаритки,
что на склоне расцветут.

Слишком страстны эти лица
для моей груди простой:

бабочек из Сан-Доминго
над карминною каймой
эстетический критерий
совершеннее, чем мой.

214

Из амфор, из жемчужных чаш
тяну нектар хмельной –
и в лучших рейнских погребках
не сыщется такой.

С утра в разгуле от росы,
от воздуха пьяна,
в притонах плазмы золотой
ищу еще вина!

Где жук роняет свой рожок
и с чашечки цветка
сгоняет ветер пьяных пчел,
я буду пить, пока

взмах снежных херувимских шляп
святым не возвестит
о том, что к солнцу привалясь
у врат пьянчужка спит.

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

СОНЕТЫ

60

Как волны гонит на песок прилив,
так время гонит чередой мгновенья,
чтобы они, свой краткий век прожив,
поддерживали вечное движенье.
Вот так и мы – родившись, видим свет,
а к зрелости сияет нимбом темя.
Потом – затмение. Света нет как нет,
и все дары берет обратно время.
Закон природы писан навсегда:
жизнь только расцвела – и все, завяла.
А лоб морщин прорежет борозда,
чтобы коса свою деланку знала.

Но над моей строкой не властен плен,
и светлый образ твой не тронет тлен.

66

Я смерть зову, жить среди зла устав.
Мне горько знать, что в нищете рожденный
в ней и умрет, что нечестивый прав,
а честный вечно будет вне закона,

что вера поруганью предана,
что честь молва позором окрестила,
что девственность разврату продана,
что немощь нагло властвует над силой,
что власть искусству затыкает рот,
что сдался разум глупости на милость,
что прямодушный дураком слывет,
что злу добро в прислуги подрядилось.

От зла устав, совсем ушел бы я,
но как тебе здесь жить, любовь моя?

71

Плачь обо мне, но только до того,
как похоронный звон доложит миру,
что я ушел от низости его
делить с червем нижайшую квартиру.
Тебя любя, прошу: совсем забудь
про эту руку, что перо держала,
чтоб дальше скорбь теснить не стала грудь
и память больше душу не терзала.
Когда во прах вернусь я, если вновь
листок увидишь с виршами моими,
со мною пусть умрет твоя любовь,
чтоб бедное мое не помнить имя.

Не осмеем бы многомудрый свет
плач по тому, кого на свете нет.

148

Что сделала с моею головой
любовь? Глаз видит, да не то, что есть,
а если то, то здравый смысл свой
куда я дел? За страсть мне это мечь.
А если в ней узрел я красоту,
с чего тогда ржет надо мной весь свет?
А если вижу я не то, не ту,
в глазах, слепых от страсти, проку нет.
Чему же удивляться тут? Хоть вой,
раз глаз мне застят ревность и тоска.
Ведь даже солнце лик не кажет свой,
пока не разойдутся облака.

Слезой мне застит взор любовь, что зла,
чтоб я не знал, как злы ее дела.



Марина Золотаревская

ВОРОН В «ОБРАЗАХ»

(Дуракаваляние на мотив Эдгара По)¹



Летней полночью линиялой, ОБЕ² мы, Марина с Аллой, –
Наш Технический³ усталый спал как праведник-сурок, –
Бились с нашим альманахом, как гребцы, что с каждым взмахом
Приближаются со страхом к водопаду, где порог;
Ледяным объята страхом, на речной летят порог
В самой утлой из пирог.

Слышим стук – и шорох шторы; может, это лезут воры
Красть столовые приборы, или в дверь стучится рок?
Мы решили: это автор! дерзновенней аргоншта,
Он решил не ждать до завтра и пришел на наш порог;
Запоздалый ценный автор рвется в свежий номерок, –
Уложиться хочет в срок!

Приоткрыли мы обложку, но задумались немножко, –
Что ж за автора прислал нам в эту ночь парнасский бог,
Соблюдет ли договор он? Но влетел огромный ворон,
Тюкнул клювом в монитор он между чьих-то свежих строк –
Стал экран зловеще черен, и пропало много строк;
Каркнул ворон: «Вышел срок!»

Испугались мы едва ли, хоть такого не знавали:
Чтобы нас критиковали братья галок и сорок,
Чтоб клевал компьютер ворон, – хоть, конечно, оминов он, –
Чтоб затеял разговор он, слово дерзкое изрек,
Чтоб какой-то драный ворон слово дерзкое изрек,
Резкий выкрикнул упрек!

Мы спросили: «Чертов нытик, много ль ты умеешь гитик?
Ты, по правде, скверный критик и к тому ж дурной пророк!
Скоро мы расскажем людям, что себя мы крепко судим
И тянуть мы впредь не будем, в чем дадим святой зарок!»
Принести мы не забудем извиненья как оброк!
Каркнул ворон: «Вышел срок!»

Говорим: «Почти у цели! Мы ведь праздню не сидели
И добром набить успели свой редакторский мешок.
Столько авторов от бога! Но у них орехов много;
Тексты надо б чистить строго, – а обиды всем не впрок;
Нелегка была дорога – то овраг, а то отрог!»
Каркнул ворон: «Вышел срок!»

Тут редакторы вскочили; вмиг, без шума и без пыли,
Двухгодичным объявили запоздалый номерок.
И, взъерошась изумленно, как обычная ворона,
Щелкнул клювом потрясенно родич галок и сорок –
Так осечку возвещает праздню шелкнувший курок.
Каркнул ворон: «Вышел в срок!»⁴



¹ Редакция робко, но настойчиво просит уважаемого читателя отнестись к этому шуточному тексту с полной серьезностью: здесь объясняется, каким образом последний (по времени!) номер нашего альманаха стал сдвоенным: за 2015 и 2016 гг.

² ОБЕ – здесь: Ответственный/Безответственный редакторы <альманаха «Образы жизни»> (Прим. ред.)

³ Технический – здесь: Технический редактор <альманаха «Образы жизни»> (Прим. ред.)

⁴ Иллюстрации Владимира Витковского

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Юрий Золотаревский
ОБРАЗЫ МИРА
Немецкий альбом

Не хлебом единым...
Музей под открытым
небом. Черный лес.



Бани
Баден-Бадена





Цугшпитце – самая высокая точка Германии



Пристань на Рейне. Следующий рейс – завтра.



Фрайбургский ручеёк

Купол Рейхстага





Рейн, Лорелея

Граф Эберхард
Бородатый
идет на прорыв.
Шиллерплац,
Штутгарт





Галина Курляндчик

РАБОТА «ЗА СПАСИБО», ИЛИ «ВТОРОЙ ДОМ»



Мой опыт жизни в США напрямую связан с библиотеками тех городов, в которые нас забросила судьба. Первым из них был Сарасота, штат Флорида, куда моего мужа Якова пригласили на работу. В начале 90-х американцы сотрудничали с опытными программистами новосибирского Академгородка, даже организовали там команду, но в те годы вести дела с Россией им было сложно, поэтому два программиста из группы были приглашены работать во Флориду.¹ В середине 90-х происходила активная "утечка мозгов" из России на Запад; одним из уехавших специалистов был и Яков. В Сарасоте он работал программистом по рабочей визе в компании Octel с июня 1995 года, а я прилетела во Флориду в конце октября того же года. У меня была виза члена семьи работающего, поэтому разрешения на работу не было в течение семи лет, до тех пор пока мы не получили грин-карты.

Я занималась в школе ESL (English as a Second Language) для взрослых. Подобные школы есть в любом городе Соединенных Штатов, ведь постоянный приток эмигрантов неиссякаем, — в этом мы убедились на собственном опыте. Английский язык я учила в школе и в институте, потом обрабатывала материалы по программированию для каталога на английском языке в Библиотеке академика А. П. Ершова (научная библиотека по программированию) в новосибирском Академгородке, — так что читать и писать по-английски я умела. То есть теоретически я была как-то подготовлена к жизни в новой стране, но практики разговорного английского отчаянно не хватало. В школе общение с эмигрантами из разных

стран осуществлялось либо на скудном английском, либо на русском языке, ведь во Флориду в середине 1990-х приезжало множество эмигрантов из бывшего СССР.

Я четко осознала, что, если сама не выйду на контакт с местными жителями, то так и останусь "немой". Мои русские знакомые без знания английского языка устраивались убирать дома или ухаживать за пожилыми людьми. Это был, конечно, какой-то заработок, но он не давал общения, да к тому же ни физических сил, ни достаточного здоровья у меня в то время не было. Я решила, что "пойду своим путем", — этот путь лежал в городскую библиотеку. Я выучила фразу "I want to be a volunteer" (Я хочу быть волонтером) и поехала на автобусе (машину я водить ещё не умела, да и купить ее было бы не на что) в ближайшее отделение городской библиотеки устраиваться на работу. Мне повезло! Сотрудница библиотеки, к которой я обратилась со своей единственной английской фразой, сразу поняла, в чем дело. Она отвела меня к заведующей этой библиотекой, сама всё за меня сказала, и мне дали работу: два часа два раза в неделю.

Первый свой визит в американскую библиотеку я никогда не забуду! Было радостно увидеть, что компьютер, которым пользовались посетители, был точно таким же, на каком я работала в Академгородке, то есть IBM-360, а библиотечная система в городе Сарасота была сделана на базе FoxPro, как и библиотечная система в Библиотеке А. П. Ершова. Это значило, что я не совсем уж отсталая, что, пусть теоретически, но готова двигаться дальше, а для этого нужна практика, которую мне и дали. Легче всего оказалось освоить классификацию библиотечной системы. Труднее было понять ментальность американцев. Здесь "теория" — а вернее, наши стереотипы

¹ Подробнее я писала об этом в своей статье «Судьба семьи в эпоху компьютеров» для конференции SoRuCom-2014 (<http://www.computer-museum.ru/articles/?article=604>).

американцев-индивидуалистов, думающих лишь о своей выгоде, как и наша убежденность в необразованности американцев, у которых, как правило, нет домашних библиотек, а значит, и книжки где они не читают, — оказалась неверной, то есть той самой "идеологической пропагандой", среди которой мы жили. Правда, сомнения в тотальной необразованности американской нации у меня были и раньше. Сомнения-аргументы, скорее. Я задавала себе вопрос: "Откуда у этих бескультурных необразованных американцев так много прекрасных писателей?" Я росла на книгах Марка Твена, выросла с индейцами Фенимора Купера, познавала человеческие трагедии с Теодором Драйзером и Скоттом Фиджеральдом, переживала драматические истории с Джеком Лондоном и узнавала жизнь простых американцев с Джоном Стейнбеком. А мистика Эдгара По? А чернокожие из «Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу? Эрнест Хемингуэй, Харпер Ли, Уильям Фолкнер, Джером Селинджер, Курт Воннегут, Джон Апдайк и другие?

Поскольку я почти ничего не могла сказать, то первое время работала под присмотром опытного волонтера. Это была молодая женщина, мама двух детей. Они жили недалеко от библиотеки и пользовались ею постоянно. Именно тогда я поняла, что американцы не всегда покупают книги для чтения себе и своим детям, а массово пользуются библиотеками. Мою руководительницу звали Эмми, она работала на своей основной работе в какой-то компании неполный рабочий день, чтобы больше времени уделять своим детям и два дня в неделю работать волонтером в библиотеке. Она мне объяснила, что вся их семья пользуется библиотекой регулярно и бесплатно, поэтому Эмми считает своим долгом помогать сотрудникам. В наши с ней обязанности входили сортировка сданных в библиотеку книг по библиотечным рубрикам и расстановка их на полки в соответствии с каталогом.

Через несколько недель (видимо, после соответствующей аттестации Эмми) я работала уже самостоятельно. Я видела, что сотрудники считают меня «своей», что я уже «член коллектива», а через несколько месяцев меня даже пригласили на вечеринку по случаю ухода на пенсию заведующей этим отделением городской библиотеки. Ей уже было за 80. Мне тогда казалось, что это весьма солидный возраст. А через полгода новый

руководитель библиотеки спрашивала, скоро ли у меня будет разрешение на работу, так как они очень хотели бы взять меня в свой постоянный штат. Но... мне еще долго пришлось ждать грин-карты, а пока я работала "за спасибо".

Следующая городская библиотека США, где я работала с середины 1997 года, была библиотека в городе Скоттсдейле, штат Аризона. На этот раз мы опять должны были учитывать профессиональные передвижения программиста Якова. Роберт (Боб), американский менеджер, который знал моего мужа еще по работе в Сибири, а затем пригласил во Флориду, перебрался в Аризону и сделал Якову деловое предложение, от которого тот отказываться не стал. Город Скоттсдейл, расположенный в Долине Солнца и граничащий со столицей штата городом Феникс (мегаполис Феникса — самый крупный по площади город Соединенных Штатов), нам понравился, а центральная библиотека, которую мне не составило труда обнаружить неподалеку от нашего нового жилья, оказалась современной и очень большой. Там работала новая система автоматизации; несколько отделов библиотеки располагались на двух этажах, были также книжный магазин и множество разнообразных культурных программ. Потрясло художественное оформление библиотеки. Именно художественное! Скульптуры, панно, картины... Глядя на них сразу можно было понять, что находишься на диком Западе: индейцы, ковбои, кактусы, мустанги... В Скоттсдейле я уже была смелее: сразу нашла нужную мне информацию, чтобы пользоваться библиотекой, и, оформив читательскую карточку, ахнула от изобилия материалов, которые могла брать домой. Это были не только художественные книги любимых авторов, но и большая коллекция мемуаров и биографий, книг об Аризоне, других штатах и других странах, книг об искусстве и кулинарии, видео, CD и т.д. Обустроив свой домашний очаг на новом месте, я продолжила занятия английским в местной школе. Библиотека Скоттсдейла стала для меня «вторым домом». Я сразу оценила большую подборку книг, изданных крупным шрифтом. Для людей с плохим зрением — это большая ценность. Была секция и для слепых. Книжки на CD пользовались спросом не только у людей с проблемами по зрению, но и у тех, кто хочет использовать время, когда руки чем-то заняты, а голова свободна. Некоторые американцы любят слушать книги за рулем, чтобы не терять

время в пробках. Я тоже иногда слушала книги, но предпочитала музыкальные CD.

Для меня было настоящим подарком найти в библиотеке хорошую подборку голливудской и мировой кинематографической классики, а также балеты, оперы, мюзиклы, путешествия.

Я опять вышла на работу «за спасибо». Менеджер одного из отделов библиотеки руководила и работой волонтеров. После короткого интервью со мной Келли (так звали менеджера) дала мне часы по сортировке и расстановке литературы и других материалов. А также один вечер в неделю на мне был книжный магазин при библиотеке.

Книжный магазин размещался у входа в библиотеку, поэтому посетителей было довольно много. Читатели, которые не очень торопились, заходили сюда по дороге в основной фонд и на обратном пути к парковке. А были и такие, которые заходили только в магазин. На этой работе у меня было несколько обязанностей: принять кассу (мне доверили кассовый аппарат и деньги!) у другого волонтера-пенсионера, который и ввел меня в курс дела, отвечать на разнообразные вопросы посетителей-покупателей – о коллекции книг, о расположении, о тематике, о конкретном авторе, о конкретной книге и т. д. Магазин пополнялся из книг, списанных из основного фонда библиотеки, а также из книг и журналов, подаренных библиотеке читателями, жителями города. Я скоро поняла, что есть по крайней мере две категории американцев, которые дарят книги в библиотеку. Первая – это те, кто покупают книги; если им одного прочтения достаточно, они, прочитав, относят их в библиотеку, а вторая – это те, кто периодически делают «чистки» дома и приносят книги в библиотеку большими партиями. В любой городской библиотеке есть специальные контейнеры для таких материалов. Волонтеры их разгружают каждый день, сортируют. То, что может представлять ценность для фонда библиотеки, передается на обработку и каталогизацию, а остальные материалы отправляются в магазины при библиотеках. Цены в этих магазинах почти символические! Однако ежедневные продажи в магазинах и распродажи к праздникам или к каким-то городским событиям позволяют библиотекам собрать деньги на специальные программы, такие как встреча с автором из другого штата или другой страны, выступление с лекцией на тему, интересную читателям, всевозможные детские

программы. И, конечно, это дополнение к бюджету библиотеки для заказа новых книг, периодики, оборудования, электроники, оплаты небольшого ремонта и прочего.

В Скоттсдейле я осмелела настолько, что выбрала для себя в библиотеке программу «Book Discussion Club» – Дискуссионный книжный клуб. Это было очень полезное открытие, помогающее в изучении языка и американской литературы, в приобретении навыков общения. Дискуссионный клуб собирался один раз в месяц. Желание и привычка делиться впечатлениями о прочитанном были живы во мне. Когда-то в СССР и во времена перестройки мы с нетерпением ждали нового номера толстого журнала с очередными главами почитаемых нами авторов, обсуждали их с друзьями и коллегами. Здесь было иначе. Список книг для обсуждения составлялся совместно в группе на год вперед. Я слушала мнение постоянных членов группы или тех, кто приходил лишь один раз – только потому, что хотел поделиться своим мнением о заинтересовавшей его книге или услышать точку зрения других читателей. Иногда выступали приглашенные эксперты по проблемам, затронутым автором книги. Я, естественно, узнавала новых для себя авторов. По некоторым новым книгам, выбираемым для обсуждения, позже были сняты фильмы.

В группу, которая собиралась один раз в месяц в вечернее время, входили люди разных профессий: бывшие медсестры и домохозяйки, инженеры и бухгалтеры, преподаватели Arizona State University (Университета штата Аризона), находившегося в соседнем городе Темпи. Перед обсуждением участники надевали «бэджики» со своим именем, чтобы новички свободней себя чувствовали в новой аудитории. Меня быстро запомнили и стали интересоваться моим мнением о прочитанных книгах: из-за разницы жизненного опыта и образования наши литературные взгляды тоже разнились. Я не только замечала то, чего не замечали американцы, но и начала видеть их глазами то, мимо чего раньше прошла бы мимо. Стали спрашивать совета: какого русского автора (в переводе, естественно) почитать по тому или иному вопросу; стали обсуждать со мной новые выставки в местных музеях, театральные и музыкальные события в Скоттсдейле, Фениксе и других городах Долины Солнца. У меня появились подружки-американки, дома у которых я познакомилась с их

семьями и увлечениями.

Прошли четыре года аризонской жизни, и у меня наконец появилось разрешение на работу в США. Я сказала об этом Келли, а пока попробовала подать заявление в ближайший Department Store (большой универмаг). Пройти там собеседование я не успела, – через несколько дней, придя на свою волонтерскую смену в библиотеке, я получила предложение на должность служащего этой библиотеки. Келли сказала: если я согласна, то она выдаст мне направление в медицинский офис, который обслуживал сотрудников городских служб, – там мне незамедлительно нужно сдать тест на наркотики! Это было неожиданно вдвойне – во-первых, так быстро и даже без интервью поступило предложение о работе (Келли, как я позже поняла, дала обо мне соответствующую характеристику руководству библиотеки), а, во-вторых, я не знала, что потенциальным сотрудникам городских служб прежде всего необходимо быть «чистыми» от наркотических веществ. После «отрицательного» результата на этот важный тест я прошла медицинскую комиссию и приступила к работе.

Ничего существенно нового в работе для меня не было, просто добавилось часов, и я стала получать чек за свою работу. Деньги мне платили небольшие, а вот благодарности было много! Я проводила часы не только на библиотечной работе в офисах для служащих, но и между стеллажами, расставляя книги или подыскивая нужные материалы по запросам читателей и слыша постоянные «спасибо» от читателей и сотрудников.

Люди в библиотеке работали, в основном, неслучайные. Все они любили книги, любили помогать другим людям. Без этих двух качеств в библиотеке делать нечего, ведь это не бизнес: много не заработаешь. А чтобы получить должность «библиотекаря», нужно обязательно закончить магистратуру, то есть первой ступени высшего образования недостаточно. Без специального образования можно получить только работу *служащего*. Вот и собираются в этих местах энтузиасты, готовые посвятить себя такому «служению». Хочу рассказать о двух таких коллегах, с которыми меня свела судьба в Аризоне. Один из них был молодым индейцем из племени Навахо, выросшем в резервации на севере Аризоны рядом с Великим Каньоном. Это был красивый, статный воспитанный юноша, мечтавший стать художником и приехавший учиться в престижный колледж Arizona

School for the Art (Школа искусств Аризоны); на жизнь и учебу он зарабатывал в библиотеке Скоттсдейла. Он был трудолюбив, любознателен и общителен. Вторым был «мой ученик», которого Келли мне доверила обучать нашему делу, как только его приняли на работу в нашу группу. Уроженец Нью-Йорка, средних лет, бывший таксист, веселый и быстрый. Нашу «науку» он осваивал нормально, но, как только освоился, стал подшучивать над моим русским произношением. К сожалению, он делал это не тогда, когда мы с ним работали в паре, а при других сотрудниках в наших служебных помещениях. Мне было очень обидно, но исправить свое произношение я не могла, как ни старалась. Я решила поговорить с Келли. Она предложила мне поговорить с ним откровенно. Я подошла к своему коллеге и просто рассказала, что это очень нелегко, когда тебе пятьдесят, а ты начинаешь учиться говорить на другом языке, учиться водить машину, учиться жить в новой стране. Я больше ни разу не слышала его шуток в мой адрес, – чувствовала, что он стал по-новому на меня смотреть, оценивать иначе. Уверена, что это был хороший урок для нас обоих, и я очень признательна Келли за совет поговорить с ним откровенно. Когда пришло время расставаться, мы попрощались очень тепло.

Было жаль расставаться с новыми друзьями в библиотеке Скоттсдейла, когда Яков получил новое предложение о работе в Калифорнии. В начале 2003 года мы переехали в город Санта-Клара. Санта-Клара находится в центре Силиконовой Долины и является самым старым городом, основанным испанцами в этих местах в 1777 году, когда они шли с юга из Мексики и строили местным индейцам племени Охлоне католические миссии. Миссия Санта (Святой) Клары дала название не только городу, но и всей долине. Географическое и административное название этой долины прежнее – округ Санта-Клара. При Миссии Санта-Клары был организован первый колледж в Калифорнии, с которого пошло калифорнийское образование. Миссия сохранилась до наших дней, на ее территории находится частный Университет Санта-Клары. До середины прошлого века город утопал в садах. На многочисленных ранчо выращивались фрукты. Но с середины прошлого века, когда в Долину Санта-Клары пришли технологические компании, подарившие ей второе название – Силиконовой, сады стали вытесняться новыми домами и офиса-

ми. Компания Intel открыла здесь свой главный офис и построила завод. В городе также расположены штаб-квартиры Applied Materials, NVIDIA, Agilent Technologies и других компаний, работающих в области высоких технологий.¹

Уже через неделю я пришла в одно из отделений библиотеки города, познакомилась с сотрудницей на абонементе, а еще через неделю вышла на работу «за спасибо». Mission Library – старейшее в городе отделение находится рядом с Миссией Санта-Клары. Первая книга, которую я взяла читать, была книга о Святой Кларе, давшей имя этому месту. Первые месяцы я с удовольствием изучала новый фонд, познакомилась сначала с руководителем Book Discussion Group Марлен Голдман, а вскоре и со всей группой, с которой обсуждаю книги вот уже второй десяток лет.

В городе достраивалась новая большая современная библиотека, куда после открытия меня взяли на работу. Руководитель волонтеров Чарити подсказала, когда будет набор в новую библиотеку. Я написала заявление в Human Resources (Отдел кадров) мэрии и прошла все этапы приема на работу. Сначала был тест, на который пришло 87 желающих получить работу в новой библиотеке Санта-Клары. Результат теста я получила по почте вместе с письмом-приглашением на групповое интервью. В нашей группе было 5 человек, из которых наняли потом двоих – меня в детский отдел и одного юношу-студента в абонемент. После медицинских тестов меня ждал еще один – в отделе кадров мэрии. Мне и еще двум мужчинам, которые утруивались на работу в другие городские структуры, показали видеофильм о том, как сотрудники города должны вести себя в учреждениях и публичных местах – в библиотеке, парке, – словом, там, где бывает много посетителей. После просмотра фильма мы ответили на вопросы теста, который я нашла очень полезным для себя: некоторые нормы поведения в американском обществе были для меня новыми. Я вела себя интуитивно правильно, но не всегда уверенно, а этот тест прибавил мне уверенности.

В своем отделе я одна была «новенькой». Сориентировалась я быстро, и когда отдел стал расширяться, я стала отвечать за тренинг новых служащих в нашем отделе и написала инструкцию для новых сотрудников. Руководители были этим

очень довольны, новенькие тоже. А я получила очередное «спасибо» и несколько дополнительно оплаченных часов за сверхурочную работу.

Я проработала в библиотеке Санта-Клары всего полтора года. Мне пришлось уйти с работы по семейным делам, – я надолго уезжала в Россию. Каждый раз, когда возвращалась, меня ждали работа «за спасибо» и дискуссионная группа. Я регулярно захожу в книжный магазин при библиотеке, благодаря которому у меня дома есть уже приличное собрание альбомов по искусству; в этом магазине я всегда нахожу подарки для своих внуков и знакомых детей, покупаю классику и любимых авторов. Я с интересом хожу на встречи с авторами, а летом вожу внуков на детские и семейные программы. И все свои ежегодные проекты семейных календарей с вышивками моей мамы и дополняющими их стихами я начинаю с поисков новых текстов в поэтическом разделе библиотеки.

Когда у нас бывают гости из России, я с радостью знакомлю их с библиотекой, так как здесь, в США, это мой «второй дом». Здесь я узнавала эту страну, людей, культуру.

Работая в Библиотеке А. П. Ершова, я не была обделена неблагодарностью. Сам академик Андрей Петрович Ершов был внимательным и благодарным человеком, читатели библиотеки и сотрудники института тоже были людьми воспитанными. Но... столько «спасибо», сколько я слышала, работая в городских библиотеках США, я не слышала раньше никогда. Я поняла, что стереотип о бездуховности американцев – не просто чушь, а клевета. Как в любом обществе, здесь есть те, кто любит читать, кто стремится к знаниям, кто любит «Слово» больше, чем деньги. Не все мои знакомые понимают мое «волонтерство», говорят, что они в своей жизни достаточно наработались «даром». У меня же другое мнение: я благодарна работе «за спасибо», которая сделала меня «богаче», помогла открыть что-то новое в себе, принесла новых друзей и новые знания. А вот возможностью жить такой жизнью, не заботясь о зарплате, я обязана своему мужу Якову. И благодарна ему за эту возможность.

2015-2016

¹ Более подробно мои записки о городе Санта-Клара изложены на сайте Интерлит: <http://www.interlit2001.com/kurl-1.htm>



Александр Трегуб

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГРОМОВОГО ДРАКОНА

Согласно выборочному статистическому исследованию автора, большинство людей о Бутане вообще не слыхали. Сам автор о Бутане слышал, но где именно он находится, точно не знал и никогда об этом не задумывался. В представлении автора Бутан был расположен где-то между Оманом, метаном и пропаном.

Тщательное изучение литературных источников помогло установить, что Бутан — это маленькое королевство в Гималаях, расположенное между Индией и Тибетом; сами бутанцы предпочитают принятое с семнадцатого века название *Друк*, «Страна Громового Дракона». Символика, связанная с драконом, в свою очередь восходит к буддийскому учению *Друкпа*, одному из ответвлений школы *Ваджраяна*. Название *Бутан* прижилось только в девятнадцатом веке: так страну называли британцы.

До 60-х годов Бутан был закрыт для внешнего мира и застыл в своем развитии приблизительно на уровне пятнадцатого века. Деньги, школы, почта, телефоны, больницы в Бутане не существовали до 1960 года; первые туристы появились только в 1974 году.

Бутан окружен знаменитыми гималайскими семитысячниками. Хотя, к сожалению, Джомолунгму (Эверест) с территории Бутана увидеть нельзя, два семитысячных пика находятся на самой бутанской территории. А какой же турист, хотя бы раз совершивший горное восхождение, может отказаться от посещения страны, расположенной в сердце самой величественной горной системы на нашей планете!

В ходе предварительного самообразования автор также выяснил, что Бутан — это страна с глубокими буддийскими корнями. А одним из фундаментальных принципов буддизма является *карма*, т.е. действие, совершённое в результате глубокого морального размышления. Иногда — упрощенно — сложное понятие *карма* рассматривается как простая последовательность двух актов: мысль порождает слово, а слово порождает действие. Именно так и

«О-о-о-о-о-манипатнэху-у-ум...»
(Традиционная буддистская мантра.
Особенно популярна в Тибете и
Бутане. В переводе ничего не значит.)



«Отпустите меня в Гималаи...»
(Из популярной песни 90-ых годов.
Ничего не значит и без перевода.)

случилось с автором: глубокие размышления о поездке породили неосторожные слова, слова привели к необдуманным действиям, а в результате был приобретен «невозвратный» билет на самолет, и менять что-либо было уже поздно.

Дальнейшее, более глубокое изучение буддизма показало, что вышеупомянутая упрощенная трактовка вообще неверна — но, к счастью для автора, в результате неправильного понимания основного буддийского принципа было принято правильное решение.

И вот наш маленький Airbus бутанской компании Druk Air, рейс Бангкок, Таиланд — Паро, Бутан каким-то чудом находит прореху в плотном тумане; в окне показываются горные пики и скрытая между ними миниатюрная взлетно-посадочная полоса; и через несколько тревожных минут — и только благодаря исключительному мастерству и опыту бутанских летчиков — мы приземляемся в аэропорту города Паро.

Маленький Бутан неожиданно оказался совершенно уникальным государством, космосом противоречий и богатой диалектики в культуре, экономике, политике и религии.



Гигантский Будда
в столице Тимпху;
строительство
еще не завершено.
Бронзовая статуя,
высотой 51,5
метров, покрыта
золотым слоем.
А самая высокая
в мире статуя
Будды, высотой в
108 — магическое
число! — метров,
построена в Китае

Начнем с религии. Бутан – буддийское государство. В мире существует несколько стран с преобладающими буддийскими традициями. Но особенность Бутана в том, что это – одно из немногих мест на планете, где буддизм сохранился в той форме, в какой он проник сюда в седьмом веке н. э. из Индии, когда в Индии стала популярна более поздняя версия буддизма, *Ваджраяна* (на санскрите – *Тантра*). В отличие от предшествующих, более традиционных буддийских школ (*Тхеравада*, *Махаяна* и *Химайяна*), Ваджраяна считается эзотерической религией; иными словами, в ней присутствуют сильные элементы шаманизма.

В Бутане огромное число (в пересчете на душу не очень большого населения) храмов и монастырей; бутанцы глубоко уважают мудрых учителей буддизма – как великих святых прошлого, так и авторитетных современников, в особенности тех, кто сумел достичь важной позиции буддийского ламы (что на тибетском значит «учитель»).

Со времен, предшествовавших проникновению буддизма, в Бутане существует и неофициальная языческая религия элементов природы – *бён*. В соответствии с бутанскими традициями ни одно решение не принимается и ни одно дело не предпринимается без совета ламы. Но, помимо консультации уважаемого ламы, бутанцы – особенно в селах – никогда не пренебрегают и советом шаманов – колдунов и колдуний. Колдуны считаются живым воплощением природы: важных камней, выдающихся рек, значительных гор и т.д. Как говорят бутанцы, совет лам необходим для будущих жизней в последовательных реинкарнациях, а советы колдунов религии бён помогают в решении насущных проблем настоящего.

Обе религии мирно сосуществуют в Бутане. Однако в прошлом, начиная с процесса «диффузии дхармы» (проникновения буддизма) в шестом-седьмом веках, они враждовали, несмотря на то, что религия бён во многом сходна с буддизмом, а основателя этой религии – Шенраба – ее последователи считают буддой. Чтобы подчеркнуть свое отличие как местной «народной» религии от индийского пришельца, бён намеренно предписывает своим последователям действия, прямо противоположные требованиям буддизма. Например, религия Ваджраяна предписывает обходить *ступы* – религиозные монументы – по часовой стрелке, а религия бён – в противоположном направлении. Итак, две религии сходятся в основных философских принципах, но предписывают своим последователям прямо



Ступа в Тимпху: обходим по часовой стрелке нечетное количество раз.

противоположные действия для достижения этих принципов. В этом нет ничего удивительного или необычного: наши республиканские и демократические законодатели не могут согласиться ни по одному вопросу, хотя все поддерживают – в принципе и на словах – одни и те же высокие политические и демократические идеалы.

Правда, пока еще не введено правило, согласно которому республиканцам и демократам предписывается обходить Капитолий в разных направлениях. Хочу предложить свою, ничем не обоснованную и никем не подтвержденную ненаучную гипотезу: буддизм в Бутане и Тибете трансформировался в религию с элементами шаманизма потому, что в таком виде он был более понятен местному населению, которое веками воспитывалось на языческой религии бён.

Для местных жителей сострадание и глубокое уважение к природе – важнейшие заповеди, и бутанцы стараются неукоснительно их соблюдать. Важно это потому, что в буддизме жизнь не кончается с физической кончиной: после смерти душа переходит в новую реинкарнацию, и необходимо себя вести должным образом в настоящей жизни, чтобы следующая реинкарнация была хорошей – например, удалось бы превратиться в уважаемого ламу. Поэтому ни одно живое существо – и вообще природу – нельзя обижать. Конечно, идеальная реинкарнация для буддиста – это реинкарнация в бодхисатву, т. е. в существо, достигшее высшей степени просветления, но – вследствие врожденного альтруизма – все еще пребывающее с народными массами вместо того, чтобы достичь заслуженного статуса будды и отрешиться от земных забот. На втором месте стоит реинкарнация в демона, потому что демон тоже считается существом высшего порядка, несмотря на его возможные небольшие заблуждения в молодости. Реинкарнация в ламу – или вообще в любое человеческое существо – тоже очень хорошее достижение.

Как говорят бутанцы, в предыдущих реинкарнациях они, наверное, вели себя очень правильно, если в нынешней им удалось конвертироваться в человека, к тому же обладающего солидным духовным или социальным статусом. Ступенькой ниже – реинкарнация в животное; но и это не так уж плохо; в конце концов, согласно тибетской традиции, человек произошел от обезьяны. Удивительно, что в тибетском буддизме этот факт был установлен за многие столетия до теории эволюции Дарвина. Правда, тибетская теория несколько сложнее дарвиновской, поскольку, согласно тибетскому учению, человек произошел не просто от обезьяны, а от союза обезьяны и богини. Самая худшая из всех возможных реинкарнаций – это превращение в какую-нибудь ползающую тварь: червяка, змею, ящерицу и т. д. Почему-то ползающие твари не пользуются уважением в буддистской религии. Впоследствии эти буддистские традиции переползли в литературу социалистического реализма: «Рожденный ползать летать не может!» – с презрением писал поэт эпохи соцреализма.

Запрещение обижать живые существа приводит в Бутане к прямым практическим последствиям: здесь не ловят рыбу и не убивают диких и домашних животных. Ведь один из основополагающих буддистских принципов – это сострадание, которое распространяется в равной мере на людей и животных. Более того, насекомых тоже обижать нельзя. Поскольку фермеры-землепашцы своим плугом невольно лишают жизни разных мелких насекомых, профессия фермера тоже не считается вполне кошерной (автор просит прощения за употребление специальной терминологии, доступной только экспертам буддизма достаточно высокого уровня) и не слишком популярна в стране. Конечно, можно предположить, что нелегкая крестьянская жизнь тоже обуславливает непопулярность профессии землепашца. Так что же едят в Бутане, если ни рыба, ни мясо не доступны? Здесь мы как раз подходим к описанию очередного бутанского противоречия. Хотя доля мяса в стандартном меню обычного бутанца сравнительно невелика, оно входит в бутанскую кулинарию, и мы видели в городах и селах мясные лавки. Простое объяснение, которое дают гиды: мясо завозится из Индии (как и практически весь бутанский импорт). Если кто-то другой убил животное – это проблемы мясника, а не потребителя; религия не заходит так далеко, чтобы запрещать употребление мяса животного, убитого кем-то другим. Но, во первых, прочные экономические связи с Индией установились только в 1960-х годах, как же обстояло дело с мясной

пищей до этого времени? А во-вторых, импортное мясо поставляется в городские магазины, а крестьянам до города добраться непросто. Находчивые бутанцы нашли остроумные решения, позволяющие расширить свой пищевой рацион. Например, коров пускают пастись близко к обрыву, а когда глупое животное падает с обрыва и разбивается – это уже его, а не пастуха, проблема. Другое интересное решение: так искусно привязать свинку, что бедное животное запутывается в привязи все прочнее и безнадежнее, пока само себя не удушит. Но и это еще не всё. В соответствии со старинными традициями языческой религии бён бутанцы – главным образом в селах – до сих пор приносят в жертву животных, чтобы умиротворить могущественных духов природы. Специальный шаман убивает животное, предназначенное семье в жертву, и за это получает определенный процент мяса. Правительство пытается искоренить данную традицию, и заменить жертвоприношения животных на приношение их продуктов (например, яиц) – но нововведение приживается медленно.

На первый взгляд, такое обращение с домашними животными находится в полном противоречии с принципом сострадания, но буддистская религия очень гибка, динамична, существует на многих уровнях и «временно-обусловлена» в соответствии с *аннича*, важным буддийским принципом непрерывного изменения. Иными словами, то, что считалось абсолютно неприемлемым еще вчера, может не представлять никаких проблем сегодня. Все важные акции совершаются, когда наступает время, подходящее для их совершения подходящее. Например, мы не могли понять, почему наш гид привез нас на экскурсию в местный Институт искусств за час до его открытия или почему он не предусмотрел, что в день одной из наших запланированных экскурсий Бутан будет отмечать национальный праздник, и большинство мест назначения нашего тура окажется закрыто. Я так и не знаю истинной причины, но – обогащенный приобретенными знаниями о принципе аннича – могу предположить, что Институт открылся, когда пришло подходящее время, а национальный праздник вполне мог бы состояться и на несколько дней позже или раньше.

Поскольку речь зашла о питании, добавим несколько слов о бутанской кухне. Главным элементом бутанской еды является перец чили – тот самый, который в других странах используется как острая приправа. Важные отличия состоят в том, что в Бутане его научились приготавливать гораздо более острым, чем в других странах, и что он представляет

собой основной элемент питания. Популярен также чили с плавленым сыром. Остальной набор продуктов и способ их приготовления очень просты: овощи, гречка и уникальный красный рис варятся в воде и подаются на стол. От настоящей бутанской еды западный турист умирает на месте, поэтому для туристов разработан специальный облегченный вариант – не такой острый. По-видимому, рецепты были разработаны и утверждены в каком-то бутанском министерстве, поскольку еда во всех туристских местах – будь то завтрак, обед, или ужин – практически не различалась, что напомнило автору принцип производства полупроводниковых схем, внедрённый работодателем автора и известный как «Cory Exactly!» («Точная копия!»), или CE! Согласно CE! все фабрики компании обязаны следовать одному и тому же производственному процессу, использовать одинаковые материалы, машины одинаковых моделей, одинаковой длины и конструкции водопроводы и т.д. От бутанской еды, приготовленной для туристов по принципу CE!, западный турист умирает не сразу, а постепенно, только в течение нескольких недель.

Пьют в Бутане алкогольный напиток, называемый ара. Арой полагается встречать и провожать гостя, поить контракторов и угощать на праздниках. По вкусу ара напоминает типичный самогон невысокого качества – и таковым является. Но в маленьком Бутане производится, пока еще в небольших объемах, местное пиво. Употребление пива находится в полном соответствии с буддистскими традициями; например, согласно многим сказаниям, мудрые наставники буддизма во время первой встречи с жаждающими знаний учениками почему-то всегда предлагали им вначале утолить жажду пивом, затем поработать за Учителя на сельскохозяйственных работах, и только потом приступали к обучению. Никто не знает, какое пиво пили буддисты в те далекие времена, но в современном Бутане выпускаются несколько сортов его, самый известный из которых, Red Panda, производился еще в 1990-х годах в рамках проекта экономического сотрудничества между Бутаном и Швейцарией.

В Бутане очень много уличных собак – последнее миролюбивой буддистской религии, запрещающей обижать животных. Собаки в основном тоже очень мирные. Днем они, как и положено в буддистской стране, тихо медитируют – чаще всего в самых неподходящих местах: на проезжей дороге, у входа в храмы или магазины... А с наступлением темноты начинают оживленную дискуссию о том, что намеревались сделать за день; при этом каждый пес норовит

высказать свою единственно верную точку зрения, и чем громче точка зрения высказана, тем более убедительной она считается. Полное пренебрежение бутанских буддистских собак к покою иностранных гостей (свои привыкли) находится в разительном противоречии с принципом сострадания.

В Бутане мирно уживаются не только традиции языческой и буддистской религии, но и культурные – а также экономические – элементы средневековья и современности. Можно сказать, что страна находится на пути стремительной эволюции от пятнадцатого века к нынешнему, двадцать первому. До 1960 года – когда Бутан ввел в торговый оборот деньги – вся торговля была основана исключительно на натуральном обмене. До сих пор в селах, где живет приблизительно 80% населения, используется натуральный обмен товаров. Но люди, переместившиеся из деревни в город, предпочитают получать гарантированную зарплату в бутанской валюте, *нултрумах*. В 1990-х на весь Бутан было всего несколько гостиниц – в столице Тхимпху; там же находился и единственный магазин, где немногочисленные работники из Европы и Америки могли приобрести привычные для западного покупателя вещи, – например, туалетную бумагу.

Для туристов страна открылась только в 1974 году, но сейчас индустрия туризма тут стремительно развивается, а стать владельцем отеля – мечта многих: это считается надежным и перспективным бизнесом. Интернет появился в Бутане в 2000-х, но сейчас большинство бутанцев моложе сорока зарегистрированы на Facebook. Только с 1960 года Бутан стал устанавливать дипломатические и политические связи с миром – в первую очередь с Индией. Дипломатическая активность объяснялась тем, что в 1959 году Китай захватил Тибет, восточного соседа Бутана. Бутанское правительство очень боялось, что маленькое королевство тоже может стать частью Китая – прежде, чем мир вообще узнает о существовании Бутана. Индия же в 1975 году аннексировала маленькое независимое королевство Сикким, бутанского соседа на Западе. Находясь между двумя военными и экономическими гигантами, Бутан должен был вести весьма тонкую и сбалансированную политику, чтобы не расстроить своих могучих соседей. В итоге Бутан выбрал прочные экономические связи с Индией – настолько прочные, что экономически Бутан кажется просто её провинцией. Пока Бутану удастся сохранить свою культурную самобытность, но культура Индии все больше проникает в жизнь бутанцев: через несколько телевизионных каналов, транслирующих новости и фильмы, через общение с

индийскими бизнесменами, учителями, туристами... Фильмы особенно меняют представление бутанцев о семейных ценностях и верном образе жизни.

Бутан известен необычной мерой благосостояния своих граждан: вместо привычного годового валового дохода (ГВД) тут оценивают благосостояние в единицах годового валового счастья (ГВС). Понятие ГВС было введено четвертым королем Бутана. Бывшему гражданину Советского Союза с глубоко укоренившимся скептическим подходом к окружающей действительности понятие ГВС кажется лицемерным и чем-то напоминает знаменитое «чувство глубокого удовлетворения», в народе известное как седьмое чувство советских людей. Однако в применении к бутанской действительности понятие ГВС, возможно, не лишено смысла. Слишком уж резок и стремителен был переход от традиционной системы духовных буддистских ценностей к миру современного расчетливого материализма. Социальное положение высокоуважаемого ламы уже начинает некоторым бутанцам казаться менее привлекательным, чем статус владельца успешного туристического агентства или гостиницы. Впрочем, как заметил наш гид, религия, как бы ее ни уважали, никогда не должна мешать хорошему бизнесу.



Кочевые племена в Бутане перевозят свои пожитки на прирученных яках.

Еще одно противоречие, – между удивительной приветливостью, доброжелательностью бутанцев, воспитанных на высоких принципах сострадания как основной заповеди буддизма, и тем фактом, что приблизительно десять процентов 750-тысячного населения Бутана были из страны изгнаны и ведут бесправный образ жизни в лагерях ООН для беженцев, главным образом в Непале; понять это непросто, но приходится принять. Поскольку Бутан лишил беженцев гражданства, а другие страны гражданства им не дают, большинство этих людей не может из лагерей никуда переехать. Конечно, проблема беженцев воз-

никла не на пустом месте, а как результат национальных конфликтов. Согласно официальным источникам, основная этническая группа в стране – *бхоты*, народ, вышедший в давние времена из Тибета. Но в Бутане проживают и другие народности: например, по официальным данным, в стране насчитывается 25% непальцев и 15% разнообразных кочевых племен. Предкам многих из них был разрешен въезд в Бутан для выполнения тяжелых сельскохозяйственных работ. Многие осели в Бутане, но сохранили свои этнические обычаи. В 90-х годах бутанское правительство, обеспокоенное проблемой смешения бхотов с другими народностями и утраты собственной самобытности, ввело ряд законов, ограничивающих национальные права меньшинств – как, например, обязательную для всех национальную одежду. Естественно, это многим не понравилось: начались этнические волнения – и в конце концов Бутан в конце концов выселил бунтовщиков и других подозрительных лиц, а их землю и дома раздал безземельным крестьянам, принадлежавшим к основной нации.

Официальным языком страны считается *дзонгха*, остальные несколько пренебрежительно именуются тибетскими и непальскими диалектами – хотя в Бутане насчитывается больше двадцати этимологически различных языков. Помимо дзонгха, наиболее распространены *шарчоп*, *бумтхангкха* и *тиангла*. Все они принадлежат к совершенно разным языковым семьям. Многообразие языков затрудняет свободное общение между людьми из разных районов страны. К счастью, многие бутанцы – особенно образованные люди в городах – прекрасно говорят по-английски. И неудивительно: приблизительно с 80-ых годов английский стал основным языком обучения в старших классах школы и колледжах/техникумах. Правительство также посылает наиболее способных студентов для обучения в лучшие университеты мира, надеясь создать национальные профессиональные кадры. Некоторые возвращаются, некоторые остаются – соблазн устроенной жизни в цивилизованных странах оказывается сильнее тоски по дому и системе буддистских ценностей.

В Бутане традиционная семья построена на принципе матриархата: основные решения принимаются женами, матерями, или даже старшими дочерьми. После свадьбы муж обычно переезжает в дом жены и живет с ее семьей, а в случае развода возвращается в свой дом. Кстати, развод в Бутане получить очень легко, а многие пары просто живут «нерасписанными», и это легко принимается обществом.

Более того, в стране до сих пор существует – хотя и не поощряется – полиандрия (многомужество). К счастью для мужчин, ситуация постепенно меняется: во многих городских семьях главой семьи считается наиболее образованный ее член, обычно муж. Традиции бутанского матриархата находятся в противоречии с буддистскими принципами: как изначально постановил сам Будда, монахиня самого высокого статуса занимала в монастырской иерархии позицию ниже, чем самый низкий по статусу монах. По-видимому, традиция матриархата пришла в Бутан из далекого языческого прошлого.



Хрупкие на вид служащие гостиницы недалеко от города Джакар: готовы к транспортировке наших тяжелых чемоданов.

Западному человеку такое семейное устройство может показаться необычным: типичный западный стереотип легко ассоциирует половую дискриминацию с дискриминацией женщин, – но как реагировать на дискриминацию мужчин? К счастью, дискриминация полов в Бутане отсутствует: почти все работы выполняются мужчинами и женщинами в равной мере. Исключение составляет вспашка: во-первых, плуг тяжелый, а во-вторых, считается, что быки больше уважают пахарей-мужчин. Но женщины свободно переносят тяжелые вещи и работают наравне с мужчинами.

Конечно, та самая цивилизация, которая ставит под угрозу статус Бутана как уникальной Шангри Ла – мифической идеальной страны где-то в Гималаях, где все люди счастливы и живут много лет – принесла много полезного. Например, число докторов в стране стремительно увеличилось. Разумеется, вы не найдете докторов в деревнях, но в немногочисленных городах уже существуют медицинские клиники; правительство организует превентивные командировки докторов в деревни для медицинского просвещения и советов. А что же делать селянам, если, к примеру,

кого-то укусила кобра, или необходима срочная операция, или надо принять роды? В этих срочных случаях помощь оказывается традиционными средствами народной медицины. Так, роды у жены обычно принимает муж, а мужнин брат часто выполняет функции ассистента. В большинстве случаев два мужика с этим делом справляются успешно – судя по тому, что население страны, как-никак, растет. В остальных случаях люди главным образом полагаются главным образом на местных шаманов. Опытный шаман с хорошими связями может болезнь успешно заговорить – хотя статистика успеха неизвестна. Если же больной не выживает, это не считается невосполнимой потерей, как на Западе, поскольку умершему предстоит новая реинкарнация, и все надеются, что она будет даже успешней предыдущей. Через несколько дней прощания тело умершего кремируется около храма, и душа реинкарнируется. Но что делать, если храм находится далеко, а идти к нему приходится пешком? К счастью, вопрос с храмами в Бутане решен эффективно. В стране имеется очень много исторических и относительно недавно построенных храмов, причем по распоряжению правительства ценные буддистские реликвии перераспределены между ними таким образом, что в каждом храме есть хоть какая-нибудь важная реликвия. Разумеется, основная реликвия буддизма – пепел тела самого Будды – уникальна; остатки развеянного по миру пепла изначально хранились в шести индийских храмах. Однако в буддистской религии считается, что тело Будды состоит из двух тел: *физического* и «духовно-исторического», т. е. свидетельств жизнедеятельности Будды – как, например, его следов, предметов, которыми он пользовался, его книг, манускриптов, предписаний и другого подобного наследия. Остатки духовного-исторического наследия так же священны и почитаемы, как останки *физического* тела. Распространение этого подхода на духовно-историческое наследие других великих учителей буддизма обеспечивает достаточное количество реликвий для всех многочисленных бутанских храмов.

Один из старейших буддистских храмов находится недалеко от города Джакар; он называется Курджей Лхакханг. Известен этот храм тем, что был воздвигнут в честь первого посещения Бутана знаменитым гуру Рипронче (на санскрите – «драгоценный учитель»). Выдающийся индийский гуру Рипронче справедливо считается одним из самых почитаемых учителей буддизма; более того, он почитается как Второй Будда, и его рождение было предсказано самим историческим Буддой – Сиддхартхой Гаутама. Гуру Рипронче посетил Бутан в 746 г. н. э. по просьбе

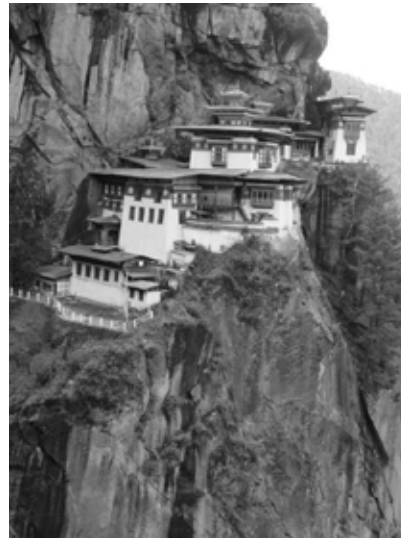


Гигантская вышивка с изображением Гуру Рипронче у входа в музей Текстильного Искусства в Тимпху

короля Бумтанга (маленького феодального государства, располагавшегося в то время там, где сейчас находится центр Бутана.) Король Бумтанга враждовал с соседним королем и попросил помощи у гуру Рипронче, слава о мудрости и силе которого давно пересекла пределы Индии. Гуру Рипронче решил откликнуться на просьбу бумтангского короля; кстати, ему уже давно

необходимо было усмирить опасного демона в этом же районе страны. Благодаря своей мудрости, мистической силе и способности действовать одновременно в восьми (!) различных манифестациях самого себя, гуру Рипронче достиг обеих поставленных целей: усмирил демона и помог бумтангскому королю одолеть соперника. Более того, побежденный демон согласился исправиться и стал защитником местного населения. По этому поводу гуру Рипронче основал храм Курджей Лхакханг. К сожалению, история Бутана зиждется в основном на устных преданиях, так как большинство документов, хранящихся в деревянных храмах, было уничтожено во время многочисленных пожаров; так что мы не узнаем, почему же гуру Рипронче решил поддержать бумтангского короля, а не его соперника. Известно только, что в награду мудрец получил в жены принцессу, дочку короля, которую — благодаря своим мистическим способностям — гуру Рипронче в процессе усмирения демона превратил в пять (!) принцесс, что, естественно, полностью запутало и деморализовало демона и стало одним из факторов его поражения в исторической битве. После победы над демоном гуру Рипронче удалился в уединенное место около храма и погрузился в глубокую медитацию. Медитация была настолько глубокой и длилась так долго, что в месте медитации сохранился отпечаток головы гуру (!); отпечаток стал одной из драгоценнейших священных реликвий в Бутане. Конечно, некоторые

читатели, не знакомые с буддизмом, могли бы подумать, что, возможно, медитировать было бы лучше перед исторической битвой, а не после ее окончания. Но, во-первых, медитация — это далеко не то же самое, что простое размышление, а во-вторых, таким читателям автор может указать на многих современных политиков, которые тоже вначале действовали, а уже потом думали, даже и не будучи буддистами.



Знаменитый монастырь "Тигриное Гнездо" недалеко от города Паро

Самый знаменитый бутанский храм называется Тактшнаг Гоемба (монастырь «Тигриное гнездо») и располагается рядом с городом Паро. Храм, непонятно как притулившись на высокой скале, производит совершенно фантастическое впечатление и является неофициальной туристской эмблемой Бутана. Это

место гуру Рипронче тоже посетил во время одного из визитов в Бутан в VIII веке н.э. Главной целью посещения было усмирение очередного местного демона. Чтобы добраться до совершенно недоступного места на скале, гуру Рипронче превратил свою спутницу (консорт) Еше Тшогиел в летающую тигрицу, и она перенесла его на спине в пещеру рядом с местом, где теперь находится монастырь. В пещере гуру Рипронче медитировал три месяца, в результате чего там сохранился еще один отпечаток его головы! Этот отпечаток, разумеется, тоже считается одной из самых важных буддистских реликвий в Бутане. Опять же, поскольку подробные документы, описывавшие историю Бутана, не сохранились, автор нигде не нашел никаких записей о том, что стало с Еше Тшогиел после ее превращения в тигрицу; тем не менее известно, что Еше считается одной из наиболее важных фигур буддизма в Бутане, а для начинающих монахинь является примером для подражания. В конце XVII века рядом с пещерой, где медитировал гуру Рипронче, был построен знаменитый монастырь Тактшнаг Гоемба. Поскольку строительство происходило в более близкие к нам времена, сохранились исторические записи о технике доставки строймате-

риалов и укрепления строения на скале. Доставка материалов осуществлялась при помощи длинных волос мистических небесных созданий женского рода; эти же волосы использовались для укрепления монастырских стен на скале. К сожалению, здание погибло в 1998 году в результате пожара: то ли случайного, то ли поджога. Монастырь был перестроен с 2000 по 2005 годы; на этот раз, при реконструкции, использовались уже обычные материалы и стандартные приемы строительства.

Третий, важнейший с религиозной точки зрения храм-крепость, Сингье Дзонг, находится на востоке, в долине Лхуентце, почти на самой границе с Тибетом. Этот храм был основан Еще Тшогиел, и его посетил гуру Рипронче во время своего второго визита в Бутан. К сожалению, этот храм для туристов закрыт: во-первых, он находится в труднодоступном районе страны, а во-вторых, – и это, наверное, главное, – приток иностранных туристов почти к самой границе с Китаем может не понравиться могущественному восточному соседу. Правительство Бутана вынуждено считаться с политическими настроениями правительств своих могучих соседей и сохранять деликатный баланс в отношениях с ними. В современном мире Бутан может полагаться только на свои собственные силы, поскольку гуру Рипронче уже достиг статуса Будды и полностью отрешен от земных забот, а других защитников Бутана, наделенных подобной мистической силой, пока не нашлось.

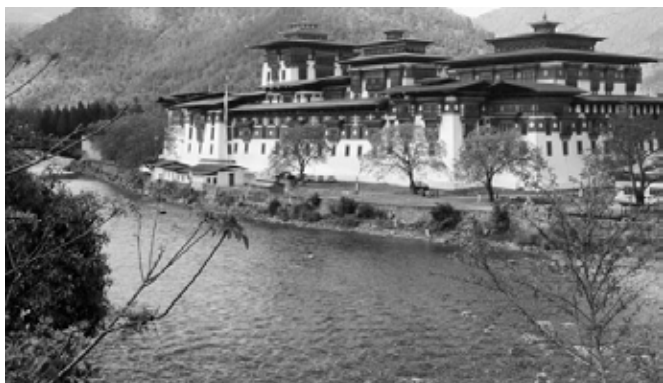
Еще один знаменитый бутанский храм, Джамбэй Лхакханг в Бумтанге, связан общей историей с храмом Курджей Лхакханг в Паро. В VIII веке н. э. Ваджраяна постепенно распространился из Индии на территорию Тибета. Тибетский король того времени Сонгтсен Гампо находился под сильным влиянием буддизма и, чтобы лучше понять его философию, даже взял себе сразу двух (!) жен-буддисток. В приданое одной из его жен, китайской принцессы, входила бесценная статуя Будды-мальчика. Напомним, что в Китай буддизм проник приблизительно на пять веков раньше, чем в Бутан, поэтому неудивительно, что уникальная буддистская реликвия оказалась во владении китайской принцессы. Сонгтсен Гампо задумал поставить статую в столице Тибета Лхаса и на этом месте построить буддистский храм. Но при транспортировке статуя упала в глину, и никто не мог ее оттуда вытащить. К счастью, король немедленно установил причину несчастного случая: в злодеянии была замешана гигантская демонесса, которая нахально разлеглась по всей территории Тибета, включая территорию современного Бутана.

Король Сонгтсен Гампо понял, что только немедленные решительные действия могут усмирить демонессу, и принял единственно верное решение: построить множество храмов по всей территории Тибета и Бутана, дабы пригвоздить необузданную демонессу к земле. В 659 году было начато одновременное строительство ста восьми (магическое священное число в тибетском буддизме) храмов. К сожалению, от этого исполинского проекта в Бутане осталось только два храма, Курджей Лхакханг и Джамбэй Лхакханг: первый пригвозждает левую щиколотку демонессы, а второй – ее левое колено. Сердце демонессы пригвождено построенным – со второй попытки – храмом в Лхасе, и этот храм считается наиболее священным местом всего ставосьмихрамового проекта. Решение Сонгтсен Гампо оказалось правильным: демонесса больше Тибет и Бутан не беспокоила.

Осуществление грандиозного строительного проекта короля Сонгтсен Гампо не только помогло одолеть зловредную демонессу, препятствовавшую распространению буддизма в Тибете и Бутане: рожденный в Индии буддизм – в версии Ваджраяна – лучше всего сохранился именно в Тибете, поскольку индийские монастыри и вся богатая храмовая культура северной Индии к двенадцатому веку была разрушена афганскими захватчиками. Ставосьмихрамовый проект короля Сонгтсен Гампо считается земным отображением Мандалы – небесного круга, по периметру и в центре которого сидят пять Будд. Нирваны можно достичь, если удастся переместиться в центр этого круга и встретиться с центральным Буддой. Если это и возможно сделать, то только после многих попыток. Однако проект короля Сонгтсен Гампо позволяет – теоретически – достичь нирваны в «этой» жизни: достаточно обойти все сто семь храмов вокруг Тибета и закончить странствие посещением сто восьмого центрального храма в Лхасе.

Очень важным монастырем и одновременно крепостью является красивейший Пунаха Дзонг, расположенный в месте слияния двух рек, Мо Чту и Пхо Чту (Мама-река и Папа-река). В Дзонге хранятся останки выдающегося религиозного и военного лидера XVII столетия по имени Жабдрунг Нгаванг Намгял. Точнее, Нгаванг Намгял – это имя, а Жабдрунг – это звание, но в историю он вошел как Жабдрунг. Тибетский лама Жабдрунг нажил внутренних врагов в Тибете и был вынужден бежать в Бутан. В Бутане, благодаря выдающимся талантам организатора и религиозному авторитету, он сумел объединить маленькие, бесконечно враждующие между собой феодальные княжества и стать при-

знанным религиозным и военным лидером союза. Приход Жабдрунга в Бутан был предсказан гуру Рипронче еще в VI веке. Гуру Рипронче предсказал два события: приход человека по имени Намгиал и постройку Намгиалом крепости на месте слияния рек Мо Чту и Пхо Чту. Разумеется, именно так все и произошло через девять веков после предсказания.



Пунаха Дзонг, у слияния рек Мо Чту и Пхо Чту; считается красивейшим храмом в Бутане.

Более того, Пунаха стала столицей Бутана и оставалась ей в течение трехсот лет; именно в Пунаха Дзонг происходила коронация Первого короля и первое собрание Национальной Ассамблеи.

Под руководством Жабдрунга были построены многочисленные крепости-дзонги по всей территории Бутана, которые – после кончины Жабдрунга – помогли отразить несколько тибетских нашествий. Авторитет Жабдрунга был безграничен, и, когда он умер, власти скрывали его кончину в течение пятидесяти четырех лет (!), поскольку совершенно справедливо опасались, что без Жабдрунга местные феодалы немедленно переделаются друг с другом. История повторяется, и через много столетий, в конце XX века, очень похожие события происходили в стране рождения автора, но скрывать кончину лидеров страны в течение пятидесяти четырех лет осиротевшим правительствам все-таки не удавалось. Жабдрунг не только достиг статуса бодхисатвы, но и считается – после Гуру Рипронче – самым значительным святым-бодхисатвой в Бутане. Почти во всех храмах вы можете увидеть изображения или статуи Будды, гуру Рипронче и Жабдрунга. Имя Жабдрунга связано со многими другими городами и монастырями в Бутане: например, главная реликвия монастыря Чери возле Тхимпху – это пепел отца Жабдрунга, перевезенный из Тибета.

Помимо выдающихся религиозных деятелей уровня Жабдрунга и особо заслуженных лам в Бутане очень почитаются *тетроны* – успешные иска-

тели драгоценных буддистских реликвий. Останки самого выдающегося тетрона, Пема Лингпа, также покоятся в Пунаха Дзонг. Бутанский народ глубоко уважает своих святых – даже таких неординарных, как знаменитый лама XVI -XVI веков Друкпа Кунлей, известный также под именем «Безумный Святой». Лама Друкпа Кунлей родился в Тибете, был учеником тетрона Пема Лингпа и, познав премудрости монастырского образования, пустился в путешествия по Тибету и Бутану с целью распространения буддистского учения и буддистских ценностей среди простого народа. В отличие от других лам, Друкпа Кунлей, чтобы упростить сложные буддистские понятия и сделать их более доступными для широких масс, пользовался неординарными средствами, которые казались некоторым его современникам совершенно возмутительными и скандальными. В подходе ламы Друкпы Кунлея самым святым инструментом религии являлся его собственный пенис. Лама бесспорно спал с женами как простолюдинов, имевших неосторожность пригласить его в свой дом, так и авторитетных богатых покровителей; он ввел интересный обычай – мочиться в местах ожидаемого появления демонов, чтобы укрепить свой дух и отогнать беса. Обычай дожил до нашего времени: наш образованный, в совершенстве владеющий английским гид рассказывал нам, что в детстве он боролся со своими страхами именно таким способом. Получив благословение в виде ожерелья, лама Друкпа Кунлей имел обычай вешать его не как положено – на шею, а на свой пенис.



Колесо Жизни

Зато учение Друкпа Кунлей было простым и доходчивым, и принималось в народе гораздо лучше, чем абстрактные рассуждения о таких традиционных буддистских ценностях и философских понятиях, как Сострадание, Пустота, Преодоление желаний, Три категории истинного страдания (Дук-

кха), Непостоянство (Аннича), Отсутствие самости (Анатта), Самопознание, Единое целое как комбинация пяти агрегаций, Колесо жизни, Санкхара как универсальное отображение любой формы во вселенной, Мандала, взаимоотношения между земным Буддой, божественным Буддой и бесконечными и бесчисленными Буддами во всей вселенной, карма и Дхарма, Дхарма как учение Будды и как осуществление Просветления....

Народу во времена странствий ламы Друкпы Кунлея было не до кармы и Дхармы. Народу прежде всего надо было решить насущную практическую задачу: создать защиту от многочисленных необузданных демонов, густо населявших страну в те времена. Поэтому каждый святой человек, способный эту задачу решить, пользовался в народе глубоким авторитетом, и любое средство, которое он употреблял, признавалось важным религиозным символом. А именно в исключительно важной области борьбы с демонами лама Друкпа Кунлей продемонстрировал незаурядные достижения: он успешно усмирил многих свирепых демонов и демонесс, используя несколько однообразную, но всегда успешную стратегию демонстрации своего незаурядных размеров пениса в возбуждённом состоянии. Ни один здравомыслящий демон не мог выдержать этого нечеловеческого испытания, и они все сдавались ламе Друкпе Кунлею без боя. Напуганный демон района Вонг Гомсаркха, недалеко от Тхимпху, даже согласился служить Друкпе Кунлею и за это был благословлен... пенисом ламы.



Такин – национальное животное Бутана

Среди других выдающихся чудес, совершенных ламой Друкпой, особое место занимает сотворение поразительного животного такин. Лама создал такина, укрепив голову козла на туловище коровы. Такин считается национальным животным Бутана, потому что ни в какой другой стране такое чудо-юда

не встретишь. Несколько позже такин был описан в романе Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура».

В честь выдающейся победы ламы Друкпе Кунлей над ужасной демонессой перевала ДочуЛа брат ламы построил в 1499 году неподалеку от поля сражения храм Чими Лхаканг. В самом святом месте храма, прямо напротив изображения Будды и между традиционными клыками слона, находится вырезанное из дерева изображение деревянного фаллоса, которое лама вынес из Тибета и всегда держал при себе во время странствий. Деревянный фаллос, принадлежащий самому ламе, конечно же, является исключительно ценной реликвией и предметом поклонения прихожан. Священный предмет используется также как эффективное медицинское средство лечения от бесплодия. А слоновьи клыки символизируют вечный сон мамы Сиддхартхи Гаутамы (исторического Будды): перед рождением сына ей привиделась близость со слоном.

После 2003 года перевал ДочуЛа стал мемориалом в честь другой исторической битвы – на этот раз битвы бутанской армии, возглавляемой лично Четвертым королем, с повстанцами из индийского штата Ассам. По приказанию королевы-матери, на ДочуЛа были построены сто восемь ступ, чтобы увековечить память погибших солдат.

С легкой руки – или какой-бы там ни было части *физического* тела ламы Друкпы Кунлея – фаллос справедливо считается эффективным средством для отпугивания злых духов; изображения фаллоса, кокетливо перевязанного ленточкой, имеются на стенах практически каждого дома в Бутане. Ни один новый дом не принимается заказчиком у подрядчика, пока четыре скульптуры фаллосов не будут укреплены на четырех углах под крышей дома.

Хотя повсеместное широкое распространение такой нестандартной символики в Бутане может показаться необычным, сексуальные символы всегда присутствовали в буддизме: например, колокольчик и фаллос вместе как символ женского и мужского начала. Можно приписывать разные значения этим символам, но, безусловно, они выходят за рамки чисто сексуальной символики. Так, знаменитая скульптура слияния Будды и его спутницы (консорт Будды) отображает важное понятие буддизма о единстве Сострадания (фигура Будды) и Мудрости (фигура женщины).



Философский диспут в монастыре города Джакар: монахи-студенты подкрепляют аргументы притопами и прихлопами; выглядит убедительно.

Многочисленные изумительной красоты бутанские храмы и монастыри являются не просто частью пейзажа и предметом восхищения туристов. В каждом храме идет (кипит!) активная монастырская жизнь: служба, обучение монахов, обычная хозяйственная деятельность...

Интересно, что буддистский монах не должен заниматься такими прозаическими делами, как приготовление пищи: пищу полагается просить, есть разрешается только до полудня, и еду нельзя запаковать. Но монастыри могут содержать обслуживающий персонал, который занимается хозяйственными и финансовыми вопросами, подобно тому, как в Субботу традиционная верующая еврейская семья может пользоваться услугами «Шабес-гой» (нееврейского мальчика).

Посещение храмов, медитация перед портретами или скульптурами Будды и других святых, визиты к почитаемым ступам, участие в популярных религиозных фестивалях – все это неотъемлемые составляющие жизни в Бутане. Буддизм в Бутане – это даже больше, чем религия; буддистские ценности и понятия пронизывают политические, экономические, культурные, семейные отношения. Многочисленные признаки роли буддизма в жизни страны заметны не только во время посещения традиционных туристских объектов: монастырей, храмов-крепостей, фестивалей...

Вы замечаете эти признаки, беседуя с людьми, читая официальную бутанскую англоязычную газету “Кюнсел”, созерцая многочисленные молитвенные флаги, придающие уникальный вид и без того удивительному бутанскому пейзажу. Буддизм – это образ жизни, и, наверное, нигде это не выражено так явно, как в Бутане, – возможно, потому, что эта маленькая страна была на долгие столетия изолирована от внешнего мира. Глубоко укоренившиеся религиозные верования в Бутане – это только одна из



Молельные флаги. По каждому поводу выбирается флаг специфической формы, размера, окраски...

составляющих, придающих Бутану совершенно уникальный и неповторимый вид. Другая составляющая – это комбинация исторических обычаев и политики. Как в любой другой стране, в Бутане с давних лет развились традиционные исторические архитектура, одежда, танцы...

В большинстве других стран эти традиции в повсеместной жизни были вытеснены более современными. Однако в Бутане исторические традиции тщательно сохраняются и строго регламентируются правительством из опасения потерять национальную самобытность немногочисленного народа.

Бутан населен многими нациями, включая монголов, которые захватили Тибет в XIII веке и, как это ни странно, переняли буддизм и стали его могущественными защитниками. В результате такого смешения многих рас появилась нация мужчин и женщин с очень необычными и привлекательными, не типично азиатскими, но и не европейскими чертами лица. Например, канадка, автор одной из книжек о Бутане, была настолько поражена красотой встреченных ею мужчин, что даже вышла замуж за одного из них. Автору же этой статьи очень понравилась стюардесса нашего самолета, причем ее портрет (изображавший ее в обществе представительного молодого мужчины) был первым, что мы заметили, сходя с трапа! Правда, потом оказалось, что на портрете были нынешний, пятый, король Бутана и его красавица-жена. Но в жены король взял дочку пилота бутанского воздушного флота, так что ошибка, в конце концов, была не так уж велика.

Государственным служащим, студентам и школьниками, а также всем посетителям храмов, если это граждане Бутана, предписывается носить национальную одежду: *кира* для женщин и *гхо* для мужчин. В деревнях люди носят национальную одежду и без правительственных предписаний, но



Портрет королевской четы – первое, что видишь, сходя с трапа самолета.



Стюардесса, как принцесса...

на городских улицах можно встретить людей в одежде любого фасона.

Традиционный стиль строительства в Бутане основан на двух основополагающих принципах: дома строятся, во-первых, без гвоздей, а во-вторых, без архитектурного плана. Когда автор узнал немного больше о бутанском домостроительстве, некоторые его аспекты показались автору достаточно разумными. Например, стены традиционных домов возводятся из прессованной (утоптанной) грязи, так что гвозди действительно не нужны. План тоже не очень нужен, поскольку у строителей имеется большой, накоп-

ленный поколениями опыт. Дома в Бутане предписывается строить в едином стиле: традиционный бутанский дом в несколько этажей выглядит немножко массивным, но надежным, и большинство из домов колоритно раскрашены, разумеется, с традиционными изображениями пенисов и тигриц. Бутанская архитектура может показаться несколько однообразной, но зато люди не живут в жалких хибарах или покосившихся сараях, что часто можно видеть при посещении других стран третьего мира.



Монастырская школа для девочек

Бутанское правительство старается обеспечить всеобщее благосостояние в пределах возможного. Например, государство скупает зерно у крестьян, поддерживает бесплатное обучение в школах и колледжах, посылает студентов учиться за рубеж, полностью обеспечивает жизнь монахов в монастырях.

Поэтому среди местного населения Бутана мы не видели откровенной нищеты. Не видели и трущоб. К сожалению, наемные индийские рабочие на стройках живут в гораздо худших условиях, но они работают не на бутанские агентства или правительство, а на индийские компании, получившие строительные подряды в Бутане.

Сеть бутанских дорог не отличается большой протяженностью и состоит из одного горного грунтового шоссе, пересекающего почти всю страну, а также улиц в нескольких городах. Но религиозные и исторические традиции соблюдаются и на бутанских дорогах. Прежде всего, бросаются в глаза ярко раскрашенные в национальном стиле обычные грузовики.

Несколько позже начинаешь замечать необычные маневры машин при подъезде к ступам: оказывается, подобно пешеходам, водители тоже объезжают ступу по часовой стрелке, прежде чем продолжить путь в нужном направлении! К счастью, в отличие от пешеходов, которые могут обходить ступу много раз (и чем больше, тем, обычно, лучше – главное, чтобы это было нечетное количество раз и по часовой стрелке), машины ограничиваются одним объездом. В столице Тхимпху мы также увидели полицейского-регулирующего дорожного движения! Автор не уверен, можно ли эту необычную картину классифицировать как историческую или религиозную традицию, но она немедленно пробудила сентиментальные воспоминания детства и отрочества о

дяде Степе-милиционере и о регулировщике из поэмы Маяковского «Хорошо» – ненамеренно созданном, но точном, собирательном образе НКВД.

Разумеется, как и все в Бутане, политическое устройство страны тоже уникально. С 1998 года, после того, как четвертый король Джигме Сингье Вангчук ввел выборную Национальную Ассамблею и назначил Совет Министров, Бутан сочетает монархическое правление с выборной демократией при доминирующей роли монарха.

Наследственная монархия была введена в Бутане в 1907 году – Бутан принадлежит к числу самых молодых монархий в мире. Первый король, Угиен Вангчук, был избран советом наиболее уважаемых лам и военных вождей. Угиен Вангчук оказался способным и решительным политиком, сумел быстро расправиться с местными военными вождями, поддерживавшими его политических противников, и консолидировал власть в стране. В то же время он установил хорошие отношения с Британией, в то время обладавшей колониальной властью над Индией, и даже был посвящен в рыцари английской королевой.

Его отцу, *пенлопу* (губернатору) Тронгса Джигме Намгуаль, принадлежит не меньшая роль в объединении Бутана в единую нацию. С помощью хитроумных политических маневров пенлопу удалось объединить в единый союз под своим началом многочисленных местных феодальных вождей в центре, на западе и востоке страны. Джигме Намгуаль вел с переменным успехом войну с Британией, и, хотя в ходе войны Бутан потерял часть своей территории, губернатору удалось сохранить независимость страны. Маленький Бутан – одно из немногих, если не единственное, государство, которое никогда не было завоевано или колонизировано. Безусловно, это способствовало сохранению самобытности Бутана.



Тронгса Дзонг

Во внутренних войнах Джигме Намгуалью очень помогла удачная стратегическая позиция Тронгса Дзонг, крепости, расположенной на высоком холме посередине страны, перекрывавшей единственный путь с запада на восток, что обеспечивало логистический и военный контроль и позволяло взимать торговый налог. Первый и второй короли правили страной из крепости Тронгса; рядом с крепостью находилась башня Тронгса, которая служила наблюдательным пунктом и где хранилась знаменитая Воронья Корона, до сих пор используемая во время коронаций.

В возрасте 50 лет четвертый король, или К4, как любовно называют короля его подданные, отрекся от престола в пользу своего двадцатилетнего сына. В настоящее время страной правит пятый король, К5, но он делит власть с демократически избираемой Национальной Ассамблеей и министрами.

Мы уже упоминали о существовании в Бутане полиандрии – многожества. Многоженство (полигамия) в стране тоже существует как исключение из правила, но исключение очень значительное и заметное. Четвертый король Бутана женился одновременно на четырех сестрах, – как нам объяснили, из политических соображений. Большая королевская семья живет дружно, и сын одной из сестер сейчас правит страной как пятый король. Вся страна с большим пиететом и уважением относится к четвертому и пятому королям и их семьям.

Резиденция К4 и его семьи находится сейчас в столице страны Тхимпху. В первый же день нашего пребывания в Бутане мы встретили короля во время прогулки в горах! Разумеется, мы его не узнали, но наш гид, конечно же, узнал и позднее торжественно поведал нам об этом значительном событии. По его словам, король жестом попросил нашего гида не привлекать внимание к своей персоне. Но в какой еще стране вы можете на прогулке в горах запросто встретиться с королем, да еще и без охраны? Конечно, Бутан – страна с очень низкой уголовной преступностью, и большинство бутанцев обожает своих королей, но ведь это тот самый король, который выселил из страны сто тысяч беженцев в 1990-х годах, лично возглавлял армию в боях против вооруженных повстанцев из Ассама в 2003 году – и вполне может иметь отдельных недоброжелателей! Автор так и не понял, почему король в Бутане гуляет без охраны.

Мы объехали две трети страны, повидали запад и центр Бутана, побывали в столице, в провинциальных центрах и даже в одной бутанской деревне, посетили бесчисленное множество храмов, монастырей и крепостей, встречались и беседовали с приветливыми и доброжелательными бутанцами, – и вот пришел день прощания с этой удивительной страной.

Самолет круто взмыл в воздух; внизу, стремительно уменьшаясь в размерах, оставался маленький аэродром Паро рядом с нашей гостиницей, и окружающие Паро гималайские горы, на склоне одной из которых притулился монастырь Тигриное Гнездо, и пещера, где сохранился отпечаток головы гуру Рипронче; наконец, в поле зрения остались только вершины Гималайских гор, окруживших Бутан – и показался величественный белоснежный пик, возвышающийся над Гималаями – Джомолунгма! – как реальная манифестация мистической горы *Меру*, в буддистской религии – центра физической, метафизической и духовной Вселенных, иными словами – центра Мандалы!

Только немногие просветленные умы достигают центра Мандалы, и те, кому это удастся, достигают статуса будды и постигают нирвану. Большинство из нас вряд ли когда-либо сумеют – в этой жизни или во всех будущих реинкарнациях – достичь центра Мандалы, но с борта нашего самолета МЫ ЕГО УВИДЕЛИ И УЗНАЛИ!

Литературные источники.

1. Личные впечатления
2. Исторические басни и рассказы нашего гида
3. Bhutan, Travel Guide, Lonely Planet, Fifth Edition
4. Jamie Zeppa. Beyond the Sky and the Earth. A Journey into Bhutan, 1999
5. Madeline Drexler . A Splendid Isolation: Lessons on Happiness from the Kingdom of Bhutan, 2014
6. Rieki Crins. Meeting the «Other». Living in the Present, Gender and Sustainability in Bhutan. Eburon Delft, 2008.
7. Professor Malcolm David Eckel , Boston University. Buddhism. Teaching Company audio Course, series «The Great Courses».
8. Sneha Shukla. Bhutan. The Land of Dragon People, Winsome Books India, 2011.
9. Многочисленные и часто противоречивые источники на Интернетe

Юридическая справка-оговорка

Несмотря на обширный список литературы и даже такие надежные источники, как байки нашего гида, данный рассказ не является научным исследованием или историческим очерком и не претендует на абсолютную точность описания исторических событий, основ буддистской религии или хронологическую достоверность дат.

Сан Хосе, Калифорния – Бутан, 2015 год

Александр Трегуб
Редактор: Инна Трегуб



Александр Милитарев

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ



В Америку я впервые попал в 1988 году. Для России странное наступало время – самый, наверное, многообещающий пролет крутой, не известно, вверх или вниз ведущей лестницы русской истории. С материальными благами, как всегда, было туго, зато общественное настроение нагрелось до приподнято-возбужденного. Многие люди моего круга, матерые скептики и пессимисты, попались на удочку исторических надежд и иллюзий. Все шло по анекдоту про клуб веселых и находчивых, который поехал на гастроли в Англию: вернулись одни веселые. Действительно, находчивые уезжали, а веселые, вроде меня, оставались. Помимо невозможности бросить близких, которые по тем или иным причинам уехать не могли, мой резон – потом я, конечно, понял, не по возрасту мальчишеский и дурацкий – всегда был: мы, кто открыто, кто тихо, *им* противостоим. Уехать – значит оставить *им* поле боя. Пусть сами валят хоть в Северную Корею, хоть в Иран.

Как бы то ни было, позиции свои *они* сдавали на глазах. До 1986 сидел я младшим научным в своем отделе языков ИВАНа – Института востоковедения Академии Наук СССР, получал порой приглашения на всякие международные конференции «с дорогой и пребыванием за счет принимающей стороны», но никуда меня не пускали – вряд ли как еврея, скорее как плохо скрывающую омерзение к режиму беспартийную сволочь, а может, про «изготовление и распространение», или как это там у них называлось, и всякие неблагонадежные знакомства знали, где надо. Доходило до меня *из-за бугра*, что начальство, бывало, и отвечало за меня на эти приглашения в том духе, что, мол, не могу я участвовать, ибо не то болен, не то помер, а как-то вместо меня на конференцию ухитрилось послать некую нагловатую девушку с совсем другой востоковедной специализацией, каковая девушка,

сумев каким-то образом зарегистрироваться перед открытием, больше там не появлялась, а все отведенное время, как я догадываюсь, бегала по буржуазным лавкам и *отоваривалась*; догадка подтверждалась тем фактом, что по возвращении девушка долго и успешно приторговывала барахлом в институтском женском сортире, о чем мне докладывали наши дамы.

А в 1986 задул ветер перемен и додул до меня: перевели в старшие научные и выпустили, правда, в ГДР, да и то после того, как мой гдээрровский коллега и какой-то там у себя научный начальник специально приезжал в Москву, чтобы выцарапать у здешнего начальства нескольких человек на организуемую в его институте международную конференцию, которая для него была очень престижной – он там в духе времени сводил ученых разваливавшегося *соцлагеря* и вождя *деленного кап*.

Успешно выступив на этой конференции, я получил приглашение на следующую, уже в Австрию, в Вену. Успехи мои на этой и многих последующих конференциях, где мой доклад ставили на престижные пленарные заседания, а меня сажали руководить секционными, объяснялись просто. Я наивно полагал, что уж раз меня пригласили на конференцию, оплатив пребывание и дорогу, то должен я честно эти потраченные на меня заграничные денежки отработать – внести посильный вклад в мировую науку. Поэтому на любую конференцию я тащил альпинистский рюкзак со всеми своими материалами в картотечных коробках и натренировался с обезьяньей ловкостью вытягивать из них примеры, подтверждающие мою точку зрения на дискуссиях по своему и чужим докладам. Такими ударами ниже пояса я расслабленного оппонента, у которого все источники красовались как дома в книжных

шкафах, так и в служебном кабинете, не считая университетской библиотеки – и не было нужды их таскать на себе (у меня все больше были ксероксы да карточки) – на глазах у охочей до развлечения публики прижимал к стенке.

Толку, однако, в этом было мало. Мне всегда интересно возиться с теми сюжетами в науке, в которые можно внести что-то принципиально новое, пересмотреть рутинные представления, сказать что-то свое, а не повторять чужие зады. Но на конференциях этих ты мог выступить с аргументированной гипотезой о том, что, скажем, земля имеет форму чемодана, ожидая, что после твоего доклада все присутствующие или станут рукоплескать, крича «Гениально! Это же но-вое слово в науках о земле!» или, наоборот, завопят «Ату его! Это неуч и проходимец!». На деле ничего не происходило. Ты действительно мог излагать совершенно новую и вполне рискованную идею, теорию, интерпретацию, подтверждая ее кучей фактов, а тебя терпели отведенные двадцать минут, задавали пару вопросов, часто не имеющих к сути дела никакого отношения, и проводжали вялыми вежливыми аплодисментами – точно так же, как предыдущего оратора, который мог уныло пробубнить что-то вполне тривиальное. Те западные коллеги, с которыми сложились у меня приятельские отношения, говорили: да расслабься ты! Не едут на конференции, чтобы науку двигать. Едут, чтобы развлечься, потусоваться со старыми знакомыми, завести новых, побегать по экскурсиям, выпить на фуршете. Со временем, объевшись всем этим, я к таким поездкам интерес потерял.

Но тогда, первый раз, съездить в Вену было любопытно. Когда все бесконечные бумажки (я придумал для них малоприличный термин "подтирки") на *загранкомандировку* были уже оформлены, вызывает меня *зампокадрам*, а в кабинете его сидит щеголеватый молодой человек и ласково так мне улыбается, а кадровик вокруг суетится, за ручку со мной здоровается с модным тогда идиотским приветствием «какие люди!», извиняется, что, мол, дела и не может присутствовать при нашем важном и наверняка приятном разговоре – и линяет. Ну, в общем, хорошо описанная в самиздате классика: ёкнуло – гебня. Щеголеватый начинает издали, гонит какую-то пургу про престиж советской науки, которую я в его глазах олицетворяю (это я-то – кандидатишка наук и вчерашний мэнээс!), и про его большое к

ней и ко мне, в частности, уважение, и про доверие высоких инстанций, облачающих меня почетной миссией – да-да, именно так, и ни центом меньше! – эту советскую науку представлять на важнейшем международном форуме (да ладно, рядовая говорильня по далекой от политики области), и что сам вот начинал научную карьеру, но по зову сердца...

Кончает какими-то туманными намеками на некую австрийскую даму-китаистку, которую я, с трудом припоминая, мельком встречал у кого-то в гостях, и которая, как их *организация* (организацию так пока и не называет, проницательно полагая, что я сам догадался) подозревает, в Москву катается не просто так, а *с заданием*. И предлагает мне с ней связаться, напроситься в гости где-то в Тироле и там что-то такое с ней произвести – то ли вступить в интимную связь (чур меня! страшная бородавчатая тощая тетка!), то ли сделаться другом семьи, чтобы впредь за ней прислеживать и *организации* об этом рапортовать.

Тут мне стало смешно, и я засмеялся, не удержался. Он, наверное, решил, что это я от удовольствия от открывающихся оперативно-сексуальных перспектив, и тоже заулыбался, сдержанно так... – Ну так как, – говорит, – профессор? – Не-е, – говорю, – не пойдет дело, я люблю пухленьких, да и в Тироль кататься у меня бабок нет. – Да, что вы, – засуетился он, – профессор, – какие бабки, простите, деньги! О чем разговор! Или, – сокрушенно руками разводя, – вы нашей организации не доверяете? – Послушайте, – говорю я, – молодой человек. Во-первых, я не профессор, и не подполковник, которому в кайф, что к нему обращаются «товарищ полковник». Во-вторых, на дворе у нас 1987-й – не те уж времена. Организации вашей, которую вы, кстати, так и не извоили поименовать (тут он мне свою краснокожую книжонку сует под нос), я, увы, не доверяю, и сотрудничать с ней, пардон, не буду. – Но вы понимаете, – забубнил он, – что в этом случае ваша поездка может быть поставлена под вопрос? – Гадить я хотел, – говорю, – на эту поездку. Я еду, потому как меня институт посылает, а мне там делать не хрена – неделю терять! У меня в Москве дел невпроворот. – В том числе митинги посещать антисоветские и враждебную Родине литературу распространять? – обнаруживает он хорошую оперативную подготовку. – В том числе, совершенно точно. Но это еще что! То ли еще

будет! – пугаю я его. На том и разошлись – поездку мне не отменили.

Я это к тому рассказываю, что с каждым годом, месяцем, днем отступали они, отступали! Не думаю, чтоб я такой храбрый был на десять лет, а даже и на два года раньше, хотя были такие люди...

А в следующем году, 1988-ом, случилось еще более удивительное. Эмигрировавший до того в Америку наш коллега Виталий Шеворошкин, ставший профессором славистики Мичиганского университета, организовал в Энн Арборе конференцию, подспудной целью которой было привезти и познакомить с американскими коллегами целую группу лингвистов, представлявших московскую школу дальнего родства языков. В мире нас знали плохо, писали мы в основном по-русски, за границей почти не печатались. Все в родном отечестве числились в неблагонадежных, но, с точки зрения начальства, занимались науками хотя и непонятными, а вроде бы и безвредными.

В качестве сноски: оказалось, что это не так. Я когда-то, в полушутку, придумал классификацию: все науки делятся на вредные и бесполезные, и я рад, что занимаюсь бесполезной. Потом я понял, что и бесполезные могут быть вредными. Устанавливаешь, например, родство языков, что является одной из главных задач сравнительно-исторического языкознания, а потом – это реальный случай, да не один! – полуграмотный нац-идеолог, а то и харизматический вождь N-ского народа, ссылаясь на твою работу, дурно отреферированную его помощником, заявляет: вот, мы и есть родственники по языку, а значит, прямые потомки *по крови* таких-то великих народов – шумеров, аккадцев, египтян, китайцев или этрусков (а кто такие, например, этруски? эт – русские, вона там! А вот образец спесивой придури, но уже еврейской: из чего русское слово «губернатор» происходит? из еврейского *геввер!*), а значит, мы на земле самый древний народ, а значит... Какие бывают последствия, мы видели не раз. Чем ни займешься, что ни напишешь, сколько при этом ни сделаешь оговорок, чтобы быть правильно понятым, всегда найдется злоумышленник или идиот, который все истолкует по-своему.

Так вот, прислал Виталий приглашения, и скоренько выправили нам всем в иностранном отделе Академии наук СССР нужные бумажки, что раньше было немислимо... и пошли они в

Шереметьево, ветром перемен палимые, повторяя «ну, ни х... себе!».

До Нью-Йорка «Аэрофлотом», а потом до Энн Арбора на перекладных добирались весело – все свои (даже стукаря-руководителя нам не подсадили, а формальным руководителем назначен был мирового класса ученый, милейший и порядочнейший человек, Владимир Антонович Дыбо, ныне академик РАН), все в настроении возбужденно-приподнятом. В Энн Арборе нас встретил Шеворошкин, повез всех в университетскую гостиницу, там высадил, а мне почему-то велел оставаться в автобусе, сказав: сейчас вернусь и все объясню. Оказалось, что здешний профессор Омри Ронен, венгерский еврей и один из крупнейших на Западе специалистов по русской литературе, более всего известный как мандельштамовед, попросил кого-нибудь одного из нашей группы поселить у себя дома, и, никого не зная, из списка выбрал, ткнув пальцем, почему-то меня.

Я так думаю, фамилия моя его заинтриговала. Фамилия эта, действительно странная, была придумана и взята моим дедом по отцу, урожденным Шмулензоном. Связано это было как-то с тем, что он, повоевав в германскую войну, попал в австрийский плен, откуда сумел выбраться, и вернулся в свой родной Харьков, где до глубокой старости (с перерывом на две сравнительно недолгие *отсидки* – в тридцать седьмом и пятьдесят втором) работал врачом-геникологом. Отец мой, с которым мама развелась с большими взаимными обидами, когда мне было два года, и которому она не разрешала со мной общаться до моих тринадцати лет, как-то мельком объяснил, что эту милитаристскую фамилию дед придумал почему-то как раз в знак протеста против войны, которая ему сильно не понравилась.

Мне эта мотивация не показалась убедительной, но деда я почти не знал, видел несколько раз всего, и так и не удосужился докопаться до истинной причины такого имятворчества, да и интересовали меня в юности совсем другие вещи. А зря. Не заинтриговала меня в те годы и еще одна семейная история, а именно: что бабка моя по отцу, в девичестве сначала Винарь, а потом, как водится, Винарёва, родом из Сум, приходилась кузиной знаменитому кибернетику Норберту Винеру, а род Винарей якобы восходит к самому Моисею Маймониду. Тогда я пропустил это мимо ушей –

отец любил всякие байки рассказывать, отдыхая от своих хирургических и научных трудов, и не всегда я понимал, когда он говорит всерьез, а когда меня, дурня молодого, разыгрывает, да и кто такой Маймонид, я представлял плохо. Много лет спустя прочел я в интервью Норберта Винера, что родом он откуда-то оттуда и что в их семье сохранялось предание о восхождении к Маймониду...

Наверное, с фамилией Маймонид (Маймонидов? Маймонидкин? Маймонюк?) я бы заинтересовал профессора Ронена еще больше, но и невнятного Милитарева хватило, чтобы очутиться в его гостеприимном доме и прожить там несколько дней, наслаждаясь по вечерам беседой о стихах и многом другом с умным, ироничным и блестяще образованным хозяином и его обаятельной молодой женой.

Конференция прошла живее, чем это обычно бывает, а после нее все мы разъехались по Америке – читать лекции в разных кампусах, о чем тоже позаботился добрейший Виталий, не жалея сил и времени. Время, правда, ему помогало – в самом разгаре был сезон моды на Россию. Сделал он это для создания нам реноме в Америке и какого-никакого заработка в тощие годы разваливавшейся на глазах «Империи Зла». Никакого – прибавил я для красного словца, а на деле получалось, что пятьсот долларов, заработанных за две лекции, по тогдашнему реальному соотношению покупательной способности рубля и доллара примерно равнялись моей пятилетней мэнэсовской зарплате. Как в анекдоте тех времен: Какой нынче сравнительный курс фунта стерлингов, рубля и доллара? – Фунт рублей стоит доллар. Я и русскую народную пословицу тогда придумал: «штука (так звалась в ту пору тысяча рублей) цент бережет».

Прикусим, однако, разболтавшийся язык и вернемся к фокусной теме целеположенного дискурса. Я тоже разъехался по Америке, читая лекции и зарабатывая свои сотни баксов (правильнее было бы «баков», а то избыточно сталкиваются два показателя множественного числа, английский и русский, но язык развивается своими путями, плюя на наше чувство прекрасного, поэтому меня всегда смешили дискуссии о том, как правильно сказать – «носок» или «носков», обострившиеся именно в те советские времена, когда не было ни тех, ни других, а годами донашиваемые приходилось штопать). Баксы непременно надо было везти домой на

прокорм семьи, поэтому, сберегая их, разъезжал я все больше на дешевых междугородных автобусах Grey (или Gray, не помню, можно и так, и так) Hound, что значит «серый (охотничий) пес».

Английский у меня вполне приличный, что-то я, конечно, про Америку читал и слышал, но реалий местных совсем не знал и чувствовал себя даже в американской глубинке Тарзаном в Нью-Йорке, причем, естественно, без его обезьяньей ловкости. По этой причине и по врожденному идиотизму – полной еврейской дезориентации на любой местности, тугодумию и неумению обходить житейские ловушки при редкостном таланте в них попадать, усиленном неважным зрением (очки носить при этом не люблю) и паршивым слухом – я всю дорогу вляпывался во всякие истории, которые потом было весело рассказывать друзьям, а тогда они сильно осложняли жизнь и не давали ей казаться медом. Одну из них расскажу.

Так как в (на?) «серых псах» солидные люди не путешествовали, а транспортировались все больше бедные студенты и *черные*, как тогда считалось политкорректным называть бывших *негров* и нынешних African Americans - *африканских американцев* (меня, привычного в России-матушке к выразительным *жидовским мордам* и *черножопым*, такие лингвистические нежности «не пробивают»), то и серопсовые автобусные станции, как правило, находились в районах с, мягко говоря, пониженной безопасностью. Все американские знакомые меня предупреждали, что надо быть начеку и уж вещи от себя ни на шаг не отпускать.

К вопросу о вещах: мелкие дорожные трудности усугублялись тем, что я, помимо набитого до размеров воздухоплавательного шара абалаковского рюкзака за спиной, таскал в руках два здоровенных советского изготовления чемодана, еще в Нью-Йорке подаренных мне за ненадобностью кем-то из недавно иммигрировавших в Америку московских знакомых. Рюкзак и чемоданы эти, вначале почти пустые, постепенно забивались ксерокопиями всяких вождельных словарей и статей по моим наукам, а также подаренными в честь знакомства книгами и оттисками американских коллег, половина из которых мне была на фиг не нужна, но выбросить дарёное, с трогательными автографами, казалось свинством, и я их пока таскал на себе в качестве балласта.

Ксерокопии я делал иногда платные,

экономя на ланчах-бранчах, а чаще бесплатно – как приглашенному лектору мне в университетах выдавалась карточка на сто, а то и на пятьсот страниц, да еще сердобольные студенты подсовывали свои, недоиспользованные. И было мне легко и приятно простаивать по полдня за чудо-машиной, выпекающей драгоценные листочки – мне, привыкшему в родном ИВАНе к следующей инквизиторской процедуре.

Чтобы отдать на ксерокс три странички – не Гулага! не Хроники текущих событий! а изданной в Москве и в институтской же библиотеке выключенной тобой на полдня научной книги, – ты должен был собрать с полдюжины подписей у гребаного начальства, которого всегда нет! всегда на совещании! Самое главное было – получить подпись и печать в таинственном, за стальной дверью, Первом Отделе. А уже потом, с подписанными бумажками в руках, надо было мести хвостом перед ксерокописткой, чтобы сделала сегодня, а не через неделю. (Но впустую надрывались отцы-инквизиторы – в Первом Отделе секретаршей, подписывавшейся за разленившегося гебоидного начальника, сидела у нас тайная подруга моего коллеги и друга, а в ксерокопировальню мы внедрили негласную подружку другого друга – и время от времени таки шлепали с большой осторожностью самиздат).

Над чемоданами этими я трясся, как Скупой Рыцарь. И вот где-то, не помню где, подъезжаю я как-то вечером к назначенной мне станции автобуса, откуда я должен взять такси и ехать ночевать в пустой дом американских знакомых знакомых знакомых с оставленным для меня под половичком ключом. Предупредили: район у станции нехороший – подметки срежут на бегу! карты к орденам! Таща чемоданы (рюкзак – что! рюкзак на горбу легок), выбираюсь к хайвею и многозначительно опускаю долу большой палец. Где-то я вычитал, что так американцы останавливают машины, чего никогда впоследствии не наблюдал – и вид у меня, наверное, был настолько идиотский, что за полчаса ни одна сволочь не остановилась, а может, тут им и не положено было. Я начал тосковать и потащился, естественно с чемоданами, не говоря о несъемном рюкзаке, в станционный зальчик, чтобы у кого-нибудь спросить, как тут раздобыть такси. В зале никого, но кто-то есть в кассе. Подхожу – прехорошенькая мулатка, мило так, вроде бы не дежурно, улыбается мне, спрашивает

по уставу: May I help you, sir? Я в ответ, улыбаясь несколько вымученно, так как устал весь день по автобусам мотаться и такси ловить, спрашиваю, не посоветует ли она, как мне взять кэб. Она долго не понимает вопроса – не слов, а смысла. Наконец, спрашивает: вы (или ты: при всем очень неудобном неразличении этих местоимений в английском, по интонации и смешинке в глазах это было скорее «ты») нездешний? Разве не видно? – отвечаю. Она смеется: очень даже видно. А откуда? – Из Москвы. – А-а-а, Маскоу Раша, знаю-знаю! У моей рум-мейт прошлый, нет, позапрошлый бой френд – рашн. Он и под меня клинья подбивал. – Это, – говорю, – вандерфул и нам, русским, мейкс кредит, но как все-таки быть с кэбом? – Иди, – отвечает, – вон к той двери, выйдешь из нее, а за ней телефон, там кэб и возьмешь. – А придет когда? Этого вопроса она опять не понимает, бестолочь. Ну да ладно, может у меня английский такой... слишком литературный. Благодарю, получаю в ответ простонародное «нет проблем» и лихо несу чемоданы к двери в противоположном конце зала – волочить через силу неловко, все-таки дама смотрит. Выхожу, все правильно, телефон. И тут соображаю: идиот! А номер? Куда я звонить буду? А эта поганка, думаю, не могла сама мне сказать – видит же, с чемоданами кантуюсь... Ничего не поделаешь, хватаю их, гадов, и тащусь обратно в зал. Говорю: простите, мэм, но вы забыли указать номер телефона, по которому мне надо позвонить. Она, сияя белоснежной американской улыбкой, спрашивает: мой? Да не твой, не твой, – почти кричу я, злясь, что так себя загонял из-за науки этой чертовой, что драйва нет взять телефон у хорошенькой женщины, остаться на вечерок... А какой тогда? – несколько, как мне кажется, разочарованно, спрашивает она. – Как какой? Заказа такси! Видно, тут я ее уморил. Она вздыхает и говорит: не надо никакого номера – у этого аппарата даже кнопок нет (чего я, конечно, не заметил, придурок), снимите трубку, и вам ответят. Поднимаю, тащу, выхожу. Собираюсь снять трубку и вдруг с ужасом понимаю, что я не знаю, что ответить на естественный вопрос: куда подать кэб, сэр? Не знаю адреса этой чертовой автобусной станции. Не помню, куда сунул паршивую бумажку с описанием, на какой станции мне сойти – да и как бы я это длинное описание пересказывал по телефону? Кто меня станет слушать? И обреченно плетусь опять с чемоданами к кассирше, уже даже не сгорая – обуглившись со стыда. Она, похоже,

уже все про меня поняла. Что я – не наркоман, не псих и вообще не опасен. Но и для развлечения бесперспективен. Просто дикий человек фром Маскоу Раша. И на очередной дикарский вопрос «а адрес?», смеется кассирша нервным смешком и, явно дразнясь, спрашивает: мой? – Увы, к сожалению, не твой, – запоздало и уныло извиняюсь я за немужское свое поведение. – Станции... – Иди, – говорит девушка печально, как при расставании после бурного и незабываемого романа, – и сними трубку. И больше ничего-ничего-ничего не говори. И сюда больше никогда-никогда не возвращайся. И не забудь свои факанные сыют-кейсы.

Я легко подхватываю чемоданы и выхожу на свежий ночной воздух. Снимаю трубку, молчу, ничему не удивляюсь. Минута проходит, и около меня притормаживает такси. Я слышу вежливый голос: разрешите уложить чемоданы, сэр?

А последняя история, которой надо бы завершить мой первый, запоздалый и затянувшийся рассказ... Она – о странной, двоящейся, *суггестивной*, как назвал бы я ее в далекой романтической юности, и незабываемой встрече с Бродским. Я люблю многое из его поэзии, мы пели под гитару его «Пилигримов» в семидесятых, а в восьмидесятых читали его вместе с подрастающей дочкой и радовались его Нобелю, но никогда я не думал, что встречу его живьем и удостоюсь разговора и еще чего-то другого, о чем ниже.

По возвращении из разездов по Америке в Нью-Йорк, где перед отлетом в Москву предстояло провести нашей группе несколько дней, поселился я у своего старинного, еще по аспирантуре, приятеля Володи Козловского. Познакомились мы с ним, как водится, на «картошке» – неотъемлемой части нашей советской жизни и моей, в частности. Гоняли меня в колхозы-совхозы лет с шестнадцати и вплоть до бесславного конца советской эпохи – часто в промозглом октябре, где жили мы в неотапливаемом бараке, какой-нибудь заброшенной деревенской школе с дырявыми окнами, где слабый пол за несколько недель зарабатывал цистит, сильный – пневмонию, а третий, сильно пьющий и самый многочисленный, всю лечился от безобидной простуды. Правда, работая в ИВАНе, мое белковое тело само себе выбрало такой способ существования: месяц в году колхоз, раз десять за год – овощная база, еще одна молодецкая забава юных и совсем не юных физиков, филологов, пианистов и хирургов

(последним двум категориям с их чувствительными пальчиками это было особенно кстати – после сельхозработ из строя они и, соответственно, их слушатели и пациенты выбывали на месяц). За это, по молчаливому джентльменскому соглашению с относительно вменяемой частью партийно-отдельского начальства (будем объективны – имелась и такая), меня не *дергали* выступать на политсеминарах. «Картошка» была обычной начальственной показухой и бестолковщиной, проку от нее было чуть, но многие ездили не без удовольствия – выпить по-холостяцки и поболтать с умными людьми, которых собиралось как козлов нерезаных. Лично я к этому относился как к подневольной и бессмысленной барщине, но люди там, действительно, попадались интересные, а с некоторыми отношения сохранились на многие годы. Среди них были Володя Козловский. Закончив Институт стран Азии и Африки МГУ и поступив в аспирантуру ИВАНы писать кандидатскую по сикхизму (это такая религия в Индии), находился он тогда в стадии перелома от комсомольско-советского к антисоветскому взгляду на страну и мир, и я, как *старший товарищ*, с тринадцати лет этот режим ненавидевший *зоологически*, его в этом направлении, еще, наверное, слегка подтолкнул нашими опасными беседами в пасторально-навозном деревенском пейзаже.

По молодости решительный и склонный к приключениям, Козловский свои новые взгляды бросился очертя голову воплощать в жизнь и скоро стал одним из самых деятельных активистов диссидентского движения. Со своим блестящим английским он легко общался с иностранными корреспондентами и посольскими, получал и раздавал рюкзаки тамиздата, знал и открыто передавал по телефону на Запад из своей коммуналки у Никитских ворот правозащитные новости – кого, где и куда посадили, у кого вчера случился обыск, какой демарш предприняли евреи у синагоги и кто в лагере держит голодовку. Часто его сопровождал почетный эскорт – пара гебёных машин. Когда Володю совсем обложили, он на всякий случай *подал* по израильскому *вызову*, но делу ходу не дали, и бумаги его где-то лежали до поры. Пора настала перед знаменитым приездом Никсона в Союз весной 1972-го. Власти срочно расчищали площадку как от «сионистов», так и от «демократов», чтобы не омрачить визит высокого гостя нежелательными эксцессами

(которые, конечно же, готовились): кого в кутузку, кого выслать из столицы, кому сделать *серьезное предупреждение*. По чьему-то хитроумному решению, Козловский удостоился высылки на Запад — вспомнили, что он *в подаче*, срочно испекли разрешение на выезд и ультимативно выпихнули. Улетел он одним рейсом с Александром Аркадьевичем Галичем, нашим любимым бардом, два домашних концерта которого — из них один в моей коммуналке у Покровских ворот — я помогал организовать (моя мама, любительница и знаток театральной и музыкальной классики, сказала потом, что это было самое сильное эстетическое впечатление за всю ее жизнь).

На проводы в козловскую коммуналку пришли многие известные московские диссиденты и *отказники*, а всего там за день перебивало, по моей прикидке, человек четыреста. Почтила его и *контора*: судя по тому, что за нами с женой увязалось четверо *топтунов* — и мы долго петляли по метрополитену и трамваям, чтобы оторваться — их было в два раза больше, чем гостей.

Попад в Америку, Козловский стал там едва ли не самым известным и плодовитым из русскоязычных журналистов, в перестроечные и первые ельцинские годы регулярно публиковался в московской периодике и много лет работал — и сейчас, по-моему, работает — на «Би-Би-Си». Но все это было потом. А в первые годы в Штатах Володя писал и как-то ухитрялся переправлять в Москву многостраничные письма, напечатанные на допотопной пишущей машинке без полей и пробелов. Эти письма ходили по Москве, а то и по стране (я и сам возил их в Питер и еще куда-то), перепечатывались и зачитывались до трухи. Как известно, куча народу тогда стояла перед нелегким выбором: ехать или не ехать? (Сам высокочастотный русский глагол этот приобрел в те годы и в определенной среде специфическое значение, которое можно было не уточнять обстоятельствами времени, места и образа действия — как глагол *сидеть*. Или как местоимение *они*.) А если ехать, то куда? Козловский был — и, наверное, ощущал себя — в каком-то смысле послом этой среды, хотя и назначенным пожизненно и безвозвратно, но обязанным отчитываться пославшим его о увиденном и услышанном. Многие, конечно, ждали от него рекомендаций или хотя бы намеков: ехать или нет? как там в Америке? Ответов, пусть и не прямых, искали в письмах не столько на

вопрос о том, какие там для приезжих бонусы и бенефиты, и даже не о том, можно ли найти работу и какую, а скорее: не летален ли психологический шок (все знали про самоубийства нескольких известных эмигрантов и про депрессию многих)? не станешь ли чужим быстро адаптирующимся детям? есть ли там круг общения? складываются ли отношения с американцами? И о тому подобной прагматической чепухе, вопросы о которой неправильны, потому что не имеют ответов.

Трезвый Козловский, понимая, чего от него ждут, на подразумеваемые вопросы не отвечал, зато очень живо и подробно описывал свои приключения и впечатления. Как самое яркое, мне запомнилось такое: он звонит в нью-йоркскую телефонную справочную и просит дать ему телефон офиса *of The Communist Party of the United States of America*. Телефонная барышня непривычно долго возится и, наконец, говорит виноватым тоном: *Spell it, please, sir* — По буквам, пожалуйста, сэр.

— Господи, — думалось, — неужели есть на свете такие благословенные края, где эта пакость даже у справочной телефонистки не на слуху?

Вот у этого Вовки Козловского, с которым я не виделся больше пятнадцати лет, я и прожил несколько дней в Нью-Йорке. Он же еще и устроил мне пир духа, сосватав в книжный коллектор то ли «Имки-пресс», то ли «Посева», где разрешалось бесплатно взять с собой по экземпляру любого *тамиздата*. Чего там только не было! и из того, что мы дома раздобывали, читали и перепечатывали на «Эрике», и из того, о чем только слышали, и того, про что и понятия не имели. Я набрал две большие сумки, еле доволок. А потом долго стоял витязем на распутье: от чего избавиться, чтоб влезть в дозволенный Аэрофлотом вес — от ксероксов по науке, от дарёных книг с лестными авторскими посвящениями или от антисоветчины, которую могли — да не могли *не!* — отобрать на таможне? Не у Козловского же оставлять — у него и так квартира забита книгами под потолок, да и не уверен я был, что доведется опять побывать в Америке (был потом раз сто, а еще позже так жизненные обстоятельства сложились, что и поселился в Нью-Йорке). Выбросил лестное, а антисоветчину на таможне пропустили — другие времена!

В первый же вечер потащил меня Володя в знаменитый «Русский самовар». Сидели мы там, выпивали-закусывали, и вдруг он говорит: пойдем,

я тебя с Бродским познакомлю. Я не настолько чувствителен, чтобы падать в обморок, но, если честно, то сердцебиение у меня пошло сильное, хотя тахикардией никогда не страдал.

Подошли к столику. Бродский сидел в одиночестве почему-то. Володя меня представил. Иосиф пригласил сесть и очень дружелюбно и даже заинтересованно стал расспрашивать: откуда, в связи с чем здесь, чем занимаетесь? Я расслабился, все было мило и несколько буднично, как будто не с Бродским самим я сижу, выпиваю и разговоры разговариваю. И вдруг, узнав, что моя область – древние ближневосточные языки и культуры, он начал нести какую-то несусветицу про то, что письменность возникла в пятом (или восьмом, не помню) тысячелетии до нашей эры в Китае, и знаю ли я об этом, и как к этому отношусь. Если бы не был я под легкой мухой, я бы, наверное, ушел от спора, перевел бы разговор на что-то, что мне гораздо важнее было услышать от Бродского, чем благоглупости про происхождение письма. Но я под ней был, как, очам видно, и Бродский, и ввязался в бессмысленный диалог – дословно передать не берусь, но примерно такой:

– Иосиф, это никакими серьезными доводами и фактами не подтверждено, уверяю вас!

– Саша, да вы просто не в курсе дела!

– Ну что вы, Иосиф, это же моя профессия!

– Но вы не китаист!

– А для этого не надо быть китаистом – письменность возникла в Передней Азии!

– Ай, слушайте, это – устаревшее представление!

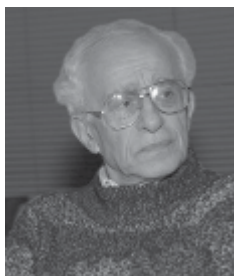
И так далее в том же духе. Тут мне померещилось вдруг, что сидит передо мной не великий русский поэт, петербуржец, американский профессор и нобелевский лауреат, а старый ворчливый местечковый еврей – вроде бы даже легкий акцент послышался. К местечковой еврейской истории я отношусь как к родной – все мои предки вышли из местечка, но Бродский! Довольно сухо мы распрощались...

А через несколько дней, распрощившись уже и с Америкой, собралась наша команда в аэропорту JFK – лететь родным Аэрофлотом в Кафкин Китеж, домой. Постояли, как водится, в очереди, зарегистрировались на рейс. Подходит время вылета – ничего не происходит. А в зале ожидания, кроме нас, – несколько старушек российских, старик на костылях с орденами во всю

грудь, мамы с колясками. Ждем час, два, три, четыре. Никто ничего не объявляет, аэрофлотовская стойка давно опустела, американские служащие с соседних стоек к нам подходят, извиняются за коллег, руками разводят виновато, чаем-кофием поют. Атмосфера накаляется, вспыхивает естественный слушок, что посадили на наш рейс вместо нас каких-то сучьих делегатов, кто-то их вроде даже и видел.

Наконец, объявляют посадку – очень скоро! в другом терминале! И вот бежим мы гурьбой, как бурлаки на Волге, задыхаясь и потя, таща на себе и волоком за собой сумки с книгами-ксероксами, коробки с компьютерами-принтерами, подарки своим и посылки чужим (а там детские вещи, лекарства, даже еда какая-то, даже курево – в Москве с этим хреново). Мои чемоданы и рюкзак особенно оттягивает антисоветчина – вот она, месть большевицкая! – и я слегка отстаю, но продолжаю свой медленный спринт. Наконец, добираюсь до движущейся дорожки, лежащего эскалатора, или как он там у них называется – у нас такого не было, ставлю чемоданы, отираю с морды пот, медленно ползу по азимуту. И вдруг ощущаю на плече чью-то руку. Оборачиваюсь, рука соскальзывает с плеча, и обалдело вижу, что уплываю по дорожке от Бродского, который стоит, улыбается и чуть машет мне рукой. Откуда он тут? Тоже куда-то едет? Провожает кого-то? Разве провожающих сюда пускают? Или у нобелевских лауреатов пропуск? А свет падает так, что он оказывается как бы в сиянии, как бы в нимбе и постепенно растворяется в некоей дымке. Я таинственных явлений на дух не переносу и мистику любую – каббалу-шамбалу, нумерологию-астрологию, суфизмы-исихазмы – оставляю психам, жулью и заигравшимся эстетам. Ну, в лучшем случае, даже, возможно, вполне достойным персонажам, но которые от меня дальше марсиан. И ничего ТАКОГО там, конечно, не было.

Но этот свет...



Борис Бернштейн

О ФРИДЕ



Я для начала хочу напомнить известное. Мы познакомились с Фридой первого сентября 1939 года. В этот день впервые открылись для учеников двери только что построенной новой школы Столярского, где должны были процветать и получать шлифовку музыкальные таланты одесских детей, весьма склонных – в ту пору – к плодотворным музыкальным занятиям. Школа была прекрасная, но я не об этом, я – о дате.

В те утренние часы, когда на залитом утренним солнцем асфальте перед триумфальной аркой, стягивающей новый фасад, собирались и кучковались музыкально одаренные ученики, колонны немецких танков вторгались в Польшу на нескольких направлениях сразу. Тогда, ровно тогда, когда ко мне подошла незнакомая девочка и сказала: «Я тебя знаю, ты Боря Бернштейн», в мире завязывалась первая битва Второй мировой войны. В ночь на первое число группа немецких эсэсовцев, переодетых в польскую форму, атаковала немецкую же радиостанцию в Глейвице; так был сфабрикован повод для немецкого вторжения.

Наше знакомство, таким образом, было синхронизировано с началом одной из самых страшных катастроф в истории человечества, с величайшим кризисом самой человечности. Нельзя сказать, чтобы человечности так уж везло в другие исторические эпохи. Тут следует говорить скорее о количественных характеристиках.

Микроскопический масштаб индивидуальных судеб несоизмерим с великими историческими потрясениями. Но что делать, если дело идет о твоей собственной судьбе?

Мы быстро подружились. Я в тот год много и опасно болел, а летом и вовсе чуть не умер. Аппендицит, перитонит, гангрена... Хирург-виртуоз, доктор Шварц спас. А на следующий год, в девятом классе, наш юношеский роман разгорелся в полную силу. Мы и в классе сидели за одной партой – парты

в школе были двухместные.

Знаете, с каким чувством при таком раскладе ты бежишь ранним утром в школу? Когда ты знаешь, что проведешь половину дня с девушкой, чье присутствие доставляет тебе радость. Ты еще проводишь ее после уроков до ее дома, у вас будет о чем беседовать...

Фрида была пятерочница кругом, других отметок в ее дневнике не бывало. При этом она вовсе не была той передовой, модельной отличницей, пай-девочкой, которых недолюбливают соученики. К учению она относилась серьезно, а давалось оно ей легко. Так же было с музыкой.

Музыкально мы принадлежали к разным и, надо полагать, конкурирующим лагерям. Учительницей Фриды была Эмилия Григорьевна Чоп, ассистент профессора Марии Митрофановны Старковой, Я принадлежал к лагерю профессора Берты Михайловны Рейнгальд, меня учил ее ассистент Зигмунд Ильич Зильберг. Рейнгальд и Старкова были знамениты, их юные ученики Эмиль Гилельс и Яков Зак стали победителями международных конкурсов; в те времена это расценивалось как яркое свидетельство преимуществ социализма, и обе учительницы были награждены орденами. Различие школ на наших с Фридой отношениях никак не отражалось. Фрида относилась к учительнице с большим пиететом, а Эмилия Григорьевна поощряла серьезность и вдумчивость ученицы. Когда той было задано сочинение молодого Шумана «Бабочки», она, разучивая музыкальный текст, сразу же заинтересовалась художественным контекстом, литературными творениями Жана-Поля Рихтера, вдохновившими Шумана; заглянула в музыку зрелого Шумана – туда, где в полную силу будут развернуты образы, впервые намеченные в «Бабочках»... Случалось, что наши музыкальные задания оказывались совсем рядом: я начал разучивать первую часть третьего фортепианного

концерта Бетховена, когда ей было задано учить вторую и третью части. Такая дополнительность.

В моей влюбленности была некая странность. Я совершенно никак не осознавал, что девушка хороша собой. Она меня привлекала, с нею было удивительно славно, но так называемые «внешние данные» не играли тут никакой роли. Так мне казалось. Только спустя годы я опомнился, глаза открылись – и я однажды сказал себе: «Болван, у тебя же прелестная жена!»

А тогда все было просто и без эстетических обертонов – это была Фрида, и я в нее влюбился.

ТОЛЩИНА ВРЕМЕНИ

Так вот, в девятом классе мы уже делили парту, первую – если считать от учительского стола – в третьем, ближайшем к двери ряду. Получалось, что мы довольно много времени проводили вместе.

Зимние каникулы тогда тянулись недели две. Это было скучно, но ничто не мешало нам встречаться помимо школы. В последний день каникул, 12 января, я перед вечером заглянул в знакомый дом на Большой Арнаутской. Коммуналка, в которой Приблудам принадлежали аж две комнаты, располагалась на четвертом этаже. Куда в тот вечер девались родители и младшая сестрица, мне не вспомнить. Они куда-то девались, мы были вдвоем. О чем-то разговаривали, что-то там обсуждали, сюжетов было достаточно. А потом – это было в большой комнате – мы оба замолчали. Фрида сидела на отцовском письменном столе. Молчание было насыщено электричеством. И тогда я подошел к столу и обнял ее за плечи. И она положила голову на мое плечо. И так мы молчали дальше.

По-видимому, я был сентиментальным мальчиком. Или сцена располагала к сентиментальности. Или то и другое вместе. Словом, в этом волшебном молчании я о чем-то думал. Я хорошо помню, о чем. Я думал: «На всю жизнь».

Конечно, это была такая себе юношески романтическая иллюзия, мечта, хрустальный замок неопределенной архитектуры. Сколько было таких школьных романов, ставших позднее смутным воспоминанием. Я знаю о нескольких. Но вот поди ж ты: оказалось и впрямь на всю жизнь. Не мечта, а прогноз. Или мечта-прогноз. Так и получилось, на всю длинную жизнь: если взять от сентября 1939-го до декабря 2014-го, то получится семьдесят пять лет. Да и сейчас...

Двенадцатого января. Этот наш вечер,

который был для нас полон значения, о котором помнили только мы двое во всем мире и о котором я впервые рассказываю – этот вечер в потоке глобальных событий был микроскопичен до совершенной неразличимости. Полезно посмотреть, что же происходило в это самое время в других местах, более, так сказать, исторических.

Скажем, в Кремле. В Кремле – скорее всего, именно в то время, когда я обнял Фриду – тов. Сталин проводил важное совещание с ведущими военачальниками Советского Союза. «Журнал посещений И. В. Сталина» показывает, что вождь любил принимать нужных людей по вечерам. В тот вечер ему нужны были военные.

2 – 8 и 9 – 11 февраля, вот только что, нарком обороны Тимошенко провел важные военные игры, где были смоделированы действия Красной армии в ближайшей войне. В воздухе пахло порохом, Вторая мировая война более года свирепствовала в Европе, а в Германии, воодушевленной эффектными победами на европейском театре военных действий, уже был разработан план нападения на Советский Союз, план «Барбаросса». Оперативно-стратегические игры в Москве репетировали быстрое и победоносное нападение советских войск, которое должно было завершиться полным разгромом противника – гитлеровской Германии. Оборона в этой репетиции не была предусмотрена вообще. Ближайшие события того же 1941 года покажут, что оборону не отрабатывали зря. Так вот, вечером 12 января тов. Сталин проводил разбор учений и давал важные руководящие указания.

Такова удивительная и неподвластная уму синхрония: судьбоносное молчание двух юных влюбленных и судьбоносные решения властителей вмещаются в одно и то же время – мы тут, на Большой Арнаутской, а они там, в Кремле. Но то, что они там решают, нависает над нами еще неведомой нам тяжелой грозовой тучей. Мы об этом не подозреваем – и счастливы.

* * *

Стихотворение Анны Ахматовой, написанное за неполный год до того:

Стрелецкая луна. Замоскворечье... Ночь.
Как крестный ход, идут часы Страстной Недели...
Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь.

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы;

Бориса дикий страх и всех иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.

Апрель 1940
Москва

Подписался бы под каждым словом, если бы
это не походило на плагиат.

И тогда было верно, и сейчас. Синхрония
диахронии, времена складываются.

* * *

В те времена мы были комсомольскими активистами. Такими нас делала среда: духовная атмосфера, пропаганда, школа, организации, захватывавшие и формировавшие еще бесформенное сознание с раннего детства, наконец – семья. Мой букварь открывался разворотом, вмещавшим два портрета, на весь лист каждый. Под левым было подписано: «Вожьд русской революции ЛЕНИН». Под правым – «Вожьд русской революции ТРОЦКИЙ». Повторю: портреты были одинакового размера. Дальше уже начиналось вечное МАМА МЫЛА РАМУ... Я выучился читать в четыре года. Вскоре мне предстояло стать октябреньком. Моего согласия не спрашивали, но если бы и спросили, я вряд ли бы возражал. Потом меня примут в пионеры (первоначальное значение слова «пионер» мы узнавали значительно позже, из чтения неканонической литературы), а как только стукнет четырнадцать – стану комсомольцем. Такое же поступенное восхождение к высотам проделывала Фрида – избежать сакральной тропы не мог никто. Разве что сын какого-нибудь князя, или там белогвардейца, купца первой гильдии или заядлого кулака... Но это не про нас.

Впрочем, о семье надо поговорить отдельно. Мое социальное происхождение (так это называлось) было, я предполагаю, не вполне чистым, а поскольку было хорошо известно, что социальное происхождение определяет сознание и социальное поведение человека, к нашим с Фридой семейным обстоятельствам стоит присмотреться.

Согласно неопровержимой теории, надежное и заслуживающее доверие социальное происхождение должно было быть пролетарским. Если бы мои деды были рабочими на каком-нибудь заводе, или фабрике, или шахте, на меня бы падали отблески их пролетарского, т. е. революционного и прогрессивного сознания – и власть могла бы на меня положиться. Но ни у меня, ни у Фриды

такой стерильной родословной не имелось. Дед Бернштейн, чтобы как-то содержать обширную семью, занимался мелким предпринимательством, к которому у него не было таланта. Он содержал лавчонку, содержал прачечную – и с течением времени неизменно прогорал. Но дети как-то росли и даже становились на ноги. Дед Приблуда содержал книжную лавку. Там же продавались писчебумажные товары; уровень интеллигентности был несколько выше, но занятие было все равно купеческое. Чем занимался дед Фриды по материнской линии, Рехтман, я и вовсе не знаю.

А вот чем занимался мой дед по материнской линии, Герш Фишер... Это интересный вопрос. Я не знаю, чем занимался дедушка Фишер. Когда я спрашивал об этом у мамы, она, как-то неопределенно глядя в сторону, говорила: «Он был маклер». Мама врать не умела, а мой вопрос почему-то ставил ее в затруднительное положение. Что такое маклер, мне не было известно, а мама не была настроена входить в детали. Так и оставалось. Только существенно позднее я стал догадываться, что дед был человек весьма состоятельный. Об этом свидетельствовали дорогие вещи, осколки бывшего благополучия, остававшиеся у наследников. Дед смог дать детям образование: один мой дядя стал врачом, другой – инженером, тетка окончила высшие женские курсы и преподавала географию и биологию, мама окончила консерваторию, а когда у нее было замечено начало туберкулеза, дед отправил ее в Швейцарию, где она лечилась и вылечилась совершенно... Часы фирмы «лонжин», приобретенные тогда, мама сняла со своей руки и надела на мою, когда я уходил в армию в 1942-м году – как некий талисман. Возможно, он и вправду меня охранял...

Еще позднее я убедился, что социальное происхождение действительно задает политические предпочтения: со временем стало ясно, что мои тетки, мамыны сестры, советскую власть на дух не переносят. Правда, у них были и другие, не социально-генетические основания: их младшего брата, Даниила, красные расстреляли по ложному доносу еще в начале 20-х, а Якова, видного инженера – ни за что, ни про что в 1939-м.

Тут я подхожу к сути дела. Нам, детям, эти настроения не передавали. Так было в нашей семье, так было, мне кажется, в семье Приблуд, так было во многих интеллигентских семьях, нам известных. Запрет на трансляцию оппозиционных настроений взрослые мотивировали нежеланием сеять в юных умах двоедушие, внутренний раскол,

разбалансированность сознания. Но, скорей всего, это был не единственный мотив. Еще им было просто страшно. Дети есть дети, где-нибудь сболтнут... Один эпизод остался у меня в памяти.

В декабре 1936 года была принята новая советская конституция, которой дали имя сталинской. Газеты, радио были полны соответствующих восторгов. Надо же было – как раз в это время я решил вести дневник. Разумеется, это был мой частный дневник, до него никому не было дела, а потому я держал его в тайне. Записывал я туда всякие свои мысли. И вот, как самостоятельно мыслящая личность двенадцати лет от роду, я счел необходимым отразить в дневнике историческое событие. И я записывал примерно нечто такое: «Все говорят о новой конституции. Я не знаю, лучше она или хуже других конституций...» Каково завернул, а? Ну, и далее в таком себе нейтрально-критическом духе. Тетрадочку я тщательно прятал.

Тем не менее через несколько дней мама меня подозвала. Тетрадка была у нее в руках. Это была, конечно, не *fair play*, я мог бы и протестовать. Но на маме лица не было. «Боренька, – сказала она дрожащим голосом, – что ты тут написал? Зачем?»

Я изорвал тетрадку и прекратил вести дневник.

Словом, мы оба, и я, и Фрида, были идеологически стерильны. Если к этому добавить присущую нам в те времена общественную активность и высокую успеваемость (это тогда считалось), то не следует удивляться нашей с нею общественной биографии: уже в восьмом классе Фрида была избрана председателем школьного «учкома» (была такая демократическая институция), а я – ее заместителем, а в девятом я стал секретарем школьной комсомольской организации, а Фрида – моим заместителем. Сколько времени мы проводили вместе!

Это был образцовый школьный роман, и он украсил замечательные месяцы нашей жизни в школе Столярского. А мировая история тем временем скатилась к глобальной катастрофе, где нам было отведено место жертв.

* * *

Хава Моисеевна с двумя дочерьми бежала из Одессы морем. В августе по суше эвакуироваться было уже невозможно. Я провожал их на Большой Арнаутской; за ними приехал нанятый грузовик и они, взяв какие-то чемоданы с вещами, уехали в гавань. Абрам Соломонович был на военном учете, и его не отпускали. Позже в военкомате заметили, что

он очень близорук и стрелять в захватчиков не может. Его отпустили. В конце концов он чудом разыскал жену и дочерей – и они соединились.

Вскоре настала наша очередь. Завод имени Октябрьской революции, на котором работал отец, вывозили на грузовом пароходе «Фабрициус». Функционер завода, который руководил погрузкой, Холодов по фамилии, был человек тертый: работников завода он сажал на пароход бесплатно, но за взятку сажал также и их родственников. Так с нами вместе на «Фабрициуса» погрузили тетку Раю, мамину сестру, с мужем, профессором медицинского института, и маленькой дочкой Лилей, и тетку Аню, вдову маминого брата Исаака, с дочерью Надей (которой предстояло в ближайшее время стать вдовой – ее муж погиб под Севастополем) и маленькой внучкой Реной, и маминого брата Абрама с женой Зюной. За каждого родственника благородный функционер с завода Октябрьской революции брал взятку в размере тысячи тогдашних рублей. Если вспомнить, что это была цена жизни, функционер Холодов брал недорого. В конце концов, он совершал незаконную сделку и мог быть за нее наказан; следовало на этот случай хоть как-то застраховаться. Не у всех членов нашей обширной семьи нашлись такие деньги, но бездетный Абрам, который всю жизнь копил, помог. Мы загрузились в товарный трюм – и «Фабрициус» отправился в плаванье вокруг Крыма, чтобы высадить нас в Мариуполе.

Когда «Фабрициус» швартовался у мариупольской пристани, я увидел на берегу Фриду. Она встречала каждый пароход в надежде, что на каком-нибудь привезут меня. И меня привезли. Два или три дня мы снова были вместе, пока родители выясняли, как и куда двигаться дальше. Пути снова расходились – завод имени Октябрьской революции должен был следовать в Ростов-на-Дону, чтобы там слиться с родственным заводом Ростсельмаш. Приблуды еще оставались в Мариуполе.

Далее конспективно: первая надпись, которую мы увидели в Ростове, указывала, где бомбоубежище. Надо было бежать дальше. Мы – вместе с частью семьи – направились на Северный Кавказ, в село с чарующим названием Благодарное, где дядя Яша, профессор-эпидемиолог, получил должность начальника санитарно-эпидемиологической станции. Вот мы в Благодарном, снимаем какое-то жилье, а я даже в школу отправляюсь, так как начался учебный год. Папа находит какую-то работу...

Но война не допускает передышек: немцы

берут Ростов-на-Дону и нависают над Северным Кавказом. Призывают в армию дядю-медика и назначают флаг-эпидемиологом Черноморского флота в чине капитана первого ранга (то бишь полковника); их семья отбывает в Батуми, захватив с собой Аню, Надю и Рену. Мы бежим из Благодарного и вливаемся в многотысячный поток беженцев, которых, говорят, Сталин велел быстро убрать с Северного Кавказа ибо здесь теперь будет фронт. Махачкала, гавань, грузовой пароходишко, который с грехом пополам перевозит нас через Каспийское море, Красноводск, поезд, который везет нас неведомо куда по просторам Средней Азии и выбрасывает на никому до того не известной станции Багдад только не в Ираке, а в Ферганской долине. Оттуда – в узбекский колхоз с затейливым названием «Игермаилык Октябрь»¹. Остановка.

Оттуда начинаются взаимные разыскания. Каким-то чудом мы узнаем с помощью общих знакомых и специального розыскного агентства (такое было создано в городе Бугуруслане), что Приблуды в Ташкенте, получаем адрес и восстанавливаем связь.

ФРИДА В ТАШКЕНТЕ.

Тут я должен сознаться в непростительной оплошности, которую мы допустили, когда в 1967 году наконец получили человеческую, отдельную – отдельную! без соседей! только для себя! – квартиру в новом районе. На радостях и в спешке мы забыли в подвале старого дома, где хранилось топливо и всякие ненужные вещи, драгоценный чемодан. Когда опомнились и помчались за ним, было поздно: новые жильцы выбросили чемодан на помойку, и след его простыл. В чемодане были письма: моя переписка с родителями, переписка Фриды с родителями, наша с Фридой переписка, наша переписка с родственниками и друзьями... Короче: семейный архив. Если бы хоть часть его – важнейшая часть – была под рукой, я бы мог рассказать много всякого, чего уже в памяти сейчас не наскрести.

Приблуды сняли некое пространство для биологического выживания. Это был фрагмент экзотического среднеазиатского жилого сооружения, небольшая комнатуха на втором этаже, под которой располагался хлев. Если на полу чего-нибудь

настелить, то умещалась на ночь, хоть и тесновато, вся семья. Ночью хорошо было слышно, как там, внизу, печально вздыхал ишак. Отец семейства лихорадочно искал какую-нибудь работу. Между тем и это суперишачное гнездо не было надежной гаванью: Ташкент был переполнен, и избыточное население начали насильственно расселять по сельским районам. Такое расселение гарантировало расселяемым относительно быстрое переселение и в лучший мир, а властям – облегчение забот. Ситуация была отчаянная.

И вот тогда – как говорится, в один прекрасный день – отец семейства, вернувшись в надхлевье после безрезультатной беготни по городу, сказал исторические слова. Фрида, сказал он, ты можешь нас спасти.

И Фрида их спасла.

В тот день Абрам Соломонович узнал, что в Ташкент эвакуирована Ленинградская Консерватория и что там объявлен набор студентов на первый курс. Если бы Фрида поступила, она и с нею ее семья получила бы прописку, т. е. право проживать в этом городе.

Идея была утопической: консерватория была высшим учебным заведением, куда принимали соискателей с законченным средним специальным (т. е. музыкальным) образованием. Подобное образование давали музыкальные училища и специальные школы типа школы Столярского. Но Фрида не успела окончить школу, она окончила только девять классов из десяти! И на руках у нее вместо требуемого диплома была стандартная ведомость с отметками за девятый класс. В этой ведомости, правда, были одни пятерки, да что с того? Закон есть закон.

Тем не менее Фрида отправилась поступать. Где-то нашли знакомых, в доме которых было безнадежно разбитое старое пианино, и она часами вспоминала выученное и приводила в порядок руки, которым свойственно терять технику, если ты не играешь. А затем она отправилась в консерваторию и сыграла экзамен так, что ее приняли на первый курс без законченного среднего образования. Ее приняли – с условием, что в течение первого курса она параллельно сдаст все экзамены за десятый класс средней школы. И она это сделала. Заодно она спасла семью. Приблудам разрешили прописку.

Хочу, чтобы вы представили себе, чего это стоило. Консерваторские занятия требуют полной и целодневной отдачи. Несколько часов в день

¹ В своей книге «Старый колодец» (см. примечание на стр.152) Б. М. Бернштейн приводит перевод этого названия: «<Колхоз> имени двадцатилетия Октября». (Прим. ред.)

надо проводить за инструментом. Инструмента нет. Можно заниматься в консерваторских классах, но они перегружены. Поэтому она занимается по ночам – ночью можно захватить свободный класс. А уроки и лекции – днем. И еще надо сдавать за десятый класс. Кушать, между прочим, особенно нечего, все живут впроголодь. Ночует теперь она на сцене: консерватория предоставила ей койку в общежитии, это, конечно, прогресс, но логово, в числе еще полусотни тесно расставленных коек, располагается в зрительном зале дома культуры; сцена будет ее домом в течение всех ташкентских лет, а ближайшие соседки по сцене останутся ее близкими друзьями на долгие годы.

Можно ли это рассматривать как начало сценической карьеры?

Вот так, дорогие мои внуки, ваша семнадцатилетняя бабушка продолжила восхождение к сияющим вершинам музыкального искусства.

* * *

Теперь пора поговорить о том, как высоко она ставила планку взыскательности к учебе и к самой себе.

На первом курсе она попала класс к профессору Рензину. Ей хватило недолго времени, чтобы понять, что ей нужен другой учитель. И она выбрала себе другого – с очень высокой точностью. Им стала профессор Ольга Калантаровна Калантарова, продолжательница замечательной пианистической традиции Петербургской консерватории. Родоначальником этой традиции был Теодор Лешетицкий, профессор Петербургской и Венской консерваторий. Традицию продолжила его ученица (и одно время жена), великая пианистка Анна Есипова; одной из ее учениц (и женой ее сына) была Ольга Калантарова. Фрида хотела быть причастной к этой замечательной эстафете пианистического мастерства. А брат она умела.

...Когда мы были уже года два-три женаты и жили студенчески-супружеской жизнью в десятиметровой комнатухе на Лиговке, Фрида стала мне давать уроки фортепианной игры. Она задала мне выучить «Тридцать две вариации Бетховена. Ее выбор не был случайным: в классе нового профессора именно с этого произведения началось ее посвящение в тайны школы.

Фрида, видимо, верила в мою чрезвычайную одаренность и была нетерпелива. Она останавливала меня на каждой ноте, добиваясь сразу «есиповского» совершенства. После нескольких уроков стало

ясно, что дело идет к разводу. Я предпочел сменить учителя.

А она – тогда, в Ташкенте – выдержала трудное послушничество, и это окупилось сторицей. Калантарова руководила развитием новой ученицы, а текущие занятия доверила своему блистательному ученику, Исеру Слониму, который стал ей ассистировать, будучи еще студентом. Это он позднее, а конкретно – 11 ноября 1945 года, велит нам отправиться в казенное заведение, где нас объявят мужем и женой и официально зарегистрируют наше новое гражданское состояние. Такие вот педагогические методы были у этого Слонима...



О.К.Калантарова и И.И.Слоним. Разлив. 1947 г.

А мы тем временем выбираемся из ферганской долины и направляемся в степи Алтая, куда загнали завод имени Октябрьской революции... вы замечаете, как мы окутаны революцией – и завод, и колхоз, куда ни кинет тебя судьба, везде выходит на одно!

Так вот, наша дорога лежит через Ташкент, Фрида нас встречает и помогает нам ориентироваться в топографии и бюрократических лабиринтах разбухшей узбекской столицы.

Еще одно свидание!

Теперь мы расстанемся надолго. Остаются только письма, бессмертные военные треугольники (конвертов нет как нет). Так, в порядке взаимной переписки, мы будем беседовать, пока я буду заканчивать школу в Рубцовске, проведу более года в военном училище в Томске, окажусь в 33-м ОУДРОА МУЛ ВЗАКА в Москве, а затем, вместе с тем же ОУДРОА, в селе Троицком, километрах в сорока от Москвы... В конце 44-го года Ленинградская консерватория будет возвращаться в освобожденный от блокады Ленинград. Меня известят об этом в подробностях, я буду знать, когда эшелон проедет

через Москву.

Но Фрида могла до Москвы не доехать.

Музыкантов – среди них были бывшие и будущие лауреаты конкурсов и просто выдающиеся исполнители, композиторы, теоретики – не баловали роскошью: им подали в основном грузовые вагоны, теплушки. Война ведь. Ну что же, теплушки так теплушки, возвращаемся в Ленинград, это главное! А к теплушкам мы привычные, чего уж там.

Путь из Ташкента в Ленинград неблизок, тянутся дни и ночи в неспешном движении состава, идущего вне расписания. После пересечения Волги начинаются пугающие странности: пассажиры некоторых вагонов теряют самообладание, начинают вопить, метаться, рвать на себе одежду, несколькими удаётся на полном ходу выброситься из поезда, кто-то разбивается насмерть. На ближайшей станции эти вагоны очищают, людей госпитализируют. Полностью излечить их уже не удастся.

Расследование показало, что для перевозки людей были поданы вагоны, в которых только что перевозили крайне ядовитые вещества. Вагоны не только не дезинфицировали, их даже не проветрили. Нужны ли вам комментарии? Или сами?

Фрида была в другом вагоне, чистом.

Будь она там, вас всех на этом свете не было бы вовсе. Ибо у тех, кто там был, дети и внуки не появились. Если говорить по-научному, там образовалась небольшая по тем временам демографическая воронка. А если по-человечески...

Итак, я знал, когда и куда должен прибыть эшелон – и стал отпрашиваться у командования, не скрывая, что хочу повидаться с любимой девушкой. Замполит, то есть заместитель командира ОУДРОА по политической части, старший лейтенант Кобылянский, редкая скотина, хотел запретить, но командир ОУДРОА, инженер-подполковник Гудиш, его как-то уговорил. Я на попутных машинах добрался до Москвы, кинулся на Казанский вокзал, а там дошагал до пригородной станции, куда должен был прибыть эшелон. Жду, жду, жду... вот он! Ну! Эшелон равнодушно и неторопливо проезжает мимо, не останавливаясь! Я начинаю бежать за ним, благо он плетется медленно. Люди из эшелона рассматривают бегущего рядом с поездом лейтенантика не без интереса.

В конце концов этот сволочный поезд притормаживает и останавливается. Я состязался с ним целый перегон! Я выиграл!

И из поезда появляется Фрида, она-то меня узнала. Пассажиров отпускают часа на три. Боже

мой, в нашем распоряжении целая вечность! Мы добираемся до Казанского вокзала, спускаемся в метро, находим свободную мраморную лавочку, говорим и не можем наговориться. Три часа, естественно, проходят куда быстрее, чем им положено; поезд уезжает. Но Ленинград все-таки ближе Ташкента, а война идет к концу.

Да, Ленинград был куда ближе Ташкента – и летом сорок пятого года, когда в консерватории наступили каникулы, Фрида приехала ко мне в поселок Троицкое, в ближнее Подмосковье, в деревянный дом над оврагом, где я снимал комнатку в два окна у старухи-хозяйки. Мы впервые были вместе, вдвоем.

Рай в шалаше длился недолго. Ни с того, ни с сего меня вызвали к начальнику штаба, который, не объясняя ничего, велел взять обходной листок, собирать вещи, прощаться с ОУДРОА (это подразумевалось) и как можно скорей явиться в Москву, в распоряжение штаба МУЛ ВЗА КА. Ну что же, на Дальнем Востоке еще шла война.

Вещей было немного; на следующий день мы с Фридой на попутном грузовике отправились в Москву, она – к родной тетке, супруге могущественного партийного босса, а я – в штаб МУЛ ВЗА КА на Смоленскую площадь.

* * *

Реальность обманула мои ожидания. На Дальний Восток меня не направили. Это, оказывается, было повышение по службе; меня, младшего лейтенанта, назначили на майорскую должность: я стал одним из полудюжины помощников начальника отдела боевой подготовки Лагерь.

В качестве жилья удалось снять угол за ширмой у какой-то другой старушки, московской. Фрида укрылась у тети Сони, сестры отца.

Тетя Соня заслуживает нескольких персональных строк. Тетя Соня подхватила braveго большевика Тарасова в вихрях Гражданской войны. Или это он подхватил ее, революционно настроенную еврейку из Балты... Заслуги Тарасова перед советской властью были несомненны, социальное происхождение безупречно – и когда в тридцатые годы пришла нужда перестрелять интеллигентных и грамотных большевиков, настало время сталинских выдвиженцев тарасовых. Моя информация начинается с того момента, когда он был первым секретарем измайловского обкома партии, а потом рязанского. Или наоборот, рязанского сначала, а потом уж измайловского. И там, и там он

с чем-то не справился, провалил какие-то планы или заготовки. Но выпасть из обоймы руководителей он не мог по определению – и его направили учиться в некое высшее партийное образовательное заведение. Тут мы и застаем его в его ученической московской квартире – многокомнатной, отдельной (отдельной!), со всеми тогдашними удобствами, в доме времен позднего советского конструктивизма.

Как только мы оказались в Москве, Фрида сочла нужным представить меня высокой родне. Мы добрались туда в будний день, примерно к часу дня. Тетю Соню мы застали в постели. Фрида присела на краешек кровати, я скромно устроился на стуле в углу. Такая диспозиция сохранялась до конца визита. Поначалу беседа не представляла для меня особого интереса. Видно, вельможная тетя была плохо осведомлена о состоянии еврейской родни, и Фрида обстоятельно отвечала на ее расспросы. А Зуля? А Яков? А Рашель?..

Я терпеливо пересаживал фамильный обзор в своем углу. Наконец семейная тема стала иссякать. И тогда тетя Соня, махнув подбородком в мою сторону, спросила: «Ну, а этот?» Этот, как видите, хорошо запомнил партийный способ знакомства.

Тем не менее, поскольку у Фриды не было выбора, и она остановилась у тетки, меня пригласили в воскресный день на семейный обед. Там я сподобился увидеть самого Тарасова. Разок в жизни мне все-таки удалось пообедать с видным деятелем Коммунистической партии. В течение всего обеда он нес образцовую ахиною, одобренную редкой тупости шуточками. Эти управляли страной: научившись, он занял очередной пост председателя Комиссии Партийного Контроля Украины. Далее не знаю. Теряется след Тарасов...

* * *

Моя должность в штабе МУЛ ВЗА КА оказалась непыльной: надо было время от времени посещать части, расположенные в окрестностях Москвы и проверять, как там обстоят дела с боевой подготовкой. Вернувшись в Москву, надо было описать результаты проверки в специальном донесении. После чего в штабе на Смоленской делать было решительно нечего. И мы с Фридой гуляли по Москве. И так – пока ей не пришло время возвращаться в Ленинград: начинался учебный год.

А меня ждали другие приключения.

Осенью сорок пятого наш Лагерь стали расформировывать за ненадобностью. Мне был предоставлен отпуск; я собрался на Алтай посетить

родителей, которых не видел с момента окончания училища, – тогда, в декабре сорок третьего они приезжали в Томск, чтобы повидаться со мной.

Я выбрал замысловатый маршрут – через Ленинград. Подруга Фриды уступила нам на эти несколько дней комнату в самом центре города, на углу Невского и Садовой, там, где позднее расположилась знаменитая гомеопатическая аптека. Утром последнего дня моего гостения в Ленинграде нас пригласил к себе на завтрак Ися Слоним – произошло упомянутое выше событие: во время царского пиршества, состоявшего из кислой капусты, небольшой пачки печенья и чая, Слоним заявил, что вот сейчас мы поедим в ЗАГС и зарегистрируем наш брак. И мы его послушались.

В тот же вечер я сел в поезд и отправился в дальнейшее путешествие, в конце которого мне предстояло сообщить родителям, что я женился. Фрида известила своих в Ташкенте письмом. Письмо кончалось словами «я счастлива».

* * *

Описание заграничного странствия, увенчавшего мою армейскую одиссею, можно опустить; оно имеется в другом месте.¹ Вот кратчайший конспект исключительно ради связности повествования.

После расформирования МУЛ ВЗА КА меня посылают в Северную Группу Войск (СВГ) для прохождения дальнейшей службы. СВГ располагается на территории Польши, а командует ею маршал Рокоссовский. СВГ велика, обширна и многолюдна, но в ней не находится штатного места для одного младшего техника-лейтенанта, специалиста по пушкам и приборам зенитной артиллерии. Ну нету, все занято, зачем посылали из самой Москвы – неясно.

В конце концов мои странствия по Польше заканчиваются самым неожиданным образом, и это благодаря запасной специальности, приобретенной в детстве: меня нанимают на должность «нотного пианиста» в ансамбль красноармейской песни и пляски сорок третьей армии. Вот, дети, а вы ленились заниматься музыкой, которая может выручить в самых трудных или абсурдных жизненных ситуациях! А их, ситуаций, между прочим, полно... Играйте этюды, разучивайте гаммы, дети, не плюйте в колодец, пожалуйста!

В ансамбле я застряну до августа сорок шестого.

¹ См.: Борис Бернштейн. Старый колодец. СПб. Изд. им. Н. И. Новикова, 2008 г. (Прим. авт.)

Опять переписка, опять дорогие треугольники на адрес полевой почты с аккуратной печаткой «проверено военной цензурой». Суровые и бдительные военные цензоры первыми читают ласковые слова, адресованные не им. Черт с ними мы, которым эти слова адресованы, тоже их читаем и бережно храним.

* * *

19 августа 1946 года демобилизованный воин прибыл в город-герой Ленинград. Это историческое событие прошло незамеченным: подгадила, как тогда бывало, правящая партия. Спустя несколько дней во всех газетах было опубликовано постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», которое стало первым актом идеологического террора послевоенных лет. Мы тоже его не сразу заметили, ибо для нас двоих куда важнее было другое событие: я демобилизовался и приехал в Ленинград жить!

Как восхитительно написал когда-то один мальчуган в школьном сочинении — «с б ы ч а м е ч т».

СБЫЧА МЕЧТ!

Вот я явился, шинелька через руку, черный чемоданишко, супруг, к своей законной жене, в место ее постоянного проживания, а то куда же? Этим местом было женское общежитие Ленинградской Ордена Ленина Государственной Консерватории имени Римского-Корсакова и располагалось оно прямо в здании консерватории, на Театральной площади, на чердаке. Проживали там, разумеется, только девушки, но не все еще вернулись после летних каникул, и для демобилизованного воина нашлась временно пустая койка.

Счастье счастьем, но пресловутую квартирную проблему, всегда жгучую в условиях победившего социализма¹, надо было срочно решать.

Мой багаж был скромн: немецкая настольная лампа, которая будет служить мне еще в Таллинне, запасная гимнастерка да пара белья, и подарки жене: комплект шелкового, совершенно заграничного нижнего белья и две тетрадки нот — клавиры обоих фортепианных концертов Брамса в превосходном лейпцигском издании. Где я их взял — не помню, хоть убейте. Купил? Нашел?

¹ Проблему четко зафиксировал диавол, посетивший Москву еще в довоенные времена, как это показано в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита». (Прим. авт.)

Но было у меня еще нечто: куча денег, моя зарплата, которую мне во время заграничной службы на руки не давали. Рублей там было тысяч 15-16 тогдашних денег; такой суммы я до того никогда и не видывал. На эти деньги мы купили десятиметровую комнатуху в коммунальной квартире на Лиговке (это было нарушением советских законов, но соблюдая все советские законы, выжить было невозможно), рояль (да, не пианино, а рояль!), кое-какую еще одежду для Фриды... На оставшиеся мы, хоть и задним числом, устроили свадебный пир для друзей (большой винегрет, кагор!) — и стали жить да поживать. Фрида продолжала учиться в консерватории, я проник в университет, мы оба немного подрабатывали (музыкой, дети, музыкой!), ибо надо было как-то питаться. Вот так мы стали жить да поживать в 1946 году. Здорово, да?



* * *

В левом верхнем ящике моего письменного стола, в удобной (американской!) картонной коробке, сложены всякие документы. В одной пачке — мои, в другой — Фриды. Ее пачка населена гуще: папа-юрист приучил ее хранить всякие справки, ибо неизвестно, что может потребоваться и чего могут потребовать. Мой отец тоже был пуганый и тщательно хранил все казенные бумаги, но моя пачка говорит скорей о беззаботности собирателя.

Там, у Фриды, среди прочего: свидетельство о рождении, справка о работе на ташкентском заводе «Подъемник» (она еще и там успела немного поработать!), свидетельство о браке, консерваторский диплом, справка о работе в Ленинградской консерватории в должности концертмейстера, характеристика, подписанная проф. О. Калантаровой, приказ о переводе в Таллинскую консерваторию, профсоюзный билет, трудовая книжка, документ

«Аттестационное удостоверение» о присвоении высшей профессиональной концертмейстерской категории и, соответственно, высшей концертной ставки, свидетельство о присвоении почетного звания Заслуженного деятеля искусств, пенсионная книжка, членский билет организации преподавателей высших учебных заведений Universitas, членский билет Таллинской еврейской общины, последняя характеристика, подписанная ректором Таллинской Консерватории...

Долгая и полнокровная частная, социальная и творческая жизнь скукоживается до небольшой пачки бумаг, завернутой в старый, надорванный пластиковый мешочек. Это несправедливо.

Почитаем некоторые, используя популярный некогда метод *close reading*, пристального чтения. Ну, навскидку.

Диплом с отличием, выданный в 1947 году Ленинградской Ордена Ленина Государственной Консерваторией. (Два Ленина в названии из четырех слов не смотрелись тогда излишеством: существовали слова, от повторения которых во рту становилось слаще). Там, в дипломе, одни пятерки. Поэтому он – «с отличием». Но я знаю секрет, который теперь можно разгласить – времена изменились, да и мы теперь живем в свободной стране. В этом дипломе одна пятерка липовая.

Изученные (на отлично) студенткой Фридой Бернштейн дисциплины перечислены в следующем порядке:

Фортепиано.

Основы марксизма-ленинизма.

Политэкономия.

Обязательный орган.

Камерный ансамбль...

Далее идут другие музыкальные науки.

Так вот, третью по порядку и по важности для дипломированного музыканта дисциплину, политэкономия, Фрида не изучала и не сдавала вообще! В неразберихе, сопутствовавшей переезду из Ташкента в Ленинград, ей удалось как-то пропустить сакральный предмет. А когда выписывали официальный предмет, какая-то добрая душа в консерваторской конторе не стала заморачиваться и вписала недостающую пятерку. Так и осталось: Фрида не разбиралась в политэкономии капитализма, а политэкономия социализма познавала только эмпирически. Впрочем, из жизни тоже можно было извлекать серьезные эмпирические уроки.

Как известно, научную политэкономия капитализма разработал немецкий ученый Карл

Маркс. Именно ее тщательно штудировали в советских учебных заведениях. Но в советской стране капитализма уже не было; для новой и невиданной экономической системы требовалась своя теория. С этим было плохо, недаром бабушка уклонилась от прохождения курса – там царила научная неопределенность. На другом от бабушки полюсе социалистического социума этим озаботился товарищ Сталин. Последний классик марксизма-ленинизма не мог оставить область социалистической экономики, образующей самый что ни на есть базис общественной жизни, без незыблемого научного обоснования. Но это случилось в 1952 году, когда Фрида окончила цикл образования. Именно тогда увидел свет последний труд классического марксизма – «Экономические проблемы социализма в СССР».

Когда Маркс писал «Капитал», ему больше нечего было делать, он сидел себе в Британском музее и изучал, мыслил и фиксировал. Получилось два толстых тома. У тов. Сталина была масса других забот: надо было управлять великой страной, бдительно следить за соратниками, направлять революционное движение во всем мире, помогать национально-освободительным войнам, а тут еще подвернулась трудная задача окончательного решения еврейского вопроса в СССР – Гитлер оставил незавершенку... Словом, в отличие от увесистых томов первого классика, у тов. Сталина получилась тоненькая брошюра, на 43 странички всего, и это было хорошо, политэкономия социализма легче было изучать.

Наука, как известно, открывает законы природы и общественного развития. Выяснилось, что при новом общественном строе могут появиться новые, невиданные ранее законы. Таким оказался Закон планомерного и пропорционального развития народного хозяйства. Неумолимое действие этого закона продолжалось, естественно, после смерти его открывателя и привело в конечном счете к экономическому краху и политическому развалу пространства, где закон родился из марксистской пены.

С другой стороны, социализм вовсе не отменял классические экономические законы, открытые еще Марксом. Таков был основополагающий экономический закон – закон стоимости. Как показал тов. Сталин, этот закон отменен быть не мог, но действовал в ограниченной сфере. В ограниченной сфере, понятно? Коммунисты этот закон, как говорится, оседлали.

Социалистическую ограниченность закона

стоимости, честно говоря, можно было не изучать специально. Фрида могла заметить – и замечала – его действие не столько через посредство экономических штудий, сколько через обстоятельства практической жизни.

Миновали годы после появления реферируемого труда, и Фрида стала блистательным мастером своего цеха. (Мы еще поговорим об этом в другом, внеэкономическом контексте, а пока что применительно к закону стоимости.) Вот она стала известным в стране концертмейстером, получила почетное звание «Заслуженного деятеля искусств», ее ученики стали ее партнерами и были отмечены высшими тогда почетными званиями «Народных артистов СССР», на их концерты сбегались знатоки и любители вокального искусства Москвы, Ленинграда и других столиц... И, о, высшая почесть, им случалось услаждать слух высоких и очень высоких партийных начальников! Ну, в конце концов, те ведь тоже люди. Случалось спеть и для тружеников Старой площади!¹ Там, после художественного пиршества, гостеприимные хозяева щедро угощали артистов в своем служебном буфете, где самые редкие деликатесы стоили копейки. Вот место, где закон стоимости был жестко ограничен.

Можно привести и другие наблюдения. Я уже упоминал (в названной ранее мемуарной книге), как на съезде художников в Кремле, оказавшись членом редакционной комиссии, я попал в буфет с обильным, на редкость вкусным и полезным питанием, которое предназначалось для президиума съезда и партийных пастырей; там вообще все давали бесплатно, вот так, хватай не хочу, накладывай еще, еще, еще! Потом говори лакеям спасибо, вставай и уходи. А я, наивный, не зная толком о социалистических интерпретациях закона стоимости, почти ничего там не съел! До сих пор не могу себе простить.

Можно было бы многое еще рассказать на эту тему, но мы ведь заняты совсем другим. Это не более чем попутное замечание о том, как Фрида на жизненном опыте компенсировала пропущенные лекции и семинары по политической экономии. Теперь можно вернуться к пристальному чтению строчек ее диплома.



* * *

В дипломе после специальности, фортепиано и сакральных предметов марксистского цикла первым стоит «обязательный орган». Слово «обязательный» создает ощущение принудительности. Возможно, для кого-то так оно и было. Но для Фриды возможное расширение профессиональных знаний и умений было внутренней необходимостью. Я хорошо помню, что помимо обязательного органа она брала курс необязательного, факультативного органа. Хотела много знать и многое уметь. В ее профессиональной жизни ей, кажется, на органе позднее играть не приходилось. Но для профессиональной культуры занятия органом были значимы, этого достаточно. На фотографии вверху органист, профессор Исая Александрович Брауде сидит, сложив руки на груди, в первом ряду первым слева. В консерватории он славился своими экстравагантными чудачествами. Я сам, помнится, видел его поспешающим по консерваторскому коридору на урок в зимней шапке-ушанке с одним ухом, задранном кверху, и другим, свисающим вниз... Но дело знал блистательно, играл прекрасно и очень по-своему и учил хорошо. Через одну персону от него, сложив руки на коленях, сидит Ада Григорьевна Шнитке, читавшая студентам курс анализа музыкальных произведений. Фрида преклонялась перед ней, восторгалась ее аналитическим мастерством и считала ее одним из важнейших своих учителей.

¹ Для невежд: на Старой площади располагался высший орган реальной власти – Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. (Прим. авт.)



На этой фотографии в центре сидит профессор Елена Осиповна Брик-Ирадова, тогда – заведующая кафедрой камерного ансамбля. На студенческом сленге – «Бричка». Значение Елены Осиповны для профессиональной судьбы Фриды трудно переоценить. Сложилось так, что Фрида – вслед за мной – переехала в Таллинн. Мы об этом еще поговорим. А пока напомним, что там в конце концов она стала работать с вокалистами. Лучшие из ее учеников стали выдающимися оперными и концертными певцами, а она оставалась их помощницей, своего рода тренером, и партнером в концертных выступлениях. Вокальные вечера Хендрика Крумма, Ану Кааль в московском Зале Чайковского, в Большом и Малом залах Ленинградской филармонии, в Киеве, Свердловске, Кишиневе, Одессе, Барнауле... Фрида была за роялем, она аккомпанировала.

Существует обывательское представление, будто аккомпаниатор – он и есть аккомпаниатор: поет певец, солист, а пианист подыгрывает, поддерживает басами и украшает финтифлюшками. На деле, в серьезной музыке, все не так. Солист и концертмейстер – это нераздельный ансамбль, они вместе, в тончайшем взаимодействии творят единое и неповторимое музыкальное событие. Это кобзоны могут чаровать профанов под фонограмму. В музыке, как высоком искусстве, настоящий концертмейстер – на вес золота, ибо, повторяю, их взаимодействие с солистом – это ансамбль, участники которого равны и достойны друг друга.

Вот где школа Елены Осиповны Брик пригодилась в полной мере. Ибо музицирование в ансамбле это не $a+b$, не механическая сумма, а новое органическое целое, там действуют свои законы. В общей теории систем (есть такая) сформулировано одно из главных правил, «правило неаддитивности» или «правило эмерджентности»: качества системы

несводимы к сумме качеств составляющих ее элементов. У системы появляются другие, новые качества. Так вот, ансамблевая игра – это сложная система, которая творится исполнителями. Фрида прекрасно знала, как это делается.

Моя похвала Елене Осиповне, которую Фрида поминала всегда с величайшим пиететом и любовью, не должна быть понята как пренебрежение другими учителями. Фрида умела брать, а Ленинградская консерватория тех лет могла предложить многое. Не знаю, как сейчас. Времена меняются....

Конечно, важнейшее место в ее профессиональном формировании принадлежит Исеру Слониму, по-тогдашнему – Виссариону Исааковичу. Вот они сидят, изможденные, после исполнения дипломной программы, куда входит Первый концерт Чайковского и еще уж не помню что, много всякого...



Когда началось этническое очищение Ленинградской консерватории, Слонима и его жену, замечательную пианистку Зельму Тамаркину, выдавили из родной институции. Их швыряло по консерваториям великой страны – они преподавали в Новосибирске, в Ташкенте, в Петрозаводске, где Слоним заведовал фортепианной кафедрой. В конце концов они покинули любезную сердцу, но неблагодарную родину ради другой, исторической, и стали профессорами Иерусалимской консерватории. Там, в их квартире, мы с Фридой гостили, когда посетили Иерусалим.

Да будет им пухом израильская земля.

ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 176, КВ. 10.

По этому адресу располагалось наше десятиметровое ленинградское гнездышко.

В пространстве Северной Пальмиры наше

место было заметное: на углу, за памятником петербургского модерна, так называемым домом Дурдина, расцветала ленинградская барахолка. Послевоенные годы были золотой страницей ее истории.

ДОМ ДУРДИНА.



Наш дом на дом Дурдина, владельца медопивоваренного завода, нисколько не был похож. Это была убогая многоэтажка, жалкое жилье для пролетариев, эксплуатируемых кровососами типа вот такого Дурдина. Этот стандарт жилья мало изменился со времен Древнего Рима.

Когда тетя Рая, приехав в Ленинград, однажды посетила нас, она, уже поднимаясь по лестнице, сказала: «Теперь я знаю, где жила старуха-процентщица, которую убил Раскольников!» Процентщица Достоевского, правда, жила в районе Сенной площади, но это неважно, наш дом был похож на тот, литературный.

Соседей в квартире было не так уж много: в комнате, следующей за нашей, большой, метров в пятнадцать, располагалась целая семья: бабушка, муж, жена, ребенок. В следующей комнате жила Александра Дмитриевна с дочкой. В последней комнатухе, за кухней, размером метров около четырех, ютилась Вера, которая работала на газу. В Ленинграде тогда проводили газификацию, и она рыла канавы для труб. Кран с холодной водой находился в коридоре. В кухоньке стояла газовая плита на два очка. Отопление было печное. Жили мирно. В Ленинграде бывали коммуналки куда страшнее нашей.

А в нашей комнатке, 10,5 кв. м., умещались следующие объекты: круглая печка, кабинетный рояль со стулом перед ним, параллельно роялю, у стены – узкая тахтушка, у окошка – хлипкий квадратный столик, один стул и древняя козетка –

на две с половиною задницы – затейливого рельефа из упругих пружин, и еще, ни к селу, ни к городу, элегантная этажерка орехового дерева, с гнутыми ножками и резными украшениями; она еще и в Таллинне была с нами. Где размещались мы? Да очень просто: Фрида за роялем, я – разложив книжки или тетрадки на том же рояле; заниматься приходилось стоя, вписавшись в рояльный изгиб, да что с того, дело молодое, ноги есть, можем и постоять... Да, и еще красавица кошка Томка, названная в честь моей университетской сокурсницы и нашей приятельницы Тамары Скуй. А ведь еще у нас бывали гости, кто-то, случалось, оставался ночевать! На этот случай рельеф козетки выравнивали посредством искусного подбора книг – и гость мог прекрасно спать, поджав под себя ноги...

Нет, правда, было совсем неплохо, у многих и этого не было. А мы там славно прожили пять лет, пока я не окончил университет.

В сорок седьмом году, когда Фрида окончила консерваторию, антисемитская волна еще не захлестнула страну: Фриду оставили в консерватории в должности концертмейстера, она работала со струнными, в классе скрипки и в классе виолончели. Совершенно не помню, какие она разучивала партии аккомпанемента, но прекрасно помню ансамблевые партии: декадентские пряности «Поэмы» Шоссона или Сонаты Франка, а пуще всего – обожаемые до сих пор образы Первой сонаты для виолончели и фортепиано Брамса. Вот так: Фрида за роялем, я – в рояльном изгибе, читаю что-то искусствоведческое; музыка и текст причудливо сплетаются в нечто третье, музыка заражает слово своими текучими настроениями, и слово живо откликается...

Другая работа Фриды была во Дворце пионеров, где имелись музыкальные классы. Там у нее был свой класс. С некоторыми из ее учеников она переписывалась еще долго после окончания, а одна ученица, Марина Трей, стала превосходной концертирующей пианисткой, солисткой Ленинградской филармонии и нашей приятельницей на многие годы. А я доучивался, подрабатывал уроками музыки и экскурсиями в Петергофе.

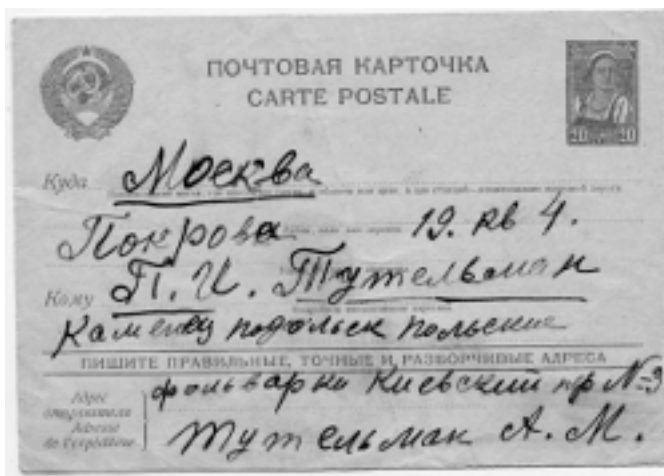
Вот так мы жили бедной, но насыщенной жизнью, в кругу друзей, с перспективой увлекательных профессиональных занятий, в славном и прекрасном городе Ленинграде. Вы, небось, хотите узнать, кому это мешало?..¹

¹ Документальное повествование Б. М. Бернштейна «О Фриде», к сожалению, на этом обрывается. (Прим. ред.)



Семен Абрамович
ПИСЬМО ИЗ 41-ГО

*На этот свет явился в мае,
Еще не кончилась война.
Жил на Покровке...*



Моих любимых поминать, –
Не утолить печали,
Произнося их имена
Бессонными ночами.
О сокровенном до зари
(Так, словно нет утраты)
Прошелестеть, проговорить,
Как делали когда-то.
Ушедших поминальный сбор –
Саднящая растрата:
Живущим – как немой укор,
Как на себя облава.
Я, было, запил от тоски,
А выплеснулся в строки –
Судьбы застывшие мазки,
Что так же одиноки.

Уже привык ничему не удивляться. Но такое...

Я готовил материал для очередного номера газеты и вышел на сайт sem40.ru. И

вдруг увидел: «Еврейские письма из 1941-го ищут адресатов» (ноябрь 2010). Вот что там было.

Без малого 1200 писем советских солдат и гражданских лиц были перехвачены в ходе немецкой оккупации Украины [1941] и отправлены в Вену.

Как стало известно из сопроводительного письма, телеграфный инспектор почтового рейхскомиссариата «Украина» д-р Ольшлегер решил сохранить «картину настроений советского народа начала войны» и выслал письма в подарок своему другу д-ру Риделю в венский музей. Большая их часть отправлена в конце июня – начале июля 1941 из Каменец-Подольска.

Миновало почти 70 лет. Все эти годы послания пролежали в фондах музея – австрийские исследователи их даже не вскрывали. Только в 2006 году Украине стало известно о том, какое богатство хранится

в венском музее. А год назад украинский посол в Австрии получил 5 коробок с плененными посланиями.

С февраля этого года сотрудники киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны разыскивают адресатов, отправителей или их родственников.

«Боль обжигает сердце – сколько в не-открытых посланиях искалеченных судеб, сколько ужасных трагедий и слез! Поэтому наш моральный долг перед памятью авторов, большинство которых погибли в 1941 году, открыть конверты и донести миру слова отчаянья, печали, любви, прощанья, тоски. Научный коллектив Мемориала просит откликнуться адресатов, адресантов, родных, близких, знакомых – всех, кто может пролить свет на их судьбы. Пусть хоть и через 70 лет, но эти письма должны быть доставлены. Это наш священный долг», – говорят в музее.

А ниже – перечень, кому и кем посланы письма. Первым в списке значилось: Москва, Покровка, 19, кв.4, П. И. Тутельман. Отправитель А. М. Тутельман, Каменец-Подольск.

Я онемел. Да это же моя мама! Это же ей адресовано письмо! Все сходится: имя, отчество, девичья фамилия, наш московский адрес. А письмо от ее мамы, моей бабушки, Анны Михайловны. Я бабушку никогда не видел (да и не мог) – вся семья погибла в самом начале войны, а я появился лишь три года спустя. Когда румыны и немцы вошли в Каменец, всех евреев согнали на кладбище и приказали рыть могилы. Потом их закопали. Живых. Так мне рассказала мама – со слов чудом уцелевших.

Обычно мама каждое лето приезжала в Каменец навестить родных (в этой не-отправленной открытке бабушка писала, что ждет дочку в гости), а в тот год что-то не сложилось. Случай? Судьба? Больше она там не бывала. Никогда.

Я позвонил в Киев, в музей истории Великой Отечественной. Трубку сняла Надежда Александровна Смолярчук, заведующая научно-экспозиционным отделом. Я объяснил, почему

звоню. «Эту уникальную коллекцию, – сказала Надежда Александровна, – мы получили в 2010 году благодаря нашему научному руководителю Любове Владимировне Легасовой. Она работает в музее более 40 лет, она живет музеем». И продолжила: «Вспоминаю первое прикосновение к Голосу из вечности. Слов не хватит, чтобы описать это чувство. Передо мной лежал запечатанный бумажный пакет. Открываю его, оттуда высыпаются конверты разного формата – самодельные, почтовые, треугольники, листки разноцветные. Не распечатаны, заклеены мучным или вишневым клеем, зашиты нитками, скреплены металлической проволокой. Не "зацелованы" военной цензурой. Достаю первое письмо... Вот тут все и поплыло. Словно ожили человеческие голоса, замурованные в небытие более полувека. Второе, третье, десятое, сотое заставило вздрогнуть: а может, живы еще те, о которых так беспокоится Голос, но не знают они, где погиб или воевал отец. Они ждут.

И началась работа без сна. На сегодня 538 писем улетело к родным душам. Верите, я прикасалась к конвертам, как к живым. Они молили, просили доставить их по адресу».

И вот это письмо передо мной – 539-е, наконец-то дошедшее до адресата. Обыкновенная открытка, обыкновенные слова. Только слова эти – из небытия. А возможность прочитав эти слова нам дали люди с трепетным сердцем. Праведники.



Ефим Сировский

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ



На черноморском побережье Грузии, в доме отдыха «Ачамчимра» появился богатырь Евгений, приехавший из небольшого украинского городка Конотопа. Доброжелательная улыбка на его лице вызвала ответные улыбки отдыхающих. После одного из вечерних купаний добрый молодец почувствовал боль в ухе, от которой хотелось выть. Евгений мужественно терпел всю ночь.

Евгений помнил, что у детей боль в ухе лечили закапыванием борного спирта, поэтому утром он отправился на поиск аптеки. И вот он входит в центральную аптеку и, изобразив на своем лице бледное подобие прежней доброй улыбки, попросил молодую грузинку продать маленький пузырек борного спирта. Аптекарьша строго сообщила, что в стране объявлена всенародная борьба с алкоголизмом и без рецепта врача продать спиртное она не может.

Как ни пытался наш герой доказать, что это не тот спирт, который пьют, и что содержимым крошечного пузырька не смочишь и половину языка, показанного аптекарше для наглядности, она была неумолима. По крайней мере подсказала, как пройти к ближайшему лечебному заведению. Добравшись, Евгений обнаружил, что здесь принимают только детей, но в ухе начало что-то стрелять, и он решил стоять длинную очередь, состоящую из мам и плачущих детишек. Проезжав два часа на узенькой скамеечке, он вошел в кабинет доктора и сказал, что как ребенок своей матери, он нуждается в рецепте на лекарство для больного уха. Врачиха невозмутимо ответила, что примет не просто детей, а малолетних, и через окно указала ему, где останавливается автобус, который довезет его до взрослой поликлиники. Подождав менее часа, Евгений вошел в автобус и, не найдя в кармане пяти копеек, подал водителю рубль.

– Чего ждешь, проходи и садись – марципанов не будет, – произнес водитель. Через две минуты он объявил: «Выходи, твоя поликлиника напротив». Сжав зубы от боли и досады, Евгений подошел к двери, на которой висело объявление: «Врачи принимают пациентов при наличии регистрационных карточек и талонов с указанием времени приема». Пришлось занять очередь в регистратуру. За

сорок минут до окончания рабочего времени Евгений подал в окошко регистратуры паспорт и объяснил цель визита. Ласково взглянув на красивого, но сурового богатыря, девушка оформила карточку и тихо проговорила: «К сожалению, талончик я вам дать не могу. Доктор принимает только ребят из военкомата. – И, потупив газа, прибавила: – Это во второй комнате по корридору направо». Евгений подошел как раз в то время, когда врач открыл двери и попросил войти к нему толпившихся перед нею ребят, пришедших на медкомиссию. Евгений, не раздумывая, протиснулся внутрь вслед за ними.

– Балные ест? – спросил врач.

– Нет, – хором ответили молодые люди.

Быстро подписав обходные листы, врач взял проятнутую Евгением регистрационную карточку. Лицо медика вмиг расплылось в благодушной улыбке.

– Вэдь я ваевал возле города Канатоп, – вымолвил он. Рабочее время закончилось, но доктор еще долго рассказывал о войне и боевых друзьях. Затем он начал выписывать рецепты.

– Этот тебе для желудка, теперь этот – для голова болит.

– Мне бы для больного уха, – тихо произнес наш герой.

Медик заглянул спецприбором в Женино ухо, и, пожав плечами, выписал рецепт. К тому же он выдал больному рекомендации:

– Пэй вино на здоровье. Будэш пить, петь и плясать, вместо ходить в поликлиник. А заболеешь опять, приходи, буду рад. Аптека рядом! Светловолосой аптекарше Евгений подал только один рецепт – от боли в ухе. Заглянув в справочник, аптекарша сказала: «Извините, но такого лекарства у нас нет».

Боль и стрельба в ухе Евгения усилились, к тому же в нем начался звон и заболела голова. Будто его оглушили тяжелым предметом. Побледнев, он прошептал: «А борный спирт есть?»

– Конечно! – радостно воскликнула аптекарша. – С вас три копейки.

– Фу-х, – выдохнул Женя, и в тот же миг ему показалось, что у него уже больше ничего не болит.



Иосиф Трегуб

ФРОНТ И ЗАСТАВА

(Из личных воспоминаний)



Война, а потом и служба в Группе советских оккупационных войск в Германии, сохранилась в моей памяти как мозаичная картина. Хорошо, что я выписал из своего личного дела некоторые данные и по ним могу восстановить хронологию событий.

Я оказался на фронте в период окончания войны, когда наша армия победоносно наступала. Но это была не игрушечная, а самая настоящая война, где смерть и ранения солдат и офицеров были частью нашей повседневной жизни. И потери были немалые. Так, в моем взводе автоматчиков, которым я командовал уже в боях на территории Германии, из двадцати солдат к концу войны осталось шестеро. Остальные были ранены, и я не уверен, что все выжили. Это казалось особенно горьким – не дожить до конца войны: как мы все понимали, он был уже очень близок.

Меня направили в 277-й полк на должность командира пулеметного взвода, но в полку назначили командиром стрелкового взвода. Полк проводил учения и подготовку к началу наступления на Польшу на правом берегу Вислы. Техника и обозы переправлялись через переправы, а мы, пехота, переходили Вислу по льду. Так как в это время уже шли бои за Варшаву, немцы на нашем, северном участке сильного сопротивления не оказывали, а начали быстро отступать. Я припоминаю только один случай, когда немцы нас пытались контратаковать, а мы заняли оборону и отстреливались.

Где-то в конце февраля – начале марта мы пересекли границу Германии (теперь это территория отдана Польше). Границу обозначали плакаты – указательный палец и надпись: "Вот она, проклятая Германия!" Интересно, что после этого мы вступали уже в немецкие городки, где не оказалось не только войск, но и вообще никакого

населения. Видимо, мирные жители боялись, что наши солдаты будут мстить. К концу марта 1945 года наш полк вышел на правый берег Одера. На этом польская компания для него закончилась. Насколько я помню, это было в районе города Штеттина. Разбили лагерь, и началось боевая учеба, пополнение людьми и техникой и подготовка к боям в Германии.

В начале апреля 1945 года приказом по 47-й Армии меня неожиданно направили в 216-й стрелковый полк этого же корпуса и армии на должность командира боевого взвода автоматчиков; под моим началом находились приблизительно двадцать бойцов – в общем, это была немалая боевая сила. У меня сохранилась карта наступления нашего полка в Германии, поэтому я точно знаю, что наш полк перед переправой через Одер находился севернее города Целлина. 12-13 апреля началась подготовка к переправе на плацдарм на левом берегу Одера. В ночь на 14 апреля (эти даты я запомнил, так как они связаны с началом Берлинской операции) наш полк вместе с другими полками дивизии переправился через Одер.

16 апреля в 5 часов утра началась знаменитая артподготовка Берлинской операции. Гул от артиллерийских залпов и стрельбы сотен "Катюш" был настолько сильным, что в наших окопах начала осыпаться земля. Артподготовка длилась около часа, после чего мы пошли в наступление, причем в начале операции наша дивизия наступала во втором эшелоне корпуса.

Было это, по-моему, за Бернау. Одна из стрелковых рот получила приказ прочесать лес, находившийся на пути движения полка. Рота благополучно вошла в лес, не встречая никакого сопротивления. Однако колонна полковой батареи, проходя вдоль опушки, подверглась сильному пулеметному огню, направленному из леса, и

¹ Печатается в сокращенном виде. – (Прим. ред.)

понесла огромные потери. Стало очевидно, что в лес вошла группа немецких войск, причем неизвестной численности, и рота оказалась отрезанной. Командир полка решил направить ей на помощь мой взвод.

Первой задачей было зайти в лес, так как теперь место, куда вошла рота, простреливалось довольно плотным пулеметным огнем. По совету командира было принято такое решение: широкой цепью подползти как можно ближе к опушке, а затем по одному, с разных флангов, как можно быстрее вбежать в лес. Лес был достаточно густой, так что те, кто успел в него вбежать, уже оказались бы недоступны для поражения. В лесу взвод должен был соединиться и отправиться на поиски роты. Мы подползли к опушке как можно ближе (дальше подползать уже мешал подлесок, кусты). До леса еще оставалось метров 20-30, и этот участок нужно было пробежать во весь рост под плотным пулеметным и автоматным огнем немцев. Расчет был на неожиданность и быстроту бега. Я помню, что время бега до леса составляло 5-6 секунд. Когда я скомандовал (фамилия условная): "Иванов, вперед!", боец левого фланга взвода побежал в лес. Боец успел добежать. Тогда я дал такую же команду солдату правого фланга. И он тоже смог добежать, потому что немцы не успевали открыть прицельный огонь. Так последовательно солдаты бежали с разных флангов; и всё же двое были ранены, не смогли добежать. Когда весь взвод перебежал в лес, настала моя очередь. Я сам себе скомандовал: "Вперед!" и успел добежать до леса. Не попали.

В лесу взвод собрался, и мы пошли вперед, на поиски роты. Роту мы нашли довольно быстро. Но что делать дальше? Мы совершенно не знали, где немцы. Они – конечно, к счастью – тоже не знали, где мы: лес был очень густой. Мы с командиром роты решили, что надо сделать разведку. Уж не знаю почему, но в разведку я решил пойти сам со своим помкомвзвода, уже довольно опытным старшим сержантом по известной фамилии – Матросов. Мы осторожно пошли на левый фланг и через некоторое время увидели колонну немцев. В колонне было 10-15 солдат с автоматами, и находились они довольно близко – мне кажется, не более чем в двадцати метрах. Однако нас они не видели, так как мы легли на землю. Надо было дожидаться, чтобы они прошли, вернуться в роту и обсудить ситуацию.

И здесь я сделал глупость: не выдержал. Перед нами были враги, немцы, которые принесли столько горя моему народу. Я почти автоматически взвел автомат и нажал на спусковой курок. Но автомат произвел только один выстрел: следующая пуля перекосилась. Частая неисправность у нашего ППШ. Услышав выстрел, офицер что-то прокричал, колонна остановилась, немцы повернулись в нашу сторону, сдернули автоматы и открыли сильный огонь, хотя нас они не видели. Матросов закричал: "Лейтенант, бежим!" Мы вскочили и побежали. Лес, к счастью, был очень густой, так что все пули попали в деревья, а мы успели убежать. Если бы мы не убежали, немцы могли бы, стреляя, пойти в нашу сторону, и тогда мы бы не спаслись. Хорошо, что я всегда уважительно относился к своим уже достаточно опытным солдатам и сержантам и учитывал их советы. Мы прибежали к своим и рассказали обо всем. Мы с командиром роты, посоветовавшись с младшими командирами, решили потихоньку, осторожно, пойти вперед и через некоторое время вышли на противоположную опушку леса. Вдоль этой стороны леса мы увидели широкую асфальтовую дорогу, по которой довольно часто на большой скорости проезжали немецкие мотоциклисты и машины с солдатами.

Надо сказать, что у нас не было никакой связи с полком. Правда, мы знали, что занятие этого леса входило в задачу полка, так что через какое-то время ожидали подхода его основных сил. Через некоторое время мы увидели, как со стороны дороги в сторону фронта движется довольно большая группа немецких солдат, вооруженных автоматами и фаустпатронами. Группа была намного больше нашей большей и значительно лучше вооружена. В нашей группе автоматы были только у солдат моего взвода – бойцы роты были вооружены винтовками. Правда, в роте имелся пулемет "Максим", довольно сильное оружие. Конечно, мы не собирались вступать в бой – немцы были явно сильнее. Кроме того, они могли получить подкрепление, а мы были отрезаны от полка. Но здесь у одного из бойцов сдали нервы, и он произвел одиночный выстрел в сторону немцев. Немцы сразу начали передвигаться по направлению к нам. Мы отползли, рассредоточились и заняли позиции для обороны. Большую надежду мы возлагали на пулемет, который поставили на правом фланге. Когда немцы поднялись в атаку и, стреляя из автоматов и фаустпатронов с криками:

"Рус, болшевик, здавайс!" пошли на нас, мы открыли огонь из автоматов и винтовок. Хотя мы лежали, а немцы шли в полный рост, эффективность нашего огня в густом лесу тоже была не очень высокой. А главное, наша основная надежда – пулемет – молчал. Как потом выяснилось, произошел перекос патрона, частая неисправность "Максима" – его лента с патронами мягкая. Неисправность не очень серьезная, просто необходимо перезарядить пулемет, но на это нужно время, хотя и небольшое. А немцы успели подойти довольно близко: уже хорошо были видны их лица. Еще пара минут – и они бы достигли наших позиций. Помощи ждать было неоткуда, основные силы полка были далеко, связи с ними не было. А так как немцев у немцев было численное превосходство и хорошее вооружение, на этом бы наши биографии и закончились. Стало довольно страшно, ничего предпринять мы уже не могли.

И в это время пулемет открыл непрерывный огонь. Может быть, в густом лесу и пулеметный огонь тоже не был очень эффективен, но он создавал впечатление, что немцам противостоит большая и мощная группировка. Да и опасность поражения при непрерывном пулеметном огне была высокой. Как бы то ни было, после начала пулеметного огня немцы побежали назад и залегли. Воспользовавшись передышкой, мы быстро отошли, на пути увидели овраг и заняли в нем круговую оборону

Я рассказывал долго, а в действительности все эти события произошли в течении нескольких часов: начались утром, часов в 8, а закончились часа в 2-3 дня. Не знаю почему, но этот эпизод мне вспоминается очень ясно, как будто это было вчера, хотя с тех пор прошло более 70 лет и очень многое забылось.

Конечно, тот бой нельзя сравнить с боями на Зееловских высотах, штурмом Берлина, и тем более с боями в начале войны, но и в таком бою несколько раз мне грозила опасность быть раненым или убитым. Это и была повседневная жизнь на фронте, на войне. Если в обычной жизни насильственная смерть – значительное событие и горе, то на фронте – будни, к которым все привыкли: сообщение о том, что кто-то убит, никакого удивления не вызывает.

Когда мы обошли Берлин с севера, наша дивизия резко повернула на юг с целью окружения Берлинской группировки немецких войск. На

этом пути нам встретился сильно укрепленный город Гросс-Глиннеке, где мы встретили упорное сопротивление немцев. Начались довольно напряженные бои. На пути нашего полка в районе Гросс-Глиннеке находился военный городок, который мы должны были взять. Он состоял из нескольких крепких зданий; немцы организовали очень сильную оборону и отчаянно сопротивлялись. Наверное, одной из причин было то, что в городке находились семьи офицеров. Наш полк попытался взять городок штурмом, но это не удалось; немцы отбили все атаки, и полк понес большие потери. Стало очевидно, что ему эта задача не по силам. Даже если бы полк получил подкрепление, без больших потерь городок взять было невозможно. Тогда было принято решение направить к немцам парламентариев с гарантиями безопасности семьям и жизни тем, кто сдастся в плен. И немцы приняли эти условия. В плен сдались более 1000 человек. После этого нам нужно было прочесать все помещения. Это было небезопасно: в комнатах могли скрываться немцы, которые были несогласны с капитуляцией. Утром мы передали всех пленных специальным частям, в этот же день встретились с бойцами 1-ого Украинского фронта и вошли в Шпандау, западный пригород Берлина.

Наступило 1 мая 1945 года. Бои в городе всегда носят одинаковый характер: обороняющиеся отбивают атаки, укрываясь в зданиях, наступающие всеми силами атакуют эти здания. Это всегда тяжелые и кровопролитные бои. В нашем случае обороняющимися были наши войска, а немцы отчаянно пытались прорваться на запад, чтобы сдать союзникам, справедливо рассчитывая, что это для них будет лучшим вариантом. 2 мая немецкое командование подписало акт о капитуляции Берлина. Немецким войскам в Берлине было приказано сложить оружие. И тогда вражеские подразделения, находящиеся на западе Берлина, то есть как раз на нашем участке, предприняли последнюю отчаянную попытку прорваться на запад. То был короткий, но очень напряженный бой, в котором вынужден был принять непосредственное участие даже штаб полка. Немцам не удалось прорваться, и они массово стали сдаваться в соответствии с актом о капитуляции.

Нашему полку сдалось более 1500 немцев, в том числе большое число офицеров. Моему взводу,

в котором осталось шесть человек, было поручено конвоировать немцев в лагерь для военнопленных. Конечно, конвоировать такую огромную колонну шесть человек не могли. Поэтому мы с помощью переводчика разбили колонну на сотни, во главе каждой поставили немецкого офицера, впереди организовали колонну офицеров во главе с полковником Гофманом, который мне запомнился своей удивительной напыщенностью и самоуверенностью: арийская "голубая" кровь. Можно было подумать, что он командует большой колонной войск, а не военнопленных. Немцы и в плену подчинялись твердой воинской дисциплине. Так я впервые увидел вблизи немецкую армию, и это действительно была страшная военная машина. Вообще я хорошо помню это странное чувство близкого контакта с немецкими солдатами и офицерами, которые всегда воспринимались как враги в их страшной, вражеской форме. Весь взвод я поставил впереди колонны и командовал через переводчика. Когда мы вечером привели колонну в лагерь, то в ней оказалось оказалось больше немцев, чем мы приняли вначале. Видимо, некоторые солдаты примыкали по пути: все-таки было спасение.

Мне хочется рассказать о моей беседе с переводчиком. То был фольксдойче, который родился и вырос в СССР, закончил Ленинградский университет, но во время войны перешел к "своим" и, став гражданином Германии, работал переводчиком. Конечно, совершенно свободно говорил по-русски. Он был всегда при мне, в голове колонны, и мы с ним много разговаривали: мне хотелось понять, что из себя представляла Германия во время фашизма, как установился культ Гитлера и т.д. Он, видимо, проникся ко мне доверием и поэтому разоткровенничался и высказал свое мнение не только о Германии, но и об СССР, в котором он прожил много лет и о котором многое знал. Его мнение заключалось в том, что в этих странах был практически одинаковый строй. Был один вождь, одна партия (кстати, "рабочего класса"), практически одинаково организованные силовые структуры (Гестапо – МВД, СС – КГБ), агрессивная политика и т.д. Именно поэтому он считал войну между нашими странами большой ошибкой: если бы они объединились, то могли бы завоевать весь мир. Я, конечно, горячо возражал: "У вас – фашизм, подавление народов, у нас – социализм, братство народов, будущее –

коммунизм" и другие глупости, в которые тогда искренне верил. Потом я часто вспоминал этот разговор. Мне через несколько лет стало понятно, что он был прав в отношении схожести режимов, но было бы ужасно, если бы эти режимы объединились и начали мировую войну.

Вечером 2 мая мы вернулись в полк, который 3 мая двинулся в сторону Эльбы на встречу с американской армией, которая в соответствии с договоренностью почти месяц стояла на левом берегу Эльбы и не принимала никакого участия в боях за Берлин. Мы продвигались довольно быстро, практически без боев. Теперь основной задачей немцев было как можно быстрее достичь армии союзников и сдаться, чтобы не оказаться в нашем плену. Другого выбора у них уже не было. 6 мая наш полк подошел так близко к Эльбе, что уже видел ее. Было хорошо видно, как колонны немецких войск переправлялись через мост и сдавались в плен американцам. На нашем, правом, берегу Эльбы немцы установили орудия и открыли сильный артиллерийский огонь по нашим войскам, чтобы остановить наше наступление. Но для нас наступать и нести потери не имело смысла – сдавшиеся уже не были армией. Поэтому командование полка приняло единственно правильное решение: всем залечь, окопаться и не высовываться, пока все немцы не уйдут и не прекратят огонь. Когда все немецкие солдаты благополучно перешли Эльбу, артиллеристы прекратили огонь, вынули из орудий замки (чтобы орудия нельзя было использовать), тоже перешли мост и сдались в плен. Когда огонь прекратился, полк поднялся и спокойно дошел до реки.

Это был удивительный день, который я навсегда запомнил. Напротив нас на другом берегу реки впервые были не враги-немцы в своей ненавистной нам форме, а друзья, американцы, в своей замечательной форме. Они размахивали руками и что-то кричали, приветствуя нас. Я хорошо помню огромный плакат, где на красном полотнище было большими белыми буквами написано: "Привет нашим русским товарищам!" (Хорошо помню, что слово "русским" было написано с одним "с", и это мне тоже очень было радостно видеть: ясно, что перед нами не наша, а американская армия, и, следовательно, война закончена). Было 7 мая 1945 года. В этот день для нашего полка – и, значит, для меня – война закончилась.

Наш полк начал обустраиваться: рыть

землянки и размещаться. На обоих сторонах моста выставили посты: наш и американский, чтобы не допустить встречи, которая, конечно, привела бы к полной дезорганизации наших частей. Так что мы виделись с американцами только через реку. 9 мая началась стрельба: это салютовали наши связисты, которые первыми узнали о подписании немецкой капитуляции. Мы тоже присоединились к этому салюту. Наступило какое-то совершенно необыкновенное время, эйфория и радость, какой я больше никогда не испытывал. Страшная война окончилась, мы победили и остались живы. Прекрасная погода и природа: весна, май. Мне трудно это описать, но было какое-то совершенно удивительное чувство.

Надо было думать о будущем. наших солдат начали демобилизовывать. Я тоже решил демобилизоваться, так как не хотел быть военным. Я мечтал продолжить учебу на физмате университета или в каком-нибудь институте по интересной для меня специальности, поэтому сразу подал рапорт о демобилизации. Ответ пришел незамедлительно: поскольку я окончил военное училище, то являюсь кадровым офицером, и вся моя дальнейшая жизнь будет связана с армейской службой. И хотя я не оставил планов в конце концов демобилизоваться, пока что надо было продолжать службу. Уже в июне 1945 года солдаты нашего полка начали уезжать по домам, а офицеры, в том числе и я, были направлены в отдел кадров 47-й армии. 1-й Белорусский фронт был преобразован в Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). В составе этой Группы я и прослужил два года, до 1947 г.

Служба в Германии была удивительной и резко отличалась от службы в своей стране. Мы находились в какой-то совершенно новой, незнакомой стране, и нас окружали люди, менталитет и язык которых был нам совершенно непонятен. Кроме того, совсем недавно это были ненавистные нам враги, фашисты. Немцы очень боялись, что "русские" станут мстить, начнутся насилия и грабежи, но вскоре они поняли, что ничего этого не будет. Отношение к населению Германии было очень гуманным. Да и как можно было иначе относиться к женщинам, старикам, детям, которые не имели прямого отношения к зверствам фашистских войск? С другой стороны, отношение к нам тоже было лояльным. Не было никаких движений сопротивления. Мы чувствова-

ли себя в полной безопасности. Я, во всяком случае, никогда не слышал о каком-нибудь нападении на наших солдат или офицеров. Возможно, это было связано и с какой-то удивительной дисциплиной этого народа. Меня часто поражало исполнение любого приказа, отданного человеком в форме (полицейским, кондуктором и т. д.) Любой человек в форме олицетворял собой власть, которой надо было беспрекословно подчиняться.

В октябре 1945 года меня назначили командиром пулеметного взвода 3-й Ударной Армии ГСОВГ в Тюрингии, где-то между городами Нордхаузен и Хальберштадтом. В зону ответственности полка входила демаркационная линия с английской зоной, и полку было приказано создать погранзаправы.

Командовать погранзаставой на территории Германии было непросто. Ведь обычно "нормальная" погранзастава располагается на своей территории, так что вокруг "свои" люди, менталитет и язык которых хорошо понятны. В составе нашей погранзаправы были фронтовики, прошедшие суровую школу войны, — довольно взрослые люди (во всяком случае, большинство из них было старше меня), ожидающие скорой демобилизации. Они очень устали от войны и мечтали поскорее вернуться к мирной жизни, которую, безусловно, заслужили. Проводить с ними занятия по программе молодого бойца было глупо и просто несерьезно по отношению к этим очень уважаемым мной людям. И в то же время дисциплину на погранзаставе следовало неуклонно поддерживать.

Застава размещалась в довольно большом помещении на въезде в село. Был определен участок границы, который мы должны были охранять. Все остальное было предоставлено на мое усмотрение. В мои действия полк практически не вмешивался. Я, конечно, понимал (кое-какой опыт военной службы уже приобрел), что управлять погранзаставой такого большого и сложного состава, да еще в таких условиях, в одиночку не смогу. Ясно, что опереться я мог только на младших командиров: старшину, помкомвзводов, командиров отделений. Но для этого нужно было усилить их авторитет, а, главное, увеличить их личную ответственность за погранзаставу. И тогда я решил создать не предусмотренный никаким

уставом *Совет погранзаставы*. В него вошли все младшие командиры, а также некоторые опытные сержанты: у них не было непосредственных подчиненных, зато они обладали большим военным опытом и пользовались уважением солдат. Совет заседал регулярно, причем о заседаниях Совета, для поднятия авторитета его членов, извещали всех солдат. На заседаниях я докладывал обстановку на заставе, излагал проблемы, задачи, и мы все эти проблемы обстоятельно обсуждали. Причем обсуждение не было формальным, ведь я нуждался в совете опытных сержантов, от которых в большой степени зависел порядок на заставе. Служба на заставе была напряженной, в наряд ходили через день. Одновременно в наряде было 8 солдат; а всего на заставе служило порядка 55-60 человек.

Хотелось как-то поддержать солдат, и я решил, что надо хотя бы улучшить их питание. Вообще питание было довольно сытное, но однообразное: каша, макароны, картошка, размороженные мясо и рыба. В то же время мы жили в довольно богатом селе. Поскольку колхозов там еще не было, крестьяне сдавали продналог и жили очень неплохо. Вообще-то жители села и сами могли догадаться как-то подкормить солдат, вынужденных — отчасти по их, жителей, вине — нести нелегкую службу, тем более что наше отношение наше к сельчанам было довольно дружеским, и мы всегда старались не усложнять их жизнь, хотя вполне бы могли это сделать. Так, мы разрешили крестьянам обрабатывать огороды, находившиеся рядом с границей, не очень придирались к въезду и выезду из села. Я всегда разрешал проведение различных мероприятий, к примеру, танцев, которые жители очень любили.

Поскольку сами они ничего не предлагали, то я направил старшину к старосте с просьбой каждый день направлять на заставу 60 свежих яиц, по одному на каждого пограничника. Для села это было совершенно не накладно: может быть, по одному яйцу с двора раз в неделю. Я никак не ожидал, что староста откажет: это, мол, "не положено". Действительно, это было не положено. Но зато мне было вполне положено резко усилить режим на границе.

Обработка огородов у границы, на "нейтральной полосе", была запрещена, резко усилены требования к порядку въезда и выезда из села. Староста решил на это пожаловаться. Надо,

наверно, пояснить, что в зоне нашей оккупации действовали **два** руководящих органа, которые, в общем, не подчинялись друг другу, хотя и были как-то связаны: Группа советских оккупационных войск, которая руководила всеми войсками на территории зоны, и Военная администрация, которая занималась организацией гражданской жизни зоны и которой, в частности, подчинялись мэры городов и старосты сел. Вот в эту администрацию и поехал жаловаться староста. Правда, у него хватило ума не упоминать о нашей просьбе. Он просто пожаловался на то, что выезд из села стал очень затруднительным. Из Военной администрации приехал на заставу какой-то сотрудник в чине майора, чтобы выяснить обстановку. Но я к такому визиту был готов и сказал, что обстановка на границе резко осложнилась, увеличилось число переходов границы, появились в селе незнакомые люди и т. д., и мы вынуждены ужесточить порядок охраны границы. Вмешиваться в военные дела администрация не имела права, так что майор вынужден был передать все сказанное старосте и уехать. На следующий день староста сам пришел на заставу и сообщил, что село решило каждое утро доставлять на заставу 60 яиц. После этого обстановка на границе сразу улучшилась, а весь состав погранзаставы стал ежедневно получать на завтрак по одному свежему яйцу на человека. Труднее было со свежим мясом. Хотелось, чтобы на погранзаставе хотя бы изредка было свежее мясо, но требовать его у жителей села было невозможно. И все же выход был найден. Среди солдат заставы нашелся профессиональный охотник, а в лесах вокруг заставы было довольно много ланей, на которых немцы не могли охотиться, так как у них отобрали и оружие, и лицензии на отстрел. Конечно, лицензий на отстрел у нас тоже не было, но кто на это обращал внимание после войны?

Служба на границе велась хорошо, как правило, замечаний не было. Обычно каждый день мы задерживали нескольких человек — и мужчин, и женщин. Это были жители села, которые ходили в соседние села к родственникам или по делам — демаркационная линия разделила два соседних села, тесно связанные друг с другом. Утром задержанные "нарушители" делали небольшую работу для заставы: женщины, как правило, проводили уборку, мужчины кололи дрова, что-то чинили и т. д. Потом за ними приезжали представители спецслужб, увозили их для

разборки и, как правило, отпускали домой, поскольку это фактически были простые сельчане, за которыми никакого криминала не числилось. Так что на следующий день мы уже встречались с "нарушителями границы". А затем все повторялось.

Иногда по ночам спецслужбы привозили людей, которых нужно было переправить через границу. Это уже были настоящие агенты, которые переправлялись со специальными заданиями. Дружба дружбой, а спецслужбы СССР работали неустанно. Конечно, этих людей мы беспрепятственно пропускали через границу, так как с английской стороны пограничников не было. То есть служба охраны границы у наших союзников была, но она проводилась по довольно странному ритуалу. Часового привозили на машине (!), но как только машина уезжала, часовой приветственно махал нашему часовому рукой и уходил в соседнее село, видимо, в бар или к девушке. Следующая машина привозила нового часового, и все повторялось. Видимо, англичане были убеждены, что охрана демаркационной линии никому не нужна. Конечно, дисциплина в нашей армии была значительно выше, и мы к службе относились очень серьезно: поставленная задача должна быть неукоснительно выполнена.

Очень серьезной была проблема с распорядком того дня, когда солдаты не находились на посту: не могут же люди целый день ничего не делать! При несении обычной солдатской службы такой день был бы заполнен напряженной военной подготовкой и расписан по минутам; именно так мы жили в училище. Но подчинить подобному порядку жизнь на заставе я не мог. Заниматься боевой, строевой и стрелковой подготовкой с фронтовиками, только что окончившими войну (многие из них были награждены орденами и медалями, некоторые имели ранения), которые на следующий день должны были заступать на сутки в караул, было морально и физически невозможно. Я думаю, что любой командир на моем месте тоже бы на такое не решился. Конечно, распорядок дня неуклонно соблюдался. Из занятий я оставил только политическую (куда же без нее!) и физическую подготовку, которую мы постарались сделать более занимательной: оборудовали футбольное поле и волейбольную площадку, проводили соревнования между подразделениями. Но этого оказалось совершенно недостаточно, чтобы заполнить день. Отпускать солдат в

увольнение мы не могли: находясь в увольнении, солдат мог бы отправиться только в бар, что было бы совершенно нежелательно. Кинотеатра в селе не было, встречаться с девушками солдат не мог: непонятный язык и менталитет, совершенно чужая страна. Следовало заполнить время каким-нибудь понятным и естественным для солдат занятием.

И такое занятие я придумал, а потом мы его обсудили и приняли на Совете руководства заставой. Так как застава была военным подразделением, выполняющим боевую задачу, то естественной была проблема укрепления обороны. Был создан план, и началось рытье окопов и создание пулеметных гнезд вокруг заставы в направлении возможной атаки со стороны "противника", то есть в направлении границы. Правда, работу мы не форсировали: во-первых, чтобы не сделать ее слишком утомительной для солдат, а, во-вторых, чтобы растянуть ее на длительный период, поскольку время смены погранзаставы определено не было. В результате мы создали вокруг заставы глубоко эшелонированную оборонительную линию и могли в случае необходимости держать длительную оборону против сильного противника (вот только было неясно, кто этот противник).

Теперь о личной жизни наших солдат. Ясно, что это были молодые люди и, конечно, ничто человеческое им не было чуждо. А в селе было много девушек и молодых женщин и практически не было молодых мужчин. Само собой разумеется, что в этих условиях начали (на добровольных, конечно, началах, о каком-нибудь насилии не могло быть и речи!) возникать "парочки". Это было понятно и естественно, но пустить такие встречи "на самотек" я не мог, иначе по ночам на заставе вообще бы никого не оставалось. Поэтому была установлена квота "увольнения на ночь" (приблизительно 8-10 человек). В порядок увольнения я не вмешивался – это была сфера ответственности младшего командира. Командир должен был точно знать, в каком доме находится "уволенный", и при первой необходимости (например, при объявлении тревоги на заставе) обеспечить его быстрый приход.

Так постепенно был выработан порядок жизни на заставе.

Интересно, что я хорошо понимаю и могу верно оценить свои действия, совершённые в достаточно зрелом возрасте. Но я совсем не понимаю собственных поступков, совершённых

в молодости: такое впечатление, что тогда действовал не я, а какой-то совершенно другой, незнакомый мне человек. Впрочем, основные черты человека – его отношение к людям, родным, миру вообще, к себе, своему долгу и обязанностям и т.д. – наверное, с годами не меняются, остаются его сущностью. Но конкретные поступки очень зависят от возраста и жизненного опыта. Чтобы это прокомментировать и как-то освежить мой суховатый рассказ о жизни на заставе, вставлю в описание "жанровую картинку", которую можно было бы назвать *"Начальник погранзаставы на вечеринке в пограничной немецкой деревне"*.

Особых развлечений в селе не было: ни кинотеатра, ни телевидения (если оно и было изобретено, то в Европе еще не получило распространения), ни даже радио, поскольку в послевоенной Германии на основании специального приказа все радиоприемники у жителей отобрали; поэтому основным развлечением служили вечеринки с танцами. Обычно такие вечеринки проводились в больших сельских пивных барах.

Поскольку село было приграничным, то командир погранзаставы фактически являлся его военным комендантом. Во всяком случае, никакие массовые собрания жителей не допускались без моего разрешения, и это разрешение было связано с положением на границе. Когда ответственный за организацию вечеринки – чаще всего владелец бара – приходил за разрешением (и, как правило, такое разрешение получал), обязательно определялось приблизительное количество людей, а также время начала и конца вечеринки: обычно с семи до десяти вечера.

И вот приблизительно в девять вечера "для проверки порядка" являюсь я. Ради большей солидности меня сопровождает вооруженный пограничник. Меня, конечно, торжественно встречает сам хозяин, усаживает за специально выделенный для столь "высокого гостя" столик, и нам приносят по кружке пива. Веселье в самом разгаре. Гости с увлечением пляшут разные веселые народные танцы. Я еще достаточно молод и потому сам бы не прочь потанцевать, но "положение" не позволяет. Поэтому я строго "наблюдаю за порядком". (Хотя наблюдать было не за чем: на вечеринках всегда царил образцовый немецкий порядок – никогда я не видел никаких ссор, "разборок", скандалов). Около десяти часов хозяин объявляет, что время, отведенное на вечер,

подходит к концу – остался последний танец.

Тут все гости сбегаются к моему столу и начинают меня упрашивать, чтобы я разрешил им повеселиться еще хотя бы один час. Я "глубоко задумываюсь". Все замолкают, давая мне возможность "взвесить обстановку". Самое смешное, что никакой проблемы нет, и думать, в общем, мне не о чем. Обстановка нормальная, и ничего не мешает мне позволить им плясать хоть до утра. Наконец, я "принимаю решение" и разрешаю веселиться еще один час. Раздаются радостные возгласы: "Герр лейтенант разрешил!" – и танцы продолжают. То, что я изображал "глубокое размышление" над проблемой, которой фактически не существовало, было, конечно, мальчишеством, и сейчас я бы так не поступил. Но тогда я был молод, жизнерадостен и мне, наверно, было весело изображать из себя "большого начальника".

Конечно, на самой заставе далеко не всегда всё шло легко и гладко, без происшествий. Приходилось принимать меры, чтобы поддержать порядок и нормальную жизнь. Наиболее частыми нарушениями среди состава были самовольные отлучки и "злоупотребление спиртными напитками". Нельзя было дать этим проступкам принять массовый характер, иначе порядок на заставе пошел бы вразнос. Поэтому нужно было реагировать даже на самое незначительное происшествие, причем лично.

В действительности у меня не было серьезных рычагов для наказания. И я придумал один, который действовал очень успешно. Я обещал «провинившемуся», что если он будет продолжать в том же роде, то я отправлю его в полк и попрошу замену. Этого на заставе не хотел никто. Несмотря на нелегкую службу – суточные дежурства через день – на заставе установилась хорошая, дружеская атмосфера: каждый чувствовал, что к нему относятся уважительно, всегда стараются по возможности учесть его проблемы. Немаловажную роль играла хорошая природа и близость к мирной, хотя и чужой жизни, по которой солдаты очень соскучились. Другое дело – в полку: казармы, строгая дисциплина, постоянная военная подготовка.

В общем, как-то ситуацию удавалось держать, застава была на неплохом счету. Но один раз там случилось происшествие, которое могло иметь самые трагические последствия. Его виновником стал старшина заставы, который

раньше был помкомвзводом во взводе разведчиков полка, – опытный сержант, прошедший суровую школу войны, награжденный тремя боевыми орденами, полковая "элита". Но наше военное начальство узнало, что этот разведчик каким-то образом "добыл" роскошную, уникальную автомашину какого-то крупного фашистского чиновника и где-то ее спрятал. Конечно, большое начальство захотело у него эту машину забрать, но он наотрез отказался указать ее местонахождение. (Я так и не понял, зачем ему была нужна эта машина: переправить ее на родину он никак не мог, а продать такую машину в Германии было некому.)

Вот за эту строптивость сержанта и перевели простым пограничником на нашу заставу. Ставить его на должность рядового я не хотел, так как это оказалось бы большим унижением для такого заслуженного фронтовика. И тогда я ему поручил заботу об устройстве заставы, улучшении ее внешнего вида и "солидности". Тут и возникла идея о создании над основной дорогой у въезда в село "Триумфальной арки" в ознаменование Победы над фашистской Германией. Этот проект мы доверили осуществить нашему новому старшине. Ясно, что такую арку могли сделать только хорошие плотники из жителей села, но им требовалось соответствующее указание, которое мог дать только староста.

И тут я допустил грубую ошибку. Договариваться со старостой села я направил ответственного за арку, хотя еще плохо его знал. После "разговора" староста прибежал ко мне с синяком под глазом. Если бы староста пожаловался, дело обернулось бы скверно и для заставы, и лично для меня, так как грубость по отношению к мирному населению серьезно каралась. Хорошо, что к этому времени у нас со старостой уже установились неплохие деловые отношения. Во всяком случае, я его успокоил и потребовал от старшины извиниться.

В результате переговоров на заставу направили нескольких плотников, и был создан шедевр архитектуры: довольно большая арка, на которой был установлен обрамленный елочными ветками портрет "вдохновителя и организатора всех наших побед". Так что теперь все входящие и въезжающие в село должны были проходить или проезжать под этой аркой. Впечатляющее зрелище!

Думаю, до сегодняшнего дня наше за-

мечательное сооружение не сохранилось. А жаль. Впрочем, я уже никогда больше не посещал село Обрзаксверфен. Может быть, эта арка и сохраняется как памятник архитектуры времен оккупационного режима в Германии после окончания второй мировой!

В октябре 1946 года, через девять месяцев после начала нашей службы на погранзаставе, нам на смену прибыл новый состав. Не припомню точно, какой именно, но это уже были не фронтовики, а молодые солдаты. Учитывая, что отношения между нами и союзниками, благодаря усилиям наших "замечательных" политиков, тоже изменились, превратившись из дружеских в неприятельские, думаю, порядки на новой заставе сильно отличались от наших.

Когда же на территории Германии образовались два новых государства – ГДР и ФРГ – и демаркационная линия превратилась в государственную границу, охраняемую профессиональными немецкими пограничниками, то порядки на погранзаставе изменились полностью. Появились пограничные столбы (в наше время граница отмечалась вбитыми в землю кольями высотой примерно метра полтора), нейтральная полоса (навряд ли на ней остались огороды), охрану границы несли патрули (а не отдельные часовые), относительно простой переход границы стал невозможен и т. д. В общем, от той романтики, которая была на нашей погранзаставе, уверен, не осталось и следа.

А после объединения Германии погранзаставу в селе Оберзаксверфен вообще ликвидировали и, слава Богу, люди стали совершенно свободно передвигаться по своей земле. Думаю, что молодое поколение жителей вообще понятия не имеет о бывшей границе, а тех, кто хоть что-нибудь знает о первой погранзаставе, уже почти и не осталось.

Так что я, может быть, один из последних, кто все это еще помнит.



Михаил Якобсон

ПРАВДА ХОРОШО, А ВЕЗЕНЬЕ ЛУЧШЕ



Предисловие, записанное редакцией со слов автора

Однажды несколько проживающих в США пенсионеров решили собираться раз в неделю на полтора-два часа и делиться друг с другом историями из собственной жизни.

Каждый рассказ должен был служить иллюстрацией к общему вопросу о том, как люди живут (свободны ли они в выборе, следуют предопределению судьбы или подчиняются воле случая) и как им следует жить (удовлетворять ли свои желания или ограничивать их).

Надо сказать, что все участники вышеупомянутых встреч родились в СССР, эмигрировали в США еще молодыми, устроились там неплохо и примерно лет в семьдесят вышли на пенсию. Однако желание обратиться к прошлому возникло у пенсионеров далеко не сразу. Сначала одни принялись изучать языки, другие – литературу, музыку, историю, философию. Но многие пришли к выводу, что учить новое при отсутствии вящей необходимости пожилым людям трудно и скучно. Вспоминать же старое, то есть нечто пережитое и знакомое, легче и интересней. Вдобавок есть надежда, что дети, внуки, и, может быть, даже правнуки посчитают эти истории из прошлой жизни – хотя бы из жизни их собственной семьи – занимательными и поучительными, а значит, такую историю стоит и записать: она найдет читателей, и это будут дорогие рассказчику люди.

Однако Михаил Якобсон (для американцев – Майкл Джекобсон), ознакомив участников встречи со своим рассказом, понял по их реакции, что его история может вызвать интерес не только в семейном кругу или среди друзей-пенсионеров, поэтому решил предложить ее для публикации альманаху «Образы жизни». Редакторы – нечастый случай! – полностью согласились с автором и с удовольствием представляют на суд читателей его рассказ.

* * *

Случайность, о которой я сейчас расскажу, направила мою жизнь к профессиональному успеху и материальному благополучию: много лет я преподавал в университете, познакомился с учеными разных стран, сумел помочь сотням студентам не только успешно закончить университет, но и найти работу. При этом мне очень неплохо платили. Даже после выхода на пенсию я получаю больше, чем трачу.

Ирония судьбы заключается в том, что началось все это с моего вранливого хвастовства.

Мне было тогда двадцать пять лет, и я начал отбывать седьмой год из своего десятилетнего срока. В этот день я получил в лагерной библиотеке немецкую книгу в русском переводе. На второй, кажется, странице была помещена обложка ее

немецкого издания.

Книга лежала на тумбочке и была открыта как раз на этой странице. Мой сосед по нарам спросил меня: "Москвич, ты знаешь немецкий?"

Знаю, ответил я незамедлительно, хотя не знал не только немецкого, но и вообще ни одного языка, кроме русского. Ответ мой, вероятно, отражал мое желание предстать в глазах людей более интересным. Тем не менее я, скорее всего, сказал бы правду, если бы подумал хоть несколько секунд. Беда в том, что правда не изменила бы мою жизнь. Ложь оказалась необходимым условием начала этой истории.

Но в то время я думал иначе и был раздосадован своим враньем, в котором не видел ни необходимости, ни пользы – только трудности: теперь приходилось помнить, что именно я соврал.

К тому же мой сосед действительно знал несколько немецких фраз. Обратившись с ними ко мне и не получив ответа, он наверняка понял бы, что я не знаю языка, и мог бы при желании создать мне репутацию хвастуна и вруна.

Репутация особенно важна для тех, кто, лишившись уважения окружающих, окажется совершенно беззащитен. Защитой могут послужить любовь, профессиональный успех, материальная обеспеченность. У меня, как почти у всех заключенных, не было ни того, ни другого, ни третьего.

Чтобы выйти из такого положения, я решил выучить немецкий и попросил родителей прислать мне учебники и словари. Родители обрадовались: в первый раз за много лет я делал то, что было им по сердцу. Однако я занялся немецким вовсе не из желания порадовать родителей; их радость была лишь дополнительным стимулом продолжать занятия.

Я где-то прочел, что изучение языков — это прежде всего запоминание слов и грамматических правил. Следуя этому положению, я стал читать учебник и немецкие книжки, выписывая незнакомые слова и те правила, которые были необходимы для понимания текста, а потом повторяя все по нескольку раз в день. Начав с двадцати слов в день, я скоро перешел к сорока. Я зубрил их все время. Даже во время работы и во сне.

Общие работы, обязательные для всех здоровых заключенных, я выполнял в основном автоматически. Голова была занята только повторением по памяти слов и правил; я повторял их почти все время, когда бодрствовал. И, как бы в благодарность за мою верность, эти слова и правила не оставляли меня и во сне: они мне снились.

Месяцев через восемь я решил также изучать английский (надо отметить, что второй иностранный язык пошел быстрее, чем первый), а немецкий поддерживать чтением книг. Как раз в это время родители прислали мне пятитомник Шиллера; я прочел все тома от корки до корки и, к своему моему удовлетворению, встретил совсем немного незнакомых слов.

Мне оставалось около трех лет до освобождения, и я планировал выучить за это время еще испанский и французский. Я понимал, что не смогу изучать языки в таком темпе на воле

— там будет слишком много отвлекающих факторов — и радовался, что в лагере могу посвятить все свое время языкам. Этот период был одним из самых счастливых и наверняка самым значимым в моей жизни.

Хотя я изучал языки бескорыстно, не ожидая никакой выгоды, выгода пришла. Заключенные стали относиться ко мне с большим уважением, я стал для них специалистом. Как-то меня даже спросили, пользуются ли немцы зубными щетками. Я показал это слово в русско-немецком словаре и сказал, что, судя по его наличию в немецком языке, кто-то в Германии наверняка щетками пользуется. Мое объяснение показалось убедительным. Если бы я не изучал языки, меня бы об этом никто не спросил.

Скоро знание языков стало приносить более весомые плоды. Некоторые офицеры учились заочно в институтах. Им надо было сдавать иностранный язык. Начальник отряда, в котором я работал, пригласил меня в кабинет и смущенно попросил проверить его ответы по немецкому. Я проверил, и начальник получил пятерку. Другие начальники также просили моей помощи. Я помогал безотказно, и их отношение ко мне изменилось: им хотелось мне помочь. В ответ на запрос адвоката о моем поведении в лагере начальник отряда написал: "Ранее, по сведениям оперативного отдела, у заключенного наблюдались нехорошие высказывания в адрес советских и партийных органов. Сейчас этого не наблюдается, но иметь в виду надо."

Через шесть месяцев меня освободили. Не уверен, что письмо сыграло важную роль. Были и другие факторы. Например, ходатайство моих родителей о моем досрочном освобождении поддержал известный писатель Илья Эренбург. Наверно, его просьба была весомее всего прочего. Но если письмо начальника отряда все же как-то способствовало моему освобождению, то этим я обязан знанию немецкого и английского. Немецкий, кстати, я знал тогда лучше, чем английский. Когда мне объявили о моем освобождении, у меня промелькнуло в голове: "Поторопились! Я еще английских предлогов твердо не знаю."

Языки помогали мне и на свободе. Через несколько дней после приезда в Москву я устроился ночным санитаром в больнице. Надеюсь,

что санитары по ночам не очень заняты, я принес на работу английскую книгу. Моя начальница ее увидела и спросила, знаю ли я английский. Я сказал, что знаю, и похвастался, что также знаю немецкий. В следующую смену мне сказали, что заместитель директора больницы хочет поговорить со мной.

Я думал, что меня уволят. Но всё оказалось наоборот. Замдиректора предложил мне переводить с немецкого и английского на русский статьи и книги о глаукоме — они были нужны ему для диссертации. Теперь я только числился санитаром, а работал дома. Свою дневную работу выполнял за пару часов; остальное время было мое. Без знания языков такого удобного расписания у меня бы не было.

Мое материальное положение быстро улучшалось. В больнице, где я работал, организовали группу информации, и я официально стал одним из шести переводчиков. Теперь я переводил не только для одного замдиректора, а для всех врачей больницы, но по-прежнему работал дома. Моя зарплата выросла почти в два раза, и это была лишь часть моих заработков. Я переводил сообщения о достижениях науки и техники для популярных научных журналов («Техника молодежи», «Знание — сила», «Моделист-конструктор»), получая за каждое сообщение по пять рублей. Кроме того, я переводил патенты. Делать это под своим именем я не мог. Согласно правилам, переводчик патентов обязан был иметь высшее образование. У меня его не было. Но мои дипломированные знакомые брали заказы как бы для себя, а патенты отдавали переводить мне. Без языков моя зарплата была бы значительно скромней.

Языки помогали мне и после отъезда из СССР. В Израиле иммигрантам с высшим образованием создавали более благоприятные условия для изучения иврита: в период обучения они не обязаны были работать. Иммигранты же без высшего образования должны были работать пару часов в день. Меня послали изучать иврит вместе с теми, у кого высшее образование было. Это случилось, вероятно, потому, что я поговорил на немецком с чиновником, распределявшим иммигрантов по школам.

Через три месяца я случайно разговорился с израильским профессором. Говорили на иврите. Когда у меня не хватало слов, я переходил на

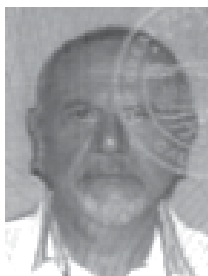
английский или немецкий. Профессор посоветовал мне подать заявление в Русский институт при Тель-Авивском университета на должность младшего научного сотрудника; он даже написал директору этого института письмо, в котором хвалил меня за знание языков. Обязанности младшего научного сотрудника состояли из получения периодики на почте, составления каталогов и обслуживания читателей. Периодика была в основном на русском, английском и немецком.

Я подал заявление без особой надежды на успех. Научный сотрудник, в моем понимании, обязательно должен был иметь диплом. У меня его не было; у моих конкурентов были. Но взяли меня. Языки оказались важнее диплома. Эта работа послужила началом моей карьеры в университетском мире. Я проработал в нем более сорока лет.

Сразу после устройства на работу мне посоветовали закончить историческое образование. До приезда в Израиль я пару лет изучал историю в московском вузе. Тель-Авивский университет засчитал мне московское обучение и создал для меня специальную программу, по окончании которой я получил степень бакалавра. Впоследствии я также получил степень магистра и доктора философии.

Я не планировал такой образ жизни. Все получилось случайно. Моя жизнь была бы совершенно другой без моего вранья о знании немецкого и попытки избежать репутации вруна и хвастуна.

Ирония судьбы... Немецкий язык, который был краеугольным камнем моей карьеры в ее начальной стадии, оказался впоследствии совершенно ненужным. Я им не пользовался много лет. Сейчас я с трудом читаю простой немецкий текст.



Александр Кейлин

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (кроме как в России)



От автора:

Мне хотелось бы сохранить услышанные мною истории, так как большинства людей, на которых я ссылаюсь, уже нет на свете. Излагаю в хронологическом порядке.

НАЧАЛО ПРОШЛОГО ВЕКА

Еврей-мельник ведет дела с неграмотными крестьянами. Подсчет мешков с зерном, поступивших на мельницу, ведется путем выкладывания на стол медных пятаков. Один мешок – один пятак. Когда крестьянин получает мешки с мукой, мельник забирает со стола по пятаку при выдаче каждого мешка.

Однако во время работы мельник под любым предлогом выходит из комнаты. Крестьянин не может удержаться и обязательно хватает со стола несколько пятаков.

За все годы работы мельника не было случая, чтобы ему пришлось выдать столько же мешков муки, сколько вначале было получено мешков зерна/выложено пятаков.

Экономика. Россия!!!

(Источник – Бабушка. Мельник – Родственник).

1914 ГОД. НАЧАЛО ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ

На вокзале в германской части Польши пассажир задает вопрос: «Когда будет поезд?» Ответ: «Через один час и тринадцать с половиной минут». – «Почему такая точность?» – «Война».

На вокзале в российской части Польши пассажир задает такой же вопрос. Ответ: «Может, через час, может, завтра». – «Почему такая неточность?» – «Война».

Россия !!!

(Анекдот 14 года. Источник – Дедушка).

1917 ГОД

Выборы в Государственную Думу. Голосуют по номеру партий, так как названий никто не помнит. Большевики – список номер десять.

1918 ГОД

На работе объявление: зарплата выдается только тем, кто голосовал за список номер десять.

Демократия. Тайное голосование. Россия!!!

(Источник – Бабушка.)

1919 ГОД

Выступление Троцкого: «Если Свет не для всех, пусть будет Тьма».

Общественное мнение. Россия!!!

(Источник – Бабушка.)

1942 ГОД

Партизанский отряд занимает остров на болоте.

Вдруг по периметру острова начинается стрельба. Все, кроме дежурного кашевара, находятся при оружии и бегут отбить атаку. С места кашевара слышно, как стреляют с обеих сторон, но выстрелы с партизанской стороны то в одном, то в другом месте затихают. Понимая, что товарищи погибли и через минуту на остров ворвутся немцы, кашевар поспешил перед смертью съесть кашу. Понятно, какой ценой она досталась.

Оказалось, что напали не немцы, а полицаи, и атака была отбита.

Реальная жизнь партизан. Россия!!!

(Источник – Кашевар. Мой тесть.)

1943 ГОД

Немецкий лагерь военнопленных. Раздается крик: «Рабинович, это ты?»

Человека, записанного как Рыбников, вызывают в комендатуру. Немцы не будут убивать

без формального медицинского заключения. Врач в эсэсовской форме осматривает снявшего штаны заключенного, который обрезан при рождении.

Запись в протоколе: «Ариец».

Жизнь или смерть. Германия.

(Источник – Рабинович. Двоюродный дядя.)

...Как-то я спросил сотрудника, участника войны, человека аполитичного и не очень широко мыслящего:

«Скажи, Борис Петрович, когда ты, простой солдат, понял, что мы их, а не они нас?».

Его ответ передаю как можно дословнее.

1944 ГОД. БЕЛОРУССИЯ. Артиллерийская батарея – четыре пушки – едет на машинах по открытому месту. Вдруг появляются немецкие танки и первыми открывают огонь. В 1941 – 1943 годах, по его мнению, все попрыгали бы с машин и побежали. Танки догнали бы и перебили почти всех.

Летом 1944 машины развернулись, отцепили пушки, подготовились и открыли ответный огонь. Одновременно. Танки попали в один расчет. Никто не остановил своих действий, видя смерть нескольких человек, бывших совсем рядом. Танки, встретив опасное сопротивление, развернулись и ушли.

Люди притерпелись к смерти. Кому выпало жить, те остались жить.

...Однажды, ещё будучи молодым человеком, я спросил офицера, участника войны: «Что вы чувствовали после выигранного сражения?»

Получил неожиданный ответ: «После каждого удачного сражения хотелось Сталина и его генералов повесить за яйца».

Так что после войны Сталин начал репрессии против военных не только потому, что люди увидели свою цену, но и потому, что они увидели цену Победы.

...Еще про Сталина.

В НАЧАЛЕ 1945 ГОДА Министерство путей сообщения получило приказ разработать план переброски на Дальний Восток огромной массы войск для войны с Японией. Задача была трудная, так как туда шла одноколейная дорога, а нужно возвращать порожняк, подумать о запасах паровозов, вагонов, угля. Как тогда было принято, работали днем и ночью. Готовый план повезли на утверждение Сталину. Сталин план смотреть не стал, а спросил, подумали ли они, что впереди войск надо отправить хлеб, которого там нет. Один из разработчиков плана

(мой двоюродный дядя) рассказал мне эту историю в подтверждение гениальности Сталина.

А я подумал: «Легко давать разнос подчиненным за невыполнение приказа, которого они не получали, да еще с высоты своего положения и обзора».

1952 ГОД

Молодые специалисты посланы по распределению в Пензу на военный завод. На заводе не выдают зарплату. Все молчат. Местные живут в семьях и имеют огороды.

Молодые специалисты в отчаянии. Пошли в обком партии с просьбой о помощи. Там вспомнили, что есть инструкция, согласно которой служебным собакам охраны выдается паек – независимо от экономического положения завода.

Ребят зачислили на должности служебных собак и кормили три месяца.

Экономика. Россия !!!

(Источник – Товарищ по работе.)

1967 ГОД. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ШЕСТИДНЕВНОЙ (АРАБО- ИЗРАИЛЬСКОЙ) ВОЙНЫ

Наш знакомый, находившийся в американской командировке, оказался в этот день в советском представительстве при ООН. Как же он удивился, обнаружив, что там проходит шумный банкет по случаю разгрома Израиля арабскими войсками с помощью советских советников и оружия. Интересно, что по американскому телевидению уже передавали правду. Как сильна привычка врать своим начальникам, говоря только то, что те хотят услышат. А как начальники могут принимать решения, если от подчиненных требуются только приятные новости?

ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ

ей достались советские танки, которые было нельзя использовать из-за несоответствия всех систем связи и управления стандартам НАТО. Попытка утилизации на металл не удалась, так как броня танков не поддавалась никаким воздействиям. Обратились к разработчикам на Кировский завод в Ленинграде и обнаружили, что в СССР никто и не задумывался о проблеме утилизации танков: очевидно, считалось, что танки нужны для войны и жизнь у них коротка.

Однако именно там нашли выход. Танки обматывались кабелями, начиненными взрывчат-

кой, и после подрыва броня распадалась на куски, годные для переплавки.

Русская безалаберность и смекалка в одном пакете.

(Источник – Специалист, работник завода.)

1990 годы.

Один из моих сотрудников сказал:

«Чего Вы радуетесь перестройке? Вы не сумели построить социализм, а капитализм и подавно не сможете».

Как в воду глядел.

ОСТАЛЬНОЕ – ИЗ МОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

1968 ГОД

Пригласил девушку в знаменитый театр «Современник». Особого впечатления ради купил билеты в первый ряд.

Во втором ряду сразу за мной сел Шостакович. Он низенький, зал неудобный – ему плохо видно.

Я сполз почти на пол и вжался в кресло.

Больше никогда не покупал билеты в первый ряд.

1972 ГОД

Командировка в г. Рыбинск на Волге. Вечером после работы зашли в магазин купить что-нибудь на ужин. На прилавке только колбаса странного небесно-голубого цвета. Название – «китовая».

Попросили взвесить.

Продавщица: «Вы будете есть или закусывать?» – «Закусывать». – «Тогда продам».

Забота о нашем здоровье.

ВРЕМЯ «ЗАСТОЯ».

В наш институт приехал инженер из НИИ КГБ для ознакомления с техническими новинками. Заодно он начал предлагать молодым специалистам перейти к ним на работу, суля всяческие блага. На мой вопрос о том, кого они принимают, ответил: сейчас, мол, много работы, берем всех, – конечно, кроме состоящих на учете в психдиспансере и евреев по паспорту.

Замечательное равенство критериев.

1990 ГОДЫ. КОМАНДИРОВКИ В Г. КАМЕНСК НА УРАЛЕ

В гостинице предупреждение: питьевая вода в кране – два часа в день, с семи до восьми утра и с семи до восьми вечера. Остальное время – только крутой кипяток, которым можно стирать, но нельзя даже чистить зубы: опасно.

Потом понял, что это последствия взрыва ядерных отходов неподалеку.

Забота о нашем здоровье.

...В том же городе при нашем отъезде в кассе посмотрели на нас и отказали в продаже билетов на проходящий поезд из Сибири до Москвы. Сказали: «Для вас опасно». Пришлось в ночь ехать электричкой до Свердловска и при минус сорока градусах сидеть на вокзале до утреннего фирменного поезда, где наши лица уже не вызывали такой неприязни.

Забота о нашем здоровье.

...В том же городе вечером водил бригаду в кино.

Итальянский фильм «Травиата». Билетёрша спросила: «Вы понимаете, на что идете? А то местные потом буянят». Успокоил и, к своему удивлению, среди артистов увидел знакомые лица. Сообразил, что для танца в опере итальянцы пригласили Васильева и Максимову.

Искусство и жизнь.

...И, наконец, в тот же город мы приехали под Новый год по вызову – помочь закрыть годовой план. В отделе режима новый начальник по имени Иван Иванович со значком «Делегат... съезда КПСС» не подписал пропуск в цех. Вы из московского НИИ, сказал он, а там, он слышал, иностранцы бывают на конференции. Это он о программе «Союз-Аполлон». Поскольку план заводу нужно выполнять, а объяснять что-то Ивану Ивановичу – себе дорожке, завод вытащил огромную установку из цеха на лестничную клетку, где мы успешно закрыли годовой план.

В следующий приезд наш перед кабинетом Иван Ивановича обнаружился предбанник, где миловидная женщина подписала нам пропуска и объяснила, что по мелким вопросам Иван Ивановича больше не беспокоят.

Так-то.



Александр Милитарев

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ЕСЛИ КУРИЦА – НЕ ПТИЦА

Если курица – не птица,
то не птица и синица,
и удод, и свиристель,
и пингвин, и коростель,

Если курица – не птица,
то не зверь тогда куница,
и ленивец, и енот,
и козел, и бегемот.

Если, этому поверя,
согласимся, что не звери
слон, пантера и жираф,
то получится, что прав
тот, кто рыбой не считает
рыб, которые летают.
Но и плавающих рыб
мы тогда вполне могли б
не считать за рыб: леща,
сельдь, и стерлядь, и ерша,
протипому, путассу
и другую рыбу всю.

И, наоборот, за рыбу
мы кита держать могли бы.
Но куда девать кита,
если рыба вся не та?

Если курица не птица,
то не рыба и плотвица,
барракуда, сом и язь,
и акула, и карась.

Значит, врет наука вся
про гуся и поросю:
от моржа до кабарги
пудрят в школе нам мозги!

Если курица– не птица
и совсем не зверь лисица,

и не рыба вовсе хек,
значит, я – не человек.

Получается тогда
ну такая ерунда,
ну такая чушь совсем,
что уже пора бы тем,
кто к народу лезет с тем,
что, мол, курица – не птица,
перед всеми извиниться.

ЧТО С УТРА ЕСТ БЕЛЫЙ АИСТ?

Вот в гнезде проснулся аист.
Что на завтрак он с утра ест?
Аппетита нет с утра –
ну, проглотит комара,
на завтрак пару мошек,
на закуску трех рыбешек,
не забыть про червяка,
слопать майского жука,
чтобы не было икоты,
нужно выпить полболота
и заесть пяток лягушек
парой сотен жирных мушек,
пожевать ужа и мышь,
клюв почистить об камыш
и в воде удобней встать,
до обеда чтоб поспать.

Аппетита утром нет.
Аппетит придет в обед.





Сергей Стратановский

ШУМ БЫТИЯ (О СТИХАХ ВЛАДИМИРА ГАНДЕЛЬСМАНА)



Владимир Гандельсман составил книгу избранных стихов «Разум слов». Она была издана в прошлом году в Москве, и в нее вошли стихи, написанные в последние сорок лет. Прежде всего скажу о названии: не «смысл слов», а именно «разум слов», т. е. нечто, что за словами и больше слов. Я называю такое нечто – шум бытия. Ощущение этого шума бытия не оставляет ни на минуту при чтении этой книги и сам автор знает о нем, только называет по-другому: «разумом слов», «речью раньше разума», «шумом Земли»:

Я шум оглушительный слышу Земли,
троллейбусных шин закипанье –
то дальше, то ближе, то снова вдали,
то мокрых подошв лепетанье,

то жести прогибы под тяжестью лап,
уродливых лап голубиных,
то – блюдце на полке колеблющий храп
соседа, то в тайных глубинах

квартиры, где плохо обои взялись –
меж ними и дохлой стеною –
как сердца обрыв, осыпание вниз
трухи совершенно пустое...

Казалось бы, какое дело читателю до чьего-то храпа или осыпания трухи. Сами по себе эти детали не несут никакой семиотической нагрузки, но в них – свершение бытия, то, что можно выразить не именем существительным, а, скорее, глаголом или сочетанием существительного и глагола: бытие бытийствует.

О чем пишет Гандельсман? О любви и семейной жизни, о смерти и похоронах, о своих родителях и соучениках по школе и о многом другом, что может показаться несущественным, но что со-

ставляет саму ткань Жизни. Для него существенно всё, и повседневное едва ли не существенней хода истории. Политика для него – лишь накипь Жизни. Он говорит об этом прямо, например, в стихотворении «Грифцов на митинге». (Грифцов – герой-персонаж книги «Грифцов», alter ego автора):

Он говорит: «Мне мерзок митинг,
ужимки эти и прыжки,
идите в баню, там ваш митинг –
отмойтесь, грязные щенки».

Дыхание бытия, пульс Жизни по Гандельсману не в политике, а в событиях самых незначительных, вроде поездки к другу в Петергоф. Но событие это становится значительным для автора, поскольку тогда, в пригородной электричке, он ощущает в себе энергетическое творческое волнение:

Ради слова, растущего ветвью, энергией взрыва –
промахнувшись, бесспорно попасть, –
ради внутрислогового в суставах его перебива,
перелома, сращенного верно и криво,
я и трачу построчную страсть.

(Над дебаркадером ползет черно-серое небо)

В этих строчках и формула его поэтической работы. Для Гандельсмана главное в стихотворении – это рост и ветвление некоего энергетического куста или энергия взрыва. И ради этой энергии можно (и нужно) пренебречь «гармонической точностью», логически выверенным синтаксисом. Сращенное криво, тем не менее, оказывается сращенным верно. (Это, кстати, относится и к проблеме «неряшливостей» и логических неувязок у Пастернака).

Недавно, в своей статье о поэзии ныне

уже покойного Олега Охупкина (Звезда, 2010, №8) я высказал свои соображения о некоторых архетипических образах, встречающихся у многих поэтов и являющихся, по моему мнению, некими символами Жизни. Таковы, на мой взгляд, образы куста и дерева. Яснее всего это видно на примерах цветаевского диптиха «Куст» и ее же «Бузины». У Гандельсмана в цитируемом выше стихотворении мелькает чернокуст, увиденный из раздвинутых дверей электрички. Это случайная и в то же время не случайная деталь – она перекликается со «словом, растущим ветвью». А вот дерево в стихотворении «Дерево» уже не деталь, оно прорастает через текст, оно – символ Жизни:

...как дерево, как будто это снимок
извилил Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом

со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведенным на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.

Я не люблю школьных определений типа «любовная лирика», «гражданская лирика». Вообще слово «лирика» не ухватывает что-то существенное в стихах Гандельсмана. Обычно в его стихах – не прямое выражение чувства, а разговор как бы о чем-то другом, например, о быте. Но, говоря о временном и преходящем, он ощущает в глубине его – бессмертное:

Квартира в три комнатных рукава,
ребёнок из ванной в косынке,
флоксы цветут в крови сквозняка,
стопка белья из крахмала и синьки.

тёмная кухня, чашка воды
с привкусом белой рентгеновской ночи,
окна свои заматают следы,
разве ты можешь сказать, что не очень

любишь, и разве не знаешь, как сух,
плох этот стих – мимоходной кладовки не стоит,
той, на которую надо коситься, и двух-
трёх, обветшавших на плечиках,
съеденных молью историй,

это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
всё достоверней, и если бессмертной души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

Это стихотворение о счастье, но Гандельсман пишет и о несчастьях и горестях, причем не только о своих. Приведу полностью стихотворение «У стены», одно из самых пронзительных, на мой взгляд, в современной русской поэзии:

За того, кто болен неизлечимо
и кому так страшно в ночи сейчас,
помолись, прохожий, идущий мимо,
возле стен больничных остановясь.

Всё, к чему ты себя приладил,
разрастаясь то ввысь, то вширь,
знал и тот, который утратил
смысла празноцветущий мир.

Там борьба не на жизнь, а на смерть,
вникни, – может быть, в кирпичи
вшепчешь силу, с которой гаснуть
легче будет измученному в ночи.

Как Гандельсман ощущает смерть? Для него она – не всепоглощающая черная дыра, а разрыв бессмертной жизненной ткани, секундная остановка дыхания Бога:

О, «когито» блеснувший коготок,
вцепившийся в моё существование,
застывший в нём! Что значит слово «Бог»,
как не его дыханье?

Что может быть прекраснее, чем снег
и дерево в ветвящемся ознобе?
Жизнь жительствоует, мёртвый человек
не одинок во гробе.

Не новая ль звезда вонзилась в синь,
как бы с земли взметённая шутиха?
Не гаснет Твой небесный свет. Аминь.
Неотвратимо. Тихо.

(С похорон)

Бог в его стихах присутствует как Хозяин Жизни: Он может ее подарить, а может и отнять. Лев Толстой как-то сказал о Боге: «Он – охотник,

я – заяц». Гандельсман, думаю, не чувствует себя зайцем, но Бога он иногда ощущает как Стрелка, стреляющего по «танцующей мишени», или как Охотника:

так посещает жизнь, как посещает речь
немого – не отвлечься, не отвлечь,
и глаз не отвести от посещения,
и если ей предписано истечь –
из сети жил уйти по истечении
дыхания, – сверкнув, как камбала,
пробитая охотником, – на пекло
тащимая – сверкнула и поблекла, –
то чьей руки не только не избегла,
но дважды удостоена была
столь данная и отнятая жизнь.

Я Сущий есмь – вот тварь Твоя дрожит.

(Так посещает жизнь...)

«Жизнь жительствоует» и он, изобретатель этого выражения, никогда не впадает в отчаяние. Вот, например, стихотворение, написанное в глухое советское время, когда поэт был вынужден работать в котельной (вероятно, угольной). Оно явно ориентировано на знаменитый 129 псалом («Из глубины взываю к Тебе, Господи»). Герой этого текста тоже говорит из угольной ямы, т.е. тоже «из глубины», но его речь – не вопль отчаяния, а скорее молитва:

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной
ямы, своей чернотой смертельно напуганной,
вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче,
помнишь, твердившем в Воронеже:
выслушай, вылечи.

К кому обращается поэт? К Утешителю, которого, может быть, и нет, еще нет, но он обязательно появится «в послезавтрашнем срезе», родится, а, может быть, уже и родился. И Гандельсман упомянут в этих строках не случайно: вспомним его стихотворение «Сохрани мою речь...», где он заклинает сохранить то, что он написал, спасти от забвения. Вот и Гандельсман просит о сохранении своей речи гипотетического Утешителя:

...возьми ее в виде образчика
речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика

Все это отнюдь не поэтическая условность, артистический жест. Не только Гандельсману, но и всему поколению поэтов, сформировавшихся в 70-е и в первой половине 80-х годов, доступ в литературу, выход к читателю был закрыт, а гибель текстов была реальностью. В «перестройку» и в 90-е все стало меняться, но в советское время мы этого не предвидели.

Следует сказать не только о том, что пишет Гандельсман, но и как он пишет. Вообще об этом можно написать целое исследование, но я ограничусь лишь примерами того, как вещи и события предстают в его текстах в неожиданном ракурсе. Вот несколько таких примеров:

...волну теснит волна, как складки влажной туши
лилового и мощного слона...

(Так посещает жизнь...)

...там, где последний автобус гасил свои бивни...

(Слушай, когда тишина...)

Видишь – морось водянистым виноградом
над безлюдной и бесчеловечной площадью... –

(Тост)

На Северной Двине, за Нижней Тоймой,
позвякивает вечер рукомойный...

(Памяти Володи Дворкина)

...и солнца крапчато-олений
узор, упавший на траву

(Апрель)

Думаю, что сказанного достаточно, чтобы понять: Владимир Гандельсман – поэт масштабный и мощный. Он – один из лучших современных русских поэтов.

Февраль 2016 г.



Елена Макарова

ГРИГОРИЙ КОРИН. ПОЭТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ



Хлопает парадная дверь. Они! Только у нас есть ключ от этой двери, все остальные входят в дом со двора и поднимаются по винтовой лестнице. Я открываю дверь и прислушиваюсь к шагам. Они!

- Он не поэт, – говорит папа.*
- Нельзя рубить сплеча, – говорит мама.*
- Он прохиндей и графоман, – говорит папа.*
- Просто он читал неудачные стихи, – говорит мама.*

Спорят. Нет чтобы обо мне подумать. Никогда не буду их ждать, пусть хоть ночью придут, пусть вообще не приходят. Я сажусь на холодную ступеньку. Пусть знают, где их дочь провела весь вечер.

– Ой, кто это? – восклицает мама. Она первая на меня наткнулась.

– Никто.

– Опять ты сидишь на камне! Сколько раз тебе говорить!

Я отталкиваю мамину протянутую руку.

– Вот он, твой характер, – говорит мама папе. Значит, они поссорились. Если папа пьяный, я буду на маминой стороне. Потому что когда папа выпьет, у него портится характер. Мама наоборот – делается веселой, вертит глазами и часто моргает.

Нет ни папы, ни мамы, ни того человека, к которому мама от нас ушла. Все они были поэтами – Инна Лиснянская, Григорий Корин, Семен Липкин. Я любила их, они были героями моей жизни и персонажами моих книг. Этот рассказ посвящен папе.

Папа прописался на этом свете 15 марта 1926 года, а выписался 4 июня 2010-го. Его одинокая старость питалась снами о речке Тетерев: «Радомышль. Лучшее место на земле. Помню, как мы плещемся в воде, солнышко радостно светит...»

Жил он последние годы на девятом этаже двенадцатиэтажной башни по улице Зеленой на станции Левобережной, неподалеку от канала. Та же вода, та же солнышко радостно светит...

Каждое лето я навещала папу, вывозила его из одиночной камеры в зону отдыха, на берег канала.

В голубой вельветовой рубашке с нагрудными карманами, в светлых брюках и кепке не помню уж какого цвета, папа радостно глядел в просторы жизни. Проплывали катера, проносились ракеты, толстый мальчик с крестом приставал к своим толстым родителям, девочка в чепчике спала в коляске.

"Гуляем", – подмигнул он и жестом фокусника извлек из нагрудного кармана пятьсот рублей.

В ассортименте киоска Зоны отдыха – пиво, вода и чипсы. Три наименования при богатстве разновидностей. Папе – вода без газа, мне с газом, троюродной сестре Даше – пиво, всем – чипсы. Так мы и сидели, попивая и грызя.

Папе вспомнилась дорога от дома деда до реки. Базар. Коровы, овцы, гуси, телята, козлы, бараны. Но самые любимые – лошади. «С ними появлялся жеребенок, он меня восхищал. А еще мужик с медведем. Умный медведь кланялся только тем, кто бросал деньги в шапку».

* * *

В Радомышль папа вернулся после войны. Взор его открылся незнакомый город, ни дома, ни дерева, которое когда-то на его глазах "перебинтовал" дед Янкель Хабинский, лесничий, и люди там были другие. Ни одного еврея. Идиш, некогда родной язык Радомышля, погиб вместе с людьми.

И ни слуху, и ни духу.
Лес болеет одичалый.
Сосны впали как в желтуху,
Иглы сбились в покрывала.

И все же пятерых евреев он там встретил. Они сидели перед рвом, на месте массового уничтожения, что-то бормотали, "на скамейке спины грея". Эти старики потом являлись ему в бреду. "Я должен их освободить..."

С убыванием настоящего воспоминания детства ярчали. Папа рассказывал, как они с дедом Янкелем встречали весну, провожали осень, ходили по лесу, летнему, зимнему. Дед рассказывал мальчику Годелю, как надо любить, понимать, хранить природу. Он лечил деревья. Дед был тонким, прозрачным, как бы пронизан светом. Однажды весной он сказал: «Слушай, как звенит капля, упавшая с сосульки».

Папа слушал птиц. Где бы он ни жил, у форточки была кормушка. Отец Бруно Шульца выводил птиц, папа кормил. С ними у него была особая связь.

Утром розовая птица
Прилетает погостить
И глядит, как шевелится
Спички пламенная нить.

Смотрит, смотрит, улетает,
Утром вновь в окне стоит,
Что-то эта птица знает,
Чиркну спичкой – улетит.

Дед учил моего папу наблюдать за луной и звездами. В его доме была большая комната с длинным узким столом, за ним сидели евреи и слушали деда. Он читал Тору. Иногда маленький папа "разыгрывался не на шутку", и тогда дед сажал его на колени и продолжал читать. Потом пили чай с колотым сахаром.

Однажды папа услышал в разговоре взрослых слово «погром». И вскоре семья переехала в Баку. Это было в 1929 году. Жара, каменный двор. Дед стоял у окна и грустно смотрел на чужой мир. Вскоре он умер.

"Все лучшее, что рождалось в душе", папа приписывал деду.

* * *

В городе детства родился и Петр, старший брат отца, поэт, казненный на войне. Этот казненный на войне поэт читал папе русские стихи. В семье говорили на идиш, и папа думал, что русские говорят в рифму. Брат читал ему Пушкина и свое. То и другое звучало волшебным.

Неспособность отличить классику от са-

модеятельности, выразительное слово от никакого, так и осталась с ним. Папа не замечал корявостей и неточностей рифмы. Поэзия – не чистописание, говорил он заносчиво.

Помню, как они с Тарковским были увлечены стихами Вениамина Айзенштадта, которому папа, в пору своей влюбленности во Франциска Ассизского, придумал псевдоним Блаженных. И правда – Айзенштадта не публиковали, а Блаженных опубликовали.

"Вот у Айзенштадта много неточных рифм, совсем никудышных, а поэт истинный!"

Истинный или не истинный – одна категория. Слово "мастерство" по отношению к поэзии было сродни матерному ругательству. – Кто тут мастер?! – заводился папа, – Господь, по-твоему, мастер? Он дунул – все стало. Так и я. Выдуваю истинное. Не сижу за партой, не вывожу закорючки, не промокаю кляксы.

Далее обязательно следовал пассаж про мамыны стихи. Он ревностно следил за ее публикациями, за ее именем, поднявшимся на гребне славы в тот момент, когда его ушло на дно. Забылось.

Мама говорила – Корина публиковали большими тиражами: участник войны, партийный, отказать можно было разве что за еврея, но он взял псевдоним. Теперь публикуют тех, кто был запрещен, и, как видишь, таких оказалось немало.

Все вроде верно. Однако в партию папа вступил на войне, еще не будучи Кориным. Стоит ли осуждать за это мальчишку? В перестройку все массово покинули ряды партии, папа тоже. Между этими эпохами, внутри кашеобразного времени, прошла жизнь моих родителей-поэтов; счет предъявлялся мне. Я чувствовала себя матерью поссорившихся детей и страстно желала их примирить. Если не как поэтов, то как людей, произведших меня на свет. Тщетно. В обоих случаях поэт и человек были слиты воедино, и какой точки не коснись, любая оказывалась болевой.

Смерть производит рокировки.

В соседней комнате за компьютером сидит мама и, наконец-то, после нескольких лет молчания, сочиняет стихи. Та мама, к которой я привыкла с детства. Правда, без сигареты во рту, без ореола дыма.

Я же в своей комнате читаю папины стихи. Он с задумчивой улыбкой и сигаретой в руке, смотрит на меня с полки.

Воем истошно ветер.
Так бы и я завыл,
Если б на белом свете
Не человеком был.

Что сказала бы мама?

А вот что: "Григорий Корин поэт короткого стихотворения. Поэт строфы, в которой вопль жизни, чувство одинокого человека. Это вытекает из самого содержания, ибо ничто не сказано в лоб, хотя вместе с поэтом, не будь читатель человеком, ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ ЗАВЫТЬ".

А про это:

Всем дано одно и то же бремя,
Разница ничтожна. По живым
Мертвые не плачут. Плачет время
И не знает, что творится с ним.

А про это – вот что: "Когда пишет истинный поэт – всё значительно. Вот в этом четверостишии Григория Корина уместилась вся его простодушная жизнь. Не каждый выстрадает ВЫСКАЗЫВАНИЕ, что «по живым мертвые не плачут». Но своей боли до конца истинный поэт не выскажет. А свалит все обиды и несправедливости, скажем, на время. Что и сделал Корин в этом коротком, но пронзительно ёмком стихотворении".

Всю жизнь папа-поэт ждал от мамы-поэта признания. Если бы он услышал эти слова, он бы взял их эпиграфом к 14-му и последнему тому рукописного издания, сброшюрованного в Химкинской переплетной мастерской. Он посвящен высказываниям великих и не очень людей и назван "Поэт и его окружение". Этот том папа читал каждый день не столько для того, чтобы убедиться в своей значимости, сколько для того, чтобы убедиться в том, что его слово существует. Не он сам, нет, его слово. Зеркало в этом убедить не может.

* * *

"Каждый листочек, исписанный мною, я тщательно прятал от старшего брата. Боялся его суда. «Ты все пишешь в блокнот?» – спрашивал он меня.

«А ты?» – отвечал я дерзко. Я пытался держаться с ним на равных, что, конечно, не получалось, и все было бы по-другому, если бы я открыл ему тайну – я тоже пишу стихи. Петр был великодушным, он все ж таки прочитал мои стихи, одобрил их и посоветовал

общаться со сверстниками.

«Нет, я лучше буду с Пушкиным», – отвечал я.

Брат открыл мне дорогу в книжный магазин, где я проводил много времени. Там я покупал замечательных поэтов по дешевке".

Гибель Петра для папы, прошедшего войну, вернее, пролетавшего ее в хвосте самолета в должности пушечного мяса, стала предзнаменованием судьбы.

Как кожевник продолжает род кожевников, так и папа продолжил род поэтов.

С детской верой в свою звезду или свой крест, – определения менялись в зависимости от настроения, – он уверял меня в том, что его книги останутся в русской литературе. У него в ней своя ниша. В его уверенности была некая заносчивость, а аргументы, которые он приводил в пользу ниши, были попросту смешными. "Я пишу свой род, я пишу, что знаю и чувствую, ни один поэт не написал книгу о внуке, а я написал!" Что правда, то правда, папа написал про нас всех.

Про себя:

Я был в музыкальном мундире,
я катался, как в масле сыр,
Но однажды,
бренчащим на лире
подглядел меня грозный сатир.
И тогда-то
на странном прогоне,
в полпути своего бытия,
добровольный хранитель гармонии,
стал от ямба
отлынивать я.
О себе я подумал: пропащий!
Но я видел –
меняется мир.
Покупайте!
Продаю музыкальные части,
целиком –
музыкальный мундир.

Про маму:

Муза полы натирает
или варит обед,
за ней тогда наблюдает
весь белый свет.
Мне влетает за плотника, слесаря,
за электрика,

мясника.
Муза трет,
а я, как под следствием,
у паркета, у половика.
Сам себя я делаю узником,
я бужу в ней домашний труд.
Никакие стихи и ни музыка
ее пыла уже не прервут.
Я – подручный,
я очень стараюсь,
я проделал шестнадцать работ,
а она все паркетину драит,
все одну паркетину трет.

Про меня:

Возле окошка топчется.
Взгляд – на прохожих.
Без общества
она не может.
Всегда выищет
смешной нос
или уши,
а из пластилина вылепит
трагические души.
Ждет всегда перемену
в школе, на улице,
нравится откровенно
ей мамина пудреница.
К людям всегда доверчива,
с людьми всегда запальчива,
дружит с девочками,
а надеется на мальчиков.
Стрижка – не модная,
много веснушек,
читает Лондона,
не знает Пушкина.
Все – от характера,
враждебна ей хрестоматия.
Читает или вертится,
ластится или задумается,
во все – ей верится,
во всем – путаница.

Про отца:

Погнутый, как горбыль.
Глотал отец мой пыль
И съел ее пуды,
И выпил пруд воды.
Когда пришла беда,

Не помогла вода,
И пылью был убит
Отец мой, шерстобит.

И, как говорится, так далее, по числу
родственников.

Однако:

Ничего мы не знаем ни о себе, ни о наших ближних,
И ведем немой разговор, из слов никому
не слышных.
Но Господь, причастный к твоей роковой судьбе,
Успел о грядущем твоём все рассказать тебе.

Растерянность твоя страшнее,
чем старость твоя и слабость,
Дважды никто не живет,
и в смерти бывает удача.
Старик! Никто не вынесет твою жалость,
твою дряблость
Ни дети твои, ни внуки, свое лицемерие пряча.

Ничего ты не будешь знать, ничего ты
не будешь видеть,
Господу некогда, у него таких миллионы,
Умирая, ты унесешь из дому все обиды,
Разве это не радость для твоей обреченной персоны.

То, что человек смертен – понятно, но не всякий
знает дату выписки. Папа знал:

Умру, умру в июне,
И нечего роптать...

Он умер в июне. Сиделка сказала, что он ни на
что не жаловался, ничего не просил, никого не звал.

* * *

"Петька! Петька! Милый Петр Александрович,
куда ты пропал, уже полгода прошло, а ты молчишь.
Может быть, ты где-то спишь под глубоким снегом,
ты предсказывал свою судьбу, когда уезжал, небо
тогда тоже было серым, я помню, ты горько плакал
под забором, когда тебе казалось, что тебя никто не
видит. Было также ветрено, как сегодня, только снег
не хотел плакать. Я сейчас один, у меня нет никого,
но если бы ты прислал хоть одно слово, я бы ожил...
Может быть ты пленник и тебя мучает немец за то,
что ты еврей?"

В 16 лет папа писал дневник. Почерк у него
уже тогда был неразборчивым. В восемнадцать

ушел на войну. В двадцать вернулся. После полетов "над головами врагов" он еще долго вздрагивал и передергивал плечами, словно бы пытаясь скинуть с них страх.

И трудно было нам поверить,
Тогда вернувшимся живым,
Что это волосы, не перья,
Прилипли к крыльям роковым.

Еще до демобилизации он получил письмо от женщины, которая знала, где и как погиб Петр, и, не заезжая домой, поехал в село Матвеевское, близ Чигирина. Там он, увы, нашел подтверждение своей дневниковой записи.

Петр сбежал из плена, связался с партизанами. Притворялся азербайджанцем. Был схвачен фашистами и повешен в городе Чигирине на Базарной площади. Как еврей и партизан. В таком порядке.

Этой истории папа посвятил поэму под нехитрым названием "Брат". У него такие были названия: "Автопортрет", "Отец", "Внук", "Брат"... Были и не односложные, типа "Люди, мои люди", и почти пародийные "Небо над головой" и "Земля под ногами", но папа таковыми их не считал. "Это ведь правда, что небо над головой, а земля под ногами. Посмотри на рисунки детей, они так рисуют".

Спорить было невозможно, папа ссылаясь или на детей, или на Библию. "Земля безводна и пуста" – это, по-твоему, не банальность? Все банально. Внук, брат, даже Господь, прости Господи. Сколько жизней ты живешь? Одну? И я одну. Вот и все.

* * *

Папа в украинской рубашке, белой, вышитой цветными крестиками. Откуда она взялась в нашем бакинском доме? Но именно ее он надел, когда узнал, что у него родился сын. Петр, разумеется, какое еще имя есть на свете? Он отвел меня к бабушке с дедушкой и уехал в роддом. Сказал, что скоро за мной придет. Но наступил вечер, а папа не возвращался. Меня никогда не оставляли ночевать в этом доме, не было места. В одной комнате спала бабушка на высоченной кровати, в другой – на низкой и пружинистой – дедушка. Мы с дедушкой вышли на галерею, что-то вроде балкона на первом этаже, спустились по деревянным ступенькам вниз, поднялись вверх, к выходу на улицу, и стали смотреть в ту сторону, откуда должен был прийти папа. Была осень, деревья в белых манжетах – их побели-

ли, защищая от вредоносной тли, – стояли недвижно, казалось, все замерло. Я прижалась к дедушке боком, и так мы стояли молча, вслушиваясь в тишину. Ждать тяжело. Но я ни на что не соглашалась, ни на книжку посмотреть, ни на сказку послушать. Я хотела знать, что случилось с моими родителями и братиком. Через день я узнала, что брат умер в больнице. Видимо, смерть от удушья не успела выветриться из имени папиного брата и забрала дыхание у новорожденного.

Для меня, четырехлетней, его не было, для мамы с папой – не стало. Мне было жаль маму, вернувшуюся из больницы без живота и ребенка, и я бегала к соседям и просила не говорить маме о том, что у нее умер ребенок. Папа надел черную рубашку, перестал бриться.

С тех пор все пошло наперекосяк. Мама писала грустные стихи, папа писал грустные стихи, я жалела обоих. Когда Петя умер, мне было четыре года, а когда родители развелись – четырнадцать, и я так же точно жалела обоих. Наверное, поэтов разводят стихи. Маме разонравились папины, папе – мамины. Мама встретила человека, чьи стихи ей нравились больше, чем папины, а папа встретил экскурсоводшу из Третьяковской галереи, которой папины стихи нравились больше маминых.

Папа еще много лет писал стихи, посвященные маме. В конце жизни она стала для него трехликой. Одна – великая поэтесса Инна Лиснянская, вторая – моя мать, которая разлучает его со мной, а третья – та жадная старуха, которая как-то приехала его навестить и не оставила ему ни копейки.

* * *

С уходом мамы мы остались в малогабаритной трехкомнатной квартире – долголетней мечте их совместной жизни, выкрашенной в яркие цвета. Колера подбирал папа. Коридор – красный, как пожарная машина, затем комнатка цвета лимона (бывшая мамина) и две смежные – красная и желтая. Квартира-попугай.

Сiju целый день с папиросой,
Ни с кем не обмолвлюсь словом.
О, трудно для дочери взрослой
Остаться примерным отцом.
И сам не заметишь ошибки,
А дочь уже рядом, права.
За ней – остаются улыбки,
Бессильны за мною – слова.
Но дочь... Она все понимает,

На плечи мне руки кладет,
И все на себя принимает,
И это мне встать не дает.

Папа занял дальнюю комнату, я — мамину.
Большая комната стала общей. Он тосковал. Все
напоминало о маме, включая меня, разумеется.
Услышав ее нотки, он менялся в лице.

Он запил, какие-то люди привозили его и
оставляли под дверью, помню, как мы со школьной
подружкой затаскивали его в дом, промерзшего, без
пальто, как пытались снять с него ботинки и уложить
в постель. Тело, вышедшее из подчинения, становит-
ся неподъемным. Как труп. Это я тоже узнала, увы,
в раннем возрасте, оставшись один на один со своим
покойным дедом Шабесом. Только того надо было
снять с кровати, чтобы обмыть, а папу надо было
водрузить на кровать, чтобы он проспался.

* * *

Возвращаясь из школы, я находила его в
дальней комнате, за машинкой. Он яростно стучал
по клавишам "Мерседеса".

Прочти, говорила я ему своим, не маминым
голосом, и он читал, со слезами в голосе, которые
тщетно старался подавить.

Как не было тебя!
Да и меня —
Как не было!
И юной твоей плоти,
Мне давшей сына, дочь, —
как не было в природе,
И двадцати двух лет — день изо дня
Как не было!
И воли и усилья
Укрыться от забот, карабкаясь на крыльях,
Придуманных тобой, —
как не было в помине,
Лишь снег белей белил в оконной крестовине,
Белей моих седин, приспущенный на ели
Перед окном чужим, где с будущей недели
Ты будешь, как и я, стоять средь бела дня
И думать про меня:
как не было меня!
И белый лист судьбы держать перед собою,
Как я его держу с покорностью слепую.

Ну как, — спрашивал папа, и не дожидаясь отве-
та, говорил, — по-моему, в этом что-то есть. И еще
такое... Прочешь?

Какое множество людей
Вдруг в нашей жизни оказалось,
Когда со мною ты рассталась,
И стал я прежнего седей.
Когда я начал забывать
Тебя
И не искать свиданий,
Какой же
Рой воспоминаний
Мне стали люди насыщать —
Едва знакомые со мной,
С кем не сказал я и полслова,
О, сколько подняли былого
Почти из жизни неземной.
И где совсем уже не ждешь
Себе оказии печальной,
Вновь, как на ноте поминальной,
Немое сердце бросит в дрожь.
И с каждым разом все трудней
От знаков странного вниманья.
Как множатся воспоминанья,
Какое множество людей
Стоит у одного свиданья.

Прошло время, и папа, прикрывая рукой
трубку, стал шептаться с кем-то по телефону, и даже
смотреться в мамино зеркало, завязывая галстук.

Возвращаясь под утро, он курил, стоя у окна в
кухне, и на его устах блуждала улыбка. Как и обеща-
ла мама, папа приходил в себя.

Я думал — не переживу,
А пережил и эту муку.
Теперь служу тебе как другу,
Еще и ангелом слыву.
Другая с челкою твоей,
С твоей усмешкою невинной
Средь мокрой чаши соловьиной
Мне губы жжет, как суховея.
И те же самые слова,
Которые нас породнили,
Ее уста в мои пролили,
И ходит кругом голова.
И лишь в наплыве суеты,
Опустошенности от ночи
Журавль колодезный бормочет —
И возникаешь где-то ты.
И не уснуть мне до утра,
И не сказать уже ни слова,
И ничего во мне живого...
Какая странная пора!

Первая женщина с челкой ушла, и, чтобы она не возникала при бормотании колодезного журавля, папа женился. Женщина с челкой и улыбкой невинной ценила его стихи, заучивала их наизусть, составляла перечни опубликованных и неопубликованных. Жена поэта – это должность. Или роль. Для папиной жены это скорее было ролью, дальше составления перечней она не продвинулась, и папины архивы пришлось разбирать мне.

Пока поэты, затворившись в кельях, сочиняли, она прогуливалась с женой Тарковского, обихаживала знаменитых старушек, и те составляли возвышенные отзывы о папиной поэзии, позже помещенные в том же 14-м томе.

Медовое время супружества сменили аптечные будни. Дом заполнился лекарствами – папины рукописи постепенно перемещались на антресоль, а ящики секретера заполнялись таблетками, капсулами, мазями, пипетками и одноразовыми клизмами, обеденный стол покрылся лекарственными упаковками, на месте нормальной соли была английская...

Светлая квартира на девятом этаже потемнела. Единственное, зато большое окно в комнате, спряталось за плотную штору. Полумрак. Книги, лекарства, пыль. Точно как в бакинской квартире бабушки-дедушки. Папина жена превратилась в его мать – даже внешне они стали похожи, правда, голова первой была перетянута цветастой косынкой, а бабушкина – белым вафельным полотенцем.

"Гришенька, тебе нельзя курить, ты в предынфарктном состоянии"! Папа испугался и бросил. Через неделю меня вызвали – везти папу в больницу – боли в сердце, инфаркт. Оказалась межреберная невралгия. Но все равно болезнь. Надо лечиться. Собачка тоже получала свою порцию транквилизаторов – от тьяканья лопается голова. Потом ее отдали.

* * *

Папа затосковал, купили попугая. Он назвал его Петей.

Говорящая птица, ты в полете своем
Ничего не слыхала о сыне моем?

В ответ Петя ловко спикировал на папину лысину, уселся на ней и что-то прошептал в стариковское ухо. Наверное, что-то утешительное.

"Князь мой голубой, мой друг Петруша... Мой провидец, мой веселый брат".

Видит ли попугайчик,
Как я играю с судьбой, –
Вскину зеркальный зайчик
В тихий простор голубой.
Вряд ли он что-то добудет
В краснокирпичной стене.
Всюду зашторены люди,
Света не видно в окне.
Может, зажмурится кто-то
От золотого пятна,
Кликнет меня, обормота,
И захохочет стена.
Вспомню глубокою ночью,
Глупый, затею свою,
Чем свою память морочу,
С чем у окна я стою.
Перед стезей роковой,
В детство я впавший старик.
Занят какою игрою?
Проще: купить бы парик,
Все это было, все было
С облаком белых волос, –
Пятнышко дом озарило
Светом, летящим вразброс.
В миг обрету свою сцену,
И – неизвестный факир,
Через уснувшую стену
К людям, в бессмысленный мир.

Эти стихи из разряда расхлябанных ("Вскину зеркальный зайчик / В тихий простор голубой" – сказано крайне небрежно, можно указать и на прочие погрешности стиля) я привожу не как образчик поэзии, а как иллюстрацию его тогдашнего состояния. Одиночество в зашторенной квартире. Желание играть как в детстве.

Я выросла на этих играх. Мы играли с папой в точилки, из-под которых спиралями выкручивалась коричневая стружка с цветным ободком, в гойевских дам с собачками, в открытки, в марки и этикетки, даже в куклы. В папином детстве не было игрушек, и он любил их как ребенок, он им радовался. Ему нравилось, как у куклы захлопываются при переворачивании глаза, ему нравилось смотреть, как при вдвигании штырька раскрываются лепестки тюльпана и появляется дюймовочка. Я привозила ему из Иерусалима осликов и верблюжат, и они занимали место на секретере, расчищенном по этому случаю от лекарств.

Роскошный подарок сделал ему внук Федор. Рядом с папиным домом у помойки лежал большой

красный медведь с одним глазом. За такой, в сущности, мелкий дефект, он и лишился крова. Федя сбегал за папой, вывел его на улицу, и тот "нашел это чудо". Папа светился от счастья. Эту фотографию с медведем я включила в короткий фильм о нем. Фильм кончается его словами: "Ну, вот и все. Вот и все".

Такое же лицо, изучающее счастье, я увидела, когда мы с ним гуляли по Библейскому саду в Иерусалиме и повстречали ослика. "Он пришел из Радомышля!"

* * *

Папина сиделка загуляла. Украинская женщина влюбилась в дагестанского аксакала. Вернувшись со свидания, она позвонила мне по мобильному телефону и сказала, что папа лежит на полу, в доме все перевернуто вверх дном. Наверное, они его отравили. На полу пустая пачка галоперидола.

Я полетела в Москву.

Влетела в папину квартиру. Жена и падчерица сидели в черных одеяниях у смертного одра. "У него уже нет глотательного рефлекса". Я выдавила в ложку лимон и влила сок в беззубую пасть. Глотательный рефлекс был. Никто из моих друзей-докторов, которых я приглашала смотреть папу, не мог понять, что случилось. Соседка по квартире прописала уколы, от которых он или встанет, или помрет. Случилось первое, но не сразу. Папа бредил. Героями двухнедельного бреда выступали пятеро стариков, дед и отец – всех их надлежало спасти из черной комнаты или из здания вокзала, заслонить от пуль, отвязать от дерева, вынести из бушующего огня, одним словом, освободить.

Стихи, написанные в восьмидесятих годах, предвещают сей бред.

Сны моего отца мне снятся,
И пробуждает та же боль,
И разъедает тело соль,
И я спешу скорей подняться.
И своего отца во сне
Отец мой видит непрестанно:
Мы трое связаны нежданно
В наследной боли-западне.
Отца уводит чей-то взгляд,
И, повинувшись взгляду, бедный,
Бежит, и взор его последний
Я вижу и кричу: – Назад!
Меня не слышит. Отрешен.
А как увидит, гонит жестом –
Мол, здесь, со мной, тебе не место,

Беги же! Я – приговорен.
Или над морем, над луной
Стоит в космическом оконце,
Стоит, как я, не шелохнется
Над бездной блещущей земной.
Он видит деда каждый раз.
Но дед отца не прогоняет,
Как мой отец меня, внимает
Отцу, с него не сводит глаз.
Кричу! Не слышит ничего,
Хоть боль его нутро мне точит,
Меня расталкивая с ночи,
Как сны предсмертные его.

Открыв на третьей неделе глаза, уже не замутненные страхом, он сказал жене: "Уезжай". Она приняла это спокойно, позвонила своей дочери, и та ее увезла. Больше она в этом доме не появлялась.

Как я теперь понимаю, его жена спешила переоформить квартиру на имя своей дочери. В папином секретере я обнаружила много неожиданного. Пакет с облигациями разных акционерных обществ, перечень вкладов, справку из домоуправления 2003 года о том, что эта квартира числится за дочерью его жены.

Понятно, почему ему всегда недоставало денег: все, что я посылала, отбирала у него женщина с усмешкой вовсе не столь уж невинной. "Денег ему в руки не давай, только мне, – предупреждала она. – Спрячет, и с концами, он же беспамятный".

Папа, видимо, поняв, что сделал ошибку, спрятал дарственную и не позволил рыться в его вещах. Разнервничался. Поднялось давление. Его успокоили хорошей дозой галоперидола.

* * *

Шекспировские страсти советского быта остались позади. Но страх не прошел. Папа стал прятать деньги, теперь уже от сиделки, которой я платила зарплату, пенсия же шла на расходы.

Как-то я ехала от папы домой на такси, и рассказала водителю про папину игру в прятки. Он меня упокоил: его отец по ночам бродит по квартире, ищет агентов мирового империализма.

Перед последним полетом в Израиль папу так накачали таблетками, что по прилету у него начались галлюцинации, и он не бродил, а бегал по квартире в поисках агентов, только не мирового империализма, в КГБ.

* * *

За последние десять лет папа не сочинил ни строчки. Отравленный мозг не получал подпитки, да и душа устала. В ожидании моего приезда, он перебирал рукописи, пересоставлял уже имеющиеся книги.

Меня ждали манты, приготовленные новой сиделкой — киргизкой, тарелки со сладостями, которые "я любила в детстве", и рукописи. Стихи докомпьютерной эпохи я переписывала в лептоп, сканера у папы не было. Мы составили с ним две книги для ОГИ и ряд новомировских публикаций. В том и другом помогала мама.

Однажды я привезла папу к маме на дачу, в Переделкино. Природа! Он сидел в плетеном кресле на солнышке и млеял от счастья. Как он оказался в гостях у великой поэтессы да к тому же и моей мамы? О том, что она была его первой женой, он поначалу забыл. Но когда мама назвала его Годиком, встрепенулся.

"Господи, так ведь ты же та самая женщина, на которой я женился в Баку!"

Это было вскоре после смерти маминого мужа и вскоре после злосчастного отравления. Исхудавший, не крепко стоящий на ногах, он напоминал жеребенка.

Мы читали с компьютера стихи, мама делала правки. Папа соглашался. Принимал поправки не думая.

Кажется, его впервые не трогали его собственные стихи. Он был увлечен другим. Рядом с ним — дочь и ее мать, которая когда-то была его женой, это были лучшие годы жизни. Мама эту тему не поддерживала. Ее память не так услужлива, как папина. Я замяла этот разговор. Папа с удовольствием съел котлетку, мама уж не помню что, мы сыграли в дурака, я устроила папу на своей кровати, пожелала ему спокойной ночи, потом маме, и вышла на крылечко.

Светила луна, зудели комары. Недавно здесь был Семен Израилевич, теперь и мама одна, и папа один. Забрать бы их на зиму в Израиль, снять большую квартиру. Логично. Но у жизни своя логика.

Ночью папа стал метаться. Вскочил с кровати, стал искать выход, незапертую дверь. Я отвела его в туалет, но он сопротивлялся. Это была жуткая ночь. Мама предложила дать успокоительное, но я отказалась.

Утром светило солнце, высокие лопухи сияли в окне, папа, повесив буйную голову, клевал творог. Мама пила кофе и курила.

Я договорилась с тем же приятелем,

который привез нас сюда, забрать нас с папой на Левобережную.

В оставшееся время мы опять читали стихи, мама вносила правки, папа соглашался. Все было так и не так.

* * *

Ночные поиски денег тайком от сиделки убили папу. Он упал, перелом шейки бедра. Я полетела в Москву его спасать. Удалось. Через три месяца другую. На этот раз не вышло. Прилетела на похороны.

Когда я вернулась, у мамы начались непереносимые боли в ноге. От лекарств мутилось сознание. В больнице предложили ампутацию. Я отказалась. Нашелся врач, который решил это иным путем.

Выхаживая маму, я думала о папе. Сколько же ненужного произошло в его жизни, и сколько нужного прошло стороной.

До последнего дня папа заглядывался на моих подруг и на всех был готов жениться. Не расписаться поспешно в загсе, а жениться как надо: в свадебном костюме, с шарами и цветными лентами, привязанными к машине... Я видела, как он провожал глазами свадебный эскорт в Иерусалиме. Женился его внук Федя, и не совсем так, как папа представлял себе настоящую свадьбу, но и это прошло мимо него. Родилась правнучка, ее фотографией был облеплен весь альков, он смотрел на нее, просыпаясь и засыпая, а прикоснуться к ней так и не смог. Он, воспевавший всех, от деда до внука, остался один с сиделкой.

Это стихотворение папа писал в слезах. Беспомощное, недостойное его пера. Но сколько боли в нем!

Я завещание отправил дочке.

И сам не понимал я, для чего?

Или прочтет, проглатывая строчки,

И в пачках писем похоронит и его?

Замотанная жизнью и делами,

Детьми, вдруг повзрослевшими, все ей

Расхлебывать и днями и ночами,

Еще и я с оказией своей.

Как мир устроен, Господи, минуты

Не отыскать не только для отца,

Как выловить ее из вечной смуты,

Чтобы достигла весть предел Творца.

Ведь за него мне не дадут гроша.

Дарил бы золото в кубышках красной меди,

Но где его возьмешь? Листы лежат, дрожа.
О дочь моя, прости, немислимой затеи
С тебя снимаю груз, не выдержать тебе.
Вовеки не прочтут, не вспомнят иудея, –
К великорусской не причислен я судьбе.

"Цветочки" Франциска Ассизского подарил папе Арсений Тарковский на заре их дружбы. Эту зелененькую, потрепанную книжку я положила папе в гроб. Папа любил Франциска и Арсения.

* * *

"Поэт и его окружение", том четырнадцатый. Отзыв о себе папа читал про себя. За неимением слушателей. В отделении травмы, где его оперировали, слушатель был под боком. Молодой парень с ногой на вытяжке.

– Это написал обо мне Тарковский, – сказал папа, открывая 14-й том на 86-ой странице.

– Который снял "Иваново детство"? – парень аж подскочил на локтях.

– Нет, Арсений Тарковский, знаменитый поэт, отец режиссера!"

– Читай, дед ", – ответил парень без особого интереса.

И папа с воодушевлением начал:

"Талантливость этого поэта носит черты исключительной самобытности: он никогда не подражал ни своим предшественникам, ни современникам. Уместность и убедительность его стиля объясняется прирожденной естественностью его средств выражения и доверительностью, с которой он обращается к читателю".

– Без пол-литра не поймешь, – вздохнул парень.

– Хочешь выпить?

Он хотел. Меня отравили за водкой.

– А что, я один, что ли, буду? – спросил парень, когда я поднесла ему пластмассовый стаканчик.

Мы не пьем.

– Тогда за ваше здоровье!

Выпил. Можно дальше читать.

"Критики-хитрецы изобрели так называемого лирического героя стихотворения. Я не верю в этого персонажа. Поэт пишет о себе, о своем отношении к миру, о своей судьбе, а не о судьбе некоего Икса..."

Правильно, про себя честней получается, одобрил парень, за это по второй. Папа переждал, пока сосед заест водку коркой черного хлеба, и продолжил.

"Иногда случается даже так, что речь в

стихотворении идет о каком-нибудь историческом лице, но так или иначе поэт пишет о себе, подобно тому, как актер на сцене, играя такого-то, остается самим собой и выражает прежде всего самого себя. Если он поэт подлинный, как в случае Григория Корина, то, выражая себя, он живописует судьбу многих людей: он выразитель их надежд, их печалей и радостей".

– Значит вы и есть Григорий Корин? – воскликнул парень.

– Да, – гордо сказал папа.

– А почему вас все называют Коренберг?

– Как поэт я Корин, как больной – Коренберг.

Шутка понравилась.

– Значит, так, чтоб болезни покинули, а муза не покидала! Закуси не осталось, и не надо, плесни в кружку водички.

Плеснула. Парень выпил. Выжидательно посмотрел на папу: есть там еще?

– Есть.

"...Григорий Корин нашел и успешно разработал своеобразную и выразительную стихотворную форму, близкую к простой разговорной речи и благодаря этому способную легко завладеть вниманием читателя и захватить его всецело".

Ну и молодец Григорий Корин, может, прочтешь чего? Чтоб захватить всецело.

Наизусть папа помнил лишь стихотворение в одну строчку:

Одинаково холодно камню, и ветке, и мне.

Хайфа, 2012 г.



Дмитрий Янушкевич ЖИВОПИСЬ



Читателям альманаха нет нужды представлять этого человека. Его инициалы составляют замечательное слово – «ДА». Его картины опознаются сразу, безошибочно. Вы его знаете. Его зовут Дмитрий Александрович Янушкевич. Он живет в Америке более 20-ти лет. Было время борьбы с болезнью, годы учебы. Живопись победила. Д. А. вошел в мир искусства легко, свободно, естественно. Так текут реки – поражая размахом. Так поют птицы – вольно и красиво. В этом году Д. А. исполняется 40. Пора мужания, начало зрелости, – из начинающего живописца Д. А. превратился в художника.

Вглядитесь внимательно в его натюрморты (если вообще это так классифицировать). Сначала вы замечаете изысканное сочетание цветов. Но разве вы не видели эти предметы? Можно подумать, что и расположение их на холсте привычно, но... Каждый предмет живет, тянется к свету, прячется в тени, движется.

Серое, розовое, коричневое, красное, и опять розовое, черное, серое, коричневое, – казалось бы, безрадостная гамма. Но ею выражены поэзия бытия, трепетное прикосновение к вечности и, в оправдание его инициалов, – Д.А. – торжество жизни, радостная возможность все это видеть, изображать, творить! Творить – стало целью, смыслом, стало самой жизнью.

Остается проблема классификации. Так что же это? Натюрморты? Nature Morte... Тихая жизнь? Still life... Хоровод вещей, в который вовлекается зритель? Вереница бытовых подробностей? Собрание казусов? Коллекция? Термин, мне кажется, известен – образы, образы жизни. Хочется ждать, надеяться, видеть.

Александр Янушкевич



Розовая ракушка. Акрил

Посмотрите: ракушка – розовая, рядом бутылка, кружка. Все банально, обыкновенно. Серые будни – и рядом глубины моря, перламутр, течения – теплые и холодные. Борьба стихий, сама живопись.



Ход времени. Акрил

Или совсем просто. Несколько бутылок – прямые, вытянувшиеся. Пузатые. Самодовольные. Стоят, как солдаты в строю. Или компания обывателей. Но рядом упали песочные часы. Течение времени остановлено. Все застыло, стало нудно серым и виденным-перевиденным. Но сияют розовые сполохи – вестники рассвета.



Натюрморт с ножницами. Акрил

А вот из этой же серии. Две бутылки – прямая и с шарообразным основанием. Две стекляшки, которые можно бы и разбить или выставить за порог. А рядом – резкая, двойная диагональ, подающая тревожные знаки. Режущий, колющий предмет, известный по загадке: два конца, два кольца, посередине гвоздик. Что это? Бытовая, рутинная картинка? Но именно привычные, знакомые предметы дают ощущение надежности, стабильности, и в итоге – гармонии.



Натюрморт с трубой. Акрил

Есть еще несколько примеров – в красно-желтом, золотом колорите. Состояние, казалось бы, тревожное. Но посмотрите как переливаются краски на медной трубе. Труба поет, ей подпевает лампа «летучая мышь». Все тянется к солнцу. Слышите звуки органа?



Натюрморт с птицей. Акрил

Круглый, тяжелой глины горшок. И по контрасту – изящный, тонкий, нервный кувшин. К ним льнет птичка-свиристель. Опять музыка звучит в ушах, но теперь – это блюз.



Желтый натюрморт. Масло

И еще одна пронзительная желтая картина. Накаленная атмосфера. Прелюдия взрыва, пожара, предчувствие катастрофы. Кажется, холст невозможно взять в руки – получишь ожог. Ожог творчеством. Ожог талантом.

Татьяна Апраксина

ИЕРУСАЛИМ (ЦИКЛ)

Тушь, пастель, карандаш, 2012-2013



Иерусалим: Гило



Иерусалим: Старый город



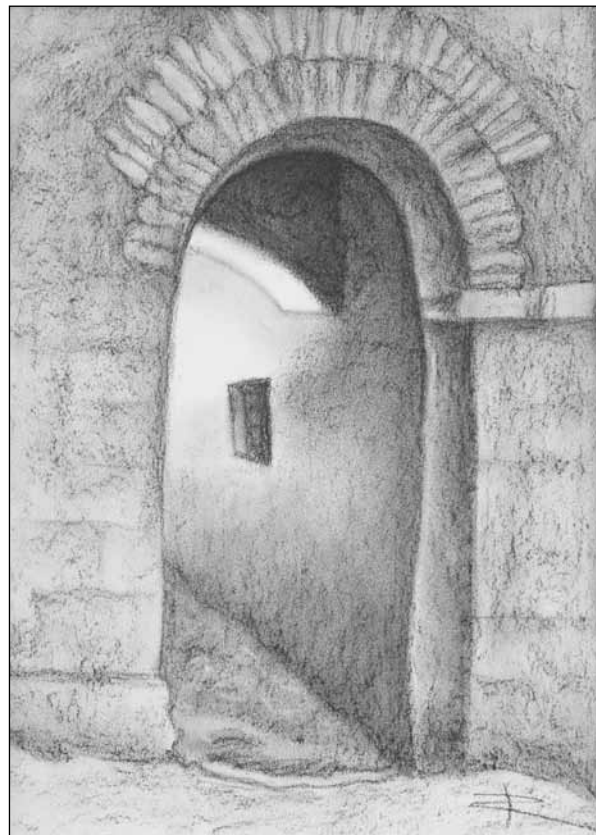
Иерусалим: Старый город



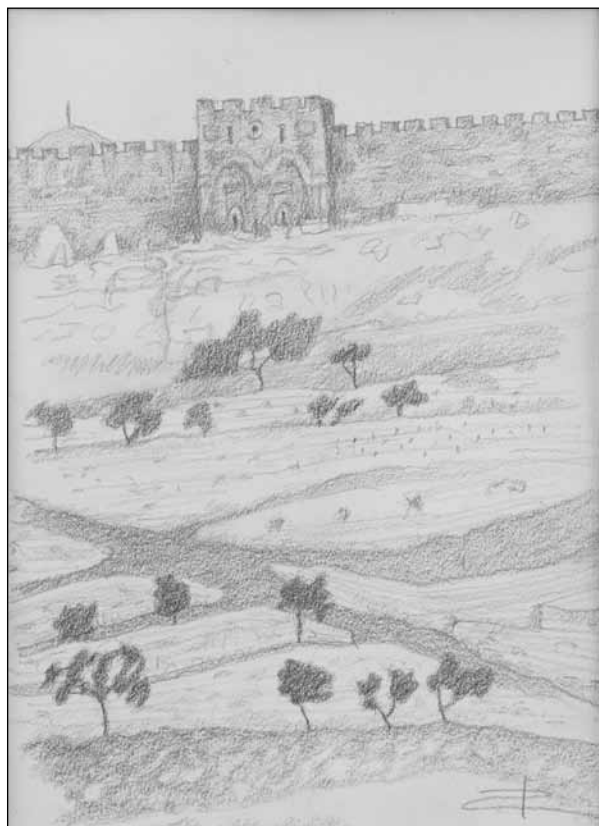
Иерусалим: Старый город



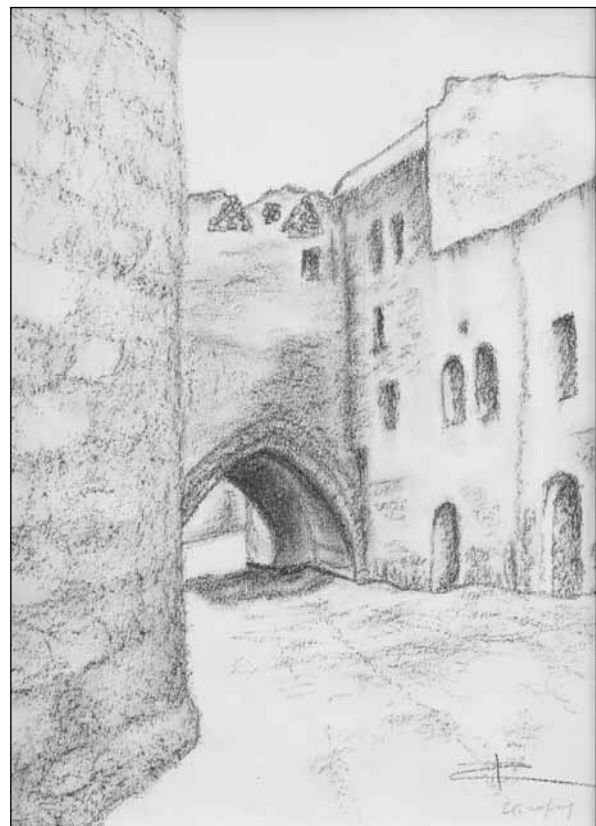
Иерусалим: Нахлаот



Иерусалим: Нахлаот



Иерусалим: Золотые ворота



Иерусалим: Старый город



Иерусалим: Старый город



Иерусалим: Старый город



Иерусалим: Старый город.
Орден Св. Георгия.



Иерусалим: Храм Гроба Господня
(Экстерьер)



Иерусалим: Храм Гроба Господня (Интерьер)

БОРИС БЕРНШТЕЙН.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ НЕ СЛИШКОМ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ РЕДКОЛЛЕГИИ ОЖ
С ЛЮБИМЫМ АВТОРОМ –
СТИХОТВОРНОЙ (I) И ПРОЗАИЧЕСКОЙ(II)



I

Я был в печали и тревоге,
Вздыхая: «Ах!
Неужто же протянет ноги
Наш Альманах!»

Невыносимым был для взора
Вид этих ног,
И я молился: «От позора
Избави, Бог!»

Но вот явилася внезапно
Благая весть,
Воскликнул О дробь Б редактор:¹
– Мы есть, мы есть!

Скорей, о, предвесенний ветер,
Печаль развей!
Теперь я жду, я жду макета,
Как соловей!

Как соловей весной ждет лета –
Скорей, скорей!
Так ждет желанного макета
Ваш вечно преданный

Бебей.
28 января 2015 г.

Да ладно, Бог с ним, с альманахом,
В конце концов, пади он прахом,
Меня волнуют отв дробь бе
В их отношении к судьбе!

¹ Ответственный и Безответственный редакторы.
(Прим. ред.)

Я знаю, рифмою глагольной
Не вольно злоупотреблять,
Но что же, если я невольно
Хочу скорей про вас узнать?
Я верю, все в порядке, верно?
Слов много, или просто лень,
По-русски, гады, пишут скверно,
Сидишь и правишь цельный день...
Опять потребовал поэтов
К священной жертве Аполлон,
А ты сиди, не видя света,
Весь в редактуру погружен!
Редакторы, расправьте плечи!
Я вам как автор говорю,
Откройте взор (или грудь) весне навстречу
И не гоните к январю!
(...)

Перейдя на высокохудожественную
прозу, сообщаю, что наша с вами книжица о
зрителе пошла, издатель обещает выпустить ее
к лету!
Бывают и хорошие новости с внеисторической
родины, хотя и редко.

Ваш неизменно автор ББ.
20 марта 2015 г.

Любимый автор и прекрасный!
Все те же мы. Дуэт согласный.
Сидим, действительно, и правим.
Вестимо, в мае уж отправим
В печать собранье пестрых глав,
Все сроки прежние поправ.
Толстеть нам все-таки некстати.

Не переварит нас читатель!
Стеная, чистое искусство
Мы в ложе жесткое Прокруста
Укладываем постепенно.
Стыдливо плещет Ипокрена...

Ждем Вашей книжки с нетерпением!

ОБе¹

22 марта 2015 г.

Наш диалог из двух углов
Сложенье строк, плетенье слов –
Случайный дар слепой судьбы
В стране Георга Вашингтона...
Но сам Иванов с Гершензоном
Нам позавидовали бы!

Б. Бернштейн
22 марта 2015 г.

II

Дорогие ответственные и безответственные,
равно как и полуответственные!

Хотел сказать вам это на прощанье прямо на
месте, прямо в глаза, но потерял вас из виду.
Говорю: я очень высоко ценю ваш энтузиазм,
инициативу, творческое и игровое начало,
которые вы вносите в это дело, и, между прочим,
нешуточный труд!

Будучи (как это бывает с некоторыми евреями)
двуличным, я выступаю в качестве автора и
читателя одновременно, и потому благодарю
вас дважды!

Ваш вечно Б.Б.
17 июня 2014 г.

Многоуважаемая Алла Исааковна,

дела таковы, что я сегодня как бы закруглил
первую часть статьи, которую предназначал
для альманаха(...) Между тем, у меня в плане
было написать еще много чего на свеженькую
тему "Зритель". Очнувшись от творческого
похмелья, я обзрел реалии и задумался. С

одной стороны – не хочется кромсать замысел.
С другой – неясно, когда я завершу остальное:
расписание моих занятий весьма даже сложное,
время раздрызгано, а к тому же – есть одно-два
срочных задания, которые я отложить не могу.
Поэтому мне пришла в голову странная мысль:
а что, если в ближайшем номере альманаха
опубликовать (если на то будет Ваша воля!)
первую часть, а в конце написать "продолжение
следует"; а я уже буду спокойно – когда будет
время – дописывать продолжение, не экономя
ни на тексте, ни на картинках? Для третьего
выпуска "Образов"?

Что на этот счет думает Редакция?

Готовую часть могу прислать, предварительно
перечитав на трезвую голову. Количество
иллюстраций можно сократить: я совал
все, что может осветить (иллюминировать,
иллюстрировать) сюжет...

Ваш ББ
17 октября 2011 г.

Милая Алла, как дела?

Ваши читатели и почитатели, духовной
жаждою томимы, справляются у меня – где
образы? где жизнь? Последний вопрос пахнет
уже, как Вы понимаете, экзистенцией!
ОТВЕЧАЙТЕ!

Ваш вечно ББ
8 апреля 2014 г.

Дорогие О/Б!

Спешу сообщить, что почтенное Издательство
имени Новикова в Петербурге приступает
к изданию известной вам книжицы. Я буду
просить издателя специально указать пальцем
на первопубликаторов и первопубликации.

Ваш ББ
5 марта 2015 г.

¹ Расшифровка та же. (Прим. ред).

Дорогая Марина,

в первых строках сего письма хочу еще раз высоко оценить Ваш труд и выразить соразмерную ему благодарность! Со своей стороны я стремился проявить величайшую кротость. (...)

Думая о светлом будущем: если и когда редакция отважится готовить следующий выпуск Альманаха, пусть она даст мне знать – и пришлю следующую, пока заключительную часть в чистовом виде.

Сил и успехов! Живите хорошо!

Ваш ББ
15 мая 2015 г.

Милая Марина!

Сначала общее восхищение Вашей въедливостью! Второе – стыдливое признание собственной непунктуальности. Отвечаю по пунктам прямо в тексте(...)

Ваш Б.Б.
18 Мая 2015 г.

(...) Остается еще одна написанная глава ("Увидеть скульптуры Парфенона"), которая, обладая собственным сюжетом, исполняет роль итоговой и как бы проигрывающей с помощью этого сюжета еще раз основные линии предыдущих бесед. (...) Я буду рад, если этот "Парфенон" завершит сюиту в выпуске альманаха будущего года.

Наш русский язык богат, как никакой другой, кто бы спорил, но иногда кое-что можно и дополнить. В эстонском есть прекрасное и полезное пожелание, если его транскрибировать кириллицей, то оно будет звучать экзотически: йыуду тёэле! В переводе – примерно так: "силы к работе!" В обычной речи обычно сокращается до "йыуду!", что значит "Силы!"

Jõudu!
Ваш ББ
18 мая 2015 г.

(...)следует ли мне еще разок вычитывать

текст или только посмотреть, нет ли каких дефектов в макете? Спрашиваю, поскольку чтение этого автора вызывает у меня временами раздражение, хочется текст переделать(...) Сердечные приветы коллегам!

Ваш ББ
27 мая 2015 г.

(...)Будем готовы броситься Вам на шею в день презентации.

Алла и Марина

Проблема шеи приобретает новую остроту, ибо мне приходится разрабатывать стратегию ее загрязнения на ближайшие полтора месяца. Приступаю к работе.

Ваш ББ
29 мая 2015 г.

Дорогой Моисеич!

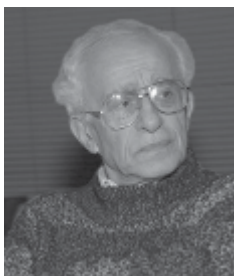
18 июля состоится презентация в ЖСС Пало-Алто.

Алка и Маринка
28 мая 2015 г.

Борис Моисеевич Бернштейн скончался 23 июня 2015 года.

Книга Б.М. Бернштейна «Беседы о зрителе», впервые опубликованная¹ в альманахе «Образы жизни» за 2010–2015 годы, вышла в издательстве Н. И. Новикова, С-П., 2015.

¹ Под первоначальным названием «Разговоры о зрителе» (Прим. ред.)



Борис Бернштейн

УВИДЕТЬ СКУЛЬПТУРЫ ПАРФЕНОНА¹



В июне 1807 года в Лондоне, в павильоне возле дома на углу Пиккадилли и Парк Лэйн, напоминавшего скорее большой сарай, открылась необычная выставка. Там показывали мраморные изваяния, которые вывез из Греции, находившейся тогда под властью турок, бывший английский посол в Турции – или Османской Порте – лорд Элгин. Это была только часть коллекции, собранной лордом. Сокровища продолжали прибывать.

В июне 1816 г. британский парламент решил приобрести у лорда Элгина всю коллекцию для Британского Музея. Уже в августе она была открыта для обозрения в специально выстроенной галерее. Львиную долю экспонатов составляли мраморы, веками обретавшиеся на афинском Акрополе.



Афинский Акрополь

Эта огромная, почти плоско срезанная сверху скала была священным местом древних афинян. Известно было, что именно там в мифические времена два великих олимпийских бога – Посейдон и Афина – поспорили из-за обладания афинской областью, Аттикой. Победить в споре должен был тот, кто сделает афинянам лучший подарок. Посейдон ударил

трезубцем о скалу – и забил священный источник. Афина ударила копьем – и выросла священная маслина. Победа была присуждена Афине.

В исторические времена воду из посеидонова источника на Акрополе можно было попробовать; морской бог что-то не рассчитал, и вода получилась солоноватой – скорее всего, именно из-за этой ошибки он проиграл спор. Первое во всемирной истории масличное дерево тоже можно было видеть на Акрополе. Такое уж это было место: там мифическое время перетекало в реальное, сакральные события оживали перед глазами смертных как чувственно воспринимаемая реальность, судьбоносные космические события представляли как соразмерные человеку.

Тем не менее (а верней – тем более), пространство акропольского холма оставалось пространством сакральным: здесь возводили храмы великим богам, в чьих руках были судьбы города и горожан, здесь стояли их статуи, здесь богам приносили жертвы, здесь устраивали священные церемонии, здесь проходили ритуальные шествия... Фронтоны и фризы храмов украшали рельефы, которые изображали исходные, установившие мировой порядок ситуации и деяния, возвращая им подлинный мифологический масштаб...

К рубежу VI и V веков до н. э. Акрополь, видимо, был достаточно застроен, освобожден от внекультовых функций и превращен полностью в сакральный центр.

Между тем на греческие государства надвигалась смертельная угроза в лице персидской державы – воистину эллинский Давид вынужден был защитить себя от варварского Голиафа. В 490 году до н. э. афиняне показали, на что они способны: в битве при Марафоне они разгромили безусловно превосходящее их числом персидское войско царя Дария. Это была великая победа – и в честь ее решено было украсить Акрополь парадным входом

¹ Из книги «Разговоры о зрителе». Окончание. См. ОЖ 2010-2014 гг.

и построить там новый храм, посвященный Афине; строительство начали уже в 488 году до н. э.

Персы, однако, не собирались отказываться от своих намерений. Победив спартанцев в легендарной битве в Фермопильском ущелье, персидское войско устремилось на юг, к Афинам.

В затруднительных ситуациях греки обращались за помощью к богу Аполлону, который давал советы через свое святилище в Дельфах. Бог дал на запрос афинян невнятный ответ – как и полагается богу. Оракул выразился в том смысле, что Афине, покровительнице Афин, гнев Зевса смягчить не удалось. Но афинян спасут деревянные стены.

Оракул, казалось, солгал. Поверившие ему афиняне стали обносить город досками, но персы деревянные стены подожгли, ворвались вовнутрь, разрушили город, разгромили и разграбили Акрополь.

Тем не менее оракул, как оказалось, хотя и выразился темно, сказал правду. Под деревянными стенами он подразумевал корабли. Большая часть населения города, его ценности и главные святыни были эвакуированы на остров Саламин, а афинские военные суда разгромили персидский флот в узком Саламинском проливе, где численное превосходство персов не имело значения.

Победа греков при Саламине – одно из критических событий мировой истории. Победы персы – и вся картина мировой цивилизации была бы выстроена в другой перспективе.

Но персы в конце концов ушли восвояси, афиняне же вернулись в свой город и стали его восстанавливать. Понятие научной реставрации было им неведомо. Они строили новый Акрополь. Остатки старого были просто засыпаны землей и камнями – на радость ученым-археологам XIX века, которые стали раскапывать и исследовать этот бесценный «персидский мусор», веками тайно хранивший для нас фрагменты убранства архаического Акрополя.

Но главным было новое строительство. Победа над персами оказалась мощным импульсом нового подъема греческой цивилизации, и во главе этого движения оказались Афины. Новый Акрополь, созданный в эпоху высшего расцвета афинской демократии – эпоху Перикла – стал наиболее емким символом этой эпохи.

Возведение нового Акрополя началось в середине V века до н. э. Был сооружен новый парадный вход – Пропилеи. На выступе скалы справа от



Трехглавый демон. Фрагмент фронтовой композиции храма Гекатомпедона на Акрополе. VI в. до н. э. Музей Акрополя. Афины.

входа поставили легкий храм Бескрылой Нике. Нике, богиня победы, была неременной спутницей богини-воительницы Афины, и обычно ее изображали крылатой, ибо она слетала на поле битвы в последнюю минуту. Но афиняне поставили храм Нике бескрылой – в надежде, что она не покинет Афины. Далее в рамке ворот перед взором зрителя возникала статуя Афины Промехос, богини-воительницы. Затем уже, войдя на площадь, зритель мог видеть слева, в некотором отдалении – там, где бил источник Посейдона и росла маслина Афины – храм Эрехтейон с его портиком кариатид, а справа – доминанту ансамбля, величественный храм Афины Парфенос, Афины-девы – Парфенон.

Начало строительства Парфенона датируют 447 г. до н. э. Его создателями, архитекторами или главными строителями, считают Иктина и Калликрата. Создателем скульптурного убранства был Фидий. Считается, что Фидий, друг инициатора строительства – вождя афинской демократии Перикла – осуществлял и общее руководство строительством нового Акрополя.

В 438 году до н. э., в дни праздника Великих Панафиней, Парфенон был освящен, но работы продолжались: только к 432 году было завершено скульптурное убранство храма – фронтовые композиции, два фриза, опоясывающие здание, и грандиозная, покрытая пластинами из золота и слоновой кости тринадцатиметровая статуя Афины-девы – внутри.

Спустя 2248 лет фрагменты его скульптурного убранства покажут английской публике в специальной галерее Британского музея. Однако на протяжении этих двух с лишком тысяч лет мраморы Парфенона, которые стали в XIX веке «мраморами

Элгина», были вполне доступны для обозрения. Их можно было видеть. Их не сумели скрыть те, кто этого хотел! Если считать, что каждые двадцать лет в активную жизнь входит новое поколение, то до вывоза мраморов на Британские острова в Афинах сменилось примерно сто двенадцать поколений потенциальных зрителей. Они тут, у склонов Акрополя, рождались, вырастали, воспитывались, жили и, когда наступал срок, уходили в мир иной, унося с собой свои впечатления и переживания – в том числе и те, которые были вызваны созерцанием сцены рождения Афины на одном фронте Парфенона и сцены спора Афины с Посейдоном – на другой. Как они смотрели? Что видели? Волновали ли их какие-либо чувства? Какие?

Мы знаем об этом отчаянно мало. Но некоторые крохи информации можно подобрать и некоторые правдоподобные предположения – выстроить.

* * *

В IV в. до н. э. Афины утратили доминирующее положение в системе греческих государств. Слава памятников Акрополя стала напоминанием о днях былого величия. Между тем главный из них, Парфенон, ждал первые постыдные унижения.

С середины IV в. до н. э. началось возвышение Македонского царства; уже при царе Филиппе Афины попали в зависимость от Македонии. Эта зависимость была закреплена при сыне Филиппа Александре. Великий завоеватель, правда, относился к знаменитому городу с пиететом: после первой победы над персами при Гранике он отослал афинянам символический дар – три сотни трофейных комплектов персидского вооружения. Персидские щиты, говорят, были выставлены в Парфеноне.

Но Афины были вовлечены во все драматические перипетии конца века. В 323 г. до н. э., завоевав более половины известного тогда мира, в Вавилоне неожиданно умирает тридцатидвухлетний Александр Македонский. Его полководцы, «диадохи», немедленно сцепляются в смертельной схватке за власть. Начинается смутный период, получивший название «войн диадохов и эпигонов». В группе главных игроков на этом поле выделялись Антигон I Одноглазый и его сын, удачливый красавец Деметрий, прозванный Полиоркетом, т.е. «Осаждающим города». Среди многочисленных деяний Деметрия особое место занимает освобождение Афин от македонской зависимости. Изгнав македонян, Деметрий вернул афинянам многое из их прежних свобод и государственного устройства. Благодарности афинян не было предела.

Вольнолюбивая некогда республика изнывала от раболепного восторга. Вот как об этом рассказывает Плутарх.

«Благодеяние это само по себе прославило и возвеличило Деметрия, зато афиняне, желая воздать по заслугам своему освободителю, неумеренностью почестей вызвали только ненависть к нему. Афиняне были первыми, кто провозгласил Деметрия и Антигона царями, хотя до того оба всячески отвергали это звание – оно считалось единственным из царских преимуществ, по-прежнему остающимся за потомками Филиппа и Александра и недостижимым, недоступным для прочих. Афиняне были единственными, кто нарек их богами-спасителями; отменивши старинное достоинство архонта-эпонима, они решили ежегодно избирать «жреца спасителей» и все постановления и договоры помечать его именем. Они постановили далее, чтобы на священном пеплосе, вместе с остальными богами, ткались изображения Антигона и Деметрия. Место, куда впервые ступил Деметрий, сойдя с колесницы, они освятили и воздвигли там жертвенник Деметрию Нисходящему, к прежним филам присоединили две новые – Деметриаду и Антигониду, и число членов Совета увеличили с пятисот до шестисот, ибо каждая филаставляла по пятидесяти советников».¹

Это еще далеко не все. Деметрий пошел навстречу льстецам и охотно признал, что он – младший брат самой Афины. И поселился в ее доме.

Плутарх:

«Кассандр осадил Афины, и город звал Деметрия на выручку. Выйдя в плавание с тремя судами и большим пешим войском, он не только изгнал Кассандра из Аттики, но преследовал бегущего до самых Фермопил, нанеся ему там еще одно поражение и заняв Гераклею, добровольно к нему присоединившуюся. После этой победы шесть тысяч македонян перебежали на сторону Деметрия. Возвращаясь назад, он объявил свободу всем грекам, обитавшим к югу от Фермопильского прохода, заключил договор о союзе с беотийцами, взял Кенхреи и, захвативши Филу и Панакт, две аттические крепости, где стояли сторожевые отряды Кассандра, передал их афинянам. А те, хотя уже прежде излили на него все мыслимые и немыслимые почести, еще раз показали себя неисчерпаемо изобретательными льстецами, отведя Деметрию для жилья внутреннюю часть Парфенона. Там он и поместился, и все говорили, что Афина принимает в

¹ Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Т. 3, М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 199

своем доме гостя, – не слишком-то скромного, клянись богами, гостя и мало подобающего для девичьих покоев!»

«...А Деметрий, которому надлежало чтить Афины если не по иным каким соображениям, то хотя бы по долгу младшего брата богини – ибо так он пожелал именоваться – день за днем осквернял Акрополь столь гнусными насилиями над горожанками и свободнорожденными мальчиками, что чище всего это место казалось, когда он распутничал с Хрисидой, Ламией, Демо, Антикирой, всесветно знаменитыми потаскухами.

...В довершение ко всему было вынесено следующее решение: «Афинский народ постановляет – все, что ни повелит царь Деметрий, да будет непорочно в глазах богов и справедливо в глазах людей». Когда же кто-то из лучших граждан воскликнул, что Стратокл, который предлагал это постановление, просто безумец, Демохар из дема Левконой заметил: «Напротив, он был бы безумцем, если бы не был безумцем». И верно, Стратокл извлек немало выгод из своей лести. За эти слова Демохар поплатился доносом и изгнанием. Так-то вот жили афиняне, казалось бы, свободные после избавления от вражеского сторожевого отряда!»¹

Итак, добросовестный и не утративший ни здорового нравственного чувства, ни пиетета по отношению к богам Плутарх сообщает, что Деметрий был признан не только царем, но и богом, младшим братом самой Афины, что его деяниям и самому его присутствию был присвоен сакральный статус и что – соответственно – он был достоин проживать и отправлять свои жизненные функции в доме, предназначенном только для божества и для совершения священных обрядов. Мы узнаем также, что на глазах сероокой богини-девы, Афины Парфенос, изваянной Фидием, брат-бог творил дикие непотребства, по отношению к которым свальный грех с полудесятком потаскух выглядел еще самым чистым развлечением!² Но это ничего не значило, поскольку афинский народ постановил: все, что ни повелит царь Деметрий, будет непорочно в глазах

¹ Там же, С. 206-207.

² Ср. с описанием этих дел у раннехристианского автора: афиняне «провозглашают богом даже Деметрия, и там, где он сошел с коня, вступив в Афины, есть капище Деметрия Катэбата, т. е. Нисходящего; алтари же ему воздвигнуты повсюду. Афиняне устраивали его брак с Афиной, однако он презрел богиню; не будучи в состоянии сочетаться со статуей, взял гетеру Ламию, взошел на акрополь и занимался любовью на ложе Афины, показывая старой деве телодвижения молодой блудницы». *Климент Александрийский*. Увещевание к язычникам. § LIV.

богов и справедливо в глазах людей. Иначе говоря, богиня Афина могла оставаться спокойной – в ее божественных серых глазах мерзкие оргии Деметрия выглядели непорочно! Так решило общее собрание афинских граждан, кто против? Это был далеко не последний случай, когда проблемы богов удавалось диалектически решать даже без ведома самих богов, простым голосованием на общих собраниях смертных.

Впрочем, это отдельная проблема. Для нас сейчас важно другое: сохраняли ли скульптуры, созданные Фидием и его помощниками, свои первичные, т.е. сакральные функции? Да, сохраняли: об этом недвусмысленно говорят все свидетельства и первое из них – факт перевода самого бытия Деметрия в сакральный регистр. И центральный ритуал культа Афины – праздник Панафиной – отмечали регулярно, только на новом пеплосе, который афиняне в этот день дарили своей богине, были теперь вытканы портреты еще двух богов: Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета.

Будет ли корректно вообразить себе такую сцену?

...Утро в Парфеноне после грандиозной попойки. Неутомимый в любых сражениях Полиоркет будит спящих и зовет их смотреть восход Гелиоса. Общество нехотя поднимается и выбирается на площадь перед восточным фасадом. Лучи восходящего солнца первым делом высвечивают фронтонную композицию. Фигуры богов раскрашены, но со времени их создания минуло более века, и раскраска несколько поблекла. Зато рассветные лучи падают чуть сбоку и заставляют ощутить мощно артикулированную пластику фидиевых фигур.

Изображено рождение Афины. Вот она, в самом центре, сразу взрослая, в полном вооружении, во всеоружии своей мудрости и красоты – и ее неизменная спутница Нике уже венчает ее. Рядом сидит ее отец Зевс, из головы которого она только что явилась; с другой стороны – Гефест, помогавший Зевсу в этих необычных родах. Кругом – олимпийские боги.

По углам фронтона – колесница Селены, уходящая за горизонт, и колесница Гелиоса, поднимающаяся из-за горизонта. Иначе – утро: время смотрения и время изображения сию минуту совпадают. Но время изображения символично. Рождение великой богини – событие космического масштаба, оно происходит между краями мира, Востоком и Западом, – если в пространственном измерении, и в самом начале истории, утром, на рассвете мира – если в измерении временном.

Некоторые из собутельников обращают внимание на странное поведение симпозиарха. Он как-то потемнел лицом и торопится вернуться в храм. Похоже, созерцание фидиевых богов не идет ему на пользу — их олимпийское величие напоминает удачливому самозванцу о его малости...¹

Разумеется, это всего лишь вольная гипотетическая реконструкция, или, вернее, опрокинутая в прошлое миниутопия.

Тем не менее полоса бурных событий, случившихся после смерти Александра Македонского, сказалась на восприятии Парфенона эллинистическим и римским миром — оно изменилось существенно. Вот как рассказывают об этом историки, внимательно проследившие судьбу храма.

«В конце III в. до Р.Х. перипатетик Дикеарх создал историко-географический труд “Жизнь Эллады”. К сожалению, это сочинение дошло до нас только в отрывках, сохранилась и небольшая часть описания Афин: «Дорога [к Афинам] приятна, кругом все возделано и ласкает взор. Самый же город — весь безводный, плохо орошен, дурно распланирован по причине своей древности. Дешевых домов много, удобных мало. При первом взгляде на него приезжим не верится, что это и есть прославленный город афинян; но вскоре же всякий тому поверит: самый прекрасный на земле — Одеон; замечательный театр — большой и удивительный; расположенный над театром богатый храм Афины, называемый Парфеноном, приметный издали, достойный созерцания, приводит зрителей в великое восхищение».

Описание Дикеарха отчетливо фиксирует новую роль Афин в мире. Парфенон же, оставаясь для граждан Афин главным храмом их полиса, в глазах остального мира приобретает новую функцию — образцового архитектурного сооружения, объекта восхищения и поклонения. Если мы просмотрим тексты древних авторов эллинистического и римского времени, в которых упоминается Парфенон, мы везде найдем (в той или иной форме) эту мысль. Плутарх, которого мы уже неоднократно цитировали, иных чувств, кроме восхищения по отношению к Парфенону не испытывает; те же чувства выражают Страбон, Цицерон, Плиний, Псевдо-Аристотель и другие писатели».²

Трудно не заметить, что в этом списке вовсе не назван важнейший источник по памятникам

позднеантичной Греции, бесценный путеводитель по Греции, составленный во второй половине II века н. э. Павсанием. Действительно, обычно разговорчивый Павсаний на этот раз демонстрирует удивительный лаконизм в самых ответственных местах. О фронтовой композиции, изображающей рождение Афины, сказано всего полдюжины слов, тогда как о грифах на шлеме Афины — целый абзац.

«При входе в храм, который называют Парфеноном, “Храмом девы”, все, что изображено на фронтонах, так называемых “орлах”, — все относится к рождению Афины; задняя же сторона изображает спор Посейдона с Афиной из-за этой земли. Сама же статуя ее сделана из слоновой кости и золота. Посредине ее шлема сделано изображение сфинкса — что касается самого сфинкса, я расскажу, когда дойду до описания Беотии, — по обеим же сторонам шлема сделаны изображения грифов».

Об этих грифах в своих повествованиях говорит Аристей из Проконнеса, что они из-за золота сражаются с аримаспами, живущими над исседонами; золото же, которое берут грифы, выходит из самой земли; что аримаспы — все люди одноглазые от самого рождения, а что грифы — животные, похожие на львов, что они имеют крылья и клюв орла. Этого достаточно о грифах.

Статуя Афины изображает ее во весь рост в хитоне до самых ног; у нее на груди — голова Медузы из слоновой кости; в руке она держит изображение «Ники» (Победы), приблизительно в четыре локтя, а в другой руке — копье; в ногах у нее лежит щит, а около копья — змея; эта змея, вероятно, — Эрихтоний. На постаменте статуи изображено рождение Пандоры. У Гесиода и у других поэтов говорится, что эта Пандора была первой женщиной; прежде чем появилась Пандора, не было вообще рода женщин. Из изображений я видел здесь только статую императора Адриана, а при самом входе — Ификрата, совершившего много славных подвигов».³

Сдержанность Павсания не ускользнула от внимания исследователей. Существует несколько предположительных объяснений, из которых ни одно не стало общепризнанным.⁴ Однако во времена, близкие к тем, когда по Греции странствовал Павсаний, Афины посетили еще два иностранца, чье влияние могло сыграть огромную роль в судьбе священных изображений Парфенона.

³ Павсаний. Описание Эллады. Атика. XIV, 5-7. // Павсаний. Описание Эллады. Т. 1. Кн. 1-4. Алетейя, СПб: 1996.

⁴ См.: Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М.: Языки русской культуры. С. 197.

¹ Ср.: Маринович, Л. П., Кошеленко, Г. А. Судьба Парфенона. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 185.

² Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М.: Языки русской культуры. С. 177-188.

Одним из них был Лукиан из Самосаты – писатель и философ. Лукиан был, если выразаться современным языком, атеистом. Он не верил в существование олимпийских богов и великолепно их высмеивал. Всемирно-историческая сцена рождения Афины с восточного фронтона Парфенона в его изображении выглядела по меньшей мере сниженно.

«Гефест и Зевс

Гефест. Что мне прикажешь делать, Зевс? Я пришел по твоему приказанию, захватив с собой топор, очень сильно наточенный, – если понадобится, он камень разрубит одним ударом.

Зевс. Прекрасно, Гефест; ударь меня по голове и разруби ее пополам.

Гефест. Ты, кажется, хочешь убедиться, в своем ли я уме? Прикажи мне сделать то, что тебе действительно нужно.

Зевс. Мне нужно именно это – чтобы ты разрубил мне череп. Если ты не послушаешься, тебе придется, уже не в первый раз, почувствовать мой гнев. Нужно бить изо всех сил, не медля! У меня невыносимые родильные боли в мозгу.

Гефест. Смотри, Зевс, не вышло бы несчастья: мой топор остер, без крови дело не обойдется, – и он не будет тебе такой хорошей повивальной бабкой, как Илития.

Зевс. Ударяй смело, Гефест; я знаю, что мне нужно.

Гефест. Что же, ударю, не моя воля; что мне делать, когда ты приказываешь? Что это такое? Дева в полном вооружении! Тяжелая штука сидела у тебя в голове, Зевс; не удивительно, что ты был в дурном расположении духа: носить под черепом такую большую дочь, да еще в полном вооружении, это не шутка. Что же у тебя, военный лагерь вместо головы? А она уже скачет и пляшет военный танец, потрясает щитом, поднимает копье и вся сияет от божественного вдохновения. Но, главное, она настоящая красавица, и в несколько мгновений сделалась уже взрослой. Только глаза у нее какие-то серовато-голубые, – но это хорошо идет к шлему. Зевс, в награду за мою помощь при родах позволь мне на ней жениться.

Зевс. Это невозможно, Гефест: она пожелает вечно оставаться девой. А что касается меня, то я ничего против этого не имею.

Гефест. Только это мне и нужно; я сам позабочусь об остальном и постараюсь с ней справиться.

Зевс. Если это тебе кажется легким, делай, как знаешь, только уверяю тебя, что ты желаешь неисполнимого».

позабавил Лукиана, что он сочинил еще одну беседу о беременности Зевса.

«Посейдон и Гермес

Посейдон. Гермес, можно повидать Зевса?

Гермес. Нельзя, Посейдон.

Посейдон. Все-таки ты доложи.

Гермес. Не настаивай, пожалуйста: сейчас неудобно, ты с ним не можешь увидаться.

Посейдон. Он, может быть, сейчас с Герой?

Гермес. Нет, совсем не то.

Посейдон. Понимаю: у него Ганимед.

Гермес. И не это тоже: он нездоров.

Посейдон. Что с ним, Гермес? Ты меня пугаешь.

Гермес. Это такая вещь, что мне стыдно сказать.

Посейдон. Нечего тебе стыдиться: я ведь твой дядя.

Гермес. Он, видишь ли, только что родил.

Посейдон. Что такое? Он родил? От кого же?

Неужели он двуполое существо, и мы ничего об этом не знали? По его животу совсем ничего не было заметно.

Гермес. Это правда; но плод-то был не здесь.

Посейдон. Понимаю: он опять родил из головы, как некогда Афины. Плодовитая же у него голова!

Гермес. Нет, на этот раз он в бедре носил ребенка от Семелы.

Посейдон. Вот молодец! Какая необыкновенная плодовитость! И во всех частях тела! Но кто такая эта Семела?

Гермес. Фиванка, одна из дочерей Кадма. Он с ней сошелся, и она забеременела.

Посейдон. И теперь он родил вместо нее?...»¹

Так Лукиан Самосатский, изобразив великий миф в виде балаганной сцены, заставлял современников посмотреть на Олимп другими глазами. Можно даже предположить, что мысль написать «Разговоры богов» явилась у Лукиана во время визита в Афины, именно тогда, когда он рассматривал статуи Фидия. В конце концов, он тоже был зритель, и зритель квалифицированный, ибо в юности учился ремеслу скульптора у своего дяди... И уж во всяком случае среди зрителей, поднимавших взор к фронтовой композиции Парфенона (начиная со второй половины II века) могли быть и такие, кто читал Лукиана – а его творения были весьма популярны в римском мире. И они, эти читатели, будучи одновременно и зрителями, могли невольно проектировать безбожные смешки сатирика на образы Фидия, гася сакральную ауру, которая их некогда окружала.

Тут крылась серьезная угроза другого смот-

Миф о рождении Афины, видимо, так

¹ Лукиан. Разговоры богов. http://krotov.info/acts/02/03/lukian_15.htm

рения.

Между тем еще до Павсания и Лукиана, в середине I века, в Афинах побывал некий чужеземец, чьи идеи и начинания имели реальные и далеко идущие последствия. Это был иудей, уверовавший в Христа и ставший пламенным адептом нового Бога. Звали его Павлом. В Деяниях апостолов об этом ви-зите, в частности, сказано:

«Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.

В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.

Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.

Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: “что хочет сказать этот суеслов?”, а другие: “кажется, он проповедует о чужих божествах”, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.

И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?

Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?

Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.

И, став Павел среди ареопага, сказал: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё.

От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”.

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».

Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время».¹

Апостол Павел, обойдя знаменитый город, средоточие эллинской цивилизации, не увидел его красот, не был поражен ансамблем Акрополя, не восхитился искусностью исполнения и совершенством статуй и росписей. Ничего такого он не увидел. Его зрительский взгляд был сфокусирован точно и однозначно: этот патетический иудей, оборотившийся патетическим проповедником христианства, с отвращением увидел, что город полон идолов. Вот и все.

Он прямо сказал об этом темным, но любознательным афинянам: будучи родом Божиим, они не должны думать, будто Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого!

Действительно, статуи, сделанные из камня, серебра и золота, не только не были подобны божеству. Они даже не могли слышать и понимать слова, произносимые вдохновенным иноверцем. Если бы могли – содрогнулись бы. Это их судьба стучалась в дверь.

* * *

Христианская религия была легализована в начале IV века. Вскоре она стала господствующей, а затем – единственно разрешенной. В христианском государстве никакие другие культы не могли быть терпимы. Уже в конце IV века, при императоре Феодосии, Парфенон перестал функционировать как языческий храм; его двери были опечатаны. В начале V века оттуда исчезла статуя Афины; дальнейшая судьба ее неизвестна. Наконец, в VI в., при императоре Юстиниане, Парфенон был перестроен и превращен в христианский храм, посвященный Богородице. Почему именно Богородице?

Авторы подробной и дельной книги о судьбе Парфенона, на которую я уже неоднократно ссылался, дают этому следующее объяснение.

«Весьма показательны те исторические обстоятельства, в результате которых Парфенон вернулся к жизни. В это время развернулись ожесточенные

¹ Деян., 17.15-32.

христологические дискуссии, в основе которых находилась оценка природы Иисуса Христа, соотношение в нем человеческого и божественного начал. Ортодоксальному пониманию противостояли две других концепции: монофизитская и несторианская. Сутью их взглядов было отрицание двуединой природы Христа и вера одних в преобладание его божественного начала, других – человеческого. Мы не будем сейчас входить в детали этой долгой борьбы, что увело бы далеко от предмета нашего труда. Отметим только одно: в обоих неортодоксальных течениях резко падало значение культа девы Марии; поэтому когда в Византии победило ортодоксальное течение, то результатом этого стало широчайшее распространение почитания Богородицы. Юстиниан I в столь большом числе воздвиг в Империи церкви, посвященные ей, что, по словам его историка Прокопия, “можно было подумать, что он ничем другим и не занимался” (Procop., De aedific., I, 3). Следствием этой волны энтузиазма стало превращение Парфенона в церковь, посвященную Богородице.¹

Возможно, такое предположение верно. Споры о природе Христа буквально раздирали христианскую общину первых веков ее истории – и превращение Парфенона в храм, посвященный Богородице, могло служить одним из косвенных аргументов в христологических диспутах. Правда, цитата из Прокопия Кесарийского, приведенная историками, кажется мне более риторическим цветком, нежели историческим свидетельством: если заглянуть в текст самого Прокопия, можно увидеть, что на первом месте у него Юстинианово строительство храмов, посвященных Христу; храмы, посвященные Богородице у него на втором месте, да и называет он всего три таких храма, из которых первый, знаменитый Влахернский, был выстроен во времена правления дяди Юстиниана – Юстина... О храмах, выстроенных в провинции, источник не упоминает вовсе.

Так или иначе, но, независимо от степени правдоподобия предположений историков, можно обсудить дополнительную гипотезу относительно превращения храма Афины в храм Богородицы. Это будет гипотеза подобия.

Подобия для становящегося раннехристианского сознания были одним из важных конструктивных элементов, позволявших собрать воедино новую картину мироздания. Подобное притягивалось к подобному, создавая смысловые и бытийные

каркасы. Это касалось прежде всего сведения к единству Ветхого и Нового Заветов и получило выражение в так называемых типологиях: в персонажах или событиях Ветхого завета, в чем-то подобных персонажам или событиям Нового, видели прототипы или предвидения христианского Завета. Жертвоприношение Авраама следовало рассматривать как прототип смерти и воскресения Христа. История Ноева ковчега может быть увидена как прототип крещения. Переход через Красное море, дарование манны небесной и иссечение воды из скалы – как прототип крещения, а также хлеба и вина евхаристии...²

Наряду с такого рода мощными парами, затрагивающими самую сердцевину христианского учения и ритуала, на периферии этого поля подобий находится место для множества ослабленных форм типологической связи. В результате в христианский мир иногда оказываются вовлеченными языческие персонажи и образы: Орфей появился в катакомбных росписях ранних христиан, поэт Вергилий был включен в число предсказавших приход Христа благодаря одной строке из его «Буколик»; на сходных основаниях в число предсказавших Христа попали языческие пророчицы – сивиллы, чьи наиболее известные изображения будут исполнены Микеланджело в самом сердце католического мира – на потолке Сикстинской капеллы. Словом, вход языческой образности не воспрещен категорически, она может быть переосмыслена в христианском духе посредством уподобления.

Искомое подобие может быть не очевидно, достаточно глубоко упрятано, и его обнаружение требует определенных интеллектуальных усилий. Таково типологическое отношение между пылающим кустом – «неопалимой купиной» Ветхого завета, откуда Господь говорил с Моисеем, и Богородицей. Горящий куст считался типологическим прототипом Богородицы, соответствующая формула существует и в иконописи.

Зрительного подобия тут, разумеется, нет. Нет и акустического подобия слов, используемых для описания Купины и Богородицы. Подобие обнаруживается на ином уровне, на уровне чуда. В обоих случаях дело идет о чудесном нарушении природного закона. Пылающий куст должен сгорать. Но Купина неопалима: куст пылает, не претерпевая никаких изменений, он может гореть вечно, не

¹ Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М.: Языки русской культуры. С. 201.

² См., например.: The Oxford Companion to the Bible. New York. Oxford. Oxford Univ. Press, 1993. P. 783-784.



Иконы «Неопалимая купина»

утратив ни атома своей физической структуры. Богородица понесла от Святого Духа, носила зародыш девять месяцев, подобно всем смертным женщинам, и родила Иисуса – оставаясь девой. Два события объединяет общий признак: они невозможны, но они были.

Эта типологическая связь представляет отдельный интерес для нашей темы. Утверждение относительно непорочного зачатия и нерушимой девственности Богородицы восходит к Евангелиям от Матфея и Луки; в раннехристианской литературе оно получит дальнейшую разработку, а истоки – там. Оригинальные евангельские тексты написаны на языке, на котором сегодня мало кто читает, – на древнегреческом. Нас питают переводы. Между тем, если заглянуть в оригинал, можно заметить иногда примечательные вещи. Там, где евангелист Лука упоминает Деву Мариам, он употребляет слово, которое звучит знакомо: *παρθένος* (*parthenos* /парфенос).¹ Именно этим словом афиняне обозначили некогда храм, посвященный богине Афине, воздав тем самым должное уникальному среди греческих богинь качеству покровительницы города – ее вечной девственности. Напомню, что другая статуя Афины, воздвигнутая под открытым небом посреди Акрополя, Афина Промакхос, славилась богиню как непобедимую воительницу.

Итак, вечное и неколебимое девство и есть место подобия богини из языческой картины мироздания – и Матери Бога, провозглашенной

Царицей Небесной, в картине мира христианской. Такого подобия было, скорее всего, достаточно для конструирования псевдотипологической схемы. Можно не сомневаться в том, что император Юстиниан, его соратники и помощники читали Новый Завет по-гречески. Мысль превратить храм Парфенон в храм, посвященный «Парфенос Мариам», могла быть спровоцирована самим акустическим подобием слов, за которым крылось



Афина Маттеи. Римская копия I века до н. э. с греческого оригинала IV в. до н. э., приписываемого Кефисодоту или Евфранору.

частичное подобие образов сексуальной чистоты. Во всяком случае, превращение Парфенона в храм, посвященный Богородице, в свете изложенных соображений кажется куда более вероятным, нежели превращение его в храм, посвященный, скажем, апостолу Павлу, хотя Павел, как мы видели, побывал в Афинах и

¹ Лук. I: 26,27.

сыграл важную роль в христианизации города.

Вот каким было начало письма папы Иннокентия III первому католическому архиепископу Афин:

«Древняя слава города Афин не должна быть забыта в момент происшедших благодаря милости Божией перемен. Божья благодать повернула к трем сущностям божественной неразделимой Троицы культ, который совершался в трех частях города трем ложным божествам (что можно считать предзнаменованием рождения новой религии). Переход от заботы о мирской мудрости к желанию божественной мудрости сделал цитадель прославленной Паллады храмом пресвятой Богородицы. Афины ждали знания об этом неизвестном божестве, возведя в свое время алтарь ему».¹

Превращение Парфенона в христианский храм потребовало существенных преобразований. В восточной части храма, где ранее был главный вход, была сооружена алтарная часть, как того требовал сложившийся обычай; главный вход был оборудован с Запада. Особую проблему для христианского зора составляло скульптурное убранство храма.

* * *

Языческое поклонение статуям богов было объектом ожесточенной критики в раннехристианской литературе. Разоблачая языческие практики как бессмысленное идолопоклонство, христианские авторы опирались прежде всего на запрет изображать, сформулированный во второй заповеди Синайского откровения, и с большим риторическим мастерством развивали аргументы, находимые в книгах пророков.

К тому же они, как правило, были хорошо образованы, свободно ориентировались в античной исторической и другой литературе, так что их критика бывала не только темпераментной, но во многом дельной и компетентной.

«У живых существ есть, по крайней мере, одно какое-нибудь чувство, будь то слух, осязание или то, что соответствует обонянию или вкусу; у статуй же нет ни одного. Есть много живых существ, которые не имеют ни зрения, ни голоса, как, например, устрицы, которые тем не менее живут, размножаются и вдобавок испытывают воздействие луны. Статуи же бездеятельны, бесполезны, бесчувственны; они привязываются, прибиваются гвоздями, приколачиваются, выплавляются, шлифуются, пилятся, обтесываются, выдалбливаются. Ваятели

¹ *Мариневич Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М. : Языки русской культуры С. 207-208.*

бесчестят немую землю, изменяя подлинную ее природу, побуждая других при помощи своего искусства поклоняться ей. Сами же создатели богов поклоняются не богам и демонам, как мне кажется, но земле и искусству – тому, чем является статуя. Действительно, статуя есть мертвая материя, преображенная рукою мастера».²

Это Климент Александрийский, автор конца II – начала III века.

Если некоторые авторы и отдавали должное артистическому качеству статуй богов, то оно ставилось в упрек как средство искушения, обмана и ложных соблазнов.

«...Будет ли кто-нибудь смущаться, видя, что народ публично молится и поклоняется священным изображением этих богов, когда ум людей необразованных пленяется изящностью форм, сообщенных им искусством, обольщается блеском золота, сиянием серебра и белизною слоновой кости?..»,³ – восклицал Минуций Феликс, современник Климента.

Против почитания изображений выступали и многие другие раннехристианские авторы – такие, как Татиан, Юстин Мученик, Афинагор, Ориген, Арнобий, Афанасий... Они представляли различные течения христианской мысли, но осуждение идолопоклонства их безусловно объединяло. К VI веку, когда Парфенон был превращен в храм, посвященный Богородице, почва для массовой ненависти к языческим идолам был тщательно возделана.

Между тем Парфенон, став церковью Богородицы, оставался богато украшен языческими скульптурами: рождение Афины – на восточном фронтоне, спор Афины с Посейдоном из-за обладания Аттикой – на западном; 92 метопы наружного фриза изображали эпизоды борьбы греков с кентаврами, греков с амазонками, гигантами и, по-видимому, троянской войны, тогда как непрерывная лента рельефов за внешней колоннадой, на стене целлы – т. н. зофор – представляла праздник Великих Панафиней. В городе, принадлежавшем христианской Византийской империи, разыгрывалась подлинная оргия визуального идолопоклонства: всякий мог сколько ему угодно глядеть на отмененных олимпийских богов. Вопрос

² *Климент Александрийский. Увещание к язычникам. Кто из богатых спасется. С. 88. («Увещание к язычникам», IV, LI, 4-6).*

³ *Минуций Феликс. Октавий, 24. <http://www.odinblago.ru/octavii>.*

в том, как был настроен ум и взгляд смотрящего – жителя и посетителя древних, некогда знаменитых и могущественных Афин. Если ему приходилось читать библейских пророков и христианских апологетов, разоблачавших идолопоклонство, или хотя бы слышать проповеди соответствующего содержания, он должен был смотреть на идолов, на этих лжебогов, на эти вместилища демонов, с отвращением. Или, еще лучше, не смотреть на них вовсе, считать несуществующими. Разумеется, окончательным решением проблемы идолопоклонства было бы физическое уничтожение всего огромного массива изображений, накопленного античной эпохой. На этом пути христиане многое успели, иногда довольствуясь частичным повреждением идолов – отбивая, руки, ноги, головы, носы бывших богов. Повреждения этого рода могли быть радикальными: так, в музее Трира хранится статуя Венеры, превращенная ревностными христианами в бесформенную каменную болванку.¹ Однако тотальное истребление античного пластического наследия оказалось слишком трудной задачей. Поэтому, как бывало и в других ситуациях, практическая борьба с находками языческого происхождения была подвергнута символическим упрощениям: для очищения и изгнания демонов, обитавших в античных изображениях, достаточно было выполнить особый литургический акт, имевший соответствующее название: «*oratio super vasa in loquo antique reperta*»...²

Рекомендуемый ритуал для случая Парфенона вряд ли был уместен, но попытки разрушения образов имели место.

Превращению Парфенона в храм Богородицы сопутствовали акции не столько уничтожения, сколько деформации языческих рельефов: метопы наружного фриза – те, которые прославляли мифические битвы греков, – пробовали выравнивать; сохранились метопы, где рельеф испорчен, формы размыты. Начали, естественно, с наружного фриза, видного издали, но работы были оставлены на полдороге. Второй фриз, который непрерывной лентой опоясывал стены целлы, стал почти недоступен для рассматривания, когда колонны были соединены стенками на треть высоты и за колоннадой возведены капеллы. Но и это начинание было брошено; большинство метоп осталось

нетронутыми. Правда, и особой ценности за ними не числилось: когда здание перестраивали под храм Богородицы, один рельеф сломали, чтобы пробить окно в абсидальную часть. Что это был подлинник, вышедший из мастерской Фидия, никого не заботило – этот кусок мрамора не представлял интереса ни как сакральный, ни как художественный объект.

Судьба Афин в Средние века сложилась на редкость неудачно. Некогда блистательный центр эллинской цивилизации превратился в глухое провинциальное захолустье. Там меняются власти, а с ними – религии: в начале XIII века, после завоевания крестоносцами Константинополя, в Афинах утверждается римско-католическая церковь, а в середине XV века в результате завоевания Византийской империи турками Афины отходят к миру ислама. Даже история знаменитого храма прослеживается редким и неясным пунктиром.

Отметим то, что имеет значение для нашего повествования.

По некоторым данным можно предположить, что в начале XI века по распоряжению императора Василия II Болгаробойцы храм был расписан фресками изнутри.³ Мотивы росписи, которые удалось установить – Страшный суд на западной стене, образы святых – позволяют заключить, что она, скорее всего, была выполнена по канонической схеме убранства храмового интерьера, сложившейся в Византии в послеиконоборческий период, в IX-X веках.

В XV веке, до турецкого завоевания, Афины успели посетить итальянцы – люди Возрождения, зараженные неподдельным интересом к античной культуре; от них можно узнать кое-что и об Акрополе. В середине века Византия пала под ударами турок-османов. Афины отошли к Оттоманской Порте. В исламе запрет на изображения, как известно, соблюдался – а кое-где соблюдается и до сих пор – наиболее строго. Парфенон превратили в мечеть, византийские росписи заштукатурили.

Некоторое представление о том, как выглядел Парфенон в XVII веке, дают немногие зарисовки европейских путешественников, посетивших Афины. Несмотря на фрагментарность зарисовок, они представляют особую ценность, поскольку ближе к концу века знаменитый храм ждала сокрушительная катастрофа. В 1687 году венецианское войско осаждало Афины. Осажденные устроили в Парфеноне пороховой склад. Сохранилось предание, будто

¹ См.: Holst N. von. *Creators, Collectors and Connoisseurs*. Putnam Sons. N.Y.: 1967, III. С. 55.

² «Молитва над древними предметами на месте находки». Там же, С. 42.

³ Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. С. 203.

венецианский командующий об этом прознал. Так это было или не так, но венецианский снаряд угодил прямо в центр здания. Мощный взрыв сорвал крышу, развалил стены и колонны, сбросил на землю метопы, убил сотни солдат турецкого гарнизона...

Таковыми простояли остатки храма весь XVIII век. Внутри развалин возвели небольшую мечеть. Куски классических мраморов стали легкой добычей туристов – собирателей сувениров.

Таковыми они и дождались работников, нанятых лордом Элгиным для снятия сохранившегося скульптурного убранства.



* * *

Если суммировать все только что сказанное, начиная с критики языческих идов ранними христианскими апологетами и отцами церкви и кончая исламизацией храма и военной катастрофой, то надо удивляться не столько скудости доставшихся английскому послу изваяний, сколько тому, что хоть что-нибудь вообще осталось к началу XIX века. Всего метоп было 92, из них сохранилось 57. От ионического фриза сохранилось 96 пластин, это тоже немало. От сильно поврежденных фронтовых композиций осталось 30 статуй, из них некоторые сильно пострадали. Тут есть о чем подумать.

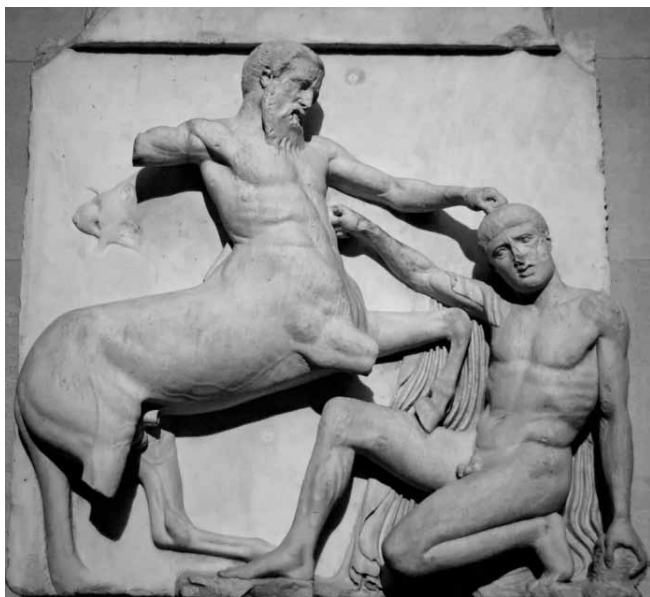
В специальной литературе была высказана мысль, что сохранение фрагментов языческого убранства Парфенона можно хотя бы отчасти объяснить тем, что сюжеты фронтонов и метоп интерпретировались в христианском духе – как некая периферия христианской иконосферы. Такие случаи подмены сюжетов и персонажей хорошо известны. Однако даже при высокой пропускной способности подобных фильтров трудно отнести к миру христианских образов, скажем, сцены лучше всего сохранившихся метоп восточной части фриза, где лапифы сражаются с кентаврами.

Поэтому не грех будет высказать и другие предположения.

Первое может быть таково. Живописное или скульптурное убранство христианского храма в Средние века не было делом воображения или прихоти мастера. Это была продуманная и логически организованная система тщательно скоординированных образов, которая должна была служить целостной наглядной моделью христианского образа мироздания. История сложилась так, что архитектурная, скульптурная и живописная артикуляция этой модели на Западе, в римско-католическом ареале, существенно отличалась от того канона, который был принят в Византии и, как следствие, – в православии.

Символическая программа в западном варианте охватывала тотально все конструктивные и изобразительные элементы храма – как вовне (тут особая символическая нагрузка приходилась на фасад, скульптурное убранство порталов и т. п.), так и внутри. Ученый автор XIII века, аббат Дюран, в своей «Книге о божественной литургии» наделял символическими значениями не только ориентацию здания церкви, ее основные конструктивные элементы (столбы, своды), но даже составные части цемента – известь, песок и воду. Это были, разумеется, крайности, но в целом для зрителя, участника богослужения, картина мира разворачивалась столь же в пространстве, сколько и во времени, и вовлекала его в себя уже (или еще) тогда, когда он находился вне церкви, в «мирском» пространстве.

В византийском ареале сложился иной канон. Церковные здания представляли собою по преимуществу массивные замкнутые объемы, а символическая энергия храма была сосредоточена внутри. Там, в интерьере, само пространство храма претендовало на то, чтобы быть пространственной моделью вселенной, а мозаические и фресковые картины призваны были внятно выговаривать сакральные смыслы мира. Здание снаружи воспринималось скорее как надежный, на века, лагерь с драгоценным содержимым. Именно интерьер был местом напряженного религиозного переживания. Если верно предположение, будто во времена императора Василия Болгаробойцы стены бывшего Парфенона (а тогда – храма Богородицы) были изнутри расписаны в согласии с отвердевшей к тому времени византийской иконографической схемой, то становится понятным безразличие афинских христиан к внешнему виду храма. Эта огромная, украшенная непонятными древними фигурами мраморная коробка сама по себе не имела



Метопы с восточного фасада Парфенона: лапифы сражаются с кентаврами.

значения, сакральный мир целиком умещался внутри.

К этому можно прибавить еще одно соображение. Добропорядочные и искренне верующие жители Афин – сколько их там оставалось – посещали богослужения в церкви на Акрополе достаточно часто. Каждый раз, когда они поднимались к храму, они могли видеть батальные сцены на метопах и хотя бы один из фронтонов, а то и оба. Известно, что постоянное частое созерцание одних и тех же объектов ведет к автоматизации восприятия: психика, защищаясь от бесполезной нагрузки, перестает активно фиксировать повторяющийся сигнал. Исходя из этого общеизвестного и, в общем, очевидного факта, Виктор Шкловский некогда построил свою теорию искусства как «остранения». Искусство, показывал Шкловский, делает привычное и незамечаемое странным и тем самым возвращает восприятию первозданную свежесть, плоть, вкус.

«Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену, страх войны. ... И вот, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством».¹

Шкловский рассматривал проблему в одном определенном ракурсе. Видимо, поэтому он не стал исследовать «второй круг» автоматизации – когда автоматизируется и перестает быть замечаемым само произведение искусства.

Вы перестаете замечать достоинства картины,

¹ В.Шкловский. *Теория прозы*. Москва-Ленинград: «Круг», 1925 . С. 11-12.

которая постоянно у вас перед глазами в вашей комнате. Любой шедевр можно убить массовым репродуцированием – будь то «Девушка с серьгой» Вермеера или «Подсолнухи» Ван Гога... Так может быть, и бесхитростный, а то и образованный средневековый афинский христианин в результате частого посещения богородичной церкви просто переставал замечать идолов на фасадах?

Тот же вопрос, с меньшей остротой, приходится задавать, если вспомнить, что с середины XV века среди обитателей Афин появились мусульмане – да еще в качестве безусловных хозяев положения. В 1458 году Афины оказались под властью Османской империи. Ислам, как известно, унаследовал ветхозаветное отвращение к идолопоклонству и запрет на изображения, который, не в пример христианам, там был сохранен и соблюдался по большей части бескомпромиссно. Между тем Парфенон, превращенный, как и следовало ожидать, в мечеть, был к тому времени украшен и языческими скульптурами, и христианскими росписями. И то, и другое было подвергнуто не столько уничтожению, сколько символическому поруганию: скульптуры забелили, а христианские фрески заштукатурили. Однако собственно пластические формы статуй и рельефов остались, как были, а росписи в интерьере, если верить скудным свидетельствам, были по меньшей мере различимы. На них возможно было смотреть и – при желании – видеть.

Основная культовая функция мечети не мешала

использованию мощного здания в других целях, если в том была настоящая нужда. Батальная необходимость, как мы видели, привела к катастрофе 1687 года.



Разрушенный Парфенон с остатками собора-мечети. Акварель Джеймса Скина, 1838.

На акварели 1838 года Парфенон уже лишился скульптур, снятых и вывезенных в Англию. Но до операции лорда Эльгина в течение более сотни лет там можно было многое увидеть. Скорей всего, смотрели на развалины Парфенона в XVIII веке по-разному. О визитерах из Европы мы вскоре поговорим. Что же касается местных жителей – тех, кто бывал рядом, если не ежедневно, то их голос нам не слышен.

Иногда их замечал внешний наблюдатель. Таким оказался Джордж Гордон Байрон, который в ходе путешествия 1809 – 1811 гг. побывал в Афинах. Во второй песне «Путешествия Чайлд Гарольда», увидевшей свет в 1812 году, были такие строки:

Here let me sit upon this mossy stone,
The marble column's yet unshaken base!
Here, son of Saturn, was thy favourite throne!
Mightiest of many such! Hence let me trace
The latent grandeur of thy dwelling-place.
It may not be: nor even can Fancy's eye
Restore what time hath laboured to deface.
Yet these proud pillars claim no passing sigh;
Unmoved the Moslem sits, the light Greek carols
by.

Или, в русском переводе В.Левика:

Я сяду здесь, меж рухнувших колонн,
На белый цоколь. Здесь, о Вседержитель,
Сатурна сын, здесь был твой гордый трон.
Но из обломков праздный посетитель
Не воссоздаст в уме твою обитель.
Никто развалин вздохом не почтит,

И, здешних мест нелюбопытный житель,
На камни мусульманин не глядит,
А проходящий грек поет или свистит.

«Свистящего грека» можно оставить на совести переводчика, которому требовалась рифма для завершения октавы. Но гордые колонны, не привлекающие ничьего взора – образ бесценный: мы находим здесь напоминание о той самой автоматизации восприятия, которая создается постоянным монотонным контактом и привыканием. Афинскому мусульманину, равно как и афинскому христианину эти колонны и статуи безразличны, не противны и не интересны, взор на них более не фиксируется, религиозное, или эстетическое, или религиозно-эстетическое переживание стерто до нулевой отметки. Спросите у коренного жителя Санкт-Петербурга – что изображено на фронтоне Исаакиевского собора! У парижанина – то же насчет фронтонной композиции церкви Мадлен...

Косвенным свидетельством безразличия греческого населения Афин может служить его безразличие к вывозу античных памятников в Западную Европу. Наиболее крупная акция этого рода, акция Элгина, вызвала, как мы увидим, протесты в Англии, там кое-кто будет квалифицировать действия лорда как грабеж. Но сами греки промолчат, голос одного афинского учителя – одного! – не в счет. Более того, многие греки были довольны вызванным этими событиями интересом к древностям: они рассчитывали на увеличение потока туристов и соответствующее экономическое оживление.¹

Побочным следствием «местного безразличия» (назовем это так) оказывалась относительная, хотя никак не гарантированная, сохранность античных остатков.

Опасны на свой лад будут другие зрители – заинтересованные.

Пока захолустные Афины – еще под властью византийских императоров, а затем Османской Порты – столетиями «дремлют у вечности в руках», почти рядом, по соседству, разыгрываются судьбоносные события, чреватые глобальными историческими сдвигами.

Итак. Турецкое правление в Афинах ведет свое начало с 1458 года. В тот же год Акрополь был взят под охрану, но не следует путать

¹ Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. С. 320

административную охрану с охраной памятников. Дальнейшие культурные метаморфозы были совсем иного свойства. Парфенон был преобразован в мечеть, Пропилеи сделаны резиденцией турецкого наместника, Эрехтейон – его гаремом.

Помнил ли кто-либо из завоевателей, да и вообще – из здешних обитателей, что здесь, в Афинах, некогда философствовал великий Платон? Что рядом с городом, в саду, посвященном мифическому герою Академу, процветала основанная Платоном школа, что функционировала она целое тысячелетие – пока не была закрыта благочестивым византийским императором Юстинианом в VI веке? Было ли дело хозяевам и обывателям Афин второй половины XV века до Платона?

Между тем в это самое время до Платона было дело людям на соседнем Апеннинском полуострове. Ученые греки, бежавшие в Италию, принесли на итальянскую почву знания, которых ждали и жаждали гуманисты Раннего Возрождения. Одним таким был Мануэль Хризолорас, побывавший в Италии еще до переломных событий середины века. Ученые греки посещали Италию в связи с Феррарско-Флорентинским собором (1438–39 гг.), чьей целью – как оказалось, несбыточной – было примирение католической и православной церквей. Вскоре в Италии оказалась следующая волна эмигрантов – на этот раз бежавших от турок.



Иоанн Аргиропулос.
Фрагмент фрески
Доменико Гирландайо в
Сикстинской капелле,
1481 г. Ватикан.

Иоанн Аргиропулос преподавал греческую философию и литературу в Риме и Флоренции. Его лекции слушал молодой Марсилио Фичино, будущая звезда флорентинского неоплатонизма, ученый-гуманист, которому предстояло перевести творения Платона на латынь и возглавить флорентинскую Платоновскую Академию. Повторяю: Платоновскую. Но уже флорентинскую, через девять веков после афинской.

То, о чем вряд ли помнили в забытых богот Афинах, воскрешали в ренессансной Флоренции.

На исходе этой судьбоносной эпохи, оглянувшись назад, она сама устами Джорджо Вазари назовет се-

бя Возрождением античности. Тут была переведена стрелка истории, новый путь указывал наново открываемый опыт классической древности.

Возрождению античного духа сопутствовал интерес к древним памятникам. Душой и двигателем этого движения были ученые, мыслители, знатоки-гуманисты. Некоторые из них успешно стилизовали самих себя под древних.

«Было благородным удовольствием смотреть на него за столом, таким он был античным», – писал об одном из ранних гуманистов, Никколо Никколи, его младший современник Веспасиано Бистиччи. От таких, как Никколи, в частности, исходил властный импульс собирания античных остатков. О нем же:

«У него в доме было бесчисленное множество бронзовых, серебряных и золотых медалей, много античных бронзовых фигур, много мраморных бюстов и других достойных вещей».¹

С конца XIV в. страсть собирательства стала заражать многих, в том числе и таких, кто обладал куда большими деньгами и властью, нежели Никколи...



Аполлон Бельведерский. Римская копия II в. с бронзового оригинала IV в. до н. э., созданного скульптором Леохаром. Ватикан.

Конечно, земля Италии была буквально начинена античными остатками, многие находились перед глазами. Статуи, найденные в эти алчные до античных памятников времена и ставшие на столетия

1 Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., Наука, 1978, С. 4.

эталоны непревзойденного классического совершенства – Лаокоон, Аполлон Бельведерский – были извлечены из итальянской почвы. Иногда взгляды собирателей и знатоков устремлялись в сторонутых мест, где некогда процвела культура древних греков – редкие фрагменты тем или иным путем попадали в коллекции итальянских собирателей. Позднее, в XVII и особенно в XVIII веке, такое коллекционирование начало становиться европейской модой. Новая волна классицизма сделала Древнюю Грецию предметом нарастающего интереса. Европа эпохи Просвещения стала осознавать, что истоки и нормы классической красоты следует искать именно там, в памятниках Греции.

Акрополь после турецкого завоевания был для европейских посетителей закрыт, тем более что он стал функционировать не только как резиденция власти, но и как крепость. Но для особенно целеустремленных и настойчивых существовал ключ, отпирающий, как известно, любые ворота – «бакшиш», или, по-нашему, взятка. Благодаря таким посетителям сохранились редкие и бесценные зарисовки и описания. Кое-какие обломки с Акрополя стали проникать в частные европейские собрания...

Лорд Эльгин был не первый европейский дипломат, заинтересовавшийся Акрополем, у него были более или менее предприимчивые и удачливые предшественники. Тем не менее акция Эльгина – назовем ее так – стала своего рода прорывом. По своему масштабу и последствиям она была беспрецедентной – и послужила прецедентом. Это вслед за нею началось перемещение памятников и целых комплексов со своих исторических мест в другие страны и в особые пространства, экстранациональные и национальные одновременно – в пространства музеев. В Лувр перебрались статуи Афродиты с острова Мелоса и Нике с острова Самофраки, позднее там оказались и могучие крылатые быки, некогда охранявшие укрепленный дворец ассирийского царя Саргона II; в вихре археологически-номадических переселений из Пергама, Вавилона, Мшатты огромные фрагменты и целые комплексы двинулись в Берлин – чтобы составить в конце концов коллекции Пергамского музея – и так вплоть до перемещения в Нью Йорк древнеегипетского храма из Дендера или фрагментов пяти средневековых европейских монастырей, из которых был собран квазироманский монастыр-

ский комплекс на Манхэттене – ныне магического поистине обаяния филиал музея Метрополитен...



*Храм из Дендера. 15 г. до н. э.
Музей Метрополитен. Нью Йорк.*



«Клойстерс». Филиал музея Метрополитен. Нью Йорк.

* * *

Демонстрация мраморов Парфенона в Лондоне и приобретение их для Британского музея вызвали множество откликов – и отнюдь не единодушных. Тут мы наконец подходим к наиболее интересным и перспективным изгибам интриги.

На одном полюсе развернутого спектра откликов оказались, как и следовало ожидать, художники, наиболее чувствительные к пластической ценности мраморов Парфенона. Среди тех, кто сразу понял эстетический масштаб привезенной в Англию коллекции, были крупнейшие мастера английского

искусства той поры – скульптор Джон Флакман, президент Академии художеств Бенджамин Уэст, самый славный тогда портретист Томас Лоуренс (это о нем однажды писал из Рима Сильвестр Шеддин, что «у Лоуренса здесь репутация как у Колизея»), Джозеф Тернер и др.; восторженный отзыв живописца Б. Р. Хайдна вошел даже в хрестоматию наиболее знаменитых исторических свидетельств всех времен.¹ Появление в поле зрения ново-европейского сознания подлинных скульптур периода высокой греческой классики по-новому ориентировало вкус, воспитанный на эллинистических и римских копиях.

Но вкус прошедших веков давал себя знать на свой лад: слишком много коллекций было составлено из таких вещей. Новая, высшая мера вкуса в известной мере обесценивала наличные собрания; их можно было отстоять, обесценив статуи Парфенона. Наиболее последовательным выразителем такой позиции было так называемое «Общество дилетантов», объединявшее состоятельных коллекционеров и признанных знатоков. Руководство «Обществ» в своем неприятии фрагментов Эльгина доходило до крайностей: предводитель Общества Ричард Пэйн Найт стал было утверждать, что эти скульптуры представляют собой ремесленные изделия II века, времен императора Адриана. Мы еще поговорим об этой истории.

Наконец, третья позиция – позиция категорического неприятия самого образа действий лорда Элгина как акта культурного империализма. Будем помнить, что события, о которых сейчас речь, совпали с подъемом борьбы греков за независимость от турецкого владычества – борьбы, которой безусловно сочувствовали лучшие умы Европы. Ситуация национально-освободительной борьбы по-новому освещала положение дел: акция, которая выглядела как спасение древнегреческого наследия от безразличия турецких властей, грозившего великим остаткам полным уничтожением, оборачивалась актом высокомерного грабежа культурного достояния малого и беззащитного народа, да еще в минуту, когда

¹ См.: Eyewitness to History / Ed. by John Carey. Avon Books, New York, 1990, P. 266-267. Не следует представлять себе, будто все оценки, приводимые ниже, были высказаны в форме живой дискуссии, современной событию первой экспозиции. Отклик Хайдна увидел свет только после его трагической смерти, в 1853 году, когда бури отшумели. Но он документирует переживание той поры, когда скульптуры оказались в Лондоне, и уже поэтому заслуживает обсуждения.

этот народ платил кровью за право быть свободным. Наиболее влиятельным выразителем этой позиции стал лорд Байрон. Он посвятил обличению Элгина страстные строфы из «Паломничества Чайлд-Гарольда» и отдельную поэму «Гнев Минервы».²

Реально проблема разрешилась приобретением собрания для Британского музея, где оно хранится до сего дня. Но проблематичность такого решения остается, нисколько не теряя своей остроты. Известно, что Греция уже в течение долгого времени настаивает на возвращении мраморов Элгина в Афины. Чем закончится этот спор, чреватый разрушительными последствиями для исторически сложившегося музейного мира, сказать трудно. Но любые прогнозы возможных решений находятся в стороне от нашей темы. А нам стоит пристальней присмотреться к трем только что намеченным реакциям на прибывшие в Лондон скульптуры. Расклад позиций только на первый взгляд кажется закономерным, простым и в некотором роде конечным: а) чуткие художники, в) заскорузлые эстетические педанты и в) гуманистические защитники национального культурного наследия – гаранта и основы культурной идентичности. За каждой из этих позиций кроется целый узел проблем.

Начнем с восторженного приятия, образцом которого может служить упомянутый только что фрагмент из автобиографии Б. Р. Хайдна.



Б. Р. Хайдн. Голова лошади Селены с восточного фронтона Парфенона. 1809.

² Детальное описание реакций на вывоз скульптур и их экспозицию в Лондоне см.: Маринович Л. П., Кошеленко Г.А. Судьба Парфенона. С. 270-284.



Б. Р. Хайдн. Анатомический рисунок головы лошади.
Королевская Академия Художеств. Лондон.

«Пройдя через холл и затем открытый двор, мы вошли в грязный и сырой барак, где были выставлены мраморы... Первое, что мне бросилось в глаза, было предплечье одной из фигур женской группы, в котором, хотя и в женственной форме, были видны радиус и ульна. Я был удивлен, ибо никогда в античном искусстве не видел этого у женской руки. Я перевел взгляд на локоть и увидел, что головка кости ясно обрисовывается в контуре, как это бывает в природе. Я видел, что рука была в состоянии покоя и поэтому мягкие части не были напряжены. То соединение природы и идеала, необходимость которого я так сильно ожидал от высокого искусства, здесь были представлены мне воочию. Мое сердце забилося! Если бы я ничего более не увидел, этого было бы достаточно, чтобы всю оставшуюся мне жизнь держаться природы. Но затем, когда я обратился к Тесею и увидел, как каждая мышца изменялась из-за того – находится ли она в покое или напряжена (...) и когда я обратился к Илиссу и увидел, как живот выдвинулся вперед, потому что фигура лежала на этом боку, – и снова к сражающейся фигуре на одной из метоп, когда я заметил, как при мгновенном движении руки обозначился мускул под одной подмышкой, между тем как под другой его не было – одним словом, когда я увидел подлинно героический стиль соединенным со всеми основными деталями действительной жизни, все было кончено и навсегда. Здесь были принципы, которые должен понять здравый смысл английского народа... Здесь были принципы, которые создали великие греки в свое наивысшее время».¹

Хайдн, что очевидно, пристально рассматривал каждую скульптуру глазом художника, прошедшего строгую школу и хорошо усвоившего уроки

¹ Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. С. 271.

пластической анатомии. К тому же он рассматривал все эти вещи вблизи.



Фрагменты фриз Парфенона в Британском музее.
Лондон.

Так их не мог видеть никто – с тех пор как в середине V века до н. э. они были подняты и укреплены на фронте Парфенона, и до того момента в самом начале XIX века, когда сотрудники лорда Элгина добрались до них с целью демонтажа, то есть в течение примерно двадцати трех с лишком столетий.

Посчитаем для наглядности еще раз. Если – чисто условно! – принять, что в Афинах за эти столетия новое поколение вступало в жизнь каждые двадцать пять лет, что население составляло постоянно в среднем десять тысяч взрослых, что каждый такой взрослый в течение сознательной жизни поднимался на Акрополь не менее десяти раз и мог при каждом восхождении хоть раз поднять глаза на фронтон или метопу, то мы получим пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч взглядов (назовем их «единичными зрительскими актами»), неспособных различить то, что различил Хайдн, – хотя бы из-за отдаленности объектов. Но это еще далеко не все.

Эти миллионы взглядов состоят из множеств, объединенных общей (или хотя бы сходной) картиной мира, культурным фоном, резервуаром знаний и культурной памяти: афинянин в дни правления Деметрия Полиоркета уже смотрел на Парфенон иначе, нежели грек времен Перикла, раб – иначе, чем собеседник Платона в Академии, апостол Павел – иначе, нежели Лукиан, византийский император Василий Болгаробойца – иначе, чем турецкий наместник, а молодой английский живописец Хайдн – иначе, чем они все...



Парфенон в V веке до н. э. Реконструкция

Не кажется ли нам, что следует принять видение восторженного Хайдна в музейной экспозиции как «объективно правильное», или как наиболее адекватное, или, наконец, как такое, какое наиболее пристало просвещенному современному зрителю? Поскольку видение современников Перикла исходило из мифологической картины мира, которая не только чужда нам, но и «объективно неверна», а православная и магометанская включают в догматику категорическое неприятие языческих изображений, только тот тип восприятия и понимания, который демонстрирует Хайдн, ставит все на свои места. Ибо только тут мраморы Парфенона поняты как произведения искусства и, следовательно, начали существовать и функционировать в этом своем подлинном качестве. При этом вопрос о намерениях самих создателей скульптур – Фидия и его помощников – остается в тени. Была ли их осознанная задача чисто художественной или включала в качестве необходимого и неизбежного компонента религиозно-мифологические идеи, образы и переживания – вот вопрос, который если и задается в процессе обсуждения концепции убранства Парфенона, то безотносительно к субъективным намерениям авторов. Достоверные сведения о намерениях «команды Фидия» вряд ли удастся когда-либо получить. Оставим проблему адекватного приема фидиева (или эпохального) послания в стороне и сосредоточимся на самом, как сейчас принято выражаться, тексте. Действительно ли «хайдново чтение» (назовем его так) верно?

Сомнительно. В нем нетрудно обнаружить серьезные дефекты, своего рода генетические травмы.

Во-первых, это травма самой музеефикации. Предмет насильственно вырван из культурного контекста, из среды, для которой был предназначен,

а в случае Элгина – из архитектурно-скульптурного ансамбля, который по существу был единым пластическим целым. Зрителю предлагают перемещенные в инородную среду разрозненные фрагменты, которые никакая фантазия – пусть с помощью любого рода вспомогательных реконструкций – не достроит до первородной целостности. Вообразите себе концерт, где вам вместо Пятой симфонии Бетховена исполняют только партии виолончелей и медных духовых... Пусть отдельные скульптурные элементы в пластической симфонии Парфенона обладают несколько большей самостоятельностью, нежели партии отдельных оркестровых групп в симфонии Бетховена, суть дела от этого не меняется: единая образная система разрушена, разрознена, нам демонстрируют обломки. За новосозданную возможность рассматривать фидиеву пластику вблизи – возможность, которой был лишен современник Фидия, – дорого заплачено; выигрыш, кажется, не компенсирует потери.

Второе. Присмотримся ближе к параметрам, по которым Хайдн столь высоко оценивает скульптурные фрагменты, и к происхождению его критериев. Откуда, собственно, он их взял?

Ответ может звучать предельно просто – оттуда же, откуда родом сами эти скульптуры.

«То соединение природы и идеала, необходимость которого я так сильно ожидал от высокого искусства, здесь были представлены мне воочию», – восклицал Хайдн. Под натурой он понимал верное, основанное на глубоком и точном знании, воспроизведение в камне анатомического строения человеческого тела в покое и в движении, восходящее к исходному принципу античной иллюзии «как живое». Под идеалом – далеко не всякий идеал, но именно тот, который сложился в той же греческой

классике V века до н. э., пережив впоследствии метаморфозы, не опровергшие, однако, его основ; идеал, который наново стал ориентиром для гуманистов и художников, а затем и ценителей Возрождения, который стал эстетической нормой классицизма и академического обучения художников, в том числе и самого Хайдна, воспитанного в стенах Королевской Академии Художеств. Кстати, среди его учителей был и Иоганн Генрих Фюсли, тот самый, который изобразил скульптора, сидящего рядом с гигантской античной мраморной ступней – в отчаянии от недостижимости ее совершенства.

Круг замкнулся, концы сошлись. Хайдн увидел совершенные очертания тех форм, чьи размытые, расшатанные, подслащенные, но не утратившие структурной основы вариации воспитали его глаз, вылепили его вкус, выковали матрицу его пластических критериев. Мраморы Элгина прояснили ему его собственную природу как эстетического субъекта, как художника и зрителя, и как зрителя-художника, – природу, проросшую из этого самого зерна.

Попробуем проверить это утверждение посредством умственного эксперимента.

Представим себе, что Хайдн посещает выставку скульптур, снятых не с классического древнегреческого храма, а с древнего индийского храма, из комплекса, хронологически не так уж далекого от греческой классики, – пусть это будут скульптуры якшини, женского духа природы, часть декора так называемой ступы в Санчи – древнейшего сохранившегося буддистского памятника. Воспроизведенный здесь фрагмент, кстати, тоже можно увидеть в ситуации, подобной скульптурам с Парфенона – в экспозиции музея в Бостоне, куда



*Якшини. Фрагмент
ворот ступы в
Санчи. I век до н. э.
Бостон, Музей.*

нам и следует переместить – в порядке нашего эксперимента – молодого английского живописца и ценителя начала XIX века.

*«Геракл Лэнсдауна».
Римская копия с
греческого оригинала
предположительно IV
в. до н. э. Музей Гетти,
Малибу. В Англии XVIII
века считался образцом
классической греческой
нормы.*

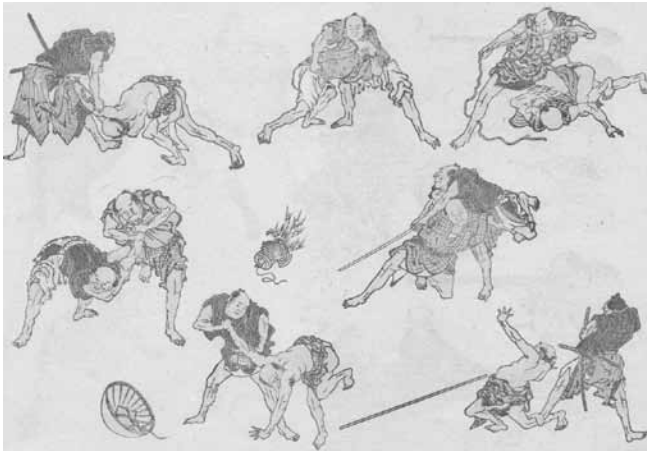


Критерии, по которым Хайдн оценивал шедевры греческих мастеров, здесь оказались бы неуместными. Хотя фигуры из Санчи, что ныне общепризнанно, демонстрируют идеальную для индийской пластической традиции формулу женской красоты, бережно хранимую и повторяемую на протяжении долгих веков, Хайдн этого увидеть бы не смог – для такого смотрения у него не было ни знаний, ни опыта. Основополагающий принцип формирования обнаженного тела в индийской скульптуре – чувственно-ощупывающий – противоположен тому аналитическому, на котором воспитан был глаз Хайдна. Тут ему не дано увидеть, как напряжены одни мышцы и расслаблены другие, нет тут этого. Короче, единство идеала и правды, которое образует его эстетическую меру, в образцовой индийской фигуре отсутствует.

Не меньшие затруднения ожидали бы его, если бы ему пришлось оценивать творения художника-современника, но принадлежащего к другой – не менее далекой от европейской – художественной традиции. Пусть это будут рисунки великого японского мастера Хокусая.

Японский мастер нарисовал борцов в позах не менее напряженных, нежели позы фидиевых греков, сражающихся с кентаврами на метопах Парфенона. Внимательный взгляд легко различит в этих рисунках бугры напряженных мышц и сочленения суставов – но вряд ли взыскательный Хайдн увидел бы здесь что-либо, кроме антиидеального, почти карикатурного гротеска. Между тем известно,

что изданные отдельными альбомами рисунки Хокусая расхватывали в течение нескольких дней – японские знатоки оценивали их соответствующей меркой, которой Хайдн располагать бы никак не смог: его воспринимающий аппарат был задан теми самыми греками, которых он счел абсолютным пределом эстетического совершенства.



Хокусай. Манга. Выпуск 6–11. Борцы. После 1814 г.

Иначе говоря, так был сформирован его вкус.

И в этой связи уместно вспомнить, что человек, который дал мраморам Элгина



Томас Лоуренс. Портрет Ричарда Пейна Найта. 1794. Уитворт, Галерея.

диаметрально противоположную оценку, предводитель «Общества дилетантов», эстетический гурман английского общества того времени, Ричард Пейн Найт, был прежде всего автором обширного трактата «Аналитическое исследование о принципах вкуса» (An

Analytical Inquiry Into the Principles of Taste. 1805). Следует думать, что он кое-что о вкусе должен был знать.

В детальном исследовании, которое я здесь неоднократно цитировал, было замечено, что Найт

был бы начисто забыт, если бы не скандал с мраморами Элгина: «Сейчас его помнят только как человека, который ничего не понял в скульптуре Парфенона, но тогда его считали чем-то вроде оракула, мнение которого всегда безошибочно».¹ Это не вполне справедливо. Р. Найта в XIX веке, десятилетия спустя после его смерти, читали не только в Англии: Лев Толстой упоминал «Исследование» Найта в своем трактате «Что такое искусство?» (1897).² Правда, упоминал неодобрительно – но заодно адресовал неодобрение основной массе теоретиков искусства, поскольку недоволен был состоянием проблемы в целом. Упоминания о Найте можно найти и в других местах, а в посвященной ему исследовательской литературе говорится отнюдь не только о его постыдной ошибке. Найт – фигура более сложная и далеко не безынтересная. Углубляясь в его биографию, мы обнаруживаем там много неожиданного. Он был разносторонне образован и хорошо знал античную историю, литературу и искусство. Путешествия, и в особенности путешествие по Италии, весьма обогатили его эрудицию. В первом же его опубликованном сочинении – «Отчете об остатках культа Приапа» – он показал себя свободомыслящим исследователем, который уверен, что для познающего ума не может быть запретных тем. Он стал одним из проповедников «английского парка» – свободного, живописного (picturesque), входившего тогда в моду – в противоположность регулярному, «французскому». По мнению его биографа, природный ландшафт был для него скорее метафорической формой политической и моральной критики предрассудков и ханжества церкви, политического и персонального угнетения – в защиту свободы выражения. Эти идеи были развернуты в обширной поэме «Прогресс гражданского общества». «Подобно Винкельману, – пишут его биографы, – Найт считал Грецию V века кульминацией гражданского общества и связывал ее успех с политической и личной свободой, которой пользовались ее граждане. Подобно Монтескье, он усматривал причины упадка человечества в религиозных предрассудках, репрессивном правлении и персональном ханжестве».³ В конце

¹ Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. С. 272

² Л. Н. Толстой о литературе. Москва: ГИХЛ, 1956. С. 345

³ См.: C. Stumpf-Condry, S. J. Skedd. Knight, Richard Payne (1751 – 1824), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.

поэмы он приветствовал Французскую революцию, хотя осуждал революционный террор. Словом, Найт заявлял о себе как о подлинном сыне века Просвещения. В своем главном эстетическом трактате «Аналитическое исследование принципов вкуса» он показал себя истинным сыном того же века – только с иной стороны. Недаром упомянутый ранее историк эстетической мысли называл XVIII век «веком вкуса».

* * *

Через десять дней после возвращения из плена лорд Элгин посетил обед, на котором присутствовал и Найт. Хотя Найт еще не видел мраморов, он тем не менее сказал Элгину:

«Ваши труды пропали даром, мой Лорд Элгин; ваши мраморы переоценены – они не греческие. Они римские, времен императора Адриана, когда он реставрировал Парфенон, и даже если греческие, они принадлежат Иктину и Калликрату, а не Фидию, который никогда не работал в мраморе вообще; они, вероятно, выполнены их работниками, вряд ли выше подмастерьев, и не проливают свет на детали и конструкции тела».¹

Обратим внимание на замечание, которое имеет существенное значение, хоть оно и упрятано в придаточное предложение: Фидий, утверждал Найт, никогда не работал в мраморе.

Вот в чем дело! Если известно, что предполагаемый создатель мраморов никогда в мраморе не работал, то и смотреть на творения Псевдо-Фидия нет нужды, картина ясна и без того.

Этот аргумент Найт не выдумал на потребу друзьям и единомышленникам из авторитетного «Общества дилетантов», – он извлек его из текстов древних авторов, в которых, по-видимому, хорошо ориентировался. Действительно, если перелистать сочинения античных писателей, чьи свидетельства составляют основу любых реконструкций истории греческой скульптуры – Плиния, Павсания, Плутарха, Страбона, Лукиана и др., – то нетрудно увидеть, что они, все без исключения, сосредоточили свое внимание на самых знаменитых творениях Фидия: статуе Афины в Парфеноне и статуе Зевса в храме Зевса в Олимпии. Оба изваяния сделаны из дерева и покрыты снаружи пластинами золота и слоновой кости. Источники называют и другие, менее известные статуи Фидия, исполненные в

той же технике. Древние авторы для простоты говорили обычно о технике золота и слоновой кости, «хризозефантинной», минуя упоминания о деревянной основе, но о деревянной основе было хорошо известно.

На втором месте среди названных в источниках творений Фидия – упоминания о бронзовой статуе Афины Промехос на Акрополе и о других отливках. Плиний в общем обзоре мастеров греческой скульптуры писал:

«Меньшими изображениями и статуями прославилось почти неисчислимое множество художников, а превыше всех – Фидий из Афин Юпитером олимпийским, созданным, правда, из слоновой кости и золота, но он создал статуи и из меди».²

Чуть позже он сказал об этом более развернуто:

«Фидий, кроме Юпитера Олимпийского, равного которому нет, создал из слоновой кости также Минерву в Афинах, которая в Парфеноне стоит, а из меди, помимо названной выше Амазонки, Минерву такой исключительной красоты, что она получила прозвание Красавицы. [...] И справедливо считают, что он первый открыл и наглядно показал торевтическое искусство».³

До сего дня не вполне ясно, что именно автор «Естественной истории» имел в виду под торевтикой – и одно из правдоподобных предположений сводится к тому, что это были хризозефантинная техника и техника бронзовой отливки.⁴ Возможно, Найт извлек свой аргумент из каких-то еще источников. Так или иначе, а для его вывода, очевидно слишком категорического, были известные основания. Сообщения о технической специализации Фидия, исключавшие работу в мраморе, были для Найта, видимо, достаточными, чтобы счесть эту специализацию историческим фактом. Но если так, то заочный критик мраморов Элгина в данном случае руководствовался не вкусом, а предва-

² Плиний Старший. Естественное знание. Об искусстве. Москва: «Ладомир», 1994. С. 64.

³ Там же, с. 65.

⁴ Сводка свидетельств древних авторов: Pollitt J. J. The Art of Ancient Greece. Sources and Documents. Cambridge Univ. Press, 1990, pp. 53-64. Комментарий относительно торевтики – в сноске 11 на стр. 55. Развернутый комментарий с обзором всех мнений специалистов об этом месте у Плиния – см.: Плиний Старший, С. 303-304. Разумеется, Найт всех приводимых там мнений знать не мог и доверялся скорее всего наиболее вероятному, то есть был уверен, что речь у Плиния идет о скульптуре из бронзы.

¹ Цит. по: Messman F. J. Richard Payne Knight and the Elgin marbles controversy // British Journal of Aesthetics. 13 (1)/ 1973. P. 71

рительным знанием.

Впрочем, то ли вкус автора «Исследования...», случалось, одерживал верх над предубеждением, то ли критика его оппонентов заставляла его корректировать свою позицию, но позднее он признавал, что рельефы метоп представляют собой первоклассные работы и что ничего прекрасней в этом роде ему видеть не приходилось.¹ Почему бы не услышать в этих его признаниях голос восставшего вкуса?

* * *

Метаморфоза Ричарда Найта – превращение из эстетического Савла в эстетического Павла – заставляет еще раз задаться более широким вопросом: а кто, собственно, из фигурировавших в этом обзоре персонажей видел скульптуры Парфенона «правильно», «адекватно», «так, как они того требуют»?

Иначе: который из названных тут зрителей, реальных и предполагаемых, мог бы послужить эталонной моделью Зрителя?

Еще иначе: можем ли мы из этого, пусть поверхностного, но поучительного обзора извлечь ситуацию, которая была бы своего рода эстетическим эквивалентом морального «категорического императива» Канта?

У Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом».

Чье смотрение на эталонные для эстетического мира скульптуры Парфенона, и в какой ситуации, мы могли бы назвать всеобщим образцом?

Смотрение Хайдена, увидевшего скульптуры вблизи и имевшего возможность насладиться всем нюансами анатомической верности? Но он видел всего лишь поврежденные обломки целостного ансамбля! Это видит и нынешний посетитель Британского музея, кто бы он ни был – изощренный специалист или заглянувший на часок праздный турист.

Может быть, этим образцом должен стать взгляд афинянина, современника Перикла, которому был дан целостный, величественный и гармонический ансамбль? Но он вряд ли мог разглядеть тонкости, которые открылись Хайдену – на расстоянии многое терялось, внимание было ориентировано на целое, а не на детали; скульптуры, возможно, были ярко раскрашены... К тому же

для современника Перикла скульптурные комплексы воспроизводили фундаментальные события мироздания, которые для Хайдена были всего лишь прекрасными древними мифами.

Безбожник и насмешник Лукиан видел мир иначе, к тому же он знал искусство скульптуры не понаслышке. Может быть, он? Но относительно скульптур Парфенона он ничего не сказал. Да и добросовестный периегет Павсаний был удручающе скуп. Или увидел на редкость мало.

Мы никак не можем принять за образцовый ненавидящий взгляд апостола Павла и, надо полагать, брезгливый – византийского императора Болгаробойцы, или презрительный, с высоты магометанской духовности, взгляд турецких начальников в Афинах...

При этом любой трезвый историк должен признать, что их смотрение, в пределах их мира и их пребывания в этом мире, представлялось им единственным и конечным!

Хотя (жизнь есть жизнь!) нельзя исключить, что прекрасные девы, слава гарема, расположенного в Эрехтейоне, бросали исподтишка нескромные взоры на обнаженных мраморных греков, сражавшихся с кентаврами на метопах...

Уж лучше обратиться к просвещенным и оценившим античную культуру ренессансным и постренессансным европейцам – тем редким, кто мог проникнуть в труднодоступные Афины. Им надо было торопиться; венецианские умельцы делали недурные для своего времени пушки – и когда ценители, воодушевленные идеями просвещенческого классицизма, стали посещать Афины, их ожидала трагическая картина безвозвратного разрушения. С тех пор мы обречены разглядывать обломки и макетные реконструкции...

Так кто же видел всё? И кто видел правильно?

Каждый раз – в упомянутых и в неупомянутых ситуациях – культурный контекст направлял, корректировал, преломлял взор зрителя, не давая ему распрямиться до «абсолютного смотрения».

Так, может быть, надо вернуться к идее «невинного взгляда», свободного от каких-либо вневизуальных вмешательств?

А что, если отсепарировать «чистое смотрение» от всего постороннего и оставаться в поле стерильной визуальности?

Спросите об этом у коровы Марка Тенси.

¹ См. *Messman F. J. Richard Payne Knight and the Elgin marbles controversy // British Journal of Aesthetics. 13 (1)/ 1973. P. 73*



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамович Семен родился, учился, защитился, женился в Москве, где провел первую половину жизни. По специальности инженер-строитель. Живет в Калифорнии, работает корректором в газете «Новая жизнь» (Сан-Франциско). Автор двух книг стихов: «Пушу по ветру слов круженье» и «Родная речь», изданных в Москве (2007).

Апраксина Татьяна творческую биографию начинала в среде неофициальной рок-культуры 70-х, занимаясь графикой и киноплакатом. Позже получила известность как художник, профессионально связанный со сферой классической музыки. Многолетнее тесное взаимодействие с музыкальными коллективами и солистами Петербурга, Москвы, европейских стран и США нашло отражение в многочисленных выставках, публикациях и лекциях о живописи, музыке и философии творчества — дома и за рубежом. Первое турне по США с картинами и циклом лекций в 89-90 гг. финансировалось Фондом Сороса. Второе образование (синолога) получила в Восточном институте С.Петербурга. Прозаические и поэтические произведения публиковались в оригинале и в переводах в России, Германии, Израиле, США. С 1995 года главный редактор российско-американского междисциплинарного журнала «Апраксин блюз».

Бернштейн Борис Моисеевич (р. 1924) — доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках. Умер в 2015 году.

Бертин Лев — инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии, Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. Большую часть сознательной жизни и всю бессознательную провел в Минске. 12 лет жил и работал в Израиле. В настоящее время занимает-

ся книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

Гандельсман Владимир Аркадьевич родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т. д.. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге — поэт и переводчик, автор пятнадцати поэтических сборников, переводов из англоязычной поэзии, множества публикаций в различных российских журналах.

Джонс Хелен (псевдоним) выросла в Москве. По образованию — инженер. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Жук Вадим Семенович — поэт, драматург, актёр. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Закончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал актёром в театрах Сибири. Снимался в фильмах А. Сокурова, И. Масленикова, В. Хотиненко, А. Борщевского и других. Был единственным автором и художественным руководителем ленинградского-петербургского Театра-студии «Четвёртая стена», спектакли которого демонстрировались по Центральному телевидению. Пишет капустники для Центрального Дома Актёра. Был автором и ведущим радиопередачи «Слушать подано!» Радио России. Вел совместно с М. Жванецким передачу «Простые вещи» на РТР. Совместно с С. Плотовым писал куплеты к передачам «Итого» и «Плавленный сырок». Автор передачи канала «Культура» «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». Был художественным руководителем и ведущим фестиваля «Золотой Остап». Постоянный ведущий и председатель жюри фестиваля капустников «Весёлая коза». Постоянный ведущий премии Конгресса фантастов России «Странник». Председатель или член жюри, автор сценария и ведущий церемоний ряда анимационных и театральных фестивалей. Автор либретто (совместно с И. Иртеньевым) мюзикла «Весёлые ребята». (Комозитор — М. Дунаевский). Автор либретто оперетты «Чайка» на музыку А. Журбина и «Русское горе» на музыку С. Никитина, идущих на сцене Московского Театра Современной пьесы,

музыкального спектакля «Лес» с В. Дашкевичем в Санкт-Петербургском театре «Комедианты» и других. Автор сценария (с К. Михайловой) полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Автор и соавтор сценариев анимационных фильмов «Собачье сердце», «Сказка про Волка», «Лис», «Ваня и Леший» и ряда других. Выпустил сборники лирики «Стихи на даче» (изд. «Зебра») и «Жаль – птица» (изд. «Время») Вадим Жук живёт в Москве.

Зевелёв Александр (р.1958). Родился и жил в Москве. С 1991 года живёт в Сан-Франциско. В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. Первая песня написана и исполнена в 16-летнем возрасте. Песни пишет на свои стихи, пробует себя в прозе, драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году – финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 – 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую тусовку ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день. Умер в 2016 году.

Золотаревская Марина пишет прозу и переводит с английского. Родилась в 1960 году. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?...» (2008, Сан - Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей оригинальные сочинения и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». В 2011 году была издана книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Марина Золотаревская была постоянным автором, переводчиком и членом редколлегии русскоязычного журнала «Тетра Nova», издававшегося в Калифорнии. Безответственный редактор литературного альманаха «Образы жизни» (издается в Сан-Франциско). Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», «Зарубежные записки», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

Ильин Игорь Волеславович – писатель и переводчик. Родился 3 мая 1956 года. Учился на отделении перевода факультета иностранных языков; дипломная работа про особенности перевода эпиграмматической поэзии выполнена под руководством И. В. Гаврильченко (Мельницкой). С 1978 по 1981 служил в Анголе военным переводчиком. Работал зам. декана подготовительного

факультета иностранных граждан ХГУ им. А. М. Горького, преподавателем кафедры английской филологии. Учился в аспирантуре Крымского государственного университета. С 1994 года – преподаватель английского языка в Лингвистическом центре Streamline (Языковой центр «Международный дом» – International House Language Centre). Перевел 16 книг, в число которых входят “Чайка Джонатан Лингстон” Ричарда Баха, “Маленький Большой Человек” Томаса Берджера, «Заключение дома с химерами» Эдварда Кэри, «Тайны гномов» Вила Хейгена (перевод с голландского), а также переведенные на украинский «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса и «Винни-Пух» Алана Милна (в соавторстве с И. В. Мельницкой и А. Кальниченко).

Кейлин Александр (р. 1945 в Москве). После окончания института 33 года просидел на одном и том же стуле в оборонном НИИ. Когда стальная опора стула лопнула, понял это сигнал – надо ехать. Больше всего любил ездить в командировки по стране и собирать истории из цикла. «Этого не может быть [кроме как в России]». Многократно печатался в журнале «Вопросы Специальной Радиоэлектроники». В Америке с 1998 г.

Короткова Екатерина Васильевна – прозаик и переводчик. Дочь писателя Василия Гроссмана. Родилась в Киеве, где прошло почти всё её довоенное детство. После войны жила во Львове, где окончила школу; училась на славянском отделении Львовского университета, затем в Институте иностранных языков. Работала учительницей английского языка в шахтёрском поселке (по семейной традиции выбрала Донбасс), позже – в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Печатается с 1958 года. Переводила английских классиков – Твена, Диккенса, Эллиота, Теккерея, Честертона, Киплинга и других, а также мастеров современной английской прозы. Ей принадлежит первый перевод Агаты Кристи на русский язык. Автор романов и повестей в жанре исторической прозы, рассказов, мемуаров (в том числе воспоминаний об отце). Произведения Е. В. Коротковой опубликованы в России, на Украине, в Англии и США.

Курляндчик Галина родилась в 1949 году в Крыму, выросла в Приморье. Окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Более двадцати лет проработала в научной библиотеке по программированию в новосибирском Академгород-

ке. Живёт в городе Санта Клара, Калифорния и Москве. Организовала и пополняет сайты: «Живопись иглой» (www.svetart.ru), «Чудеса руко-творные» (www.chudosite.ru) и «Летопись моей семьи» (www.mychronicle.ru). galina.kurlyandchik@gmail.com

Макарова Елена родилась в 1951 году в Баку в семье поэтов Григория Корина и Инны Лиснянской. Живет в Хайфе, Израиль. Член международного ПЕН-клуба, Союза писателей Изра-иля, Союза писателей России. Закончила Московский Литературный институт им. Горького и Московский Художественный институт им. В.И.Сурикова. Елена Макарова – автор свыше со-рока книг на двенадцати языках, в том числе прозаических сборников. В деятельности Макаровой значительное место занимает изучение и пропаганда художественного творчества узников нацистских концлагерей. Вместе с соавторами ею были подготовлены 4 книги, объединённые серийным названием «Крепость над бездной»: «Терезинские дневники, 1942 – 1945» (2003), «Я – блуждающий ребенок. Дети и учителя в гетто Терезин, 1941 – 1945» (2005), «Терезинские лекции, 1941 – 1944» (2006), «Искусство, музыка и театр в Терезине. 1941 – 1945». Среди других работ на эту тему – выставки и книги о художнице школы «Баухауз» Фридл Дикер-Брандейс, одной из основателей искусствотерапии; на ее уро-ках в концлагере Терезин детьми было нарисовано более 5 тысяч рисунков. Книга «Фридл Дикер-Брандейс. Жизнь во имя искусства и преподавания» вышла сперва на немецком, затем на английском, чешском, французском и японском языках. Недавно издана на русском языке. В период с 1988 по 2011 Елена Макарова курировала 38 выставок на тему «Культура под гнетом нацизма». С 2007 Е.Макарова ведет он-лайн семинары <http://forum.mykanon.com/> по искусствотерапии для родителей и детей.

Мельницкая Инна Владимировна – поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литератур-ной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парашюте» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS.

NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, – международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» – юбилейная премия журнала «Радуга».

Мелодьев Мартин Михайлович. Родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 г. живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск. 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage. Нью-Джерси, 1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публикации в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке», «День и ночь» (Красноярск), в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» (Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999-2007), «Петербургский литератор» (СПБ, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете: www.mmelodyev.narod.ru

Милитарёв Александр Юрьевич. Род. в 1943 г. в Томске. Российский филолог и лингвист, специалист в области семитского, берберо-ка-нарского и афразийского языкознания, применения лингвистических методов в реконструкции этно-культурной истории, а также иудаики и биб-леистики. Автор 4 монографий и около 150 научных и научно-популярных статей. Представи-тель научных школ И. М. Дьяконова и С. А. Старос-тина, Московской школы дальнего языкового род-ства. Окончил переводческий факультет 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза по специальности «Английский и испанский языки». В 1973 г. окончил аспирантуру Института востоковедения РАН, где работал младшим (1973 – 1986) и старшим (1986 – 1994) научным сотру-дником. С 1994 г. работает в Институте восточных

культур и античности Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Доктор филологических наук (2001), профессор (с 2004 г.). Внештатный преподаватель на филологическом факультете МГУ (1986 – 1990), профессор Института стран Азии и Африки МГУ (2005 – 2008), заведующий кафедрой языков и культур древнего Ближнего востока и ректор Еврейского университета в Москве / Высшей гуманитарной школы им. С. Дубнова (1994 – 2009). Член общества «Мемориал» (1990 – 1991), участник обороны Белого дома (август 1991). В 90-е годы инициировал обращение к Дж. Соросу соросовскую программу помощи российским гуманитариям и деятелям культуры и всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов, поддержавший несколько тысяч российских ученых в области гуманитарных и социальных наук, и был одним из организаторов этих программ. Поэт и переводчик. Автор книг «Стихи и переводы» (М.:Изд-во «Наталис», 2000) и «Homo tardus (Поздний человек)» (М.: Изд-во «Критерион», 2009). Живет в Нью-Йорке и Москве.

Немировский Александр. Пишет с 14 лет. С 1980 до 1986 года выпустил 7 сборников в тогдашнем самиздате. На основании этих сборников в Москве в 1996 вышла книга стихов – «Без Читателя». В 1989 одно стихотворение просочилось в еженедельник «Собеседник». Входил в литературный клуб «Пост-скрипtum» (1989). С 1990 года живет в Калифорнии. В 2007 подборки стихов печатались в журнале Terra Nova (2007 Август). Вторая книга «Уравнение разлома» вышла в Сан-Франциско в 2009, третья книга – в 2012. Домашний сервер: <http://www.nomer.us>. Постоянно печатается в Альманахе «Под небом единым». Специалист по базам данных в Силиконовой долине. Начинал программистом, а последние 18 лет ведет свой небольшой бизнес на основе им созданной и патентованной технологии. Проживает в Калифорнии.

Новиков Вячеслав Анатольевич. (В этом номере печатается под псевдонимом Слава Блуд.) Родился в 1955 г. в Брянской области. Раннее детство провел в средней полосе России среди лесов и пчел (у бабушки была пасека). Среднее образование получил в средней школе № 25 г. Донецка, одной из самых средних в городе. В 1972 поступил на переводческое отделение факультета романо-германской филологии Харьковского государственного университета, которое закончил в 1977 году. После этого два года

служил бортпереводчиком (была такая должность) в военно-транспортной авиации, летал в разные страны Африки и Азии: Эфиопию, Уганду, Ливию, Йемен, Афганистан и др.. Потом еще два года отслужил военным переводчиком в Эфиопии. После демобилизации работал в деканате по работе с иностранными студентами Харьковского политехнического института. В 1987 г. поступил на курсы переводчиков ООН при Московском институте иностранных языков им. Мориса Тореза и был зачислен в группу синхронистов, где проучился год. После сдачи ооновских экзаменов был направлен на работу в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Там проработал почти 20 лет, переводя синхронно с английского и французского на русский. В 2009 г. был переведен в отделение ООН в Вене, где работает по сей день.

Перцова Мария родилась и выросла в Баку. С 1990 года живет в США, в маленьком городке Кемпбелл, неподалеку от Сан Франциско. По образованию – физик, по наклонностям – ... Вместе с Жанной Шпиц (музыка и исполнение) стала автором песенного альбома «Понятные и странные». В 2008 году вышла книга стихов Марии Перцовой «По другую сторону обмана».

Сировский Ефим. По специальности – инженер-механик. Работал руководителем Отдельного конструкторско-технологического бюро в Конотопе, Украина. Защитил план технического перевооружения на три пятилетки и «выбил» значительные средства для предприятия. В результате таких достижений его, не привыкшего отдыхать, отправили в отпуск. Там-то Ефим и начал записывать смешные истории из своей биографии. В 91-м году, когда развалился Советский Союз, распалось и руководимое Е. Сировским предприятие. Используя связи, Ефим трудоустроил всех своих сотрудников, а сам стал главным менеджером объединения. Мотордеталь-Конотоп. Впоследствии эмигрировал в США. Живет в Хейварде, Калифорния.

Соломонов, Артур родился в Хабаровске в 1976 г. Закончил Театроведческий факультет ГИТИСа, Курс Натальи Крымовой. Работал в газете «Газета» – корреспондентом отдела культуры, «Известия» – специальным корреспондентом отдела культуры, на телеканале «Культура» – заместителем руководителя PR-службы, куратором отдела спецпроектов, интернет-портала телеканала и пресс-службы, редактор отдела культуры, журнала «The New Times», в «Новой газете» – редактором отдела

“Москвоведение”. Блог Артура Соломонова – на сайте Slon.ru. Первый роман Артура Соломонова “Театральная история” получил высокие отзывы Л. Улицкой, Л. Ахеджаковой, В. Шендеровича и других известных деятелей культуры. Ссылка на страницы романа “Театральная история” в фэйсбуке: www.facebook.com/teatralnaya.istoriya. В Контакте <http://vk.com/public59427264>. Проживает в Москве.

Степанова Мария Михайловна – русский поэт, эссеист, журналист. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького (1995). В 2007 – 2012 годах – главный редактор интернет-издания OpenSpace.ru[1]. С 2012 года – главный редактор проекта Colta.ru. Живёт в Москве. Стихи переведены на английский, иврит, испанский, итальянский, немецкий, финский, французский и другие языки. Лауреат премий журнала «Знамя» (1993, 2011), премии имени Пастернака (2005, номинация «Артист в силе»), премии Андрея Белого (2005), премии Фонда Хуберта Бурды – лучшему молодому лирику Восточной Европы (Германия, 2006), премии «Московский счёт» (Специальная премия, 2006; Большая премия, 2009), премии Lerici Pea Mosca (Италия – Россия, 2011), премии Anthologia (2012). Стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского (2010). В 2013 году книга Марии Степановой «Киреевский» вошла в шорт-лист поэтической премии «Различие»[5][6].

Стратановский Сергей Георгиевич. Русский поэт. Родился в семье филолога-классика Г. Стратановского. В 1968 окончил филологический факультет Ленинградского университета (учился сначала на французском, затем на русском отделении). Участвовал в Блоковском семинаре Д. Е. Максимова. Работал экскурсоводом в музее Пушкина, в Эрмитаже, с 1983 – библиограф в Российской национальной библиотеке. Как и многие другие неофициальные поэты Ленинграда, посещал ЛИТО Давида Дара “Голос юности”. Стал известен благодаря публикации в антологии Михаила Шемякина «Аполлон-77». Около сорока стихотворений было опубликовано в антологии Кузьминского (1983). Первая публикация на родине состоялась в сборнике «Круг» (1985). В 1981 году совместно с Кириллом Бутыриным создал в Ленинграде самиздатский общественно-литературный журнал «Обводный канал» (выпускался до 1993 года; вышло 18 номеров). Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1999), Международного ПЕН-Центра (с 2001). Стипендиат Фонда имени И. А. Бродского (2000).

Книги Стратановского переводились на чеченский, польский, итальянский и др. языки.

Трегуб Александр. Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал в Иерусалимском университете, а также на Гумбольдтовской стипендии в Германии. Переехал в Америку, где работал как visiting scientist в университете Теннесси, Калифорнийском университете в Сан-Диего, Стэнфордском университете. Краткая биография опубликована в Marguis' «Who's Who in America». Последние 16 лет работает в компании «Интел» в Северной Калифорнии. Литературное творчество включает публикации на международном сайте www.interlit2001.com, в альманахе “Образы Жизни”, сборниках “Апраксин Блюз”, газете “Кстати”, журнале “The Economist”.

Трегуб Иосиф. Родился в 1925 году. Был призван в армию в 1943 году, принимал участие в боях за освобождение Варшавы и Берлина. После окончания войны служил комендантом авиационного гарнизона города Бранденбурга в Германии. В 1952 году закончил Ленинградскую военную академию связи и защитил кандидатскую диссертацию по специальности радиотехника. Работал старшим преподавателем в Киевском высшем инженерном радиотехническом училище. Автор изобретений, статей, монографий и учебников по импульсной технике. После демобилизации из армии в звании полковника в 1976 году 22 года проработал в Министерстве образования Украины в должностях доцента и начальника отдела. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе.

Ходос Алла родилась в Минске. Окончила филфак Белгосуниверситета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско) и в школе. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой». В книге «Переход» собраны прозаические произведения Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Terra Nova», «Апраксин Блюз», «Зарубежные записки», на сайте «Интерлит» и др. Ответственный редактор литературного альманаха «Образы жизни». Живёт в Хейварде, Калифорния.

Черешня Валерий родился в 1948 г. в Одессе, живет в Санкт-Петербурге. Автор четырех поэтических книг («Свое время», 1996; «Пустырь», 1998; «Сдвиг», 1999; «Шёпот Акакия», 2008), книги эссе «Вид из себя» и многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Постскриптум» и пр.

Эпштейн Генри (Сан-Франциско, Калифорния) – художник, преподаватель, автор стихов и прозы. Преподавал теорию искусства в Парсоновской школе дизайна (Нью-Йорк), экологическую этику в Калифорнийском университете города Санта-Круз и социальную этику в городском университете Сан-Франциско. Работал водителем лимузина, плотником при магазине, занимался машинописью (в страховой компании), уложениями (в качестве административного судьи) и укладкой (асфальта). Натворив закавык на дорожном полотне, приписывал их качеству асфальта; натворив закавык на холсте или в ткани повествования, вписывал их в композицию произведения. Как он поступал с заковычками закона – неизвестно. В настоящее время живет в Сан-Франциско и работает в городском транспортном агентстве. Рассказ «Билет на один сезон» (“Season Ticket”) был опубликован в специальном выпуске французского журнала «Телерама», посвященном Эдуарду Хопперу. На русском языке впервые опубликован в нашем альманахе (2014, 2015-2016 гг.) Страница в Интернете: <http://hepiste.org/about/>

Якобсон Михаил. Родился в 1939 году в Москве. В 1971 году уехал из СССР. После окончания докторской программы по истории преподавал в университетах США. Автор или соавтор семи книг и более двадцати статей. Почти все опубликованные работы Михаила Якобсона – научные труды. Повесть “Карзубый” является одним из его немногих художественных произведений.

Янушкевич Александр родился в 1949 г. в семье художника. В 1974 г. окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. Выставляться начал с 1975 г. В 1976 г. принят в Объединение молодых художников при МОСХ СССР. С мая 1985 г. – член Союза художников СССР. С 1994 г. – член Международного художественного фонда. С 1996 г. – член Профессионально-творческого Союза художников России. С августа 2000 г. – член Профессионального Союза художников.

Янушкевич Дмитрий – художник, график и скульптор. Родился в Москве в 1976 году в семье художников. В 15 лет вместе с родителями эмигрировал в США. Закончил Университет в Дэвисе и Элкинс-колледж. Участвовал в художественных выставках, организованных Калифорний школой для слепых, в выставках имени Хелен Келлер в Вашингтоне и многих других экспозициях, проходивших в Сан-Франциско, Вашингтоне, Пало Алто, Сан-Карлосе, Маунтен Вью. Участник Русского фестиваля искусств в Сан-Франциско, 2005. Участник «Выставки двух художников» в Сан-Франциско, 2007. Награжден специальным призом выставки имени Хеллен Келлер, многочисленными наградами Калифорнийской школы для слепых; был избран в жюри Pacific Rim Sculptors Group. Одна из работ Дмитрия Янушкевича «Зима в Москве», написанная в России в 1989 году, была отмечена особым вниманием директора Департамента специального образования в Сакраменто Роном Кадишем.

* * *

Читатель может заметить, что мы не публикуем сведений о Золотаревском Юрии. Он предпочитает, чтобы редакция не публиковала о нем никаких сведений. В подобных случаях мы идём автору навстречу при условии, что он сообщает эти сведения самой редакции.

* * *

Редакция, как правило, не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

* * *

Контакты: E-mail: obrazyzhizni@yahoo.com
Вебсайт: www.obrazyzhizni.com

* * *

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по электронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com